

НОВЫЙ  
МИР

6

---

1934

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**Ш Е С Т А Я**

**И Ю Н Ъ**

---

**М О С К В А**  
**1 . 9 . 3 . 4**

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполв. Главд. В—82934. Объем 14½ печ. лист. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ.  
Зак. 1017. Тир. 49.000.

---

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Л. ЛЕОНОВ. — Скутаревский, *пьеса* . . . . . 5
2. НИКОЛАЙ БРАУН, — Березка, *стихотворение* . . . . . 37
3. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, *роман*, продолжение . . . 38
4. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, *роман* . . . . . 69
5. ШОТА РУСТАВЕЛИ. — Барсова шкура, *поэма*, песня первая,  
перевод С. Клычкова. Предисловие А. С. . . . . 97
6. А. ЗОРИЧ. — Счастье, *рассказ* . . . . . 109
7. Н. НИКАНДРОВ. — Морские просторы, *повесть*, окончание . . 119

### НАУКА И ЖИЗНЬ

8. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение . . . . . 149

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

9. П. РОЖКОВ. — Социалистический реализм и «здоровая эмпирия» 168
10. И. ГРОНСКИЙ. — О живописи . . . . . 201
11. Литературный путь П. Васильева . . . . . 218

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Н. БЕЛЬЧИКОВ. Н. М. Языков. — «Полное собрание стихотворений» 226
- ДМ. ГЕЛЬМАН. Макс Зингер. — «Тагам» . . . . . 228
- ДМ. БУХАРЦЕВ. Е. Гнедин. — «Разоружение — узел международ-  
ных противоречий» . . . . . 229
- Н. ЗАМКОВ. «Сказание» Альберта Шлихтинга . . . . . 229
- СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ . . . . . 231



# Скутаревский

Пьеса в трех действиях

Л. ЛЕОНОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СКУТАРЕВСКИЙ, СЕРГЕЙ АНДРЕИЧ, —  
директор высокочастотного института.  
АННА ЕВГРАФОВНА — его жена.  
АРСЕНИЙ — его сын.  
ПЕТРЫГИН, ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ, — ин-  
женер.  
ЧЕРИМОВ — заместитель директора.  
ШТРУФ, ОСИП БЕНИСЛАВОВИЧ, — ко-  
миссионер.  
ЖЕНЯ — комсомолка.

ГОБОИСТ.  
ОЦЕНЩИК.  
ДУНЯША — горничная.  
ХАНШИН — сотрудник института.  
ДОКТОР.  
НАРКОМ.  
ДВА СЕКРЕТАРЯ НАРКОМА.  
ШОФЕР.  
ГОСТИ АРСЕНИЯ.  
ГОСТИ ПЕТРЫГИНА.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### Картина первая

*Столовая у Скутаревских, уставленная антикварными сокровищами сомнительного качества. Одно из них, еще не распакованное, стоит в ящике у стены. Из соседней комнаты, отделенной плотным ватным занавесом, вышли Анна Евграфовна и Штруф. Он только-что продал ей очередное из помянутых сокровищ.*

1

ШТРУФ. Мадам, портрет висит превосходно. Я бы даже сказал: король — это ваш стиль. И даже требовательный вкус Сергея Андреича...

АННА ЕВГРАФОВНА. Покажите, что вы еще принесли.

ШТРУФ (*тайнственно развязывая бумажный сверток*). Теперь я беру на себя смелость раз'яснить вам и это сокровище. (*Это пестроватая греческая ваза.*) Это — редчайшая разновидность чернофигурной амфоры и несомненный круг мастера Дианокла...

АННА ЕВГРАФОВНА. Но куда же ее?

ШТРУФ. Корреджио мы перевесим туда, в простенок. И, если вы возьмете ту резную венецианскую этажерку, которую я занесу сегодня же...

АННА ЕВГРАФОВНА. А здесь есть подпись?

ШТРУФ. Подпись!.. Вы видите эти пурпурные искры на одеждах Артемиды и коплита? (*Секретно.*) Эта безумная вещь валялась в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней каждую ночь на свиданье, я забывал спать, я потерял на ней здоровье. Я продаю потому, что ее могут разбить мои собаки!

АННА ЕВГРАФОВНА. Оттуда скверно пахнет

ШТРУФ. Запах веков, мадам. И когда история пахла хорошо? (*Гнусно и длительно кашляет. Анна Евграфовна слушает его с тоской.*)

АННА ЕВГРАФОВНА. Вы ужасным звуком кашляете, Осип Бениславич!

ШТРУФ. Наверно я скоро умру, мадам.

## 2

*(Быстро, ища взглядом, вошел Арсений. Он заметно пьян.)*

АРСЕНИЙ. Отец не возвращался?

АННА ЕВГРАФОВНА. Нет, он уехал в автомобиле. Ты же знаешь, у него новое увлечение.

АРСЕНИЙ. Слушай, мама, поговори с ним.

АННА ЕВГРАФОВНА. Нет, уж избавь. Ты сам его отлично знаешь. У тебя усталый вид.

АРСЕНИЙ. Мама, я сейчас видел у него на столе... *(Возгораясь.)* Он хочет опротестовать мою сибирскую торфянку!

АННА ЕВГРАФОВНА. Сеня, успокойся. Он все-таки отец тебе. Он погрознется, но не пойдет на такое. Ты бы прилег отдохнуть!

АРСЕНИЙ. Если он до ночи вернется из института, сообщи мне немедленно.

АННА ЕВГРАФОВНА. Ты будешь у себя?

*(Он ушел, не ответив.)*

## 3

ШТРУФ *(сочувственно)*. Арсений Сергич... пьет?

АННА ЕВГРАФОВНА. Он ужасно устает на работе.

ШТРУФ. Как здоровье Арсения Сергича, такое и... политическое?

АННА ЕВГРАФОВНА. Я же говорю вам: мальчик крайне переутомился на этой сибирской электростанции. Знаете, как теперь достается инженерам?

ШТРУФ. Мы все герои в эти дни, мадам!

АННА ЕВГРАФОВНА. Да, я тоже думаю так. Но вы все-таки уступите мне с общей цены. Я же плачу вам громадные деньги.

ШТРУФ. Мадам, на скверные советские бумажки вы покупаете храм, из которого еще не иссякло божество.

АННА ЕВГРАФОВНА. Да, но я боюсь брать вашу вазу, не посоветовавшись с мужем. Сергей Андреич вообще не любит старых вещей.

ШТРУФ *(отшатываясь)*. Это невероятно...

АННА ЕВГРАФОВНА. Да, но он может позволить это себе, милый Осип Бениславич!

ШТРУФ. Имя Сергея Андреича копируется очень высоко. *(Вопросительно.)* В правительственных кругах, я слышал, чрезвычайно заинтересованы его изобретением. *(Она молчит.)* Я бы даже сказал: профессор Скутаревский—это готика! *(Она молчит надменно и величественно.)* Я слышал также, что он вступает в партию?

АННА ЕВГРАФОВНА. Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. *(Штруф почтительно склоняется.)* Теперь сядьте!

ШТРУФ. Мадам, вы напрасно беспокоитесь, я постою.

АННА ЕВГРАФОВНА. Сядьте, я сказала. И если что-нибудь пропадет, я прогоню вас навсегда. Дуняша!.. Сядьте и сидите здесь.

## 4

*(Вошла горничная. Штруф кашляет. Поплевав на вазу, он полирует ее красной бархатной скатерти. Ему неловко перед Дуняшей.)*

ШТРУФ. И много у вас работы, дитя мое?

ДУНЯША. Квартира громадная, сами знаете. Да вы еще таскаете каждый день всякую ветошь...

ШТРУФ. Вы мало смыслите в художественных сокровищах, Дуняша!

*(Звонок, Штруф победительно глядит на горничную, которой надо уходить. Оставшись один, он открывает буфет, по-хозяйски берется за коньячную бутылку, ест, не глядя, что именно он ест.)*

ДУНЯША *(гневно захлопнув дверцы)*. Такие деньги берете, а сами хлеб воруете.

ШТРУФ. Не носить же мне моего хлеба с собой!.. Кто это там?

ДУНЯША. Брат хозяйкин, Петр Евграфович.

ШТРУФ. А!.. Кстати, у вас наредкость милое лицо, Дуняша...

## 5

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (*не отвечая на поклон Штруфа*). Все Тицианов таскаете? Дадут вам когда-нибудь взащей, милостивый государь. (*Дуняше.*) Племянник дома?

ДУНЯША. Я сейчас доложу. (*Ушла.*)

ШТРУФ (*тихо*). Петр Евграфович... я к вам забежал утром и не застал...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (*разглядывая картину*). И эту дрянь тоже вы приволокли, маэстро?

ШТРУФ. Петр Евграфович, ночью Граббе арестован.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Что?.. Александр Карлович?

ШТРУФ. ...и Варравин тоже.

(*Анна Евграфовна прислушивается, стоя в дверях.*)

ШТРУФ. Перерыли все. Массу денег нашли в ножке стола. Как вошли, сразу стали пилить. Я чуть в засаду не попал. Бобович спешно уехал в Туркестан!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (*заметив сестру, надменно*). Ну, и что же?

ШТРУФ. Единственно для осведомления.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. С возрастом, от собак ли своих... вы стали заметно глупеть и вшиветь, товарищ Веласкец. Мне не интересна эта галиматья. Здравствуй, сестра!

## 6

АННА ЕВГРАФОВНА (*целует его в лоб*). Как мило, что ты приехал. (*Штруфу.*) Вы все еще здесь? Но ведь я же сказала, что не беру вашей вазы!

ШТРУФ (*фамиллярно*). Вещь из коллекции камергера Власова, Степана Васильевича. Его высылают, он торопится, отдает за бесценок. Если по нынешним ценам на масло, например, перевести...

АННА ЕВГРАФОВНА. Вы стали назойливы, Осип Бениславич. И вы можете завернуть где-нибудь там свой греческий горшок.

ШТРУФ. Слушаю-с. Но вы позволите занести вам то самое, о чем я вам го-

ворил? Второй такой экземпляра только в Люксембурге...

АННА ЕВГРАФОВНА. Да ступай-те же!

ШТРУФ. Не сердитесь на нищего, мадам! (*Ушел.*)

## 7

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Иногда хорошие вещи вынюхивает. Ну, как живешь?.. Что муж?

АННА ЕВГРАФОВНА. Пьер, я вся в сумбуре! У него пропала тетрадка с расчетами его аппарата. Он бушевал весь вечер и учинил полный погром. (*С намеком.*) Я опасюсь, что какие-то злые силы хотят втянуть его в темное дело, Пьер.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Какие пустяки. Она найдется! Кстати, как его работа?.. закончил он монтаж своего аппарата?

АННА ЕВГРАФОВНА. Я не спрашивала.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Напрасно. Значит, мало любишь. Ты — жена, ты его крепко люби.

АННА ЕВГРАФОВНА. Целые ночи просиживает в институте. Работай-работай, а потом тебя арестуют!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ну, Скутаревский — не камергер Власов. На конгресс-то в Чикаго он едет? Везет же человеку, чорт!.. А ты, действительно, не в себе. Ты хоть бы чайком меня попогла.

АННА ЕВГРАФОВНА. Дуняша! Поставьте же чаю. Разве это так трудно, штепсель в розетку всунуть? (*Горничная ушла.*) Я боюсь его, Пьер. Я теперь всего боюсь. Как ты думаешь. Штруф не шпион?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ты с ума сошла. В прошлом — богатейший человек. Покойный Александр Карлович у его же отца управляющим был на Урале.

АННА ЕВГРАФОВНА. Погоди, разве он умер, Граббе?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (*сердясь на себя за оговорку*). Нет, но он опасно заболел. Ну, и что же?

АННА ЕВГРАФОВНА. Повторяю, я боюсь Сергея. Тридцать лет я живу, точно под жерлом пушки, ком су ля буш де канон. У меня скверные предчувствия, что все это дурно кончится. Маль прессантиман, Пьер!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Не французь, милочка: у тебя это коряво выходит. *(Про занавеску.)* Ты с чего эти одеяла навесила?

АННА ЕВГРАФОВНА. Стеганные занавески, нарочно заказала. Ты же знаешь, он пристрастился к своему фатогуту.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Вот чудак! Все еще играет?

АННА ЕВГРАФОВНА. Это ужасно, даже Дуняша вздрагивает по ночам. Представь, если бы удавленник да петь бы вздумал! Я вся в сумбуре. На машине ездит, правит сам. Разобьется когда-нибудь, и я вдова. И знаешь, то скорняжка из Воронежа выписал, детство вспоминал, то с банщиком подружился, в гости водил. А теперь с каким-то стрекулистом сошелся из оркестра. Придет, и шпарят в четыре руки. Хоть в уголовный розыск заявляй. Я умру от тоски!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Пустяки, ты умрешь от разрыва сердца: у тебя сложение такое.

АННА ЕВГРАФОВНА. Может быть, у гроба моего ты станешь добрее, Пьер!

## 8

ДУНЯША. Варенье из большой банки братъ?

АННА ЕВГРАФОВНА. Я уже сказала: да.

ДУНЯША. Чай здесь накрывать или в гостиной? К Арсению Сергеевичу товарищи пришли.

АННА ЕВГРАФОВНА. Пойдем, Пьер. Не зацепи только... ты видел? *(Остановилась у битого мраморного бюста Веспасиана. Говорит учительным тоном Штруфа.)* Это — Веспасиан. Его морем выкинуло под Амальфи... а потом это было конфисковано у Ржевуского в восстании тридцать третьего года. Прелестная вещь и совсем недорого...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Знаешь, сестра: ты воздержись от покупок.

Взбунтуется твой профессор. Он у тебя под лестницу спать сбежит. *(К бюсту.)* Значит, уж свишня ты, батюшка, раз и море тебя выплюнуло!

*(Пауза. Сцена пуста. Телефонный звонок. Дуняша слушает.)*

## 9

ДУНЯША. Да... нет, еще не вернулся. Хорошо. Как, Черимов?.. замести- тель директора? Да, передам... *(Ушла, захватив с собою чашки из буфета.)*

## 10

*(Снова звонок у двери. Дуняша пробегает открывать. Голоса: «Ну, вот и приехали!» Скутаревский и шофер ввели под руки Женю.)*

СКУТАРЕВСКИЙ. Осторожно, весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову. *(Шоферу.)* Придерживайте, держите... Мое стойло там! *(Показал рукой.)* Ну-ка, давайте кресло. *(Ее посадили.)* Позвольте, как же все это произошло?

ШОФЕР. Говорил я вам, не газуйте, Сергей Андреич. Шоша ж склизкая, осенняя шоша.

*(Телефонный звонок.)*

СКУТАРЕВСКИЙ. Да. Ханшин? Добрый вечер, Евгений Львович. Да, дело вот в чем. У меня пропала тетрадка со стола. Нет, клеенчатая, в клетку. Так вот, хорошо бы, если бы она нашлась в эти сутки, будто и не пропала. Вы напрасно обижаетесь, чудак вы! Я к тому, что следует подтянуть в институте тех, кто по немощи или нерадивости моей охамел до такого непотребства. Вот и все. Привет... Постойте, Евгений Львович. У вас, напротив, вы мне говорили, врач живет?.. Не коновал? А, Коростелев! Вот именно, срочно. Я тут человечка подшиб на шоссе. Да нет же, просто вижу — человек рукой взмахнул, и бац в канаву. Машину посылаю. И еще кстати...

*(Но там уже положили трубку. Скутаревский стучит по рычагу, чертыхается и кидает трубку.)*

11

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну-с! (*Подозрительно косясь на девушку, которая жмет в угол кресла, мокрая и жалкая.*) Болят кости? Здорово я вас ушиб?

ЖЕНЯ (*робко и слабо*). Нет, я сама упала. Когда огни понеслись, ударило светом, я и упала. Голова закружилась.

СКУТАРЕВСКИЙ. Что же, вы автомобилей не видали?

ЖЕНЯ. Я устала очень.

СКУТАРЕВСКИЙ. Сколько вы шли?

ЖЕНЯ. Я еще утром вышла, за-светло.

СКУТАРЕВСКИЙ (*считая по пальцам*). Три, семь, девять... Десять часов шла пешком? Вот нынешняя молодежь, а?

ШОФЕР. Очень бойкая. Она подна-тершись.

СКУТАРЕВСКИЙ. А щеки-то здорово горят, напугалась. А ну-ка! (*Положил руку ей на лоб.*) Да у вас жар, тетенька... жар, и ноги мокрые!

ШОФЕР. Вся мокрешенька, даже знобит от нее.

СКУТАРЕВСКИЙ. А ну, разувай-тесь.

ЖЕНЯ. Как?..

СКУТАРЕВСКИЙ. Долой опорки ваши и чулки к чорту. (*Тыча пальцем в оторвавшуюся подошву.*) Это туфли, туфли это? (*Коснулась голой ее ноги.*) Лед, чистейший лед.

ШОФЕР. Лед... факт!

СКУТАРЕВСКИЙ. А вы что здесь делаете? Марш, езжайте к Ханшину. Быстро врача — и назад.

ШОФЕР. Это ментом.

СКУТАРЕВСКИЙ. А ну, пальто до-лой. Эка дрянь, вся течет, а еще резино-вая. (*Брезливо откинул на пол.*) Коф-ту долой. Дуняша, одеколон... в ванной, на полке. И туфли мохнатые, мои. Как он сказал?.. м и н т о м? Чортова пора, слякоть, коклюши всякие ходят и эти вот... ну, как их, забыл! (*Дуняша вер-нулась.*) Лейте в руку, еще! (*Трет Же-не пятки.*)

ЖЕНЯ. Мне больно.

ДУНЯША. Давайте, я потру.

СКУТАРЕВСКИЙ. Да, валяйте... вам этово... удобнее. Ну, трите. Туфлей трите. Да чего вы дрожите так?.. озябла?

ЖЕНЯ. Я боюсь.

СКУТАРЕВСКИЙ (*диковато хохо-ча*). Чего же вы напугались? Я, как ви-дите, древний премногоуважаемый дед. Утверждают, будто я даже похож на кормилицу. Ну, тепло?

ЖЕНЯ. Да...

ДУНЯША. Великодушный вы чело-век, Сергей Андреич. Другой подшибет и кинет.

12

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну-ну, ступайте. И так, я вас сшиб. Но нельзя же этак ходить по шоссе. Ночью. Пешком. Без чемодана. Где ваши вещи?

ЖЕНЯ. У меня нету!

СКУТАРЕВСКИЙ. Почему от вас миндаем пахнет?.. Вы ели миндаль? (*Сурово.*) Пойдите, а вы ели сегодня что-нибудь? Чему вы улыбаетесь?

ЖЕНЯ. Я вспомнила: с утра я раз-говариваю с вами — с четвертым, и вы первый спросили, ела ли я сегодня.

СКУТАРЕВСКИЙ. Надо есть. Это бездарно — не есть.

ЖЕНЯ. У меня нет денег.

СКУТАРЕВСКИЙ. Чуть!.. хлеб можно красть.

ЖЕНЯ. Я не умею.

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну, вы меня про-стите, я разучился говорить с умираю-щими. (*Наобум выставляет из буфета тарелки с едой.*) Вот, видите ли, тут есть телятина. Телятина девушкам — полезно. Есть еще рыба привлекатель-ного цвета. (*Нюхает.*) Рыба хорошо при насморке. Вот, хлеба тут нет, хм... Хлеб — пустышки. Хлеб — это услов-ный социальный термин, абстракция. Коньяк еще... (*В раздумьи.*) Слушайте, девица, тут еще коньяк имеется! (*Она молчит, он ставит бутылку обратно.*) Орехи хотите? Ну, все... Вот, ешьте, шпарьте!

ЖЕНЯ (*схватила кусок рукою, сму-тилась, положила обратно*). Ужасно есть хочется...

СКУТАРЕВСКИЙ. И меня, знаете, подвело. (*Ест, тоже руками.*) Ужасно

взволновался, знаете! Никогда раньше не доводилось девушек подшибать. А все-таки: куда же вы шли... ночью?

ЖЕНЯ. Учиться... Мне путевки не дали в вуз, я и пошла.

СКУТАРЕВСКИЙ. Чему же вы хотите учиться? Учиться можно всему: на кассиршу или, скажем, на акушерку. Дангисты, говорят, тоже учатся.

ЖЕНЯ. Я хочу... как вы!

СКУТАРЕВСКИЙ. Как я? Ха, а это здорово закручено. Слушайте, вы валяйте. Знаете, это вовсе не трудно... то-есть судьба — не трудно. Знаете, ее надо вот так, за холку, да как следует к земле, к земле. Годков этак десять-двенадцать... и ничего, выйдет. (Обрадовался остроумной мысли.) Слушайте, вы и живите тут. Места много, а людей мало. Диван мы перетащим от окна туда. Он (потыкал в него кулаком) — мягко. Живите, дуйте. Имейте только в виду, что я играю на фаготе. И, надо сказать, я неплохо на нем играю, но, как бы это выразиться, надо сперва привыкнуть. Вы чего высматриваете?

ЖЕНЯ. Там вода... в графине?

СКУТАРЕВСКИЙ (охотно). Вам сырой или кипяченой? (Налил.) Ничего, пейте сырую, ничего. Я — сырую. Ну давайте уж знакомиться заодно. Итак, вы — Женя. Фамилии не надо. А моя фамилия — длинная. Иные даже путают, а дураки острят...

ЖЕНЯ (привстав, с восхищением юности). Вы — Скутаревский!.. я по вашей книжке и готовилась. Все было распродано, и в городе этого учебника не было, но я достала, нашла на развале. Ужасно рада была. Несла ее... и весна была... и все мне в лицо заглядывали: такие глаза были у меня. И потом ваш портрет в газете.

СКУТАРЕВСКИЙ. А, помню. Меня с кем-то спутали... какой-то почетный землепашец Волоколамского района. (Женя клонится, голова ее запрокинулась.) Что с вами, Женя? Пойдемте, я положу вас... Женя! (Взял под руку, увел к себе. Через минуту он выбежал и стал рыться в ящиках буфета, раскидывая по полу столовое тряпье.)

13

АННА ЕВГРАФОВНА (вошла на шум). Что ты ищешь?

СКУТАРЕВСКИЙ. Простыни!!. Всегда ты их запикиваешь на самое дно...

АННА ЕВГРАФОВНА. Зачем тебе простыни? (Заметила на диване мокрые туфли и плащ на полу.) Чье это?

СКУТАРЕВСКИЙ (несколько смущенно). Я же объясняю тебе: я изувечил человека на шоссе. Машину занесло и эдак, наотмашь. Э, чорт! Наволочки чистые где?

АННА ЕВГРАФОВНА. Ты же скатерть захватил. погоди, Сергей, это же столовое белье. (Тот уже умчался.) Что с тобой? Он с ума сошел!

14

(Петрыгин и доктор.)

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Анна, кто вызывал врача? (Скутаревскому.) А, здравствуй, родня, здравствуй, советский Фарадей, здравствуй, академик!

СКУТАРЕВСКИЙ (вместо приветствия). Да-да. Пожалуйста сюда, доктор. Проходите здесь, мимо истукана...

(Тот проходит к Жене, озираясь на вещи и почти расшаркиваясь перед каждой из них.)

15

АННА ЕВГРАФОВНА. Пьер, что это значит? Он привез его сюда. Но ведь здесь не лазарет, чтобы давленных людей возить. Посмотри, вся обивка испорчена. Какие-то опорки!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Успокойся, сестра. В этом мире все к лучшему, а необыкновенности случаются даже с извозчиками.

АННА ЕВГРАФОВНА. Да, но он же не извозчик!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (раздражительно). Э, да погоди же...

(Оба слушают. В открытую дверь слышна реплика врача.)

ДОКТОР. Ну-ка, приподымите за талию, так. Ну и вот! Была бы корь, бы-

ла бы и сыпь, но сыпи нету, нету сыпи. Великолепная грудь и совершенно розовые соски, розовые. И живот, обратите внимание, прекрасный, нерожалый живот...

АННА ЕВГРАФОВНА (как сомнамбула, идет туда и вдруг очень смешно вылетает оттуда). Петр, он девушку с собой привез.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Успокойся, девушек не бывает.

АННА ЕВГРАФОВНА (суматошливо). Он ее положил на скатерть. Она вся в сыпи. Ей что-то собираются вспрыскивать. Он надел на нее мою пижаму. Петр!!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ну?..

АННА ЕВГРАФОВНА. Лучшую нашу свадебную скатерть!

## 16

ДУНЯША. Чай можно убирать, Анна Евграфовна?

АННА ЕВГРАФОВНА. Уйдите!.. Петр, это — конец, который мне всегда снился. Но ведь выгнать меня он не может? У тебя есть знакомый юриконсульт? Нет, я буду звонить в милицию...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Не глупи, Анна: потухшие вулканы извергают лишь копать да грязь.

АННА ЕВГРАФОВНА. Да, но Бобович женился на молоденькой... (чуть не плача) и у него дети.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ерунда, дети не от него.

АННА ЕВГРАФОВНА. Я пойду, я скажу ему сама... (На полдороге встречается с доктором, который вышел в сопровождении Скутаревского.)

## 17

ДОКТОР. Вы зря так волнуетесь, абсолютно никаких увечий, никаких. Обычный грипп, плюс длительное недоедание. Э, да у вас прямо музей, как в довоенное время. (Анне Евграфовне.) Итак, прежде всего почистить желудок. Слабительное, и уж последите сами, желудок. (Скутаревскому.) И потом раздеть, раздеть и в кровать. Способ упо-

требления прочтете на рецепте. Приятно было познакомиться! Всегда рад... (У картины.) Очаровательный сюжет! (Ушел.)

## 18

СКУТАРЕВСКИЙ. Дуняша, будьте любезны, возьмите рецепт и немедленно в аптеку.

АННА ЕВГРАФОВНА. Дуняша, вы не пойдете в аптеку.

СКУТАРЕВСКИЙ. Анна, это плоско и жестоко. Домашние дела она успеет потом. (Он стесняется Петрыгина.) Ступайте же, Дуняша, пожалуйста!

АННА ЕВГРАФОВНА. Не дави мне ногу!.. Дуняша, я рассчитаю вас. Остановитесь, Дуняша! (Ушла вслед за горничной.)

## 19

(Скутаревский расстроен, Петрыгин на блюдет его.)

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Вы напрасно смущаетесь меня. Я человек свой, бывалый. Я однажды видел даже, как муж жену зарезал. Ужасно смешно!

СКУТАРЕВСКИЙ. Они меня вышибают из колеи, эти семейные радости. Не бросать же было сшибленного человека на шоссе. (Значительно повисив тон.) Разве я ребенка обокрал или спрелюбодействовал, как ливрейный хам, под каретой у барина?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Чего ты кричишь? Я же и говорю: не стесняйтесь. (Пауза.) И хорошенькая?

СКУТАРЕВСКИЙ. Я не разглядел, ночь ведь, темно...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Я тебя понял. Остатнюю порцию жизни надо всегда покрепче прожевать. Второй раз не подадут. И я завидую тебе. В тебе, знаешь, есть что-то самецкое. Ты — как зверь. У тебя, наверно, пахучие волосатые подмышки. Такие нравятся женщинам.

СКУТАРЕВСКИЙ. Перестань, Петр Евграфович. Ерничества твоего не терплю.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ (заглядывая в комнату, где Женя). Это у меня от старости и зависти, друг мой. Ты еще

сохранил ту ярость, на которую, как на звонкую монету, мы покупаем наши радости. А мой кошелек пуст, и ни грошика в нем. Сижу на диете, спать ложусь засветло, жру овощи, и тело мое такое, точно жидким мылом меня накачали. Плоть свою ненавижу, и этот мешок, в котором душа и тонны мертвого сахара... вместе!

**СКУТАРЕВСКИЙ** (*отгаскивая его от двери*). Да, кстати, как твой сахар?

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Лечусь пока. (*Взглянул на часы*.) Ну, бросим брехню и давай о деле. Ты мне звонил? Зря ты по телефону о таких вещах.

**СКУТАРЕВСКИЙ**. Да вот. Я прошу тебя оставить сына моего, Арсения, в стороне от твоих предприятий. Я ничего не знаю... но пойми меня.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Не нравится? А ты посеки, посеки молодого человека. Головку между колен да этак, веничком...

## 20

**ДУНЯША**. Вот аспирин, Сергей Андреевич. Я соседскую кухарку послала,

**СКУТАРЕВСКИЙ**. Прекрасно. Налейте воды и отнесите... не откажите в любезности!

**ДУНЯША**. Вы уже сами. Хозяйка сидит. (*Кладет на стол и уходит*.)

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Не стесняйся, браток, иди!

## 21

**АРСЕНИЙ**. Здравствуй, отец!

**СКУТАРЕВСКИЙ**. Да, привет тебе, Арсений. А ты похудел... и выпил, вижу. Я не видал тебя целый месяц. (*Взял в руку его голову, взглянул и тотчас отвел глаза*.) Ты не захватил ли случайно моей тетрадки? И вещь-то важная, да и просто обидно. Не ставь же солдата с ружьем у себя на квартире!

**АРСЕНИЙ**. Я? Станный вопрос, отец. Она найдется!

**СКУТАРЕВСКИЙ**. Ну, спасибо. Я тебе верю. Понимаешь, я как-то запутался в людях. Чужое кругом, недобрая, нечистая шпана. (*Ушел и задернул за собой стеганую занавеску*.)

## 22

**АРСЕНИЙ**. Дядя, это невыносимо — отец! (*Он произнес это слово с ненавистью*.)

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. А ты его застрели.

**АРСЕНИЙ**. Женщину в семью! Для этого есть номера, семейные бани, лавочки на бульваре, наконец...

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ** (*учительно*). Не заглядывай никогда в кровать отца своего!.. И потом, зачем же так громко? Не надо осориться с отцом. Отца любить надо.

**АРСЕНИЙ** (*недобро*). Я его люблю. (*Достал коньяк, налил две рюмки*.)

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Мне неполную. Ты меня щади. Да и тебе не много ли? (*Выпили*.) Ну, как дела?

**АРСЕНИЙ**. Дуняша, лимона нет?

**ДУНЯША**. Последний вчера изрезали.

**АРСЕНИЙ**. Тогда дайте огурец, соленый... простой, босяцкий огурец. (*Она ушла*.) Он собирается опротестовать мою постройку.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Пустяки, он все-таки отец. Крокодил, и тот, по слухам, детей своих лижет. Нет, нет, мне не наливай!

**АРСЕНИЙ**. Мне как-то холодно и пусто, точно я уже умер, и вот (*широкий жест обо всем, что вокруг*) от незримого огня блуждающие тени. Я теперь сомневаюсь уже во всем.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Сомневайся, это ничего. Всякая зрелость начинается с сомнения. Кстати, насчет отца... Ты хотел познакомить меня с его работой. О, этот человек такое может придумать, что... (*Запнулся*.) Я слышал, ты уже достал его тетрадку?

**АРСЕНИЙ**. Да.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ**. Ну, налей тогда и мне. Зрелость начинается с сомнения и мужества, милый. (*Выпил, напевает из Моцарта о «мальчике нежном, красивом и влюбленном»*.) Итак, за зрелость твою! (*Равнодушно*.) Она при тебе? Я верну ее тебе через день. (*Тот молчит*.) Не созрело? Я не тороплю, но... если ее найдут у тебя... ты понимаешь? Покажи хоть, чучело! (*Тот*

молчит.) Хорошо, ты принесешь ее ко мне завтра.

*(Странный гугнивый звук. Петрыгин прислушивается, придерживая за руку Арсения.)*

**АРСЕНИЙ.** Это директор высоко-частотного института профессор Скутаревский упражняется на своей деревянной трубе.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Постой, это занятно!

*(Он подошел к портьерке, отдернул ее: звук громче. Появляется жена и тоже слушает. В двери — Дуняша с огурцом на тарелке и шофер, тоже слушают.)*

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Ого, спираль какую сделал!

**АРСЕНИЙ.** Он перекладывает на музыку свой очередной доклад в Тяжпроме!

*(Музыка продолжается, все благодушно и снисходительно улыбаются. Внезапно грохот и шаги, домохозяды расступаются. Выскакивает Скутаревский, волоча за собой портрет в тяжелой золоченой раме. Дуняша и шофер исчезают.)*

## 23

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(в бешенстве, постукивая портретом в пол).* Что это, Анна?.. что это?

**АННА ЕВГРАФОВНА** *(потерянно).* Это портрет Франциска Первого... брата Маргариты Наваррской. Осип Бениславич говорил, что это уже после Павии и альказарского пленения. В Ключи висит только копия этого. *(Скутаревский молчит, весь раскачиваясь.)* Я боюсь тебя, ты страшен...

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я же просил тебя не трогать моих стен... стен не трогать!

**АННА ЕВГРАФОВНА.** Я в подарок тебе хотела...

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Погоди, погоди, но ведь это же Осип твой и есть. Ну да, и нос такой же, как дверная ручка, витой. Анна, ведь это же глумление!.. Портрет Осипа мне...

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Ну, приди же в себя, друг старый...

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Дайте мне жить, Анна!

## 24

*(В дверь, волоча за собой внушительный и закутанный в газеты предмет, спиною вваливается Штруф. Все молчат. Он сдерживает с себя шляпу, приветственно машет ею и блаженно утирает пот с лица.)*

**ШТРУФ.** Фу, еле доволок. Ну кто же живет на третьем этаже!

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(очень тихо).* Что у вас там?

**ШТРУФ.** Настоящие латы герцога Алансонского! По преданию, в битве при Грюнвальде, в тысяча четыреста десятом году... и даже дырочка осталась над самым сердцем, обратите внимание! *(Анне Евграфовне.)* Слушайте, мадам, с этажеркой не удалось!

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(глухо).* Не великоват на меня... костюмчик?

**ШТРУФ** *(весело).* Помилуйте, пятьдесят девятый номер, примерить можно. Такому износу нет!

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(про портрет).* А это... вы?

**ШТРУФ.** А что, похож? Я уж и сам опасался. Родственник не родственник, а карточки хлебной могут за сходство лишить.

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(кричит).* Такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью... а вам уголь грузить. Уголь грузить некому, а вы битых королей таскаете вразнос!

**ШТРУФ.** Помилуйте, но, между нами говоря, я тоже человек!

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Вон!

З а н а в е с.

## Картина вторая

*Прихожая у Скутаревских. Вешалка гнется от чужих пальто. Черимов и Анна Евграфовна.*

## 1

**ЧЕРИМОВ.** Вы все-таки меня не узнаете. Я — Черимов.

**АННА ЕВГРАФОВНА.** Простите, у меня ужасная память на лица,

ЧЕРИМОВ. Я был оборванный тогда, очень проголодавшийся и подметки к телу своему прикреплял полевым телефонным проводом.

АННА ЕВГРАФОВНА (*чопорно*). Сергей Андреич вообще любит вводить в свой дом всякие... персонажи. Мы уже привыкли.

ЧЕРИМОВ. Нет, меня к вам привел Арсений, и это было десять лет назад.

АННА ЕВГРАФОВНА (*смущаясь и вскидывая пенсне*). Вы товарищ Арсения по фронту? Входите же, раздевайтесь. У него как-раз гости, и он будет рад.

(*Мирно беседуя, они идут по квартире. Все громче танцевальная музыка.*)

АННА ЕВГРАФОВНА. А вы очень изменились. И, я бы даже сказала, поправились.

ЧЕРИМОВ. Ну, вы преувеличиваете!

АННА ЕВГРАФОВНА. Нет, правда, вы выглядите совсем прилично, совсем... Я сейчас скажу Арсению. Присядьте.

ЧЕРИМОВ. Благодарю вас, я не устал.

АННА ЕВГРАФОВНА. Но присядьте же, я прошу вас.

ЧЕРИМОВ. А у вас ящики все заперты?

АННА ЕВГРАФОВНА (*теряясь*). Почему вы... так?

ЧЕРИМОВ. А помните, как вы прятали от меня серебряные ложки?

АННА ЕВГРАФОВНА. Не будьте жестоки к старости... (*Ушла.*)

## 2

(*Вплыла и снова исчезла танцующая пара. Вбежал Арсений, смотрит подозрительно и хмуро.*)

АРСЕНИЙ. Здравствуйте...

ЧЕРИМОВ. Здравствуйте, товарищи партизаны!

АРСЕНИЙ (*неуверенно*). Мать сказала мне... это ты? Но как же так, а?.. откуда? Садись, садись, друг... Вот, даже сердце забилось. И седища на виске! Ну, кто же ты теперь, рассказывай! Ты ведь в оперу собирался, в артисты...

ЧЕРИМОВ. Голос у меня оказался, так сказать, самородный... и мне ничего не оставалось, кроме как пойти в науку. Разве Сергей Андреич не рассказывал тебе?

АРСЕНИЙ. Мы редко видимся с ним. Но, позволь, значит, ты и есть тот самый, заместитель отца по институту? Отлично! Но как же так случилось, постой! Ты же стекольщик... ты бутылки делал!

ЧЕРИМОВ. Вот, подучился.

АРСЕНИЙ. Но ты молодец совсем... такой скачок. Что же, ты по делу ко мне или просто так, по дружбе?

ЧЕРИМОВ. Я думаю, что мы покончим наше дело дружески. Дело совсем простое. Видишь ли, у Сергея Андреича завалилась куда-то тетрадка с расчетами его аппаратуры. Да ты наверно видал, синяя такая, в палец толщиной. Ты ведь заходишь в кабинет к отцу?

АРСЕНИЙ. Как странно ты это говоришь, Николай.

ЧЕРИМОВ. Понимаешь, там на обороте был записан адрес одной фирмы. Три дня бьемся, не можем восстановить. Сделай услугу, спиши и дай мне на булавке!

АРСЕНИЙ. Ты, кажется, меня подозреваешь!

ЧЕРИМОВ. Глупости, я верю тебе. Но ты же сам понимаешь: адрес фирмы — это важная вещь!

АРСЕНИЙ. Конечно, конечно. Что ж, давай выпьем, старый друг! Сколько же лет прошло с тех пор, как мы с тобой вернулись?

ЧЕРИМОВ. Десять, товарищ. Чего у тебя руки-то трясутся? На скатерть льешь, орясина!

АРСЕНИЙ. Десять, это много. И женат?

ЧЕРИМОВ. Нет, брат, некогда было.

АРСЕНИЙ. Но уж наверно в партии?

ЧЕРИМОВ. А ты наверно нет?

(*Вокруг них кружатся пары.*)

АРСЕНИЙ. А ты самурай совсем. Бритый, подтянутый, помощник самого Скутаревского, член железнейшей партии. А я вот полысел, в дядю пошел. Слушай, а мы даже не обнялись при встрече. А вместе ворон-то жрали в

тайге. Это потому, что обручи железные на тебе, я вижу их, вижу!

ЧЕРИМОВ. Нет, почему же, я готов. *(Продолжительное об'ятие.)* Ну, ладно, ладно... пусти меня. А ты не изменился. У тебя и раньше бывало не без истерички. Я к тебе, понимаешь, давно собирался, но дела все, а потом эта история с тетрадкой... *(Про танцующих.)* Слушай, а в Европе уже перестают танцевать эту... притирку.

АРСЕНИЙ. Ты давно был за границей?

ЧЕРИМОВ. В прошлом году. Я ездил с твоим отцом на конгресс энергетиков. *(Перестали танцевать. Все едят у стола, и Черимов с любопытством глядит на это кормление арсеневых гостей.)* Жуют как, прислушайся...

## 3

*(К Черимову подлетела неопределенная личность в широчайших брюках и с неубедительным лицом.)*

ТАМАДА. Я — тамада, что в переводе означает распорядитель пира.

АРСЕНИЙ. Пошел вон!

*(Личность бессловесно откатилась в сторону.)*

## 4

*(В дверях Скутаревский со свертком.)*  
СКУТАРЕВСКИЙ *(шутливым баском)*. Тут принимают гостей?

ГОСТИ *(на разные голоса, растерянно)*. Просим, просим.

СКУТАРЕВСКИЙ. Не нарушу?.. *(Кладет сверток на стол.)* Это мой пай. Ну, чего же вы? Вы веселитесь, прошу вас!

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГОСТЬ. Мы веселимся.

СКУТАРЕВСКИЙ. А я, знаете, соблазнился, зашел студенческие годы вспомнить, попеть с молодежью, попить...

*(Неловкое молчание.)*

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГОСТЬ *(робко)*. Это очень хорошо.

СКУТАРЕВСКИЙ. Я уж присяду, если позволите.

ГОЛОСА. Просим, просим...

*(И отдельно от всех произносит неопределенный гость: «Садитесь!»)*

## 5

ТАМАДА *(слегка касаясь плеча Скутаревского)*. Я — тамада, что в переводе обозначает распорядитель пира.

СКУТАРЕВСКИЙ *(привстав, шутливо)*. Чрезвычайно польщен. Профессор Скутаревский. Это вроде фокусника, по электричеству.

*(Все немножко посмеялись.)*

ТАМАДА *(вытаскивая бутылку из кармана брюк)*. Придется выпить.

СКУТАРЕВСКИЙ. Но ведь, по правде-то, я и не пью совсем. Разве уж по-студенчески?

ТАМАДА. Во, по-студенчески... Так! Теперь вторую. Догнать и перегнать!

СКУТАРЕВСКИЙ. Но ведь мне запрещено, чудак вы! *(Подмигивает сыну, который щурится на него и не вмешивается.)* Разве уж с медицинской целью?

ТАМАДА. Во, с медицинской целью. Так! Теперь третью. Так оно и пойдет...

СКУТАРЕВСКИЙ. Послушайте, вы мне льете на штаны. Я не буду больше.

ТАМАДА. Яман. Я говорю яман, что в переводе означает плохо.

СКУТАРЕВСКИЙ *(озираясь на обступивших его молодых людей)*. Слушайте, это же бестактно.

ТАМАДА. Настька, обольсти!

*(Девушка, качаясь в бедрах, направляется к Скутаревскому. Есть в ней какая-то мягкая, тленная вкрадчивость.)*

ЧЕРИМОВ. Я ему сейчас в глобус дам, этому...

АРСЕНИЙ. Погоди, я никогда не видал этого человека пьяным. *(Кричит.)* Настька, с темпераментом. Это тебе не общественная нагрузка!

НАСТЯ *(сажаясь на высокие колени Скутаревского)*. Ну же, миленький, все равно...

АРСЕНИЙ. Отец, Женьке скажу!

НАСТЯ. Пейте, старичок, милый. *(Молодому человеку в пестром джем-*

*перс.) Эй, поэт, как там у тебя? (Читает вялым и падающим голосом.)*

Женщины наши гаснут,  
ботинки наши изношены,  
поэты расстреляны,  
знамена истлели...

Пейте, бородатенький, я поцелую вас...

*(Она его целует, хохот и визг, всем очень нравится.)*

ТАМАДА. Настыка, довольно, он готов. Итак, третью!

СКУТАРЕВСКИЙ *(отпихивая Настю)*. Пойдите, я вас припоминаю, молодой человек. Пустите меня, девочка! Я вспомнил, я провалил вас этой весной на испытаниях. Ну да, я же помню эти брюки... *(Резко и властно.)* А ну, читайте закон об электрическом смещении, ну! Полное смещение, ну... сквозь любую замкнутую поверхность в направлении изнутри наружу... ну, чему равно? *(Хохоча.)* Арап вы, для вас электричество — это если сургуч и штаны потереть. Идите прочь, вы мне вполне противны. *(Тот отскочил.)* Стыдно вам, пьяненькая девочка! *(Она всхлинула и отошла.)* Теперь вы. Это ваши стишки?

ПОЭТ *(почтительно)*. Да... понравилось вам? Там, дальше, больше ритма... *(Читает еще.)*

Стройтесь, батальоны мертвых...  
Играй поход, барабанщик...  
Здравствуй, мертвое солнце  
полунощной стороны!..

СКУТАРЕВСКИЙ. И давно пишете?

ПОЭТ. Давно-с. Вам понравилось?

СКУТАРЕВСКИЙ *(он что-то жует)*.

Что же мало пьете? Такое пишете, а не пьете совсем.

ПОЭТ. Я пью-с.

СКУТАРЕВСКИЙ. Мало, по таким стихам мало. Онанизмом занимаетесь? *(Тот потерянно молчит.)* Непременно занимайтесь, это тоже к лицу вам. *(Пауза. Он идет через всю комнату к сыну.)* Ну, здравствуйте, сын мой, Гамлет. *(По дороге жмет руку Черимову.)* Вы давно тут?

ЧЕРИМОВ *(неохотно)*. Вот, пришел друга навестить... вспомнить тех, которые живы и которые умерли.

АРСЕНИЙ. Пришел взглянуть на меня в моем болоте. У него бумажник пропал... пришел спросить, не я ли его смыл.

СКУТАРЕВСКИЙ. Откуда ты их набрал, Сенник? Ведь это все фашисты, сутенеры... у них финки в карманах.

АРСЕНИЙ. И девушка не нравится? Женька лучше? Настыка! *(Та поднялась, как подхлестнутая.)* Ты не понравилась отцу, исчезни...

СКУТАРЕВСКИЙ. Не пей больше, Арсений... хватит с тебя.

ЧЕРИМОВ. И правда, Арсений. Ты свой план выполнил.

АРСЕНИЙ. Молчи!.. я за тебя пью, за старого тебя, за Кольку, который весь был, как костер, в красной рубашке, всклокоченный и буйный. Я не знаю нового Черимова. Я пью за наш вчерашний день, который лежит там, на свалке, как заколотый друг!.. За романтику юной страны, от которой отделяет пустыня, за самую дерзость юности нашей, за наш отряд, за хозяина нашего костра Гараску, которого... вот мы сидим давно, а ты еще не вспомнил ни разу. Пей со мной!

ЧЕРИМОВ. Постой, ты нагородил, а надо разобраться. Во-первых, какая там романтика! В отряде ты пробыл всего три месяца, из них месяц болел, — правда? И отрядишко был по начальнику. Помнишь, как мы удирали от атамана? И, наконец, мы стоим только за ту романтику, которую я делаю сам и которая ведет меня вперед.

АРСЕНИЙ. Опять энтузиастическая истерика!

ЧЕРИМОВ. Да ты, Арсений, совсем дохлый стал. Слушай, товарищ. Про Фомку Кунаева слышал? Он едет начальником Камстроя. Давай карандаш и бумагу, я напишу тебе записку, и езжай с ним. Ты увидишь там удивительное племя — ударников, которые с весельем отдают лучшее свое, молодость, нашему будущему. Они сажают деревья, которые... о, как они прошумят потом. Ты заглянешь в домну, где плавится зав-

грашний день мира. Езжай, дубина, ну, прошу тебя, езжай, а?

АРСЕНИЙ (*Неопределенному гостю, который слушает, выгянув шею*). Уйди, ты знаешь, кто это? Это — страшный человек... тень, призрак, совесть... Это Черимов. (*Черимову*.) Ну, что же, рад ты видеть меня, пить со мной?

ЧЕРИМОВ. Нет, пока мне не надо пить с тобой, Арсений.

СКУТАРЕВСКИЙ. Да вам и не за что пить-то.

АРСЕНИЙ. Вы сговорились, вас двое, и он крепко купил тебя, отец. Не на деньги, чушь: Скутаревские не продаются. Он тебя на неразменную монету, на доверие свое купил, комиссар

(*Опять начался танец. Одна пара наткнулась на Черимова.*)

АРСЕНИЙ (*танцующим*). Эй, не хамить!!

ЧЕРИМОВ. Я, кажется, не во-время к тебе... у тебя гости.

АРСЕНИЙ. Сиди. Хочешь, я разгоню этот сброд, а?.. хочешь? (*Музыка перестала играть.*) Хочешь? (*Пауза, все молчит.*) Нет, милый, я не разгоню их. Я отвык от тебя. Мне надоело нравиться тебе, Черимов!

(*Снова музыка и танец.*)

СКУТАРЕВСКИЙ. Ты же не видал его десять лет и видишь впервые!

АРСЕНИЙ. Он понял, о чем я говорю.

ЧЕРИМОВ. Да, я понял... и мне хотелось бы, чтобы и вы поняли это, Сергей Андреич.

АРСЕНИЙ. Вот!.. ты же не ко мне пришел. Ты по душу его пришел! (*Отцу*.) И ты побежал за ним в одышке. Ты уже стал оплот советской власти, кремлевский Фарадей, научный вождь, личность. Тебе Ленин институт построил, когда по всей стране полз голодный тиф. Тебя берегут, ты вроде реликвии. Тебя знают наркомы, трепещут студенты и уважают дворники. Скоро ты станешь говорить цитатами. Ты сидишь в своей башне, как маг, и пускаешь в воздух свои вольты и киловатты, чтоб рассечь это тягучее пространство, эфемерность, небытие. Ты

тратишь его деньги, страшные деньги, и ему лестно, что именно ты тратишь их. Ты критикуешь то, чего не знаешь. А ведь ты никогда не строил котлов..

СКУТАРЕВСКИЙ. Станция твоя скверна. Простите, Черимов, что я привожу не те доводы... Но это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о чудовищных резервах, которые хуже любой растраты...

АРСЕНИЙ. Дай же кончить!.. Ты вождь, а ты сойди с кожаного кресла своего, которое, как облако, в будни, на мостовую, к нам, в грязь, в разрытые карьеры, в дырявые, вшивые бараки наши... Ты окунись, окунись, и ты увидишь, что нет ничего. Увидишь блуждающие огни олеговых кочевий... и бездомные люди с темными пятнистыми лицами сидят у ночных костров. Старые дома их ты разрушил, а новых еще не построил. Твои глаза лопнут от страха и жалости... Э, стоит ли плавить тонны этой кровавой руды, чтоб выплавить грамм неслыханного, лучезарного твоего металла?.. Может быть, тебе неприятен этот разговор?

СКУТАРЕВСКИЙ. Нет, вали. Ты зубр конечно, Сеник, но ругаешься любопытно. Кстати, я уже послал сегодня свой протест.

АРСЕНИЙ. Донес, значит?.. (*Сел бессильно.*) Ну, давай о чем-нибудь другом. (*Трет висок.*) У меня там, внутри, точно перочинным ножиком скоблят! (*Черимову*.) Ты куда? Поймай...

ЧЕРИМОВ. Я папиросы забыл в пальто.

АРСЕНИЙ. А, возвращайся. (*Отцу*.) Ну, как твоя девушка, выздоравливает?

СКУТАРЕВСКИЙ. Мерси, да.

АРСЕНИЙ. Любишь молоденьких?

СКУТАРЕВСКИЙ. Мне не нравится твой тон, Сеник.

АРСЕНИЙ. Мать куда?.. на пенсию?

СКУТАРЕВСКИЙ. Я... я не понимаю тебя. Ничего же не произошло. Я сшиб ес. Оказалось, она хочет учиться. Я и сам так же... в товарном вагоне уехал в ночь. И, кстати, мне давно нужен был секретарь.

АРСЕНИЙ. Довольно громоздкий способ нанимать секретаря. Зачем же тебе секретарь, папа?

СКУТАРЕВСКИЙ (тихо). Хотя бы затем, чтобы у меня не пропадали секретные документы со стола. (Пауза.) И ты напрасно обидел Черимова. Ты потерял сегодня большого друга, Арсений.

АРСЕНИЙ. Настыка, поищи этого, который сидел тут.

СКУТАРЕВСКИЙ. Он ушел. И этот человек не возвращается. Ну, я пойду. Вот дождру твою семгу и пойду. Я еще не обедал нынче.

НАСТЯ. А его нет нигде...

АРСЕНИЙ. (Так вот где его схватило и загрязло!) Николай... (Скутаревский уходит.) Колька!.. (Кружатся пары. Арсений бежит в прихожую, ищет, возвращается, хватая за лицо то одного, то другого из гостей, всматривается и отталкивает с силой, потому что это не тот.) Черимов, Колька... Эй, перестань, шпана... Коля! (Он вскакивает на окно и глядит вниз, в пролет между домами.)

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ГОСТЬ. Не пора ли и по домам, господа. Скутаревское началось!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### Картина первая

*Проходная комната, и здесь, на диване, лежит выздоравливающая Женя. Вещи сложены в угол, как перед отъездом. Эти стены семейного дома гнусны в обнаженном своем виде. Комната эта — смежная с кабинетом Скутаревского. Там в беспорядке навалены книги, висит большая фотография Милликена, сохнет кактус на окне, торчит какой-то пыльный электрический прибор. На стене — фагот. Черимов и Женя.*

1

ЧЕРИМОВ (сурово). И не говорил, когда вернется?

ЖЕНЯ. Нет.

ЧЕРИМОВ. Такая досада. Который час?

ЖЕНЯ. У нас нет часов. Хозяйка все утащила к себе. Ночью приходит и тащит. Сама у себя крадет.

ЧЕРИМОВ. Как же вы без часов-то?

ЖЕНЯ. А вы взгляните в окно. Там наискосок, на площади, трамвайные часы. Вот мы по ним.

ЧЕРИМОВ. Ладно. (Заглянул в окно.) Десять минут осталось, только доехать.

ЖЕНЯ. Вы мне скажите, я передам ему.

ЧЕРИМОВ. Нет, это неудобно. Так, значит, вы и есть... Все лежите?

ЖЕНЯ. Жара уже нет, но слабость большая. Я сегодня хочу встать.

ЧЕРИМОВ. Это вас Сергей Андреич в секретари хочет?

ЖЕНЯ. Да, он говорил. А что, вы против?

ЧЕРИМОВ. При нем трудно, он рассеянный. У него на-днях одна ответственная тетрадка пропала... между прочим.

ЖЕНЯ. Я не брала тетради. Я когда пришла, она уже пропала.

ЧЕРИМОВ. Нет, я только к слову. Закройтесь, у вас коленка наружу вылезла.

ЖЕНЯ. Мне не холодно!

ЧЕРИМОВ. Так она ж голая у вас!

*Пауза. Женя, пожав плечами, закутывается в плед.*

ЧЕРИМОВ. Вы что же, физкультурница?

ЖЕНЯ. Я бегала на сто метров. У меня только секунда до рекорда.

ЧЕРИМОВ. А не врете?.. И на лыжах ходите?

ЖЕНЯ. Мне трудно на лыжах. У меня ключица сломана, мы на субботнике ящики грузили, и вот...

ЧЕРИМОВ. На субботнике? Которая?

ЖЕНЯ (потянувшись к нему). Вот тут... пощупайте... узелок.

ЧЕРИМОВ. Закройтесь, закройте... вы эти штучки бросьте! (Отвернулся.) И куда поехал, не сказал? (Заглянул на трамвайные часы.) Тогда вот что... передайте Сергею Андреичу, что завод доставил наконец ртутники. Понимаете, что это такое?

ЖЕНЯ. Ртутники — это где ртуть, наверно...

ЧЕРИМОВ (*подозрительно*). Вы в самом деле не понимаете или только притворяетесь?

ЖЕНЯ (*приподнимаясь*). Слушайте, а вы чудак. Ничего вам не надо передавать, а просто вы пришли взглянуть на меня... кто я такая! Может, я нарочно и под автотомобиль к нему кинулась, правда? Мне Сергей Андреич рассказывал про вас... и что у вас дядя — банщик, и как вы без штанов к нему пришли. Слушайте, как же это... ведь даже памятники в штанах!

ЧЕРИМОВ. Ну-ну... ес-я я освобожусь, зайду через полчаса. Лежите пока...

## 2

(Женя села, спустила ноги с дивана. Неуверенно цепляясь за стены, пошла к окну, встала на подоконник, открыла форточку. Идет сыпучий декабрьский снег. Холодный ветер колышет ее со рочку.)

ЖЕНЯ (*нараспев, вслушиваясь в слова*). Зима... крестьянин торжествуя... на дровнях обновляет... (*Сзади вошли.*) Дуняша, снегом пахнет, слышите? А у нас теперь... на лыжах... там овраг есть... а в нем следы заячьи... и на закате словно розаны раскиданы... (*Молчание. Женя оглянулась и увидела, что это Анна Евграфовна.*) Что вам?

АННА ЕВГРАФОВНА (*она в кухонном переднике, в валенках и пенсне*). Я жена Сергея Андреича. Я пришла спросить, что сегодня готовить на обед. Я ходила на рынок и не могла купить мяса на голубцы, которые любит Сергей Андреич.

ЖЕНЯ. За что вы обижаете меня... так?

АННА ЕВГРАФОВНА. Не гоните меня, я уже старая, мне будет трудно в жизни. Я умею голубцы и компот...

(Она шагнула к ней навстречу и коснулась ее рукой.)

ЖЕНЯ. Перестаньте... пустите меня, мне холодно.

АННА ЕВГРАФОВНА (*задерживая ее на месте, полуголую*). Я все плачу, все плачу. Так страшно в жизни, так страшно.

ЖЕНЯ. Я же уйду, я не останусь. Я не вичовата, я заболела. Я понимаю: вот, лежу, занимаю чужое место. Я сегодня же скажу, что ухожу. Я вечером сегодня уйду... я уже могу ходить. Пустите же меня! (*Прорвалась, села на диван.*)

АННА ЕВГРАФОВНА. Не смею вас отговаривать, милая девочка... Чем же вы его полонили? (*Горько.*) Хотя, что ж: вон брат говорит — спина у Евы была в волосах, а все же соблазнила Адама. Но я обязана сказать вам все, всю правду. (*С силой.*) Он немислимый человек, он груб, он яростен... Вглядитесь в него: он весь искрится, как щетки на роторе. Я не слыхала от него ласкового слова, даже, когда ходила Сеником...

ЖЕНЯ. Зачем вы мне говорите все это?.. Я же сказала — уйду. Я не могу сейчас, я упаду. У меня круги в глазах и бедра ноют...

АННА ЕВГРАФОВНА (*в запальчивости и отчаянии*). ... у него нет ничего в мире, а только электронные ветры гуляют по пустоте: ни вас, ни меня, ни Сеника! Азот, звезды, лучи, которые идут сквозь все, не оставаясь ни в чем, — это добро или зло? Холодные слова, от них знобит, но я тридцать лет слышу их, я вся закоченела от них, как ледышка...

ЖЕНЯ (*закрыв лицо руками*). Не надо, не надо...

АННА ЕВГРАФОВНА (*все ближе, наступая*). Он бросит вас, как бросает теперь меня... потому что он весь в смятении, удастся или нет его опыт, и сила его показная. Своей работе он приносит в жертву все, этот азиатский человек. Он забывает есть, спать, мыться... Зачем вам нужны чужие об'едки? Вы выйдете за молодого комсомольца, стройного и... (*чуть не плача*) идеологически выдержанного!..

ЖЕНЯ. Не трогайте меня!

АННА ЕВГРАФОВНА (*она страшна сейчас, покидаемая навсегда*). Когда он вдвоем, когда он любит — точно же-

лезными каблуками ходят по телу... Я состарилась с ним на другой день после венца. Пойдемте, пойдемте, я покажу вам нашу кровать...

**ЖЕНЯ** (*жестоко и властно*). Замолчите! Я отказываюсь слушать вашу дерзость. И какая же вы кухарка — в пенсне. Купите очки, я выдам вам денег на покупку... (*Анна Евграфовна пятится к двери.*) Картофель на сегодня готовить... Ступайте!

(*Женя лежит лицом в подушку. Ее плечи вздрагивают. Вошел гобоист с футляром.*)

## 3

**ГОБОИСТ**. Что это все двери у вас нараспашку? А если я вас убью? (*Он очень мужественен и пророчески угрюм.*)

**ЖЕНЯ** (*слабо*). Что вам?

**ГОБОИСТ**. Я музукант из оркестра. На радио играю. Хожу к Сергею Андричу по пятницам. (*Постучал в его дверь.*)

**ЖЕНЯ**. Он скоро вернется.

**ГОБОИСТ**. Вы никак ревете?.. может, зубы? Хотите, я заговорю вам зубы? (*Пауза.*) Что это у вас, точно грабители обдушили.

**ЖЕНЯ**. Что вы говорите?

**ГОБОИСТ**. Я про стены.

**ЖЕНЯ**. Что стены?..

**ГОБОИСТ**. Обдушили, говорю, стены. Зазорно как-то!

**ЖЕНЯ**. Это хозяйка, она все утащила к себе. Она боится, что я украду вещи.

**ГОБОИСТ**. А дверей не запирает. Украсть всякий может, ежели лежит с руки.

## 4

(*Анна Евграфовна вошла с оценщиком.*)

**АННА ЕВГРАФОВНА**. Входите, прошу вас. Часть вещей тут, а другую часть я вам после покажу.

**ОЦЕНЩИК**. Прекрасно, но большая часть вещей у вас — имитация. Это все утиль, мадам... и утиль-то какой-то из згробного мира. Каракулевого сака на средний рост у вас в продаже не имеет-

ся? (*Принюхался.*) А, у вас тут большие?

**АННА ЕВГРАФОВНА**. Не обращайтесь внимания. Нас уплотнили. Я потому и продаю, что вещи могут пропадать, вы понимаете? Вот, это Репин.

**ОЦЕНЩИК**. Мадам, это не Репин.

**АННА ЕВГРАФОВНА**. Что вы, гут и подпись есть.

**ОЦЕНЩИК**. Подписать можно что угодно, где угодно и когда угодно. Это яичница, мадам, сделанная в апоплектическом состоянии.

**АННА ЕВГРАФОВНА** (*поджав губы*). Хорошо. А вот, купите. Это мавританское блюдо. (*Тоном Штруфа.*) Знаете, когда христиане потеснили арабов из Испании, им запрещено было употребление золотой посуды, маврам, и они изобрели тогда...

**ОЦЕНЩИК**. Я все это читал, мадам, и даже сам сочинял: профессия такая. Сколько вы хотите за эту кривую, неудобную, разрисованную тарелку?

**АННА ЕВГРАФОВНА**. С этой вещью у меня связано столько воспоминаний...

**ОЦЕНЩИК**. Магазин платит за вещь, мадам, а не за воспоминания.

**АННА ЕВГРАФОВНА** (*заметно струсив*). Двести.

**ОЦЕНЩИК** (*с наглой ласковостью*). Вам это пригодится самой. Придут гости, вы положите сюда кисть винограда на रुपь сорок... будет нарядно, недорого и благородно.

**АННА ЕВГРАФОВНА**. А курильницу династии Мингов купите? Великолепный Китай... у вас немедленно перекупят иностранцы и даже на валюту!

**ОЦЕНЩИК**. Следует взглянуть. (*Смотрит в лупу.*) Это берлинская пельница, мадам. Ходишь, знаете, и столько дерьма видишь!

**АННА ЕВГРАФОВНА**. Не дерзите, я буду жаловаться.

**ОЦЕНЩИК** (*перебирая всякую древнюю труху*). Вы же зря занимаете мое время. Давайте каракулевый сак на средний рост, и мы поладим!

**АННА ЕВГРАФОВНА**. Вот еще диван. (*На нем и лежит Женя.*) Поздний ампир, но прекрасной волнистой березы. Взгляните!

ОЦЕНЩИК. Но здесь, насколько я понимаю, человек лежит.

АННА ЕВГРАФОВНА. Но я же вам не человека, а вещь продаю.

ОЦЕНЩИК. Мадам, магазин не покупает вещь из-под живого человека, потому что это уже изуверство. Равным образом он не может, например, приобрести брюки с этого гражданина, куда он в них вдет.

ГОБОИСТ. Извините, я брюк не продаю... *(Пробормотал и отошел.)*

ОЦЕНЩИК. Уберите человека, и я готов.

АННА ЕВГРАФОВНА *(значительно)*. Хорошо, мы это сделаем потом. *(Гобоисту.)* Вы наследили, надо вытирать ноги, товарищ. *(Оценщику.)* Следуйте пока за мной... *(На пороге столкнулась с Черимовым. Чопорный взаимный поклон, и разошлись.)*

5

ЧЕРИМОВ. Сергей Андрейч все еще не возвращался?

ЖЕНЯ. Нет еще.

ЧЕРИМОВ. Да что это с вами?

ЖЕНЯ. Она диван из-под меня продавала...

ЧЕРИМОВ. Этот? *(Хохочет.)* Это действительно смешно! *(К его смеху присоединяется басистый хохот гобоиста.)* А вы чего надрываетеесь?.. Вы кто, собственно?

ГОБОИСТ. Я — специалист. *(Обижено.)* То-есть я музукант. Хожу к Сергею Андрейчу по пятницам.

ЧЕРИМОВ *(с шутливой почительностью)*. Ах, вы тот самый, из радио-оркестра? Какой же у вас инструмент?

ГОБОИСТ. Деревянный, под названием гобой.

ЧЕРИМОВ. Ну, и как же вы с ним?

ГОБОИСТ. Так, садимся и играем. Тирольские танцы играем, старые германские вальсы, охотничьи песни играем. Гайдна пробовали, эго не удалось.

ЖЕНЯ *(повеселев)*. И хорошо он играет?

ГОБОИСТ. Плохо. По-моему, у него губа узка, настоящего захвата нет. Плохо.

ЧЕРИМОВ. Что же вы, для удовольствия, что ли?

ГОБОИСТ. А жрать надо?.. семье надо жрать? *(Сдержанно.)* Он мне почасно платит... маловато, да брать совместно. Дите ж, а не профессор. На дитю рука не подымается.

ЧЕРИМОВ. А вы знаете, что это знаменитый человек, будущий академик?

ГОБОИСТ. Это бы еще ничего, что академик, а вот играет он плохо. *(Увидя Арсения, кооторый делает вид, что он навеселе.)* Ой...

6

АРСЕНИЙ *(шумно)*. Отца мне!!

ЧЕРИМОВ. Поздоровайся сперва, нас тут трое.

ГОБОИСТ. Ничего, ничего...

АРСЕНИЙ. Отца дайте... где он? *(Пробует приподнять Черимова с места.)* Ну-ка привстань. Может, ты уже сидишь на нем?

ЧЕРИМОВ *(почти благодушно)*. Ну, зачем пришел?.. принес тетрадку?

АРСЕНИЙ. Ты всерьез? Ай, нехорошо как! Ты, друг... *(Внезапно прорвалось.)* Слушай, Колька!.. Вот ты убежал тогда, и мы не договорили. Завтра мы разойдемся и уже не встретимся никогда. Все падает, пускай. Давай лицо на лицо, чтоб хрустнуло. Давай, надломим ее, чахоточную нашу дружбу!

ЧЕРИМОВ. Отдай тетрадку-то!

АРСЕНИЙ *(зло)*. Рано. Ну, начали... Как тебе нравится Скутаревский?

ЧЕРИМОВ. Сказать правду, отец мне нравится больше сына.

АРСЕНИЙ. На нем шерсть богаче. На мне какая шкура: поживиться нечем! А такой стоит своего заряда... стоит этого института, которого штука-турка замешана на крови...

ЧЕРИМОВ. Ты что, задираешь меня? Шел бы ты спать, милый, от греха.

АРСЕНИЙ. ... И, вот, ты ходишь, садишься, как снайпер, у амбразуры и видишь все... и все незаметно творится по твоей воле. Ты ходишь, как кредитор, чтобы деньги твои че пропали.

ЧЕРИМОВ. Да, ты созрел. Но эго же зависть к отцу, скверная зависть. Но в самой зависти заключено признание качеств, которых в тебе нет. И потом, как тебе не стыдно вслух — такое!..

ГОБОИСТ. Я не слышу, я ничего не слышу.

ЧЕРИМОВ. ....Твой отец идет большой дорогой, и политической, и научной. Но он не умеет ничего, кроме своих электронов. И вот на его пути, как шлагбаумы, — старые привычки, жалость к сыну, ветхая семья, твой дядя...

АРСЕНИЙ. ... Я сам!

ЧЕРИМОВ. Я уже помянул тебя. Но ты не опасен. Мы просто сомнем тебя. Мы уберем с его дороги все, что мешает живому преодолеть мертвое.

АРСЕНИЙ (*кивая на Женю, которая ждалась и молчит*). И девочочку благословляешь? Что же, мораль — это классовая выгода. А, может, ты же и подсунул ему этот динамитный патрон?

ЧЕРИМОВ (*ударяет его по щеке*). Вот!

(*Пауза. Гобоист погирает щеку, точно это он получил пощечину.*)

ГОБОИСТ. Может, мне уйти?

АРСЕНИЙ. Ну, спасибо. Ты мне помог. Что ж, лови папашку!

ЧЕРИМОВ. У меня такое предчувствие, что я в скорости повторю тебе это удовольствие.

## 7

СКУТАРЕВСКИЙ (*еще с порога*). Привет... Что с ним? Что он красный такой? (*Все молчат. Он Жене.*) Лежите, лежите... не грызите ногтей.

ЖЕНЯ (*торопливо одеваясь под одеялом*). Я хотела сказать... хотела сказать... я ухожу нынче. У меня тетка...

СКУТАРЕВСКИЙ. Адрес?

ЖЕНЯ. Улица... параллельная той... вот где мы с вами ехали...

СКУТАРЕВСКИЙ. Номер дома?

ЖЕНЯ. Не то тридцать семь... нет, семьдесят три!

СКУТАРЕВСКИЙ. Там всего сорок, в сороковом Ханшин живет. (*Тихо.*) Куда вы пойдете, вы же умрете: зима.

Мне Дуняша все рассказала. Я хотел тихо, но придется громко...

## 8

АННА ЕВГРАФОВНА. Сергей, можно тебя на минутку? Я принесла тебе желудочные капли. Ты пренебрегаешь своим здоровьем. В твоём возрасте это... (*Капает в рюмку, считает вслух, все ждут конца этой безрассудной вылазки.*) Ну, ничего, пускай будет двадцать две. Пей, Сережа, сию же минуту!

СКУТАРЕВСКИЙ. Я здоров, уйди, прошу тебя.

ЖЕНЯ. Ну выпейте, Сергей Андреич... что вам стоит!

СКУТАРЕВСКИЙ. Не вмешивайтесь, Женя. (*Анне.*) Ты же видишь, я занят, Анна.

АННА ЕВГРАФОВНА (*истерически*). Чем же ты занят, Сережа? Перестраиваешься или настраиваешься все?.. Но я из этой квартиры не уйду, не уйду... я здесь тридцать лет живу... я сына на этом диване родила, а ты... ты...

ЖЕНЯ (*неторопливо взяла ее под руку*). Не надо так, ведь все смотрят на вас. Пойдемте, я отведу вас. Этим не стоит шутить: ведь он... он убьет вас.. (*Обернувшись к гобоисту, которому все это очень понравилось.*) Зачем вы смеетесь... разве смешно?

АННА ЕВГРАФОВНА. Все смеются... все кругом смеются. Старость, старость моя!

(*Пауза, пока Женя не вернулась.*)

ЧЕРИМОВ (*тихо*). Bravo, Женя, bravo.

## 9

СКУТАРЕВСКИЙ. Простите нас, Женя, за порядки, которые установились в этом каземате. (*Гобоисту.*) Разве уже пятница?.. давно ждете?

ГОБОИСТ. Уже на три с половиной натекло, Сергей Андреич.

СКУТАРЕВСКИЙ. Плачу. Черимов, завтра вместе со мной ругаться на завод. Шефы! С такими шефами судиться надо.

ЧЕРИМОВ. Ртутники и кенотроны прибыли два часа назад, Сергей Андрейч. *(Отвел в сторону, тихо.)* А теградку-то, знаете, не Ханшин взял.

СКУТАРЕВСКИЙ *(дрогнув.)* ... а кто?

ЧЕРИМОВ. То, что мы узнали, знаете и вы, Сергей Андрейч. Она пропала здесь, а не в институте.

СКУТАРЕВСКИЙ. Такими вещами не шутят, молодой человек. Вы стали проявлять неоправданную резвость!

ГОБОИСТ *(со стороны)*. Четыре с полтиной натекло, Сергей Андрейч.

СКУТАРЕВСКИЙ *(гневно)*. Да, идем. *(Черимову.)* Ну, вы потерпите тут!

*(Они ушли.)*

ЖЕНЯ *(Черимову)*. А вы славный, Черимов... и сильный. Ну ж, будем друзьями. Давайте руку, я не отжужу ее.

10

*(В кабинете у Скутаревского.)*

СКУТАРЕВСКИЙ. Что вы сегодня принесли?

ГОБОИСТ. Вариант «Весны священной». Я сам для гобоя переложил.

СКУТАРЕВСКИЙ. Отлично, еще что?

ГОБОИСТ. И еще одного молодого советского композитора. Дуэт для фугота и гобоя. Незрело, но с задатками. В среднем регистре, Сергей Андрейч.

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну-ка, дайте сюда. *(Читает, отбивая такт рукой.)* Колорит немножко кладбищенский. На чем все-таки с «Весны».

ГОБОИСТ *(ищет ноты и не находит)*. Никак я ее в трамвае забыл. Хотите — верьте, хотите — не верьте, два часа на инструментовку потратил. Шесть пятьдесят, Сергей Андрейч!

СКУТАРЕВСКИЙ. Плачу. Будем это.

ГОБОИСТ. Мерси. Тут, обратите внимание, каденция на целую октаву, а потом аллегро патетико с легким ажурчиком!

СКУТАРЕВСКИЙ. Вы вступаете со второго такта?

*(Начинают играть. Гобоист дирижирует. Музыка их ужасна.)*

ГОБОИСТ. Так, раз, два... Теперь жуайез!

*(Вступает снова, изредка с досадой колотится на партнера.)*

СКУТАРЕВСКИЙ. Погодите, у меня какая-то пакость в мундштук влезла. *(Чистит его.)*

ГОБОИСТ *(про фотографию)*. Это что же, родственник?

СКУТАРЕВСКИЙ. Физик один, американец.

ГОБОИСТ. Чудно, на лицензия похож. Женатый? *(Все это только маска, чтоб сообщить главное.)* Слушайте, ведь он же его по морде трахнул!

СКУТАРЕВСКИЙ. Черимов? *(Вскочил со сжатými кулаками. Потом они опустились. Он снова сел.)*

11

ДУНЯША. Сергей Андрейч, к вам пришли.

СКУТАРЕВСКИЙ. Гнать, я занят. Кто еще там?

ДУНЯША. Этот, ну... гражданин Труп.

ГОБОИСТ *(суеверно)*. Кто-о?

СКУТАРЕВСКИЙ *(мгновенно релась на что-то)*. Это любопытно. А ну, давайте его сюда. *(И, когда послышались знакомые шаркающие шаги—)* Вы ко мне?

12

ШТРУФ *(вошел с огромным псом)*. Я к вам, Сергей Андрейч.

*(Слышен голос Анны Евграфовны: «Зайдите ко мне потом, Осип Бениславич!» И Штруф жметя теперь, слыша этот зов.)*

СКУТАРЕВСКИЙ. Довольно дурацкая повадка ходить по ночам в гости и с дикими зверями.

ШТРУФ. Не опасайтесь, он ручной и с нравом ангела... Я к вам одновременно по четырем сверхсрочным делам

СКУТАРЕВСКИЙ. Ничего не покупаю.

ШТРУФ. Ничего не продаю.

СКУТАРЕВСКИЙ. Входите, чорт возьми. Полкана на гвоздь.

ШТРУФ (намекая на гобоиста). Дело у меня секретное!

СКУТАРЕВСКИЙ. Этот и услышит — не поймет.

ГОБОИСТ. Я схожу кой-куда, Сергей Андреич. Это по коридору налево, узенькая такая?

## 13

ШТРУФ. Раздеваться мне вы не предлагаете, но, может быть, позволите сесть?.. Меня обидеть нетрудно, но я не обижаюсь: отвык. Я же понимаю, что уважать меня — значит не уважать себя. Но вы можете быть уверены, что я не плюну вам в чернильницу, когда вы отвернетесь. Я пришел, во-первых, извиниться. Ту маленькую собачку, которую я обещал вам в минуту слабости, я проел. То-есть, продал, разумеется, но горек мне был этот хлеб, как самое собачье мясо. Я предлагаю вам просто так, даром, этого богатого и умного пса. Оговорюсь: изредка я буду навещать его. Джек, фьюйт!

СКУТАРЕВСКИЙ. Нет, не состоялось.

ШТРУФ. Джек, наз-зад!.. я мог бы какже предложить вам великолепный инструмент. Это предок того самого фагота, который вы держите в руках и которым вы, без сомнения, прославите себя в той же степени, что и наукой! (Сергей Андреич хмуро кладет фагот к себе на койку.) Смею догадываться, что это и есть творение того великолепного месера Афрание дельи Альбонези, каноника, который догадался перегнуть трубку неуклюжей бомхарты пололам и сложить наподобие связки, фаготто. Отсюда и название. Ву компри?

СКУТАРЕВСКИЙ. Смахните, у вас клоп на воротнике.

ШТРУФ (взяв в пальцы, которых не разжимает до конца сцены). Нет, это просто черный хлеб. И так?

СКУТАРЕВСКИЙ. Не вышло. Чему вы улыбаетесь?

ШТРУФ. А вы не верьте. Помните у Мотаннабия: «Пусть тебя не вводит в заблуждение улыбающийся рот!» Этот тысячелетний араб, из которого, как из бутылки старого вина...

СКУТАРЕВСКИЙ. Мне не интересно про араба. Щекочите меня на другой манер.

ШТРУФ. Слушаю и умолкаю, хотя я такой же царь вселенной, как и вы!.. (Пауза.) Дело третье. Меня вышибают с моими собаками из подвала, где я приютился. Туда насыпают картофель для закрытого распределителя. Мой организм мало приспособлен для существования под забором. Я еще молод, мне стыдно умирать так рано. Я могу быть полезен в диапазоне от няни до библиотекаря. Если хотите, я буду жить у вас!

СКУТАРЕВСКИЙ. Послушайте, выражаясь деликатно, вы пьяны!

ШТРУФ. Выпиваю. Водка промывает капилляры и, по слухам, растворяет крахмал. И, знаете, не один гипнотизер на мне сломался. Руками машет, пот с него капит, а мне смешно и грустно.

СКУТАРЕВСКИЙ (угрожающе). Вы гомерический нахал, Штрупф.

ШТРУФ. И дело последнее... (Он закрыл дверь, задернул портьерку, и сразу стало ясно, что все эти смешные скороговорчатые речи были только обходными маневрами для этого фронтального удара.) Сейчас вы переживаете трудный момент распада семьи. Вы нуждаетесь в уединении, и я хочу притти к вам на помощь.

СКУТАРЕВСКИЙ (осторожно, потому что ждал, хотел, искал этого предложения). Послушайте, царь вселенной, вы этот балаган бросьте!

ШТРУФ (вполне сознавая свою силу). Минутку терпения. И так, я имею предложить вам квартиру. В центре города, у застройщика. Голландское отопление, электричество, водопровод, утепленная уборная, окна в сад. Весною совершенный парадиз. Вполне подходящее место для переживаний вдвоем. Я бы даже...

СКУТАРЕВСКИЙ. Я драться с вами буду...

ШТРУФ (спокойно). ... Я бы мог даже нарисовать план. Шестнадцать са-

женей полезной площади, и только ванна требует незначительного ремонта: колонка распаяна. Думайте крепко: телефона у меня нет, а конкурентов шестеро.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Какая скотина, а?

**ШТРУФ.** Не думайте, что я забочусь только о вас. Вы уедете, а сюда вселится бы я сам. Мне тут удобно, у меня собаки... Честь имею кланяться!

*(Он уходит медленно, он знает, что его остановят.)*

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Послушайте. эй...

**ШТРУФ** *(с достоинством)*. Меня зовут Осип Бениславович... вам на будущее время. И потом прошу поскорее. Я спешу. У меня дома сука родит.

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(смятенно)*. Скажите, Осип Бениславич... сколько стоит ваша квартира?

**ШТРУФ.** Давеча она стоила двадцать семь. Теперь она стоит тридцать тысяч рублей, Сергей Андреич. Я должен поправить здоровье, расшатанное вашими выходками.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Но это же безумие... Никто не имеет таких денег.

**ШТРУФ.** Да... но и барзак подорожал! *(Отвязал собаку, посвистел и ушел.)*

#### 14

**ГОБОИСТ** *(просунувшись в дверь)*. Приступим?... *(Молча берутся за инструменты и играют. Внезапно гобоист вскакивает и, тыча в ноты, кричит.)* Ми, нижнее ми! Куда вы глаза выпучили. Это вам не электричество, это — музыка!

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Зачем вы кричите на меня?

**ГОБОИСТ.** А как же... Вы — ученик, я — учитель. Вы мне за это и деньги платите.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Не надо на меня кричать! *(Он еще выдувает из своего фюгата комканье и потерянные рулады. Гобоист складывает ноты. Сеанс окончен.)* Нет, надо кончать. Я все-таки достану эти деньги!

З а н а в е с .

### Картина вторая

*Пыльная, со старомодной мебелью, квартира Петрыгина. На столике, посреди, — аристон, музыкальный ящик с танцующими фигурками. В углу большие краснодеревые часы. В простенке громадный портрет человека, стриженного бобриком и с повелевающим взглядом. На столике, под лампой, — антоновские яблоки, и уже от них распространяется по комнате неверный желтоватый сумрак.*

#### 1

*(Петрыгин придвинул кресло Скутаревского.)*

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я приехал к тебе переговорить по очень важному делу

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Редкий гость. редкий гость. Ты садись, садись. Я батенька, не чумной, ты меня не бойся. У меня тело чистое, как у девушки. без пупырышков.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Извини, спешу... еле справляюсь с работой.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Зря себя работой изводишь. Большевиков работой. а глухого песней не удивишь. И потом, все равно, социализм тебя застанет в богадельне.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Нет, не скажи... у этих людей есть хватка. Правда, сурово... солдаты, предки. Но есть и песня, которая поется только на заре!

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Брось, Сергей Андреич. Ты же русский человек: куда тебе в марксисты!

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Ладно, не будем об этом. *(Про портрет.)* Это и есть твой теть?

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Да, Василий Саввич. Промышленник, искатель, великий человек, а, вот завалился тускло, как башмак за койку.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Да... такой не задумается целый класс растворить в кислоте и спустить в реку. Где он теперь?

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** В Медоне, под Парижем. *(Сели.)* Ну, я слушаю тебя.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я приехал к тебе потому, что друзей у меня нет... вдруг

не оказалось друзей, а дело срочное. Ты уж наверно слышал все?

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Как тебе сказать... сплетня только разжигает аппетит.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я решил на разрыв. Другого выхода нет. Я уеду, оставив ей все.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** И ты обдумал до конца? Я понимаю: семья — это сытная гречневая каша. Но здоровье душевное требует и других ингредиентов: компота, фиалок, нарзана, стихов даже, черт меня побери! Только стоит ли стены ломать, чтобы на часок выйти из них проветриться. Милый, купи девчоночке брошку, пару шелковых чулок, насладись и отпусти. А с сестрой я тебя мигом помирю. Она тебя, простит вприпрыжку и даже с благоговением!

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Перестань, и давай без гаерства. Однажды эта женщина пришла ко мне просить ребенка. Это вещь, в которой молодому человеку трудно отказать. Потом она приклеилась к моей руке... и это недоразумение длится тридцать лет. Я решил уехать. Мне нужна простая конура...

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** ... но с ванной?

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Да, по возможности... с ванной. Штруф предложил мне купить квартиру. Она стоит тридцать тысяч. Другого выхода у меня нет. Эти деньги я хотел просить у тебя.

*(За легкой перегородкой шум. Петр Евграфович отворяет дверь, смотрит туда длительно и хмуро; там смолкло.)*

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Конечно, жаль случай упускать. *(Ходит по комнате, смахивает пыль рукой, давит что-то.)* Нечисти сколько развелось! Клопы напали, мошь летит, жуки какие-то лезут, твердые и с карими глазами. И все это хочет жрать: меня, мое пальто, мою мебель... Любовь!.. в твоём возрасте это или маразм, или эпос.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Нет, я просто привязался к ней.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Привычка — уже пол-любви в эти годы. Так начинается. Потом вы будете ходить в кино...

и рядом тепленькое желанное тельце. И вот алое ушко щекочит вислые старческие усы. Ты наспех целуешь ее в подворотне, невпопад, по-воровскому, куда-то в мокрый воротник... он пахнет мездрой и столярным клеем. Теперь все это просто, как в инкубаторе: без лютни!

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я молчу потому, что это я приехал к тебе просить деньги, а не ты ко мне.

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Любовь!.. я видел однажды это в городском саду, ближе к ночи и под дождем. Они, эти мученики любви, пристроились этакой двойной молекулой на скамейке и прикрылись коверкотовым пальто. И, идя мимо, я видел ее согнутые, изящные, рахитичные коленки...

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(ударяя кулаком в стол)*. Узнаю в тебе старого Петрыгина, ерника и шута!

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Сядь и не сердись: это от мудрости. Вот он, безалкогольный напиток старости.

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Мне вдвойне отератителен этот разговор: и то, что ты говоришь, и что я молчу, чтобы ты мне заплатил за это.

*(За стенкой снова шум. Петр Евграфович хватает яблоко и сразмаху швыряет в нее. Там стихло сразу. Но этот внезапный жест ярости показывает, с каким волнением он говорит со Скутаревским.)*

Что там у тебя?

**ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ.** Нет, это в соседней квартире: шофера живут, общежитие. *(Пауза.)* Деньги... это большие деньги. Но, знаешь ли, ты мало меня любишь, друг. Я знал, что ты придешь ко мне. Я знал, что ты будишь просить у меня эти тыщи. Я был в раздумьи. Но Анна сестра мне, а с тобой я пережил всю дружбу, от сладкой пены ее до тошного и горького осадка. Деньги эти я тебе дам. Я дам тебе даже тридцать пять тысяч. Пять — для Анны: ей будет трудно первое время. И ты, конечно, не подведешь меня?

**СКУТАРЕВСКИЙ** *(горячо)*. Я дам тебе расписку, доверенность на получение зарплаты. Возможно также, что я получу тут крупную премию...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Да, я слышал. Что, закончен монтаж твоего аппарата?

СКУТАРЕВСКИЙ. Да, вчерне. *(Он сказал это неохотно и встал.)*

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Позвал бы на пробу-то. Все-таки родня, волнуюсь, а? *(Вывинул ящик стола.)* Вот они, деньги, бери. Портфеля ты не захватил?

СКУТАРЕВСКИЙ. Грязные какие...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Это листки из блокнота истории. Они захватаны грязными руками нэпа, на них плакали высылаемые последыши реставрации, их теребили нетерпеливые пальцы реконструкции. Будешь пересчитывать?

СКУТАРЕВСКИЙ. Нет, это неважно. Давай бумагу и перо... *(Все делается очень быстро, и, вот, Скутаревский пишет.)* Я, Скутаревский, Сергей Андреев...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ты помяни, что именно профессор Скутаревский... еще с сыном смешают.

СКУТАРЕВСКИЙ *(разорвал записку, начал новую)*. Как хочешь. *(Пишет.)* Я... взял эти деньги в сумме тридцати... На какую сумму писать? Я согласен на любые проценты...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Нет, уж как условились: тридцать пять тысяч. Не наживаться же на тебе!

СКУТАРЕВСКИЙ. Тридцать пять тысяч рублей...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Но я хочу предупредить тебя, что эти деньги не мои.

СКУТАРЕВСКИЙ. ... кои обязуюсь вернуть. Вот, чорт, клякса! Прости, что ты сказал?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Они принадлежат человеку, которого нет в Москве... эти деньги. И он вернется сюда не ранее полуторых лет. Ты успеешь, пиши, пиши!

СКУТАРЕВСКИЙ. Погоди, это меняет дело. А чьи же, все-таки, эти деньги?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Но ты берешь их у меня, раз они доверены мне!

СКУТАРЕВСКИЙ. Помилуй, я не могу согласиться на уплату пред'явителю. Он может оказаться прощальгой, которого я и на порог к себе не пушу.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Мелочный ты человек, придира. Пиши!... переезжай и наслаждайся. Завидую беспечной младости твоей, но за тобой новоселье!

СКУТАРЕВСКИЙ. Чьи это деньги?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ *(тыча в портрет)*. Деньги принадлежат ему. Но ведь он же на портрете... у него даже и карманов нет!

СКУТАРЕВСКИЙ. Знаешь, я раздумал брать эти деньги.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Тебя затрудняет расписка? Мы обойдемся без нее. Ты же сам, твое слово, твое имя — вексель.

СКУТАРЕВСКИЙ. Нет, я выдумую что-нибудь другое. *(Взглянул на часы, искусно заторопился.)* Опаздываю, опаздываю. Ну, спасибо тебе, Петр Евграфович. Прощай, милый!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Оставайся!.. чайку попьем, в дурачки сыграем, по-стариковски, а?

СКУТАРЕВСКИЙ *(в бешенстве)*. Ты тридцать лет обыгрываешь меня, как ярмарочный шулер... моей жёнитьбой, потом дружбой, теперь деньгами. Я расшифрую тебя!!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ну, в этом полотерском тоне я говорить с тобой отказываюсь. Иди с богом, пегушок! *(Открыв дверь в соседнюю комнату, брюзливо.)* Ну, входите теперь

## 2

*(Вошли каких-то четверо, очень разных по лицу, привычкам и одежде.)*

Вот и отлично, будем чай пить. А пока — садитесь, курите. Вот замечательные папиросы... *(Кивая на портрет.)* Василий Саввич любит дым хорошего табака. *(Все закуривают. Один из гостей все пьет, все наливает из графина; у него только одна реплика: «Ужасно пить хочется!»)* Так вот, милые, друзья, я собрал вас, чтоб поговорить обо всем и начистоту... *(Звонок и сильный стук в какую-то отдаленную дверь. Пауза. Один, по молчаливому сговору, идет отпирать. Шум в передней. Потом в распахнутом пальто, без галстука, с воспаленными глазами — Арсений.)*

## 3

АРСЕНИЙ. Отец у тебя?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Он еще вернется. Ты входи, входи... *(Хочет поцеловать в лоб.)*

АРСЕНИЙ. Пусты, противно... я не муха.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Не обижай дядю. Опять с градусом, Сеня? Ну, знакомся. Это... *(он не называет фамилий, обходится жестом, размашистым и барственно-ленивым)* инженер один. А это... тоже очень порядочный человек. *(Кротко.)* Куда же ты в пальто вперся, как хам!

АРСЕНИЙ. Дядя, я не хочу больше... я скажу ему все, отцу! *(Только теперь заметил посторонних. Смущение.)* Простите, я действительно выпил. Но дело мое не терпит ни минуты и, вот... *(Окончательно пришел в себя, сел, закурил, ссутулился.)* Где собираешься лето проводить?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Не спеши, а сперва о деле. Это кстати, что ты пришел. Ты знаком с Ханшиным?

АРСЕНИЙ. Да, он у нас бывает.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Необходимо привлечь Ханшина. *(Заметив испуг Арсения.)* Не бойся, это все свои. Жена в Кисловодск уехала. Никто не слышит.

АРСЕНИЙ *(каким-то ложким голосом)*. Ханшин не пойдет без отца!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Скутаревского я по родству беру на себя. Я его дожду.

АРСЕНИЙ *(взрываясь)*. Я не могу больше. Я уйду от вас и порываю все. Я не умею больше, дядя!.. я боюсь, меня всего знобит... я слушаю все шаги на лестнице, я... *(Начали бить часы, торжественно и неспешно. Арсений, отступив, с дрожью и ненавистью смотрит на этот пугающий ящик. Пробило одиннадцать.)* Гнусные... часы.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Философические часы.

АРСЕНИЙ. ... Уже они бьют меня по щекам. Да, это случилось вчера... и стоит, стоит! Я пакостник стал, я стал чехол с тебя, просиженный, рваный чехол, из которого мыль выбивают кула-

ками. Ты видишь, какое лицо стало у меня? И у меня руки черные, смотри, черные руки стали у меня. Штруф ноцует теперь у матери, и та боится выгнать его из-за меня...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Тебе следует вылить стакан брома за шиворот, но мне жаль твоего костюма. Это тот самый, что я тебе из-за границы привез? Прекрасно сидит. С такою внешностью тебе бы девушек портить, а ты хныкаешь.

ГОСТЬ В САПОГАХ. Мы не хныкаем, мы ропщем.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Интеллигенты, боборыкинское словцо! На что вы продаете свое первородство? На штаны, квартиры, на пайки?.. Мне нужна сернокислотная промышленность, а вы партизанили на дурацкой торфянке. Я по коксо-бензолу, а вы мне о производствѣ суспензориѣв. Где чертежи Аргуновских рудников? Вы хотите, чтоб сразу, завтра. Но завтра не бывает раньше, чем пройдет сегодня. И тогда... *(У него карта лежит на столе.)* Мы отдадим здесь, возьдем клин здесь и сдвинем там. Мы позовем иностранные вымпела туда, к воротам... мы окажем помощь восстаниям, купим лимитрофы, само небесное воинство, луну, наконец... Луну, чорт возьми, и устроим на ней бордель для престарелых прасославных воинов!..

Этот год длится уже три года.

... и эти драги заказывали не мы!

ГОСТИ:

... Он покупает нас на папироски, личинка...

... И он такой же трус, как мы.

АРСЕНИЙ. Эта история с тетрадкой, которую ты заставил украсть, походит на провокацию...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ *(властно и грубо)*. А Гастона Галифе хотите? *(Вс смолкло, точно от пушечного выстрела, с которого это начнется. Страдая от одышки, Петрыгин идет к аристону; гости с ненавистью, точно на укротителя, смотрят на него. Он завел аристон, обернулся.)* Кушайте яблоки, господа Кушайте... фрукты! *(Музыка — веселая, старинная кадрили. Фигурки кри-*

жатся и танцуют. Петрыгин подбарабанивает пальцами и даже делает ножкой соответственное па.) Вот оно, святое, наивное детство! Танцуйте...

ГОСТЬ В САПОГАХ. Ужасно пить хочется... (Но в графине уже нет воды.) Ладно, Петр Евграфович, ты уговорил нас.

АРСЕНИЙ. Ты — безумный старик, страшный человек, дядя. Но скажи нам, пророк, пифия... твоя программа?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ненависть!.. Ну-с, не задерживаю вас, друзья мои. Чаем я попою вас в следующий раз. (Коснулся рукою Арсения, тот вздрогнул.) Нет, у тебя женский волос на пиджаке. Все крутишь, мошенник. Того гляди, девчоночку у отца отобьешь. Ты постарайся ей понравиться! Останься...

(Все ушли.)

## 4

АРСЕНИЙ. Зачем ты меня задержал?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. У тебя плохой вид. Ты нездоров?

АРСЕНИЙ. Слушай... я принес тебе тетрадку.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Давай. (Тот медлит.) Ну, давай же сюда... (Взял, листает.) Ты сказал давеча... тебя обидели?

АРСЕНИЙ. Да.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. И как?.. больно?

АРСЕНИЙ. Я пить стану, дядя!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ничего, в молодости все сойдет. Запрись и пей.. (Спрятал тетрадку.) К слову, как у тебя с отцом?

АРСЕНИЙ. Не надо о нем. Я обокрал его.

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. А ты помирись, обними его. Ты моложе, ты ему — утешенье старости. Бывай у него чаще!.. Он не подозревает тебя? (Пауза.) Как ты думаешь, способен он на такую низость, как донос? Хотя, черт, у меня тоже заслуги, я тоже важный. Я недавно получил очень крупное предложение...

АРСЕНИЙ. То же... по шпионажу?

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ну, знаешь, то отец, то ты. Я не могу с вами в таком блатном тоне разговаривать. Ты распустился, небритый, серый. Пуговицы нет. Где пуговица?

АРСЕНИЙ. Потерял. Я все потерял. И если я даже закричу сейчас, мне никто уже не поверит. В какое подполье ты меня завел...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Все великое начинается с подполья, милый!

АРСЕНИЙ (почти безумно). Так, сиди там... сиди, велю! Я застрелю тебя, если ты двинешься. (Не спуская глаз с него, снял трубку телефона.) Да... ОГПУ дайте. Спасибо. (Петрыгин сидит сутулый, недвижимый, мертвый.) Да... (Арсений колеблется.) Простите, нас соединили по ошибке. (Уронил трубку. Петрыгин встал, положил ее на место.) Я пошутил. Мне любопытно стало, испугаешься ты или нет...

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ты думал, я умру от страха? Глупый, развинтившийся мальчик. Чего ты боишься?.. его? (Про портрет.) Но ведь он же на картине. Это только холст и краски, ты пошупай! Ну, ступай... Христос с тобой! (Хотел обнять его, тот вырвался и убежал.) Постой, ты забыл это. (Про револьвер.) Возьми, это всегда пригодится! (Арсений кладет в карман, тотчас же следом за ним, выйдя из соседней комнаты, проходит Штруф. Они переглянулись с Петрыгиным. Пауза. Грохот шагов. Арсений вернулся.)

## 5

АРСЕНИЙ. Эй, старик. Мне не нравится эта игра. Ты приставил ко мне Штруфа. Ты убери его от меня, мне противно!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Это совесть твоя бродит за тобою, Сеник. Ты крепко болен, Сеник.

(Вернулся Штруф, встал у прилолки.)

АРСЕНИЙ. Я избью его!

ПЕТР ЕВГРАФОВИЧ. Ничего, Штруфа можно...

АРСЕНИЙ (Штруфу). Скажите, вам что-нибудь нужно от меня? Говори-

те, я выслушаю вас. *(Тот молчит.)* Это непристойно, в конце концов. Вы вмешиваетесь в вещи, которых не имеете права узнавать. Я иду к женщине... она замужем. *(Тот молчит.)* Дай сюда очки. Ты бы еще бороду гороховую наклеил на харю. *(Сдернул их и растоптал. Тот молчит. Пауза.)* Слушай, не ходи за мной. За мной уже не надо следить... *(Он ушел. Штрупф остался на месте. Потом опять рванулся в дверь.)*

ПЕТРЫГИН *(один)*. Жаль Анну. Она так любила его!

З а н а в е с .

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Картина первая

*Кабинет Скутаревского в институте. Книжные полки налево. За ними проход в большой высоковольтный зал; это — арка, в которой на роликах ходит массивная дверь. Еще какие-то нераспакованные приборы в тщательных ящичных упаковках стоят вдоль стены. Издалека доносится заглушенное щелканье электрических разрядов. Черимов и Женья. Она дремлет, положив голову на руки.*

1

ЖЕНЯ. Ну, как, выходит? *(Он молчит.)* Слушай, что такое фединг?

ЧЕРИМОВ *(подсчитывая что-то на бумажном клочке)*. Замирание волны в атмосфере. *(Кинул окурков на пол.)* Приблизительно все так. Да, но это зависит не от одних только цифр!.. Старик сошел с ума. Всю годовую смету бросил на один опыт, и, черт, если эта контрольная штука не загорится... *(Он вывернул лампу и рассматривает дрожащие нити в стеклянном колпачке.)* Под суд его, конечно, не отдадут, но... Уже девять. Через два часа все решится. Потом можно будет выспаться. Довольно об этом. Итак, тебе кажется, что ты любишь нас обоих. У тебя широкая натура, Женька!

ЖЕНЯ. Тише, он может вернуться каждую минуту.

ЧЕРИМОВ. Чем он обольстил тебя, этот самовольный старик?.. фаготом, что

ли? Так ведь его только под хлороформом можно слушать. *(Зевая.)* Знаешь, я на-днях приобретаю по случаю барабан в два метра диаметром, с колокольчиками. Очень мелодичная вещь, тебе понравится. *(Взял ее за руку.)* А гы ведь тоже волнуешься!

ЖЕНЯ. Ужасно боюсь за него. Он уже неделю не выходит из института. Он спит по часу в сутки, и все спят не больше. Я тоже... Слушай, а может случиться, что опыт удастся, а лампа не загорится. Тогда я разобью, я разобью ее! *(Он молчит.)* Ханшин сказал, что это страшный суд Скутаревского!.. *(Пауза.)* Смешной... Скутаревский. Вот яблоко давеча подарил... и сказал, что ноги у меня, как молодые березки.

ЧЕРИМОВ *(жестко)*. Не могу судить, не видал. Думаю, что это у него просто от бессонницы. Я тоже умею лирические глупости, записывай: ты, как синяя птица, какие только во снах бывают да в детских книжках. Теперь номер второй: ты написана акварелью на моей душе... *(Оба смеются.)* Но любишь ты, конечно, меня. Нельзя же любить миф, кенотрон, учебник физики. Тебе его просто жалко!

ЖЕНЯ. Знаешь, жена ходила к его двери и била сервизы. Как грохнет ночью... раскатится по пустым комнатам... так вся и оцепенеешь. *(Надкусила яблоко.)* Фу, кислое какое!

ЧЕРИМОВ. Не бросай, я доем, я люблю кислые. *(Ест.)* Интересно, хорошие била, или похуже выбирала. Жизнь у старика сложилась неважная, сынок подгулял, да если еще эта проба провалится. А яблоко, между прочим, отличное. Он тебе одно или два подарил? Ну-ка, давай другое!

ЖЕНЯ. Перестань, он сейчас вернется. Я хочу уходить от вас. Меня приняли в вуз и дают место в общезитии.

ЧЕРИМОВ. ... И отлично. Ты будешь приходить ко мне в выходные дни. Я тебе поиграю на колокольчиках, потом будем целоваться, потом отправимся на лыжах. Снегу-то навалило!.. а старика мы пристроим. Я отдам ему две комнаты во флигельке, который для меня отделили. Будем всегда рядом: и ему по-

лезно, и мне. Библиотеку его мы свезем сюда. Места хватит, как ты думаешь?

ЖЕНЯ. А вы жестокий человек, Николай. *(Телефонный звонок.)* Институт высоких частот. Секретарь директора. Через полчаса? Хорошо, я доложу. Нет, проба назначена на одиннадцать сорок пять вечера. Разумеется, сегодня. Кто говорит? *(Положила трубку.)* Нарком хочет приехать на пробу.

ЧЕРИМОВ. Жаркая ночь будет у старика...

ЖЕНЯ. Иди, найди его. Мне трудно глядеть ему в глаза. Странно... но нравиться мне и ты!

ЧЕРИМОВ. Прочкнись, Женька, безрезка, бабушка...

## 2

*(Женя подошла к столу Скутаревского. На нем вперемежку части механизмов, книги, чертежи: скорее станок мастера-вого, чем стол ученого.)*

ЖЕНЯ *(самой себе)*. Мне так хочется, Сергей Андренч, чтобы ваша жизнь была легкой и умная, какой вы заслуживаете. И я не знаю сама, как это делается. Вы — большой человек, вы — Скутаревский... сегодня решается ваша жизнь... вся. Отдать себя мне легче, чем дать вам веру в себя и молодость, которых вам не хватает. Мне кажется, вы можете считать, что я люблю вас... Может быть, я немножко нравлюсь вам? *(Отвечает за него.)* В общем, вы довольно благоприятно действуете мне на сетчатую оболочку. *(Почти шопотом.)* Если хотите, то живите со мной...

## 3

*(Просунул голову сотрудник, искал глазами.)*

Трансформатор привезли. Самого нет?

ЖЕНЯ. Я сейчас найду его. *(Ушла.)*

СКУТАРЕВСКИЙ *(выходя из-за книжной полки)*. А старик-то тут. А старик-то притаился, да и подслушал. Вы правы, товарищ Черимов... я хотел бы, чтобы и вы со временем испытали радость моего безумия. Вы правы: я старше, я посторонюсь. *(Раскрыл книгу,*

*работа не ладится. Он говорит в ту сторону, где стоит столик Жени.)* Нет, милый дитенок. Этим меня не прошибить. Жизнь свою я прожил наедине. Жена не мешала мне в этом. Сын?.. это даже не оплошность, это неряшливость. Я — только кляча в моей шахте, мне все было некогда, я даже цветов гнушался.

Наверно я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб будет оклеен красненькими обоями. Черимов скажет слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах, получите насморк. Фагот мой полгода провисит в комиссионном магазине... потом его уронят. Вот и все. Что?.. неправда?.. а какая иная правда для меня?

## 4

ЖЕНЯ *(с порога)*. С кем вы, Сергей Андренч?

СКУТАРЕВСКИЙ *(резко и желчно)*. Я вас просил переписку класть мне на стол. Где это письмо Гарвардского университета?

ЖЕНЯ. Вы мне давали только французское письмо, а другого не давали.

СКУТАРЕВСКИЙ. Что за манера спорить по очевидному поводу. Что ж, я стар, выжил из ума, или... Что вы еще думаете по этому поводу?

ЖЕНЯ. Я ничего не думаю.

СКУТАРЕВСКИЙ. Напрасно, думать полезно, лучше волосы растут! Дайте мне это французское рукоделие. И потом: делегацию этих шведских шкрабов отставить. Я не папа римский и дом этот не музей наглядных пособий. На двенадцать часов завтра разговор с Ленинградом. *(Женя записывает.)* В час — доклады заведующих лабораториями. На конференцию в Харьков поедет Черимов.

ЖЕНЯ. У него, кажется, районное совещание начинается завтра.

СКУТАРЕВСКИЙ. А тогда я поставлю вопрос выше. Мы науку делаем, а не мостовые мостим. У меня тоже промфинплан. В четыре... Чего же вы не пишете?

ЖЕНЯ. За что вы сердитесь на меня, Сергей Андренч?

СКУТАРЕВСКИЙ. Я не имею права на вас сердиться. Член профсоюза?

ЖЕНЯ (сквозь слезы). Член.

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну, и я тоже член. В чегыре — драка в Тяжпроме. Подготовить материал по постройке опытной высоковольтной линии. (Погрозился кому-то кулаком.) Со мной поедет Васильев. В семь — Совнарком. Записали? Я с Ханшиным. В девять с половиной ко мне приедет сюда... ну, как его? Ну, француз-энергетик, как его? Вот, одряхлел совсем!

ЖЕНЯ. Я не знаю, вы мне не называли его...

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну, этот... Пусь! В одиннадцать сорок повторение пробы, но уже по второй зоне. В час ночи...

ЖЕНЯ. Это уже на следующие сутки. Меня уже не будет здесь.

СКУТАРЕВСКИЙ. Э, другой будет торчать на этом месте и терять мои письма. В час попросите захватить, захватить Биткера. У него что-то спешное. Что вы еще пишете там? Сходите за Ханшиным, чтобы... (запинаясь от нетерпения) он — сюда!

(Уходя, Женья почти столкнулась с Черимовым. Переглянулась и тряхнула головой, как бы говоря: «Разнес... и тебя то же ждет!»)

## 5

ЧЕРИМОВ. Позвольте, Сергей Андреич?

СКУТАРЕВСКИЙ. Непременно. Едете в Харьков?

ЧЕРИМОВ. У меня, Сергей Андреич... (Посмотрел на его барабанящие пальцы.) Да, еду.

СКУТАРЕВСКИЙ. Вот, спасибо. Я тоже думаю, что наука лично вам должна быть дорожке усовершенствованных мостовых. Касимова вон за пьянство. Убьет, а потом отвечай. И посадят старца в конверт за казенной печатью.

ЧЕРИМОВ. Ну, вас-то, Сергей Андреич...

СКУТАРЕВСКИЙ. Вы хотите спросить — когда вон? Завтра же.

ЧЕРИМОВ (рассмеявшись). А хороший вы мужик, Сергей Андреич. Сварлибый немножко, но я... как бы это ска-

зать... у англичан есть выражение такое: ай эм фонд оф ю. (Хлопая его по плечу.) О, если бы все вы были такими!

СКУТАРЕВСКИЙ. Ну-ну, я знаю, что нравлюсь вам. Со временем вы напишете хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса об направленных антеннах принадлежит мне... и что старик обладал способностью не спать по трое суток сряду. Да-да, не конфузьтесь, у вас имеются литературные способности!..

ЧЕРИМОВ. Вот, кстати, и поговорим начистоту. Очень многое разъяснилось. Сергей Андреич, и я понял точки сцепления некоторых фактов. Что вы думаете об арсеньевой станции?

СКУТАРЕВСКИЙ. Провальное дело. Как член экспертизы я послал свой протест.

ЧЕРИМОВ. Но вы научно зашифровали его, чтобы впоследствии иметь отговорку.

СКУТАРЕВСКИЙ. Чушь, это не в моей компетенции делать выводы. (Откровенно.) И потом я желаю иметь веские доказательства!

ЧЕРИМОВ. Вы думаете, меньшая на вас лежит ответственность, чем на мне? Потомками с вас спросится больше. И знаете ли вы, перед какою пропастью вы стояли? (Пауза.) А если бы вы при равных условиях были в партии?

СКУТАРЕВСКИЙ. Кажется, я и не состою в ней!

ЧЕРИМОВ. А почему? Вы уже достаточно скомпрометировали себя в глазах всей мировой шпаны своей работой для советской власти. Почему вам не сделать последнего шага?

СКУТАРЕВСКИЙ (спокойно). Видите ли, молодой человек, для вас смолodu не было иного пути. Вы выросли в этом. А для меня это — только завершение огромных бурь, смещений и катастроф, которые — пусть произойдут! Кроме того, я не хочу идти в партию с голыми руками. Вот, если это удастся.. (И кивнул на арку, за которой все уже приготовлено для пробы его аппаратов.) И еще: всегда будьте искренни со мной. Правда, которую вы делаете, не нуждается ни в приукрашении, ни в маскировке... Женья уходит от нас? Хочет

учиться? Не задерживайте ее. Распорядитесь о новом секретаре. И еще: я согласен переехать в ваши две комнатухи. Мерси. Знаете, я уверен был в вашем расположении ко мне... *(Пауза — и вдруг.)* А слушайте, ловко вы устроили все это, а?

ЧЕРИМОВ. Вот, видите, как хорошо все сложилось. А теперь разрешите мне вернуть вам вашу пропавшую грамоту. *(Передает тетрадку.)* Мы все-таки отыскали ее... у Петрыгина. *(Скутаревский растерян и не может найти слова, чтоб защититься от наступающего Черимова.)* Наверно, это самое веское из доказательств, которых вы хотите!

СКУТАРЕВСКИЙ. Здесь отвергнутый и неверный барьянт, но... он сослужил свою службу. *(Разорвал и кинул в корзину.)*

6

ЖЕНЯ. Ханшин придет сейчас. *(Черимову.)* Ты сказал ему про наркома? Сергей Андреич, мне звонили час назад: нарком просил разрешения приехать на пробу аппарата.

СКУТАРЕВСКИЙ. Что же вы мне раньше-то, дьяволы... *(Про окурок на полу.)* Убрать! *(Про цветы на столике Жени.)* Убрать! *(Черимову.)* Как, воротничок в порядке? Как будто несвежий, а? Барышня, дайте мне ваше зеркальце.

ЧЕРИМОВ. Сергей Андреич, нарком свой же парень. Чего вы так?

СКУТАРЕВСКИЙ. Нельзя-с. Я привык уважать начальство и вам рекомендую также-с! *(Перевязывает галстух перед осколком.)* Коэффициенты поглощения высчитали?..

ЧЕРИМОВ. Все в порядке, Сергей Андреич.

СКУТАРЕВСКИЙ. ... Кривизна зеркала проверена?

7

ХАНШИН. Разрешите войти.

СКУТАРЕВСКИЙ. Нет, нет, отменяется! Наркома на себя наклевали, слышали? *(Орет.)* Кто, кто эти бумажки рассыпает по всему институту?! *(Они от тетрадки, разорванной им же самим.)*

ХАНШИН. Да, я слышал. Сергей Андреич, у нас приборов кое-каких нет... я тут наспех списочек составил. Вот бы и подсунуть наркому!

СКУТАРЕВСКИЙ. Обойдемся, пустилки. Я видел у Эдиссона ответственный прибор, сочиненный из гвоздика и веревочки. Понятно? Э, чорт, зонтику потерял... *(Ищет ее везде.)*

ХАНШИН. Гвоздик и веревочка... Во всяком случае этого вполне достаточно, чтобы повеситься!

СКУТАРЕВСКИЙ. Прошу в моем присутствии не острить. Я человек тупой, знаете, без юмора!

8

*(Вошел нарком и двое секретарей с ним.)*

ЧЕРИМОВ *(со стороны)*. Вы знакомы, кажется?

СКУТАРЕВСКИЙ *(торопливо задерживая галстух, идет к секретарю, который вошел первым.)* Прошу вас... А мы вас ждем-ждем...

ЧЕРИМОВ. Сергей Андреич, разрешите познакомить вас с наркомом... *(Скутаревский очень смущен своей ошибкой.)*

НАРКОМ. Мы с вами встречались дважды. В Совнаркоме и второй раз на банкете по поводу приезда...

СКУТАРЕВСКИЙ. Это в академии? Как же, как же! Как сейчас, помню! *(Ханшину.)* Не уходите. Знакомьтесь. Начальник монтажного цеха, Ханшин.

НАРКОМ. Вот я напросился к вам, если позволите, присутствовать при рождении машины, которая изменит лицо всей современной энергетики. Я получил директивы всемерно итти вам на встречу. *(Телефонный звонок. Женья, волнуясь, кричит в трубку: «Когда и где это случилось?» Она прибавляет сле слышно: «Хорошо, я передам ему все...»)*

СКУТАРЕВСКИЙ *(показывая на секретарей)*. А это?

НАРКОМ. Это мои секретари, посаженные специально на такие дела. Оба члены партии.

СКУТАРЕВСКИЙ (тому из них, которого принял вначале за наркома).  
Формулу Пика помните?

СЕКРЕТАРЬ (смутясь). Простите... не припоминаю.

СКУТАРЕВСКИЙ. А!.. пожалуй, ста. Я просто так, для ознакомления.

ЖЕНЯ. Сергей Андрееч, на одну минутку...

СКУТАРЕВСКИЙ (очень строго). Вы это мне, Женя?

ЖЕНЯ. Сейчас звонили по телефону... (Она говорит ему что-то шопотом. Скутаревский рванулся в ее сторону и схватился за край стола, чтобы не упасть.)

СКУТАРЕВСКИЙ. Благодарю вас. Да... садитесь все. (Все уже и без того сидят.) На чем мы остановились? (Долго смотрит в пол, потом выпрямился.) Итак, через полтора часа начинаем.

НАРКОМ. Проба, я слышал, будет повторена впоследствии в более крупном масштабе?

СКУТАРЕВСКИЙ. Да, зимою.

НАРКОМ. Что вам потребуется для этого?

СКУТАРЕВСКИЙ (заметно запинаясь). Поле в сорок квадратных километров, ночь без лишних глаз и... Женя, это в какой больнице? (Она что-то шепчет ему, он выслушал ее до конца.) И еще время... Человеку нужно время, чтоб остаться наедине и осмыслить, что же именно произошло.

НАРКОМ. Вы говорите о сроках? Мы не торопим вас... Стадия промышленного использования придет в свое время.

СКУТАРЕВСКИЙ. ... Да, время. (Взглянул на часы и поднялся.) Прошу извинить меня. У меня произошло крупное несчастье, и я должен посетить одно место. Я буду к сроку назад.

НАРКОМ (озабоченно приподнимаясь). Вам нужна машина?

СКУТАРЕВСКИЙ. У меня своя. Мой заместитель покажет вам институт. Я не прощаюсь с вами.

(Все проводили его глазами. Женя машинально бежит за ним, потом возвращается и говорит тихо.)

ЖЕНЯ. У него сын застрелился.

З а н а в е с.

## Картина вторая

Тесная больничная камера. Койка, около нее — пустой столик: ни склянки на нем. На стене — неподвижный профиль Арсения, который стрелялся утром. Он лежит недвижно. Он не произносит ни слова за время этой последней беседы. Румянькая сиделка впустила Скутаревского и ушла. Он в белом больничном халате; тесемки торчат на затылке.

СКУТАРЕВСКИЙ. Вот, услышал и пришел проститься. Тебе наверно запрещено говорить, ты молчи, говорить буду я. Я пойму, я по глазам пойму. (Поправил одеяло на нем, поднял пузырь со льдом, упавший с кровати, и положил его на простреленный живот Арсения.) Значит, мы не увидимся больше, Сеня, никогда. Да и теперь мы уже видим друг друга по-иному. Но все-таки, как же это так? Хирург говорит: воткнул в себя пулю как попало. Значит, это правда, что человек умирает, когда это ему необходимо. Враки, Сеня, надо жить. Надо дышать, работать, жрать и делать, делать... Жить — это когда даже умереть некогда. Ты не возражай: каждый платит за себя по-своему.

... Кто сделал тебя таким, Сеня? Мы были врагами, но я тебя не обижал никогда... хотя у меня не бывало времени и приласкать тебя. Но я знаю, что ты краснел даже при слове чужой неправды. Потом ты кобелировал с этой человеческой шелухой, и мне за тебя очень стыдно было. Ты прости меня на грубом слове: твой отец — профессор, а мой — скорняк. И прадед твой тоже был скорняк, еще крепостной. Барин Шереметьев обменял его на рысака...

Отец!.. мы никогда не видали его спящим. Он все скреб что-то и шил, шивал дни и ночи свои, самого себя пришивал к чужим, драгоценным, нежным таким, мехам. Вот, я — старик, а все снятся мне его неустанные, исколотые, кислотами изъеденные руки. Мы сами мокли в этом зольнике, нашу шкуру выдубили голод и нищета... и снаружи, чорт возьми, и с бахтармы! Я вырос прочным, жестким, черствым. Мы — как солдаты выросли: который не убит,

тот и герой. Ты морщишься?.. больно тебе?

И я удрал оттуда. Мальчишкой я сел в товарный вагон и поехал один — в неизвестность! Мне хотелось есть. Я украл мой хлеб, меня поймали. Городовой мне ухо надорвал. Посмотри... я никому этого не показывал. Я стиснул зубы, Сеняк, и шагнул еще упорней. Я вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что платить этому угрюмому босяку...

Тридцать два года работы, — это много. Я вспоминаю: что же именно было за эти тридцать лет? Раз меня чуть не убило током у высоковольтного трансформатора. Потом меня с семьей выкинули из комнаты за неплатеж. Потом я что-то изобретал. Потом... Ничего не было, кроме работы. Я хотел много, а сделал мало. Тогда мне захотелось трижды продлить себя, количество моих дней, чтоб успеть. И тогда родился ты!

Это было самое грозное, ранившее слово: сын. Я напился пьяный, шел по улице, шляпа набекрень, и извозчики надо мной смеялись. Я приходил к твоей кроватке ночью и слушал тайком, как дышит этот маленький, такой беспомощный Скутаревский. Я чумел от работы, и меня поддерживала мысль о тебе. Ты заболел однажды, и у нас не было дров. Украдкой мать твоя топила печку моими книгами. Я видел и молчал...

... значит, все это — правда? Подорвать величайшую попытку перестроить мир, чтоб честно люди жили, не пауучьи, — это правда? Торфянка твоя — это тоже правда? Мир подымается с четверенек, чтобы ходить на двух, как подобает человеку... (С силой.) А ведь мы с тобой простые, низкие, мастеровые люди: что заработаем, то и едим. Какое нам дело, Сеняк, до тех жуликов, арапов и просритуток, которые утерали навсегда свои неправедные сокровища... вся эта гниль и моль с тухлого николаевского горностая!.. (Пауза.) Прости меня, но ты же бросил в меня камень, и вот, брызги из меня летят.

Вот и все. Мне пора, уже полночь скоро. Я ухожу в следующий день. Меня ждут. Врачей к тебе больше не надо?

Хирург сказал — не надо. Ехать... Да, вот еще, я тебе мандаринов по дороге купил. Я уж положу — не назад же везти. Прощай, Сеняк.

*(Он поклонился низко, касаясь рукой пола, как бы возвращая земле то, что однажды взял оттуда по ошибке. Он ушел. Вошла сиделка, заглянула в лицо лежащего, взяла с него пузырь и мандарины со столика; потом ушла.)*

Занавес.

### Картина третья

*Кабинет Скутаревского; теперь он полон сотрудников института, с которыми беседует нарком.*

1

**НАРКОМ.** ... Я уже кончаю, товарищи. Новую эру истории надо было когда-нибудь начинать... Честь и труд этого великого запева рабочий класс предлагает отныне делить совместно. Ваш путь труден, как и всякий путь вперед и вверх. Но я не сомневаюсь, что вы добьетесь тех достижений, для которых строил этот институт великий основатель его, Ленин.

*(Он кончил, часы показывают одиннадцать тридцать. Вошел Скутаревский. Он в белом халате, который остался на нем после больницы.)*

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Я не опоздал?

**ЧЕРИМОВ.** *(Первым из всех к нему на помощь приходит Черимов).* Сергей Андрейч, разрешите, я помогу вам. *(Он развязывает тесемки и снимает халат, сдерживает его, как хомут с клячи.)*

**СКУТАРЕВСКИЙ.** Просите всех в зал. Еще раз созвонитесь с подстанцией. Ханшину на приемную установку...

*(Дверь на рельсиках откатывается, за нею — залитое ртутной синевой помещение высоковольтного зала. Видна кафельная облицовка стен, сверкающая медь разрядников, черные сталактиты трансформаторов. Нарком взял Скутаревского под руку.)*

**НАРКОМ.** Может быть, было бы разумнее отменить... перенести пробу на ближайшее время?

СКУТАРЕВСКИЙ. Перенести? Я, товарищ, ждал этой ночи, тридцать два года ждал. Прошу всех по местам.

*(Все ушли в голубой проем арки, кроме этих двоих.)*

2

НАРКОМ. Но если это не удастся сегодня? Вы говорили в прошлый раз о каком-то другом варианте?

СКУТАРЕВСКИЙ. Что это?.. пучок в газе? Нам не полагается мечтать вне пределов допустимых на сегодня норм.

НАРКОМ. Вы можете рассчитывать на полное наше содействие!

СКУТАРЕВСКИЙ. Тогда потребуется импульсная установка на... я сейчас соображу, минутку! *(Он пошатнулся и оперся о стол.)* Простите, я мало спал в эти дни. Потребуется двести пятьдесят тысяч киловатт. Возможно, в конце четвертой пятилетки...

НАРКОМ. Мы надеемся с вашей помощью добиться этого в конце второй... Как обошлось у вас там, товарищ Скутаревский?

СКУТАРЕВСКИЙ. Благодарю, все в порядке. Давайте ток!

*(Вступает мощное гуденье тока. Энергия рванулась в пространство. Они уходят в голубой проем арки. Скутаревский возвращается и одиноко стоит у своего стола. Сейчас он забыт всеми. Потом вышла Женя. Очень робко она идет к контрольной лампе на столе Скутаревского. Проходит минута, прежде чем начинают накаляться невидимые волоски сквозь рев машин. Из залы донеслись шумные возгласы и аплодисменты.)*

ЖЕНЯ *(кричит)*. Она горит... горит... Колька, она горит! *(И она бежит искать Черимова, вместе с которым ей идти в жизнь.)*

З а н а в е с .

# Березка

НИКОЛАЙ БРАУН

Вижу давний день заволжский,  
Край поселка, поле ржи.  
Там сажала ты березку  
На задворках у межи.

Вижу, как ты суетилась,  
Вижу скудный твой наряд:  
Грубо сшитое навыrost  
Платье пестрое до пят.  
И платочка-размахая  
Два распяленных конца,  
И короткая, тугая,  
С лентой ситцевой коса  
И к трепещущей вершине  
На заре добра и зла  
Обращенные большие,  
Темные твои глаза.

Светлой девушкой, невестой,  
В той заволжской стороне,

Под березовым навесом,  
Ты судьбу вручала мне.

Шорох листьев шел над нами,  
Полдня ширь и неба ширь...  
Ты со мной теперь, как пламя,  
Ты мой верный поводырь.  
Наша дружба нерушима,  
Наши ладны голоса.  
К новым подняты вершинам  
Темные твои глаза.  
В дикой сутолоке прозы  
Все заполнено тобой:  
Думы, песни, ночи, слезы,  
Сердца каждый перебой.

И сегодня в той заволжской,  
Дальней, дазней стороне,  
В пестром платье, подростком,  
Перед встрепанной березкой  
Так и видишься ты мне!

# Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

Часть вторая

## ФАКИР ОБХОДИТ ЦИРК

I

**З**начит, меня, лежащего в бочке «бедного Пима», матросы кинут в топку?

Бочку охватывает огонь! Ужасный жар испепеляет мою одежду, рвет мои волосы. Я мгновенно сгораю, боль этого сгорания не исчезает. Но мне трудно было долго размышлять о жаре, тому мешало скорченное положение, в котором я находился: особенно сильно болели икры и коленные чашечки. Тут же я вспомнил стихи, прочитанные в детстве: о царь Салтане. И я подумал: вряд ли влезет в топку моя громадная бочка. Матросы ее предварительно расколуют, и я выпаду из бочки, как тот царевич на берегу моря!

Я услышал бойкую матросскую походку. Бочку качнули. Меня попробовали поставить на голову. Не успел я ощупать вспухшую от этого на затылке шишку, как сварливый голос сказал:

— Накидали в нее разной дряни!

Все иртышские команды отменно ленивы, потому что черную работу исполняют киргизы. Я подумал: лень, несомненно, помешает им на месте разбить бочку. Они ее покатают. Это работа легкая, они согласны катить хотя бы целый день. Цирковые люди не увидят меня! Дабы надо мной не смеялись, я согла-

сен получить еще несколько несложных толчков.

Меня качнуло — вправо, влево, а затем я потерял чувство исчисления сторон. Я закрыл лицо руками. Толчки отовсюду сыпались на меня. Осколок доски пролез через пальцы и пребольно стукнул меня в нос. Это было и неприятно, и в то же время приятно. Чем больше толчков, тем быстрее подойдет то время, когда бочка остановится и я скажу: «Господа, выслушайте меня!»

Бочка продолжала катиться. Меня мотало сильнее и сильнее. Вся моя уверенность, что топка не вместит бочки, исчезла. Я испугался и закричал:

— Остановитесь, тону!

Кто-то поднял крышку. Поташили стружки, опилки, тряпки. Широкая рука ухватилась за «соломенную собаку» — и я вылез.

Я уперся в отверстие люка, куда матросы сбрасывают дрова. Бочку просто хотели спихнуть в трюм! Я прохнул бы на дрова с высоты пяти метров. Исчезла радость освобождения! Три матроса, босые, просмоленные, лениво ухмыляясь, смотрели на меня. Был вечер. Мимо нас, возле зеленовато-серых вод, летел оранжевый берег. Матросам несколько не страшно, что вот сейчас они могли убить человека.

Передний матрос представлял собой нечто удивительное: самое важное и самое большое место на его теле занимал

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 4 и 5 с. г.

нос. Чем больше вы присматривались, тем ясней становилось для вас это впечатление, спервоначалу казавшееся нелепым. Должно заметить, что мой нос давно внушал мне беспокойство. В детстве его называли «пуговкой», позже — «картошкой», но в последнее время кое-кто упоминал и про тыкву. Я боялся, что вскоре нехватит растений и люди будут подыскивать более громоздкие определения. Правда, пока он был нормального цвета, однако ноздри его как-то странно расширились и улавливали такие запахи, которые и мне, и прочим людям совершенно были не надобны. Я даже пытался меньше нюхать. Однако ноздри постоянно напоминали мне о себе. Я по утрам долго смотрел на него. Мне казалось, он вытеснял подбородок, отталкивал щеки, он стремился занять все лицо. В нашем роду не встречалось таких носов. Этим странным очертанием моего носа отец мой объяснял ту непочтительность, которую я питал к роду Ивановых и Савицких. И все же нос матроса, уставившийся на меня, был еще ужаснее! Он выпрыгивал откуда-то из затылка и загибался к подбородку. Он имел все цвета, какие я знал, начиная с красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индигового, оканчиваясь фиолетовым. Красный у лба, теплый, он возле шеи просвечивал фиолетовым холодным цветом утренних льдин. Понятно было, что матрос хотел способствовать расширению моего носа. Мой нос имел хоть то достоинство, что не стремился вверх, а нос Никиты, Назимова то поднимался горой, то падал, то пускался в расширение. Он мог бы заменить своему владельцу мост через какую-нибудь плохенькую деревенскую речку.

Никита Назимов явно гордился своим носом. Он мне показал его со всех сторон, и, когда я вдоволь налюбовался, он сказал уравновешенно:

— А в ней пассажир? То-то я смотрю, откуда ее катить неудобно.

Он обернулся к остальным.

— Я вам говорил, в бочке пассажир.

Второй матрос, с громадными и выдающимися челюстями, с мутным и пристальным взглядом, ответил:

— По виду похоже, от казачьей жизни бежит. Сколько, Никита, полагается с такого по таксе?

Никита попрежнему уравновешенно сказал:

— Полтора рубля.

— Полтора рубля берем с бродят и мешан.

— Это и есть бродяга.

Я злился на них, но упрекнуть в убийстве у меня нехватало сил. Пароход имеет свои законы. Поэтому-то они и смотрят на меня так спокойно.

— У меня нет полутора рублей.

Никита объяснил:

— Как же у тебя нет полуторых рублей, когда по таксе они у тебя должны быть? Которые бегут от родителей, у них непременно есть пять рублей. Которые бегут от невест, хоть оно и случается редко, имеют двадцать пять рублей. Мы им оставляем, женихам, которые могут и не сразу вернуться обратно к невесте, десять рублей. Есть происшествия и вне таксы. В прошлом году на «Алгапеке» поймали казака — бежал от воинской службы. Команда взяла с него пятьдесят рублей и документы.

— Зачем вам документы? — спросил я.

— Продадим, на толкучке в Омске. Там, брат, такая толкучка: все можно купить. Там, брат, надежды продают.

— Какие надежды?

Назимов развернул мою «соломенную собаку», пощупал книжки, понюхал кусок хлеба и несколько удивленно сказал:

— И верно, нету полуторых рублей. Может, ты их во рту держишь?

Я раскрыл рот и вывернул карман. Тогда Назимов сказал:

— Не подходит под таксу. Быть тебе, парень, матросом! Иначе по какой же ты убежал категории? И к мальчишкам ты не подходишь. С мальчишков мы берем четвертак.

Определение меня как мальчишки, который хочет прокатиться на пароходе, обидело меня. Я сказал как только мог страшнее:

— А если кто бежит по убийству?

Назимов, видимо, не очень доверял тому, что я могу быть убийцей, но сня-

ки на моем лице, ссадины на щеке несколько смутили его, и он спросил, если не с уважением, то с дряблым вниманием:

— Зарезал кого, что ли?

Третий матрос, коротконогий, весь в бородавках, отозвался:

— Кому от него остерегаться? Но посмотри, кого он способен, с такой мягкой мордой, убить?

Назимов «ободрал обшивку», то-есть загнул мне рубаху, и посмотрел, не держу ли я денег на шее. Видимо, они не понимали, зачем этот юноша без копейки денег, тощий и мало-сильный, влез на пароход. Постучав пальцем в мою грудь, Назимов сказал:

— Нет, и матрос из тебя не выйдет.

Ударом толстой своей ноги он столкнул «бочку Пима» в трюм. Она рассыпалась с треском.

— Надежду ищет, — объяснил Назимов.

— Он, Омск, город подходящий, — отозвался коротконогий.

Я выразил желание помогать им. Я могу писать письма, прошения, составить афишу... «Какую там афишу?» — сказал, ухмыляясь, Назимов. Они переглянулись и увели меня в свою матросскую спальню.

Пароход останавливался у пристаней, запасаться дровами. Я помогал матросам таскать дрова. Мы клали длинные поленья на две палки. Тащить дрова было трудно, но еще трудней было таскать мешки. Матросы подсмеивались над моим неумением и попервоначалу, играя, опускали мешки на мой загривок с некоторого расстояния. Это падение пятипудовых мешков тяжело отзывалось внутри. Жадно ждал я, когда помощник капитана крикнет вниз в коцегарку: «Открыть огни!» В промежутках я мыл посуду в буфете, и это, пожалуй, было еще тяжелей, чем грузить мешки. Посуду приходилось мыть у крана, который находился неподалеку от третьего класса, а мне попрежнему страстно не хотелось, чтобы меня видели циркачи. Поздно ночью мыть посуду тоже нельзя, потому что тогда от усталости я еле передвигал ноги.

Весь пароход завидовал циркачам. Никита Назимов много раз повторял:

— Тут один борец увез из Павлодара какую-то польку. Муж давал борцу отступного сто тысяч. Она, видишь ли, любовница миллионера Дерова, и муж ее хранил, рассчитывал — Деров выкатит отступного еще больше.

— Кто-нибудь да цапнет сто тысяч, — отзывался коротконогий.

Матросы уважали Никиту Назимова: он говорил обстоятельно, спокойно, долго. Он знал, кто и когда и сколько увез чужих жён, какая кому была прибыль или убыток. Большинство его рассказов, все эти увозы, кончались смертью, и тогда он начинал бранить реку Иртыш.

— Разве это поверхность? — говорил он, тыча пальцем в иллюминатор. — Разве это поверхность для матроса? Такая гладь хороша только на живоге. А если и есть ветер, так он почти в отсутствии.

— Чем же это в отсутствии? — спрашивал я.

Назимов не совсем ясно понимал, зачем он пустил меня к матросам, зачем он, когда приходили старшие, скрывал меня за тряпками в углу. Он с некоторым пренебрежением к своей слабости объяснял мне:

— Поверхность воды должна быть косая, а тут даже ни тебе зайчиков, ни барашков, ни ряби, а если облака, так они бури не значут.

Он дотрагивался пальцем до моего носа и говорил:

— Эх ты, несчастный случай на море!

Мне нравились его руки, всегда покрытые смолой, постоянно скрюченные, словно он держит канат. Мне он казался воплощением морехода. Я просил его рассказывать о Черном море, где он некогда служил, о жизни его в Балаклаве. Я вспоминал Синдбада-мореплавателя, Багдад, птицу Рох, неизвестные моря. Я понимал то презрение, с которым он говорил о реках, о суше, о степном городе надежд — Омске. Он говорил вместо «солнечного заката» — «снижается светило», всех людей он называл станками, все дома имели у него каюты, он постоянно упоминал о качке и трубах.

Когда на рассвете пароход подходил к Урлютюпу, я сказал Назимову, что занозил руку. Он направил меня мыть посуду. А мне попросту было стыдно. Еще недавно я собирался проехать мимо Урлютюпа в первом классе. Скорбно я вертел тарелки. Вода попадала мне в рукава.

Но я не утерпел. Закрывая тарелкой лицо, я выглянул. Я увидал Федора Малых и дядю Кузьму Македонова. Кузьма Кузьмич распорядился так, что всякий понимал: купец Лыкошин разорен, и торговля от него перешла к Македонову, чем он и сам чрезвычайно напуган. У Федора Малых губ попрежнему свалился на губы, попрежнему тоскующее лицо, и он все еще не придумал такой кражи, которая обогатила б его на всю жизнь. Говорил он с дядей подобострастно, видимо, мучительно ему заводу.

— Куда прикажете, туда и ляжете, — доносился к пароходу его голос, и мне казалось, что только вчера мы вернулись из степи и где-то рядом бродят бесчисленные стада Рахман-Аяза, скачет на иноходце Нюр-Таш, развеваются лавинные перья на ее шапке.

Пароход властно загудел. Мы покинули высокий урлютюпский берег.

— А в Индию вы не плавали? — спросил я Назимова.

— Не пришлось, всасывающие трубы не моего размера, — ответил он таинственно и в то же время так уравновешенно, что, я, боясь показаться ему очень глупым, не стал его расспрашивать.

Пароход приближался к Омску. Мы увидели длинный железнодорожный мост через Иртыш. Матросы укладывали канат в большие круги. Сердце мое шло под уклон.

— Надежда надеждой, — говорил Никита Назимов, глядя на дымчатый город, — а вот в городе ни одной водопроводной трубы нету, не говоря уже об вытяжных трубах.

Коротконогий матрос сказал:

— Хитро заснащенный город! Человека без надежды через такие мытарства проедит, что лучше, не доезжая города, умереть. У меня сестрица здесь жила

лет семнадцать назад. Она в крендельном заведении управляла кассой...

— Откуда в крендельном заведении кассе существовать? Ты мне не очень ври, — сказал Назимов. Коротконогий матрос замолчал, а Назимов повернул ко мне свой огромный нос. — Если в тебе, приятель, надежи нет, так ты лучше здесь не останавливайся! Или зря пропадешь, или приобретешь чужую. Я тут похотел жениться. Мелкая моя надежда оказалась. Жена ушла ради купеческого кучера, а у него ноги толстые, как полена, и рыжие подусники.

Назимов подал мне коротенькую жирно-смолистую щепу.

— Пойдешь ты, приятель, с этой щепой к звонарю в церковь братства Михаила - архангела и спросишь там Петра Петровича Назимова. Это мой брат, а щепка вместо тебе рекомендации. Привычку писать письма я имею только к бабам.

Я верил ему. Он много и откровенно, больше всех матросов рассказывал мне о своей жизни, и хотя жизнь эту он создавал уравновешенно и спокойно, а все же получалось так, что в жизни его, действительно, не встречалось надежд. «Что есть надежда? — думал я. — Надежда есть ожидание того, что мы желаем. Можно предполагать, что я наращу в себе силы поднимать одной рукой пять пудов, а может быть, и не наращу, «сорву руку». Надежда еще не радость. Возможно получение и противоположного. За ожиданием еще придет или удовлетворение, или разочарование».

Возле черной баржи стоял двупалубный розовый пароход. Наш пароход осторожно остановился у этого двупалубного. На трапе помощник капитана проверял билеты. Мне нужно б проскочить на берег вместе с толпой цирковых актеров, но я поопасался встречи с пани Мариной. Я думал, что, когда пассажиры сойдут, начнется выгрузка, то помощник капитана уйдет. Но помощник остался. Он желал как бы воспарить к небу в своем великолепном белом кителе. Матросы надели свои лямки и забыли меня. Несколько раз я прошелся вдоль парохода, несколько раз останавливался возле трапа. Помощник стоял ко мне

спиной. Было б чрезвычайно глупо, когда я уже приехал в Омск, попасть в полицию.

Я поднялся на вторую палубу. Мой расчет оказался правильным — через крыло парохода я перелез на соседний пароход. Я дернул дверку, которая открыла б мне коридор. По коридору я спустился вниз: на розовом пароходе нет контролера. Дверка оказалась на замке. Я был совершенно одинок на этой громадной розовой палубе. Я бегал вокруг, размахивал «соломенной собакой» и своим грязным плащом. Наконец я решил остановиться у коридора, дабы меня не посчитали вором. Я встал на самом видном месте, скрестил руки. В коридоре послышались шаги. Я отскочил от «видного» места к двери. Дверь распахнулась и — прикрыла меня. Она открывалась в мою сторону! Капитан поднялся на мостик. Раздался третий гудок. Я кинулся в коридор. Розовый пароход стягивал трапы с баржи и с того парохода, на котором я приехал. Сейчас пароход отойдет, и мы поплывем обратно к Павлодару. Это еще хуже, чем попасть в полицию!

Я бросился к носу. На куче канатов, спиной ко мне, свертывал папироску матрос. Он готовился «отдать причал». От носа до баржи расстояние было не менее четырех сажен. Уже пароход пускал молочный белый пар. Пар окутывал колеса и прорывался к носу. «Раздумывать некогда» — сказал я сам себе. Я вскочил на канат и пошел. «Вот тебе и город надежд» — шептал я, балансируя соломенной собакой и плащом. Мне вспомнилось, как путешественники в многочисленных романах, прочитанных мной, переходили по канату через пропасти, как они боялись, что у них закружится голова или задрожат ноги. Всегда, читая эти романы, я думал, что путешественникам нужно было б переходить пропасти ночью, тогда, пожалуй, не так страшно. Сейчас я страстно желал, чтобы пар охватил меня, я тогда шел по канату как бы ночью. Пар клубился внизу на желтой иртышской воде. Канат колебался. Ноги мои скользили. Тело мое беспомощно качалось. Виски знобило.

Но вот я увидел борт. Я упал на него. Я пополз вдоль борта на четвереньках. Оглянувшись, я увидел, что матрос с борта парохода ловит меня багром. Я подумал: «Вот сейчас он закричит: «Держи вора». Я вскочил и бросился бежать. По длинным мосткам навстречу мне шли матросы нескончаемой чередой. Они несли на плечах плуги. Их размеренный и спокойный шаг успокоил меня.

Я сел на бревно между двух амбаров, из которых матросы выносили плуги. Мной овладела слабость. Я не мог дальше идти. Кроме того, мне хотелось есть. Опять я вспомнил детство, амбар, под которым я сидел, Волчиху, отца, раздувающего сапогом самовар... «Таков он в особицу, город надежд!» — горько подумал я.

## II

Петр Петрович Назимов недоумевающе смотрел на поданную ему щепу, на меня, на «соломенную собаку», на мой плащ. Я нашел его в сторожке, примыкавшей к церкви. Если Никита Назимов весь состоял из одного носа, то Петр Петрович состоял из каких-то трудно описуемых кругов. У него был большой, тщательно круглый рот, большие, круглые глаза, дымчатые и постоянно недоумевающие, круглые руки. Вокруг церкви — громадная площадь, тоже круглая, тоже дымчатая, окаймленная деревянными тротуарами.

— Почему ему, репью, не писать мне письма? Каждый раз щепал! Извините, она у меня как бы в горле. Всегда ее сопровождают чудные люди. Куда вы, собственно, едете, господин из народа?

Петр Петрович постоянно орудовал словом «народ». Поездка на пароходе, моя унизительная работа на нем, мое бегство — все это мучило меня. Мне хотелось возвыситься, чем-нибудь поразить Петра Петровича.

— Я, собственно, еду в Индию, Петр Петрович. Я пришел к вам за советом.

Петр Петрович выронил щепку, глаза его еще более округлились, он открыл рот.

— В Индию? — переспросил он. — У вас, что же, там есть свой народ?

Впрочем, для человека знающего везде есть родственники. Какой же вы совет хотите от меня? Если у вас деньги скоплены, то совет дать легко.

— У меня нет денег, Петр Петрович.

— Значит, вы насчет денег? Придет-ся вас в подворье, что ли, устроить. Попы у нас в подворье плохо «наразмет» живут. Щеки хоть и розовые, а карманы крепкие. Не знаю, какой поп у вас там в Индии, а наш поп сибирский целиком скупой поп. В селе у него народ наблюдательный. Приходится себя вести в полной узде. А в город придет, разметнуться ему страшно. Устрою при-служником?

Подворье находилось под церковью в длинном полуподвальном помещении. В коридоре было темно и сыро. Всегда горела керосиновая лампа. Я разносил чай, закуски из буфета, содовую воду. В каждом номере жило четыре попа. Меня пугали эти лохматые развесели-вшиеся люди. Я привык видеть их степ-пенными и медлительными. А теперь они сидели без ряс, пили водку и даже плясали.

Вокруг попов лежало много ящиков, корзинок, свертков. Особенно меня уди-влял казначей Владимирского монасты-ря отец Тихон, белокурый и красивый человек. Часами он простаивал у зер-кала, подводил карандашом ресницы, заставлял меня несколько раз чистить шелковую рясу. Удивляло меня и то, что штаны отец Тихон носил тоже шел-ковые. Он возвращался поздним вече-ром. Я помогал извозчикам втаскивать в номер длинные ящики. Собирались по-пы. Отец Тихон приказывал стоять мне у дверей с подносом. На этот поднос он выкладывал из ящиков разные вещи, единственно только с тем, чтобы похва-статься, как он умеет находить дари-телей.

— Стаканчики под масло! Запре-стольный образ воскресения христового. Два латунных высеребренных подсвеч-ника!

Он поднимал эти подсвечники и то-неньким, ласковым голоском говорил:

— Для умерших! Я хоронить люблю. Этим уничтожается всяческая пакость. Пою я нарочно, умышленно, я воспеваю

удовольствие смерти, так что даже род-ственники покойного торопятся умереть.

Разглядывая выносный фонарь, мед-ный и вызолоченный, с деревянной точе-ной ручкой, он продолжал злорадно:

— Однако же итти ко мне, хотя оно и страшно, но все же идут. Такова страшная сила моего таланта. Молодой человек, не дрожите под носом. — Он поправлял у меня поднос и слегка дотрагивался до моего носа. Он острил. Попы хихикали. Он продолжал перечи-слять полученные вещи:

— Потир серебряный! Дискос се-ребряный! Лжица серебряная, вызо-лоченная, с надписью Иисус Христос! А также одежда: фелонь из синего ти-сенного бархата с серебряным галу-ном; подризник из красной шелковой материи, епитрахиль из белой серебря-ной парчи, пожертвованная госпожей Федоровой...

Он проходил мимо разложенных ве-щей и злорадно смотрел в лицо деревен-ским попам, которые не умели собирать дары. Его лазоревые глаза, густые и яр-кие, наполнялись оживленной и горя-чей силой. Он стучал по моему под-носу:

— Юноша, сколько комиссионных по-лагалось бы за такое приобретение, будь вы частное лицо? А?

Всем, кто сколько-нибудь сильнее его, он льстил, как мог, над остальными — злорадствовал. Попы говорили про не-го, что он пролаза, но боялись его злорадства. Отец Тихон посылал меня за вином и закусками в город, потому что это дешевле. Когда выпивали «по десятой», Тихон подмигивал и спраши-вал меня:

— Как же, молодой человек, насчет плодливости?

Они не верили, что я не могу при-гести веселых девиц. Они жаловались на мою малую расторопность заведую-щему подворьем. Тогда посылали вто-рого помощника из буфета, и так как у входа всегда караулил монах, то де-виц протаскивали сквозь узкие окна, из которых на этот случай вынимались ре-шетки. Мне это нравилось. Решетки бы-ли надпилены, они быстро вынимались. Все это отчасти походило на те книги,

которые я читал. Спрыгнув на пол, девицы взвизгивали и спрашивали:

— А вы бить не будете?

И восхищались тем угощением, которое они видели на столе.

Меня ставили на дежурство: боялись караульного, который считался неподкупным. В коридоре наступала мутная тишина. В той комнате, где кутили, окна и двери завешивали одеялами. Я постукивал пальцем в длинный жестяный поднос и думал: «Где же однако степные надежды?»

Мне хотелось осмотреть Омск, но я был так занят, что мне не удавалось выбраться. Огорчало меня и то, что я поступил в буфет, а не наборщиком. Мне казалось, что здесь прекрасные наборщики, мои способности, мое умение здесь совершенно не нужны. Через неделю буфетчик сказал мне:

— Ты подумай, сколько можешь мне уделять.

— От чего уделять? — спросил я.

— От доходов, — ответил буфетчик.

Я пришел советоваться к Петру Петровичу Назимову. Петр Петрович недоуменно раскрыл рот и опустил руки:

— Как же вы это, молодой человек, не приобрели ни копейки? Жалованье у нас не полагается, а через две недели буфетчик потребует с вас долю вашего дохода.

— Много?

— Полагаю, рублей пятнадцать.

Я сказал решительно:

— Тогда я лучше уйду пешком в Индию.

Петр Петрович достал истрепанную книжку. Это был экономический этюд Ламанского — «Индия. О неурожаях в Индии. Современная Индия. С картою железных дорог». Петр Петрович сообщил мне, что эту книжку он купил на толкучке у старьевщика Трофимова:

— Мужчина большого любопытства, но в распутной жизни потерял все способности. Торгует сейчас книжками и разными предметами актерского обихода. Мужчина из сорта народа не совсем приятного, однако достанет и удовлетворит любое ваше книжное искание.

Я попросил «Индию» у Петра Петровича. Эти четыреста страниц я прочел

с жадностью. Помимо романов и статей в «Природа и люди», я читал первую серьезную книгу об Индии. Книга мне не понравилась. Здесь не было ни факиров, ни фокусников, ни жизнеописаний охотников.

— Не советую вам безденежно итти в Индию. Идите вы лучше в нашу поповскую типографию, если вы наборщик. Рекомендации не нужно, скажете: из братства Михаила-архангела. Там подумают, что вы принадлежите тоже к лику сему.

Он опять раскрыл рот и смотрел на меня с крайним недоумением.

— Лик сей мне непонятен! Вот, знаете, наступает жара. Поднимаюсь я на колокольню, обвеивает меня ветерок, и звоню я деятельно, все понимая, радостно, прихожу и ложусь в кровать даже изнеможенный. Пока звоню, понятен мне этот грозный архангел Михаил, а как только окончу, вновь в недоумении. Походатайствуйте, когда попадете, у индийского народа объяснения. Русский народ мне объяснить не может!

Я и сам не мог понять, что же это за братство, о котором говорила вывеска и нарисованные всюду портреты архангела Михаила. Мне казалось, что это братство спасения от жары. Город сух и жарок. Ни петь, ни плясать в этой жаре невозможно, и люди собираются сюда, в длинный и сырой подвал. Не мог усвоить я также и то постоянное ощущение голода, которое я читал в глазах монахов и попов. Они торчали возле буфета, тыкали пальцами в закуски, приценивались, а ели в одиночку. Если приходилось есть в компании, то они заказывали плохую пищу и все же каждый старался съесть побольше. Привезенные из деревни закуски они старались выманить друг у друга.

Типография, которая должна была обслуживать епархию, меня приняла охотно. Меня испытывали четыре дня, а затем положили жалованье — шестнадцать рублей. Меньше, чем в Павлодаре, но все-таки я был доволен. Ночевал я попрежнему в подворье.

Каждый вечер я гулял по Любинскому проспекту. Я поднимался к губернаторскому дворцу. Казаки стояли на ча-

сах. Из каменных ворот выскакивали лихие пары коней. Ночью освещался только один Любинский проспект, остальной город лежал во тьме. Мне казалось, что бесконечное число мундиров, усеянных блестящими пуговицами и погонами, не требует фонарей. Они освещают город! Его наполняли чиновники степного генерал-губернаторского штаба, суда, интендантства, артиллерийского управления, казацки офицеры, ученики кадетского корпуса, многочисленных гимназий, учительских семинарий. Мне казалось, что все они ждут радости, которая вот-вот приблизится из пустынной степи. Наполненные надеждой, они не обращают внимания на город, где нет ни одного дерева, нет мостовых, дома не белят, не красят, кругом грязь. Они ждут, готовые пожертвовать чем-то большим из своей жизни ради этой приближающейся радости. Только этим я объяснял то, что в нашей типографии вместо богослужебных книг и священных листков мы набирали программы бегов, афиши открытой сцены, где возле фамилий, обозначенных французским шрифтом, стояли клише высокогрудых девиц, подпертых короткими юбками.

Я спал возле лестницы в чулане, где хранились дрова. Жилось мне хорошо. Я получил жалованье. Привратник взял с меня полтинник за то, чтобы открывать двери в любое время ночи, буфетчик — за спанье два рубля. До рассвета я ходил по крепости, по пристаням. Я встречал павлодарские пароходы. На одном из них приехала тетка Фиоза. Я удивился: что же ее могло привести сюда?

— Виденья начали меня посещать, Сиволот, с той поры, как я увидела святого старца на масленнице.

— Какие же это видения, тетя?

— Солоненького все хочется. Грибы вижу с аршин величиной.

Она вздохнула.

— К доктору сходить, Сиволот? Или лучше поискать святую икону? А потом укажи ты мне семенной магазин, надо мне купить одноголовочного мака, пироги из него отличные.

Рот у ней попрежнему горит ало. Она, не торгуясь, села к извозчику. «Что-

то тут неладное» — подумал я. Чернобровый высокий парень в чесучевой поддевке помог ей всунуть чемодан в коляску.

— А этот тоже из солоненьких? — спросил я.

Тетка нахмурилась и сказала извозчику: «Трогай». Она не позвала меня к себе, не спросила, чем я занимаюсь.

После второй полочки я попал на окскую барахолку. Я заказал в Обжорном ряду сотню пельменей и с'ел их торопливо. Пельмени варили в громадных самоварах громадные потные бабы. Затем я пошел среди старья. Мне казалось, оно собралось сюда со всех краев империи. Я рылся среди тряпок, среди книжек, но нужного не находил. Я не хотел спрашивать старьевщика Трофимова, у которого надеялся узнать что-нибудь про Индию. Я опасался, что он запросит с меня лишнее.

Я узнал его по описанию Петра Петровича. Это был смуглый, глазастый изможденный старик с руками ежевичного цвета. Среди различного актерского тряпья я нашел две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги эти совершенно походили одна на другую: обе с белыми рукоятками, косяными и длинными. И только, если присмотреться, можно было узнать, что одна из рукояток имела три крошечные кнопки. Надавишь одну кнопку — треть лезвия уходит внутрь. Надавишь вторую — уходит другая треть. Надавишь последнюю — и все лезвия скрываются в рукоятке.

Руки мои задрожали.

— Сколько стоит?

— Непродажная, — сказал Трофимов. — Берегу для коллекции. Надо подобрать полную аппаратуру, а также и библиотеку.

— Какую библиотеку?

— Волшебную библиотеку, — ответил Трофимов.

От осмотра меня и вдруг тихо спросил:

— На тебя вкусу не имею, а если приятель есть — приведи. Получишь в дар!

— Я прошу вас не шутить, Алексей Петрович, а назначить мне цену.

— Ишь ты, даже имя мое знаешь. Кто тебя рекомендует?

— Назимов.

— Это звонарь? Почтенная личность, хотя книжки читает глупые. В книжках надо интересоваться любовными драмами, дабы испытать все оттенки этих чувств. Вот я ходил по многим знаниям, учился во многих школах, и мой отец даже был директором какого-то высокого училища. Но нет ничего горше неизвестности исхода в поисках знаний. А в любви эта неизвестность исхода, я бы вам сказал, даже приятна. В науке должно существовать однообразие, а в любви этого никто не признает.

Он согнул шпагу.

— Надо быть, хитрая работа! Для человека, делающего фокусы, незаменимый инструмент. Вы кладете эту цельную шпагу, вытираете себе руки полотенцем и накрываете полотенцем шпагу. Потом вы берете ту шпагу, лезвие которой уходит в рукоятку.

— Даю три с половиной.

— Непродажная...

— Даю пять рублей, Алексей Петрович. Она мне нужна для подарка.

— Зачем девице шпага?

— Даю шесть рублей, — сказал я. — И не для девицы, а для того, чтобы в монастыре чудеса производить.

Трофимов рассмеялся.

— Необработанная у вас еще ложь, сырая. Впрочем, если вы придете сюда с приятелями приблизительно такого же возраста, я уступлю вам эту шпагу. А кроме того, укажу, где можно найти Волшебную библиотеку. И в качестве того, что я не вру, даю вам задаток.

Он показал мне книжку — «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов». Книжка эта издана Холмушиным в Москве. На обложке нарисован череп и пылающий светильник. Трофимов был омерзительен мне, и хотя у меня не было никаких приятелей, все же, соглашаясь привести к нему своих друзей, я тем самым делался близок этому пакостнику. Мне было больно, но я сказал:

— Приду.

Я отдал ему все свои деньги. Трофимов полистал книжечку.

— Книжка чепуховая. Заслепить Волшебную библиотеку она неспособна.

— Дорого, наверное, стоит Волшебная библиотека?

— Дорого не дорого, тысячные дела на толкучке не делаются. Библиотека имеет толкучную цену. Можно будет написать, узнать, где находится библиотека. Сообщат.

Я верил Трофимову и в то же время боялся появления Волшебной библиотеки. Опасаясь крупной цены, которой он с меня может потребовать, я сказал, что уже читал кое-какие книги по Индии, знаю много об ней, что я сам еду туда.

— Заходите, — сказал он холодно. — Увидим, какие у вас знания.

В следующую получку я купил у Трофимова за полтора рубля выцветшие атласные шаровары и за два двадцать — много разчищенные сапоги, мягкие, кавказские. Я рассчитал, что теперь мне не хватает пояса для шаровар, а чалму заменит моя «соломенная собака». Я спал на ней теперь с большей осторожностью, чем прежде. Перед уходом в типографию утром я препоясывался полотенцем и долго стоял на дровах в сыром и темном чулане, держа во рту шпагу. Трофимов отказался сообщить мне, в каком городе находится Волшебная библиотека.

— Четырнадцать копеек плачу за свои заказные письма. А где же ваши приятели?

Программы Летнего сада были приколоты на гвоздике возле моей кассы. Набирая, я изредка перелистывал эти программы. Они хранились здесь с начала лета. Я не нашел там ни одного индийского имени. Встречались французы, немцы, англичане, испанцы, украинцы, но не было ни русских, ни индусов. Долго думал я. Трофимов был мне страшен. Нужно удивить его деньгами, ибо я не способен привести к нему своих приятелей. Нужно торопиться, иначе Волшебная библиотека уйдет в другие руки.

Я выхлопал пыль из плаща, вымыл в Иртыше кепи, начистил ботинки и пошел в Летний сад на открытую сцену.

Впервые в жизни своей я гулял по Летнему саду. Я заплатил тридцать копеек за вход, за семь копеек выпил бутылку кислого кваса. До-устали я бродил по песчаным дорожкам и наконец вошел в контору. Контора была наполнена ре-квизитом и музыкальными инструментами. Перед длинным столом лежали громадной кучей пюпитры. Против них сидел маленький человек с огромным лбом и добрыми глазами, а рядом с пюпитрами я увидел необычайно об'емистого мужчину в белых брюках и желтой шляпе. У него все было толсто и громоздко. Он слегка прихрамывал, как бы своей хромотой стараясь показать остальному человечеству, что он не так страшен, как об нем можно подумать.

Господин директор, с огромным лбом и добрыми глазами, ткнул пальцем в громоздкого мужчину и сказал мне:

— Не будете ли вы любезны понять, чего хочет от меня господин Филиппинский? Господин Филиппинский, решили вы наконец, что вам от меня нужно? Из всего разговора, продолжающегося пять часов, я понял, что вы не способны выносить тяжелую работу.

Толстый мужчина снял панаму. У него было грубое, как бы дубленое, лицо, иссиня-черные волосы и громадный голос, которым он как бы боялся действовать. Прихрамывая, он подошел ко мне и сказал вдруг так, как будто читал скучную и ненужную книгу:

«— Доктор, выслушайте меня... у меня колет бок, руки, ноги, болит голова.

— Вам следует, сударыня, хорошенько вспотеть.

Дама провела рукой по волосам и сказала:

— Ах, вспотеть? Вы забываете, доктор, кто я. Я графиня и не могу потеть, как деревенские бабы».

«Господин почтенных лет сбирался жениться на молоденькой, хорошенькой и очень милой барышне. Полный восторга, он повторял своему приятелю:

— Не правда ли, друг, счастье мое будет полным.

— Это зависит от некоторых обстоятельств.

— От каких обстоятельств? Что ты хочешь сказать?

Приятель погладил усы и сказал:

— Да например, хотя бы от первого любовника, которого возьмет твоя жена».

— Ну и что же, что же дальше? — спросил директор.

— Дальше ничего нет. Это анекдот, который я знаю, — ответил глухим голосом господин Филиппинский.

Директор показал на него рукой.

— Чем он похвается, вы посмотрите, чем он похвается! Господин Филиппинский, вы уже мне рассказали сегодня полсотни анекдотов. Вы приходите каждый день, целую неделю, вы сидите здесь рядом и думаете вслух. Я человек хороший, но что я могу сделать, если ваш город ко всему равнодушен?

— Город подлинно равнодушен, — подтвердил толстый человек.

— Зачем же вы тогда в нем живете?

— У меня, господин директор, там дом, жена. С собой я нерешителен и не способен выносить тяжелую работу.

— Знаю.

— Рекомендуйте мне, господин директор, актеров.

— Нерешительный человек должен быть мертвецом, а не антрепренером. Вы догадываетесь, о ком я говорю, господин Филиппинский?

— Нет, — кротко сказал Филиппинский. — Я человек набожный.

И он опять чужим голосом рассказал:

«Один кавказец ел суп с горохом. Осталась одна горошина, и кавказец никак не мог выловить ее ложкой в жиже. Он старался долго. Ничего. Кавказец вопыхнул, выхватил пистолет из-за пояса, левой рукой пригладил усы, а правой выстрелил в горошину, сказав:

— Вот тебе, дура, на другой раз будешь умнее».

Директор повернулся ко мне:

— А у вас, молодой человек, какой анекдот?

Я ответил с достоинством:

— Я не анекдот, а индийский факир и дервиш Бен-Али-бей.

Директор добродушно сказал:

— Афишу!

— Какую афишу?—недоуменно спросил я.

— Афишу, где напечатана ваша фамилия и портрет. Могушественных Бен-Али-беев таскается всюду тысячи. Мо-да! Я не могу без портрета. Может быть, вы самозванец.

Филиппинский широко вздохнул и чужим голосом сказал:

«— Что за чудеса? Часы остановились. Почему? Надо часовщику занести, пусть почистит.

— Не носи, папа, все равно не будут ходить.

— Как так?

Мальчик потрогал пальцем нос и сказал:

— А так. Мы сегодня с Петей их все утро зубной щеткой чистили, и видишь: все равно не идут».

Директор свирепо вытаращил добрые свои глаза и застучал кулаками по столу:

— Подите вы к чорту, подите вы к чорту, господин Филиппинский!

Он махнул мне рукой.

— И вы идите заодно к чорту, если не способны достать афишу.

Филиппинский, прихрамывая, догнал меня. Он остановился возле скамейки, на которую я сел. Он шумно и протяжно вздыхал:

— Человек он добрый, но, видите ли, у него семейные неприятности, и он кричит. А что я поделаю, если у меня медленные руки, а характер мой проявился как собирателя людей.

Он потер ногу. Я не знал, о чем мне с ним разговаривать. Я спросил его о ноге.

— Кием переломили бильярдным.

— Играете?

— Сам не играю, но один раз в моей жизни преждевременно помог наглому игроку.

Он опять вздохнул.

— Почему же вы, господин Филиппинский, из Омска не уедете?

— Надо мне общаться с людьми, если проявился такой характер. Сам я был раньше отшельник по натуре, да и город наш Петропавловск самый равнодушный город во всем мире. Поверите ли, три года мы с женой после того, как мне ногу переломили кием, не выходили из комнаты, играли в шестьдесят шесть, и никто этому не удивлялся. Город у нас, скажу я вам, законопаченный со всех сторон равнодушием.

— Что же такое произошло, если вы выехали из вашего города?

— Произошло такое.

Филиппинский вздохнул и вдруг поднял лицо вверх и закатил глаза.

«Один знаменитый омский доктор заболел. Почувствовав себя нехорошо, он сел в кабинете в мягкое кресло и, разглаживая бороду белой рукой, мрачно самому себе сказал:

— Что-то нездоровится, чорт возьми. Как теперь быть? Позвать доктора не хочется, а сам себе я слишком дорог».

Раскрашенная девица в короткой оранжевой юбке, улыбаясь, пробежала мимо нас. Филиппинский посмотрел ей вслед и медленно сказал:

— И эту я слышал. Вроде поет, даже пронзительно, но все-таки нашего города ей не расшевелить.

Я спросил:

— А вас не обижают, если на ваши анекдоты не смеются?

Он помолчал, потер ногу и сказал:

— Я думаю всегда долго. Я человек расчетливый и спокойный. Ведь, чтобы повезти артистов, надо тратиться, а чем Петропавловск расшевелю — непонятно. Однажды прошел через город пехотный полк в полном обмундировании, сопровождаемый пушками. И хоть бы одна душа высунулась в окошко, поверите ли.

Он достал визитную карточку и подал мне ее. Мы посидели еще с час, он рассказал штук пятнадцать анекдотов, вздохнул:

— Теперь, наверное гнев его схлынул: пойду. И мое положение, сами понимае-

те, тяжелое. Не успею привыкнуть к певцу или певице, а они уже публике надоели и заменяются другими. Вся надежда на авторитет директора.

Прихрамывая и тяжело дыша, он понес свое громоздкое тело к господину директору.

Через день я встретил возле пристани приехавшего из Павлодара Пашку Ковалева. Веснущатый, беспокойный, уменьшивший наглость, он мотался по пристани и, увидав меня, схватился за голову:

— Уже один чемодан украли! Ничего из моей жизни не получается. Мать избила, выгнала. Владычкин нанял другого наборщика подешевле. Тогда мать говорит: «Если ты не смог быть у Владычкина ни наборщиком, ни тем более управляющим, свози в Павлодар самых лучших девок с Урала».

— Каких-таких девок?

— Известно, каких девок. И еще приказывает вдобавок: привези павлодарским купцам пани Марину. Очень желают, товар подходящий! И все время бьет меня ладонями по щекам. Как мне думать о такой матери? Отвращение у меня и к жизни, и к матери.

Я привел его в свой чулан. Пашка устроил постель рядом с моей. Он нанялся к буфетчику. Намеками, осторожно он выспрашивал меня, не стоит ли в городе цирк Коромыслова. Я радостно сказал, что цирка нет. Работа в буфете ему не нравилась. Не нравилась она и мне. Я ревниво наблюдал за Пашкой, я ждал, чтобы он не бегал за веселыми девицами для попов. Он дал мне слово: не побежит. Но чаевых он получал больше, чем я.

На Любинском проспекте мы встретили Филиппинского. Толстый, засаленный, пыхтя, он двигался, описывая сломанной ногой большую дугу. Увидав меня, он сказал:

— Сидел, думал — и получается зря. В Петропавловск, говорят, приехал цирк. Придется мне вернуться, поглядеть: не найду ли такого намека, по которому можно расшевелить наш равнодушный город.

Пашка беспокойно спросил:

— Не цирк ли это Коромыслова?

Филиппинский вздохнул, закатил глаза и скучным басом сказал:

«— Что вам угодно?

— Да мне, собственно, ничего не нужно.

— Тогда зачем же вы к нам позвонили?

Человек потрогал щеку, выпятил нижнюю губу и сквозь зубы сказал:

— А у вас под звонком надпись: «Просим позвонить».

Пашка рассмеялся. Он как бы вспенился от смеха. Я его никогда не видал таким. Филиппинский посмотрел на него тоже с удивлением. Наверно, это был первый человек, который рассмеялся на анекдоты Филиппинского.

Пашкино веселье быстро исчезло, опять запыхало его беспокойство, и он сказал, ломая руки:

— Вот и у вас ничего не выходит. А еще говорят, город надежд.

— Иду к директору, — сказал Филиппинский, — советую и вам. Если мне не укажут, может быть, для вас будет что-нибудь сказано.

Директора мы не пожелали смотреть. У входа в сад мы подождали Филиппинского. А затем пошли к нему на постоялый двор, где он жил. В чемоданах у него лежало множество всяческих листков, куда он вносил фамилии и достоинства тех актеров, которые могли бы расшевелить город Петропавловск.

За несколько дней перед тем, сверхурочно, ночью, я набирал афишу для воскресного представления на Открытой сцене. Вместо знаменитой этуали мадам Бефо я вставил описание гастролей знаменитого факира и дервиша Бен-Али-бея. Среди клише, валявшихся в кладовой, я выбрал портрет, который более всего подходил к моему лицу. Я вставил это клише рядом с моим именем, и здесь же я добавил, что объяснение в конце сеанса факира сделает Всеволод В. Иванов. Этим я хотел подчеркнуть свое единство с факиром. Я отгиснул на ручном станке один экземпляр афиши, а затем выкинул факира и вновь вставил фамилию мадам Бефо. Давно уже печатник закончил свою работу,

давно бы мне уйти, но меня прельщала яркий свет в типографии, и время от времени я вынимал из кармана свою голубую афишу и любовался черным именем Бен-Али-бея. Я теперь уже артист! Пришло время удивить цирк Кормослова!

Я спросил у старьевщика Трофимова:

— Правда ли, в Петропавловске народ равнодушный?

Старьевщик нырнул в тряпки, словно пытаясь спрятать там настоящий ответ, и глухо ответил мне оттуда:

— Если вы будете ходить по толкучке, присматриваться и найдете самый хитрый взгляд, то, возможно, обнаружите Волшебную библиотеку. А если вы подозреваете, что она в Петропавловске, рассचितывая на людское равнодушие, так это зря.

Хитрит старьевщик! Но меня не перехитришь!

Пашка быстро согласился:

— Надоело мне поповские тарелки облизывать! Несу их, а сам все думаю: «А вдруг разобью?»

Я понимал, почему он быстро согласился с мной уехать. Но я ему не позволю совершить эту гадость. Я раскрою голубую свою афишу и скажу: «Вот кто я! Преклоняйся перед моей волей».

Филиппинский оказался действительно расчетливым. Когда мы сказали, что едем с ним в Петропавловск, он думал об этом полторы суток и согласился ехать только в том случае, если мы купим ему билет. Иначе ему бы прожить здесь еще несколько дней. Кто знает, не даст ли в эти дни директор подлинного обогащающего совета!

### III

В медлительности Филиппинского было нечто угрожающее здравому рассудку, которым я считал себя наделенным в весьма сильной степени. При нем мне казалось, что я двигаюсь чересчур быстро. Когда ему нужно выйти рано утром одетым по-настоящему, то он одевался с вечера. Меня удивляло: приходишь к нему утром, а он лежит в гуттаперчевом воротничке и манжетах. Я спрашивал его:

— Но ведь это неудобно?

Он поднимал кверху глаза и рассказывал какой-нибудь анекдот. Похоже было: анекдоты он рассказывает для того, чтобы не вести разговора, не думать лишнего. Иногда казалось, что им выучена наизусть громадная книга и он только мысленно перелистывает страницы. Если его упрекали в медлительности и неповоротливости, он говорил:

— У нас весь Петропавловск такой. Вот у меня сосед справа, Семен Максимыч, так он в гости к зятю шестой год собирается. Пять лет пытается запрячь лошадь, и все руки не доходят. Уже у него и два коня сдохли... Семен Максимыч несравненно больше меня медлителен, а что касается соседа слева...

Но до соседа слева мы никак не могли добраться, потому что если начинал Филиппинский рассказывать о Семене Максимовиче, то остановить его было невозможно. Он подробно описывал, во что одет Семен Максимович: по праздникам, и по торжественным дням, и в будни. Припоминал Филиппинский эти одежды с трудом, мучительно, устремив на нас пухлый свой взор. Слова составлялись тяжело, он пытался, отдувался, для него это была тяжелая физическая работа, как-раз та, которую, как он говорил, он не мог исполнять, — и все-таки он доволен своей медлительностью! Выпятив вперед громадный живот, он с достоинством шел по вагону, и все сторонились его, и поезд, казалось, не мог раскатать его грузного тела!

Я пробовал рассказать ему о Трофимове, о шпаге. Весь рассказ мой сводился к тому, чтобы узнать: как мои приятели думают — можно ли встретить в Петропавловске Волшебную библиотеку? Я сказал, что у меня нет желания помаклячить. Слово «макляк» явно взволновало Филиппинского. Он запыхтел. Ему, видимо, захотелось ввязаться в это дело, но на его взгляд уж очень я был молод и неопытен. И он сказал:

— Пустая выдумка! Вы посмотрите... — И он высказал то, над чем он, должно быть, много думал последние часы: — вы посмотрите, и зачем только такому городу понадобился цирк?

Темножелтая, по краям покрытая светлофиолетовым небом, равнодушная степь окружала нас. Она ровна до неправдоподобия. Казалось, поезд не движется, все устроено в насмешку: глянцево-черные кондуктора, проверка билетов, звонки на станциях, чаепития пассажиров. Начальники станций были все на одно лицо, кондуктора на одно лицо. Я чувствовал приближение Петропавловска по тому равнодушию, которое охватывало меня.

Филиппинский вдруг сказал:

— Здесь она лежит!

— Кто лежит? — беспокойно всколыхнулся Пашка. Он наверное подумал, что мы забыли какое-нибудь наше имущество.

— А вот эта самая... библиотека, которую, неизвестно почему, называют Волшебной... Какое волшебство обнаружите вы в библиотеке? Это уже будет не библиотека, а жульничество. Библиотека должна просвещать, а не внушать людям беспокойство.

Он поднял глаза кверху и сказал скучным голосом:

«Один омский вор заболел. Он пошел за советом к доктору. Возвращается домой с рецептом и показывает его своей жене.

— Через каждые два часа по столовой ложке.

— Смотри, будь аккуратен, — говорит та ему.

Он выпустил табачный дым из ноздрей и сказал:

— Я, милая, об этом уже позабылся. У доктора со стола часы захватил».

От равнодушия ли, которое нас окружало, или Пашка жалел покинутую службу, но беспокойство в нем не потухало, а увеличивалось. Всюду он боялся встретить неприятности. Если он бежал с чайником за водой, то ему казалось, что он или опоздает на поезд, или его ошпарят кипятком. Соседи непременно утащат чемодан. Он, вспоминая о цирке Кормыслова, тихонько говорил мне, что пани Марина уже надоела Азгерцу, и тот способен избить его, Пашку, если

почему-либо Пашка откажется увезти пани Марину. Он сидел на скамейке с тупым и желтым лицом и особенно беспokoился, когда засыпал. Ему казалось, наверное, что он проспит нечто необычайно важное. Время от времени в нем прорывалась наглость. Почтенному контролеру, который столь важно нес свое тело, будто проверял не билеты, а наше право на существование, Пашка вдруг сказал: «Вам, господин приятный, надо зубы чистить, изо рта гадостью пахнет». Соседку, очень милovidную, украшенную грудой жемчужно-серых волос, он обозвал «визгулей» и приказал ей замолчать, потому что визгливые голоса портят ему слух, а он предполагает заняться музыкой.

На площади перед вокзалом извозчиков не было, — и вообще в Петропавловске ничего не было. Правда, стояли дома, две или три церкви, но все это выстроено так, как лишут бумаги в канцеляриях: лишь бы аккуратно написать. И дома, и улицы, и тротуары — все это в обывателях не вызывало ни влечения, ни отвращения. Просто они их не замечали и выстроили потому, что так все строят. Сразу нас охватила сонливость. Филиппинский потянулся и зевнул на всю площадь.

Филиппинский долго стоял, потирая ногу и уставившись взором в забор.

— Ваш забор, что ли? — спросил раздраженно Пашка.

Филиппинский рассказал четыре анекдота, затем обернулся к нам и медленно проговорил:

— Прижарило зноем, что ли, расклеящиков, — сюда до вокзала не дошли, но ведь цирковых афиш нету.

Пашка сразу заскорбел.

— Плохо видите! Они должны здесь быть.

Не показали нам афиш и четыре следующие улицы. Мы попробовали остановить прохожих, но прохожие так холодно и равнодушно осмотрели нас, что мы не осмелились вымолвить ни слова. Пашка обеспокоился: как бы скандала не вышло, останавливаем, а может быть, людей посетило громадное горе. Филиппинский мог бы спросить обывателей на своем петропавловском языке, но он со-

ставил фразу только тогда, когда обыватели уже давно пришли домой и легли спать.

Я предложил узнать о цирке в городской типографии. Возле типографии Филиппинский остановился, дослал легкий поклон туда, где, по его мнению, все еще стояли обыватели, и сказал:

— Разрешите узнать, не предполагается ли здесь представление цирка Коромыслова?

Видимо, Филиппинский не очень торопился домой. Но волноваться он явно волновался.

Я предположил, судя по характеру города, что в типографии просто не успели набрать афиши, вот почему она не появилась на заборах. Куда торопиться? Все равно в цирк никто не придет.

Заведующий типографией, сонный человек с неподвижным жестяным лицом, сказал так, как будто он чрезвычайно удивлен тому, что в Петропавловск способны железнодорожные поезда привозить цирки.

— Цирка у нас быть не может.

Пашка бдитительно стерег всякий повод к беспокойству. Он вытянул веснушчатую свою голову к заведующему:

— Или вы такие важные, что у вас цирка быть не может?

— Если верблюда выдрессировать и он выглянет в окно железнодорожного вагона, — сказал вдруг заведующий, весь наполняясь голодной злобой, — то и верблюд поймет, что здесь, из равнодушия ко всяческому дарованиям, даже верблюда кормить не будут. Верблюд пройдет по всему цирку и скажет человеческим голосом: «Поедем дальше».

Заведующий, видимо, голодал. Он чрезвычайно удивился, когда я спросил, не нужен ли им наборщик.

— Наборщика? Я сам набираю вполне отлично. У меня из-за отсутствия зазоров шрифты заржавели.

— Как же они могут заржаветь? — робко сказал я, — ведь они свинцовые.

— Не в истине ищите пристанище, а в фактах. От голода и злости заржавели шрифты, — сказал заведующий.

На улице Пашка вдруг озлился и, тыча кулаком в громадный живот Филиппинского, сокрушенно проговорил:

— Тушить тебя некому, ошипанный! Велика ли догадка послать запросную телеграмму.

Филиппинский посмотрел на телеграфные провода, которые грузно висели между столбов, чем-то похожие на его живот, и рассказал анекдот.

Пашка сам ответил на предполагаемый вопрос Филиппинского.

— А такую телеграмму, милый мой, что вам бы запросить, не приехал ли сюда цирк Коромыслова.

— Но кто же ответит ему из этого города? — сказал я.

Филиппинский вздохнул и пошел. Он уходил равнодушно, видимо, сразу забыв о нас.

Денег у нас было четыре рубля с половиной. Поехать обратно Пашка не мог. Ему теперь казалось, что он непременно заболит в дороге или даже, чорт их знает, здесь, возле Петропавловска, действительно не останавливаются поезда. И мы направились с ним в публичный дом, где, как он предполагал, знали его мать: павлодарскую Ковалиху. Я думал, что теперь, пожалуй, Пашка почувствовал уважение к тому ремеслу, которым занималась его мать, а занималась она им уже сорок лет.

К нам вышла, смахивая с рук золу, худая женщина в зеленом шелковом платке. Когда Пашка назвал свою фамилию и сказал, что его послала Ковалиха по Сибири вербовать лучших веселых девиц, что в Павлодаре обнаружен большой спрос, женщина в шелковом платке не то, что не поверила, но, как и весь город, посмотрела на нас равнодушно, и Пашка больше из вежливости спросил:

— Нет ли у вас лишних красивых девиц?

Хозяйка укоризненно ответила:

— Они все лишние. — И она показала свои руки: — вот видите, сама пеку обеды. И бог не догадается, какой красотой и ловкостью развеселишь петропавловских мещан.

Нас накормили тощим обедом. В комнаты ночевать нас не пустили, а предложили расположиться на сеновале. Изредка в зеленый дом заходил обыватель, заходил равнодушно, по давно знакомой

и скучной дороге. С таким же равнодушием и спокойствием он покидал этот дом. Пашка необычайно кручинился. Я спал крепко, но и меня часто будил его возглас:

— Неужели мы так ничего и непридумаем, Всеволод?

Он сидел, охватив голову руками. Из его беседы волос торчало сено. Золотисто-серая луна обычным своим взором смотрела в теплый сеновал.

Пашка бестолково мотался по городу. Я уговаривал его. Нужно быть последовательным. Лучше умереть с голоду, но ни в коем случае не соглашаться на предложение Ковалихи. Пускай хозяйка не кормит нас. Пускай не показала Пашке веселых девиц. Пашка давно бы послал матери отчаянную телеграмму, но ему казалось, что еще могут выдать на телеграфе квитанцию, но телеграммы никогда не пошлют.

Я много думал о Волшебной библиотеке. Если в Омске я верил в нее, то здесь я полагал, что Омск обольщал меня. Мне хотелось уничтожить свои надежды. Пора быть равнодушным и спокойным, так же, как и весь этот город! В сущности, коли я факир и дервиш, то как-раз спокойствие есть одна из моих наиболее важных и нужных особенностей.

Удивительна она была, эта толкучка петропавловских равнодушных! Никто ничего не покупал. Торговаться им скучно. Люди действительно «толкались» среди деревянных балаганов, на пыльной и солнечной улице, но толкаться им было совершенно незачем. Я остановился возле сапожника, который казался мне деятельным больше, чем все. Дверь его лавчонки все время отваливалась, но терпение его было неистощимо. Только он сядет на табурет и возьмет шило, чтобы приточать заплату на ботинок, — дверь упадет. Сапожник встанет, прибьет его длинным гвоздем. Дверь немедленно повалится обратно. Я стоял долго. Пожалуй, я один на всей толкучке любовался тем, как сапожник орудует дверью. Я стоял потому, что мне было совершенно некуда идти. Питались мы громадными брюквами и двумя фунтами черного хлеба на день. От этих

брюкв пучило живот, но я считал пищу правильной. От нее слипались глаза и хотелось спать, но что поделаешь: привычка и последовательность много значат в нашем факирском деле.

Мне жаль было неугомимого сапожника, и я спросил:

— Не приходилось ли вам слышать, господин, что-нибудь о существовании здесь Волшебной библиотеки?

Сапожник отложил шило. Похлопал ладонью ботинок, спросил:

— А она чья, или казенная?

— Я имею о ней самые темные сведения. Возможно, она и казенная. Она, видите ли, старинная.

— Казна и старину держит, — убежденно сказал сапожник. — Только в нашем городе старины нет, а до остальных наше дело не касается.

— Это, видите ли, записки и дневники различных магов, чародеев, волшебников.

— В нашем городе волшебников нет, — еще более убежденно сказал сапожник.

Он взял башмак, но в это время свалилась дверь. Он воткнул шило в доску и взял молоток:

— И быть не может, — сказал он, вколачивая ржавый гвоздь.

Мне надоели брюквы. Я полагал, что факир имеет право в начале своих мучений хоть один раз в неделю есть мясной суп. Я предложил Пашке пойти к Филиппинскому. Филиппинский, правда, будет раздумывать и накормит нас дней десять спустя, но все-таки накормит.

Филиппинский жил в крошечном домике о две комнаты. Вокруг домика рос большой сад, преимущественно почему-то из осин. Филиппинский повел нас по дорожкам. Указывая на толстую черную осину, он сказал с гордостью:

— Серебристая! — И, подумав, добавил: — А сейчас я вам покажу Ирину Терентьевну.

Жена его, Ирина Терентьевна, показала мне какой-то слабо окрашенной, почти белой. Ходила она в длинном ситцевом платье, глаза у ней были маленькие, наполненные чрезвычайной нежностью ко всему слабому. Она постоянно заботилась о стариках, о детях, о жи-

вотных, любила свой осиновый сад за то, что в нем много вороньих гнезд. У ней много движений, она постоянно гримасничает, ерзает на стуле. Но ни я, ни Пашка не похожи были ни на стариков, ни на детей, и она смотрела на нас, как и весь город, равнодушно.

Я многое понял, побывав в доме Константина Степановича Филиппинского. Отец его скупал кожи, отец его жены занимался рытьем колодцев. Филиппинский и его жена открыли мелочную торговлю. Оба они боялись затрат, три года размышляли, открывать или нет. Торговля шла плохо. Филиппинский, а еще больше его жена, заботился о репутации предприятия. Он повторял, что только добросовестность обеспечит ему долгий спрос. Он презирал торговцев, которые действуют на легковере, на обман покупателя.

— Надо заботиться о будущем, — говорил он нам, ревниво наблюдая за тем, чтобы мы не ели слишком много сахара, — о детях заботиться, о семье. Я ответственный за весь ход моего предприятия.

— А зачем же вам, — спрашивал Пашка, — зачем же вам осиновый сад?

— Придет время, вместо осины разведут плоды.

Много нужно было ему передумать для того, чтобы выехать в Омск. Актёров он ненавидел. Он разбираал их, как скот: то жидкий телом, то чересчур силен, то смутит предприятие нравом. Мне хотелось узнать, почему же все-таки он решил заняться антрепренерством. Я спросил его. Он ответил, что для начала он хочет нанять трех актёров для городского сада, которые в то же время были бы и музыкантами.

— Ну какой же оркестр, и еще духовой, из трех инструментов?

Он возразил:

— А барабан не инструмент?

Он отказался накормить нас обедом.

— Я расчетливый эгоист, — сказал он вяло, — мне самому еле-еле пропитаться, а тут еще, гляди, пойдут дети.

Пашка скорбно сказал:

— Вы просто, Константин Степаныч, мерзавец. Сманили нас чорт знает куда, а теперь мы подыхай с голоду.

Филиппинский поднял глаза вверх и сказал:

«Г о с п о д и н (лакею, которого он рассчитал). — Итак, мой друг хочет вас нанять. Ну, так я дам вам самый лучший аттестат.

Л а к е й (про себя, пощипывая усы и поглядывая в бок). — Вот злорадный человек».

У нас осталось только три рубля. Тогда Пашка, полный отчаяния, спросил у Филиппинского: кто в городе самый ехидный игрок на бильярде. Филиппинский думал, вздремнул. Пашка смотрел на него с напряжением. Филиппинский вяло заговорил об открытии буфета в городском саду. Найдется же какой-нибудь дурак, который откроет буфет, и тогда подле него можно питаться. Затем мы бродили по осиновому саду.

Пашка считал себя отличным игроком. Вернувшись на сеновал, мы принялись жевать брюкву, и Пашка все примеривался, каким замечательным дуплетом он положит шар. Пашка говорил, что бильярд — игра самая равнодушная, что здесь, умеючи, легко нажать целое состояние.

Он побежал к Филиппинскому.

— Предлагаю вам, Константин Степаныч, мазать.

— Я не умею мазать, — медленно ответил Филиппинский. — Я не пойду с вами и не скажу вам фамилии игрока.

— Вы не верите мне! Ну, давайте с вами сыграем.

— Мне нечего мазать.

— Вы можете мазать, начиная с гривенника.

— У меня нет гривенника, — сказал Филиппинский, грузно поворачиваясь.

Пашка испытывал великое беспокойство. Он долго ощупывал бильярд, взвешивал на руке кии, нюхал в дузах, рассматривал на солнце шары. Он и надеялся на себя и в то же время боялся, что рука его дрогнет.

О, эти степные бильярды! Много мне пришлось их видеть, много я спорил с маркерами, много раз сидел в соседней комнате за пустым столом и напряженно смотрел на керосиновый свет высоко

подвешенных ламп. Приказчики, торговцы, промышленники, ремесленники толпились вокруг бильярда. Теплый воздух трактира усыплял меня. Шары чокали. Я медленно ел свой крендель. Из бильярдной несло запахом сытых людей; доносились, везде одинаковые, разговоры.

Пашка выбрал наиболее равнодушно-го человека. Человек был в поддевке, в лакированных сапогах, имел толстые красные губы.

Пашка решил для начала играть по рублю, но беспокойство и азарт так овладели им, что он сказал:

— Ставлю три рубля!

В дверях бильярдной появился Филиппинский. Он желал проверить: а может быть, Пашка подлинно бильярдный игрок? Жаль конечно, что он к тому же не барабанщик. Филиппинский прислонился к стене и положил на живот толстые руки.

Пашка разбил пирамиду. Человек в *коричневой поддевке равнодушно поднял кий* — и удар за ударом набил нужное количество очков. Человек взял из лузы нашу трехрублевку и равнодушно спросил:

— Еще партию прикажете?

Филиппинский уже исчез.

— Никогда не буду играть! — вскрипывая, сказал Пашка.

Он схватился за голову, посмотрел отчаянно вдоль улицы и вдруг поднял к небу кулаки.

— Проклинаю! Я всех проклинаю! Лучших здешних девок увезу в Павлодар! Я у городского головы увезу дочь и жену!..

Мне было страшно видеть его опустошенную душу. Я злился на него за то, что он бездарно играет, но все-таки я сказал:

— Убежден, что в Индии так люди не страдают.

На другой день у нас не на что было купить брюквы. Я направился к Филиппинскому. Он не дал нам хлеба.

Хозяйка просила покинуть сеновал.

— Еще сено с голоду продадите, — сказала она.

Через два дня приехал Петька Захаров.

#### IV

Когда я сказал Филиппинскому, что глотаю шпаги, он косо ухмыльнулся. Через полдня он объяснил мне:

— Шпаги, известно, немецкая работа... Вот если бы вы смогли гипнотизировать народ. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить в прежнее место. Вот это я понимаю. Это сбор.

Я ответил мужественно:

— Глаза я еще не достиг.

Филиппинский отодвинулся от меня, потому что я для убедительности уперся руками в его живот. Я еще более мужественно сказал:

— Но я могу безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими, от шляп, шпильками, подвешивая на них гири до трех фунтов.

Филиппинский подумал, попыхтел. Явно не веря мне, он задумчиво спросил:

— Почему вы раньше не сообщали о таковой вашей способности?

И тогда я показал ему голубую свою афишу.

— Почему же вы молчали, господин Иванов?

— У меня шпилек нет.

— Достанем. Как же вы до шпилек дошли? А до глаза не можете? Впрочем на все наука и время.

Он поднял глаза к потолку и сказал:

« — Ну, как тебе нравится супружеская жизнь?

— Не очень-то.

— Почему же?

— Видишь ли, жена моя с утра пристаёт: дай денег. Когда я прихожу обедать, та же песня, вечером — тоже самое: денег, денег, денег.

— Куда же твоя жена деваёт такую уйму?

Дачник почесал переносицу, оттопырил верхнюю губу, провел по ней жирным и толстым пальцем и сказал:

— Право не знаю. Я еще ни разу не давал ей денег».

На столе лежала громадная желтая афиша. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязан-

ность «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать на ножи и прокалывать безболезненно свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные тирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руки яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного корня осолотки». Я пошел в кухню. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил их к ладони. В кухне запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль.

Я мочил руку в простокваше. Хозяйка соболезнующе смотрела на меня и еще более на испорченную простоквашу. Мне тоже жаль простоквашу! Еще вчера она выгоняла нас. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне свою простоквашу.

Я пробовал колоть щеку. Это было очень больно, и тогда я направился к доктору Воскресневу. Этот доктор жил в трех кварталах от сеновала, где мы спали. Он был богат и желчен. Я пошел к нему не столько по своему желанию, сколько по совету Петьки Захарова. Мне нечем было заплатить ему за визит, и я сказал торопливо, что желаю получить от него рецепт на эфир. От смущения я не смог ему объяснить причину. Доктор с подозрительной быстротой отказал мне.

Афишу и помещение — школа в железнодорожном поселке — нашел и устроил в один день Петька Захаров. Он вбежал рано утром на сеновал, черноволосый, быстроглазый. На пороге он крикнул: «Здесь ли живут Всеволод Иванов и Пашка Ковалев?» Он торопился, даже помог мне зашнуровать ботинки и в это время рассказал, почему он приехал в Петропавловск.

Много я видал людей, которые любят движение, но никогда не приходилось мне видеть человека более подвижного, чем Петька Захаров. Он и спал-то, двигаясь руками и ногами, причем спал он

в сутки не более трех-четырёх часов. Он постоянно жаждал деятельности и физических упражнений. Окончив сельскохозяйственную школу, он убедил и Сваза, что бессмысленно иметь застекленную террасу, когда на этом месте можно разбить цветник, а террасу выгодно продать. Раньше он этого не предлагал Свазу, потому что не считал себя достаточно взрослым. Сваз согласился. Впервые в его школе после экзаменов ученик остался на лишние дни. Они ломали с увлечением террасу. Разбивая столб, Петька нашел среди обшивки мое письмо, прочел — и умилился.

— Вот это письмо, так письмо! — кричал он, бегая по сеновалу и с удовольствием глядя на наши удивленные лица.

«Во всем Павлодаре ни один пассажир не сказал мне, что он мечтает о морском капитанстве. Из этого парня выйдет толк» — подумал я.

Он послал письмо моему отцу, желая узнать, где находится Всеволод. За письмом полетела телеграмма. Петька не стал дожидаться ответа и поехал сам. Мой отец ему чрезвычайно понравился. Петька прожил в Лебяжьем неделю. Они ездили ловить стерлядей. Отец рассказал всю свою жизнь. Петька умилился еще более и решил, что нельзя такого человека, как Вячеслав Алексеевич, огорчать.

— Из этого парня должен выйти толк, и он выйдет! — повторил Петька.

И Петька вместо того, чтобы продолжать учение в среднем сельскохозяйственном училище в Омске, поехал ко мне.

— Бродячей жизни захотел? — спросил нагло Пашка. — Парта, она задлюбит.

— А ты помалкивай, мышачий огонек, — отозвался Петька.

Румяный, курчавый, с резко очерченным лбом и сильными надбровными дугами, Петька Захаров понравился мне. Вот у кого тесная и поспешная жизнь!

— Но почему же ты, Всеволод, еще не капитан? — вдруг спросил он.

Мне было совестно сознаться, что я уже не мечтаю о капитанстве. Я сказал,

что еду непосредственно к морю, в Индию.

— Куда?

— В Индию.

— Недалеко же ты уехал, — сказал ласково Петька. — Надо тебе помочь.

Признаться, я несколько испуганно ожидал его помощи. Его чудовищная энергия тревожила меня. Петька Захаров был сыном чиновника из павлодарского казначейства. Его отец, сутулый, с матовым лицом, человек, постоянно ходил в длинном черном сюртуке, всегда держа в правой руке фуражку. Говорили, что у него какие-то странные отношения со своей дочерью. Дочь у него высокая, очень красивая, и весь город изумлялся, почему она не выходит замуж и почему у нее нет женихов. Петька, словоохотливый, болтливый, никогда не рассказывал мне про свою семью, не рассказывал, почему же он учился в позорной сельскохозяйственной школе, когда и по достаткам, и по чину своего отца он должен был учиться в гимназии или даже в кадетском корпусе.

Когда я передал Петьке свой разговор с Филиппинским, Петька потребовал мою афишу и шпагу.

— Знаешь, Всеволод, я всегда подозревал в тебе крепкую волю.

Я показал свою афишу Филиппинскому, чтобы внушить уважение и чтобы получить немного хлеба. Петьке врать мне гораздо труднее, но еще трудней было сознаться в своей лжи. И я сказал:

— Упражнения в нашей жизни самое главное. Опираясь только на эти упражнения, я и дошел до прокалывания щек.

— А кончишь тем, что животы кинжалами будешь прокалывать, — ехидно сказал Пашка.

Петька потряс шпагой.

— При такой шпаге, Всеволод, ты подлинно завоеешь целый мир. Умей бы я колоть щеки, я б давно поступил в цирк. Ты почему, Всеволод, не в цирке?

— В наше время, — сказал я назидательно, — костюм решает все.

Петька осмотрел мой костюм.

— Да... не все, но частично.

Он резко спросил:

— Как твое имя?

— Да ты что, не знаешь?

— Я спрашиваю, какое у тебя морское имя. Разве ты капитаном под фамилией Иванова пойдешь? Иванов способен быть лакеем, швейцаром, почтальоном, чиновником наконец, но морских капитанов с фамилией Иванов не бывает.

— Бен-Али-бей, — сказал я.

— Придется тебе с таким именем плавать или в Желтом море, или действительно в Индийском океане. Я б советовал тебе взять что-нибудь более простое, например: Фогель, или скажем, доктор Кен, или, скажем, Эдвард Мори, или Альберт Монти.

— Бен-Али-бей, — сказал я упрямо.

— Ну, чорт с тобой, будь ты Бен-Али-бей. Пиши!

И он быстро продиктовал мне афишу.

У Петьки осталось пять рублей. Два рубля дал он струнному оркестру, который состоял из трех балалаек и двух мандолин. На рубль мы купили грима, на полтинник фуксин и на рубль несколько свертков обоев. Мы склеили длинные полосы, разрисовали и вывесили возле школы. Так создалась первая наша афиша. Филиппинский долго ходил вокруг нее и наконец решительно сказал:

— Поставьте внизу подпись: антрепренер Константин Степанович Филиппинский. Предупреждаю, я вам ничего не плачу и с вас ничего наверно не возьму, но я хочу испытать весомость моего имени для Петропавловска.

Петька понес продавать билеты значительным людям города. Все они отказались купить. Петька повесил афишу на громадный шест, выпросил в купеческом клубе барабан. Я должен был нести этот шест, а Петька впереди бить на барабане. Едва мы дошли до Менового двора, нас догнал околоточный верхом на рыжей лошади и весьма грозно спросил, что все это значит. Петька объяснил ему, что в Петропавловск приехал знаменитый факир и дервиш Бен-Али-бей, а мы — мальчишки, нанятые факиром для рекламы.

— А разрешение исправника у него есть? — спросил околоточный.

Петька направил околоточного к Филиппинскому.

Филиппинский выхлопотал разрешение, но за свои хлопоты он взял из кассы первые же десять рублей сбора. Он вытеснил громадным своим животом из-за стола Пашку Ковалева. Он схватил билеты, он желал торговать сам. Пашка, держась руками за голову, убежал, Петька Захаров сказал спокойно Филиппинскому, что он зарежет его, если тот возьмет еще хоть полтинник. И все-таки Филиппинский продавал билеты. Он говорил, что ему тяжело, что он из-за нас страдает. Едва появились на дощатых заборах широкие наши афиши, как в его доме обнаружили какие-то ветхие старушки, желавшие видеть Бен-Али-бея, мага, чародея, отгадывателя. Пришел служащий из городской думы, просчитавший двести рублей и желавший знать, возвратят ли их ему. Филиппинский не мог лгать! Филиппинский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Пришел любопытствующий купец, который желал знать, какова на вкус водка в Индии, почем бутылка и успеет ли он выписать к своим именинам.

Петька Захаров достал где-то длинную круглую железную полосу, укрепил ее возле сеновала на жердях и утверждал, что к следующему представлению он покажет номер: «турник». А сейчас он, если вы желаете, выйдет на сцену, и все увидят усталость от упражнений на турнике. Он несколько раз обошел вокруг Филиппинского и вдруг сказал ему:

— Ну что это за профессия, Константин Степаныч, антрепренерство?

— Отличная профессия, если подыскать настоящего актера и музыканта.

— А я предлагаю вам, Константин Степаныч, выйти и рассказать анекдоты. Что вы их на ветер сорите?

Я намазал коричневым гримом лицо, намагал на голову «соломенную собаку», натянул свои кавказские сапоги. Сапоги эти Петька для блеска намазал столярным лаком, от них широко пахло спиртом. Рядом с гримом на тарелке, вы-

чищенные мелом, блестели громадные шпильки. Тут же, украшенные выцветшими лентами, лежали гирьки «от одного до трех фунтов». А еще дальше — две немецких шпаги и длинное полотенце.

За кулисами оркестр настраивал инструменты. Ах, как я страдал! Мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь железнодорожный поселок будет показывать пальцами. Мальчишки сиплыми летними голосами заорут: «Факир, стерва!»

Петька Захаров ударил громадным землисто-бурым звонком. Поднялся занавес, изгрызанный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших сборы и знакомых барышень. Филиппинский первым появился на сцене.

Мы собрали тридцать два рубля, и зрители заняли только половину школы. За вычетом расходов нам осталось по четыре рубля на человека. Это был очень хороший заработок, если бы не страшные шпильки. И еще меня злило то, что Пашка Ковалев, который ничего не делал, тоже должен получить четыре рубля.

Филиппинский медленно прошелся по сцене и медленно сказал:

— Сейчас, перед выступлением факира, я буду вам передавать различные анекдоты.

Он посмотрел в потолок, почесал живот, почмокал губами. Толпа сидела молча. Многие знали Филиппинского, его манеру разговора. Их только удивило, что Филиппинский вышел с мертвенно-бледным лицом и с чудовищно черными бровями. Так его решил оборудовать Петька. Филиппинский, пытаясь несколько раз пересек сцену, сплунул, потер ногу и начал говорить анекдоты. Он говорил не меньше часу. Мне казалось, что вот он дорвался наконец к настоящему слушателю, и теперь его не оттянешь. Он не делал интервалов, не менял голоса, анекдоты сыпались однообразно, скучно, и никто из публики ни разу не рассмеялся. Наконец публика закашляла, тогда выбежал на

сцену Петька Захаров, щелкнул пальцами и бойко сказал:

— Об'емистый осел ходит исправно по сухому месту, а слабость его обнаруживается в сыром.

Но публика попрежнему сидела плотная, равнодушная, тупая. Петька Захаров помог Филиппинскому повернуть его ногу к выходу. И здесь никто не рассмехался. Мне казалось, что если б мне сейчас не выступить, я б очень сильно смехался над этим неуклюжим телом, медленно уходящим со сцены. Я помню отчетливо, что у меня было страстное желание не запнуться о кулисы.

— Вы готовы? — спросил меня Филиппинский.

Я отложил шпагу с ненавистными тремя кнопочками.

«Лучше б мне купить койку за деньги, истраченные на шпаги. Лучше б мне лежать сейчас на койке, где-нибудь в узкой комнатешке, которую я снял бы за три рубля в месяц. К восьми часам утра я выходил бы на работу в типографию, к вечеру освобождался, зажигал лампу, брал бы толстый том Купера или Диккенса и лежа читал бы. Кровать поскрипывала бы по-книжному, подобно сверчку». И, вздохнув, я ответил:

— Сверчок.

Филиппинский задумчиво медленно и крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждением:

— Действительно, сверчок.

Дабы меня не упрекнули в том, что я чародействую или чем-то связан с богом, я решил составить вступительную лекцию к моим «опытам». Речь моя начиналась так:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Прежде, чем начать свои опыты, я должен вам сказать, откуда и когда появились на земле факиры. В далекие-далекие времена жил на земле воинственный народ индейцы. У них был обычай: прежде, чем принять молодого человека в войско, его подвергали различным пыткам и истязаниям. Например: надевали на голову мешок с живыми муравьями и с пением девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах нет ни магии, ни демонских тайн

или чар, что все дело только в личном гипнотизме, в силе воли, перешедшей ко мне от индейцев.

— Здорово он, — крикнул из-за кулис Петька, и еще громче он крикнул музыкантам: — Господа, марш!

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки полотенцем и прикрыл им шпагу. Затем я взял шпагу, которая имела кнопки, сделал напряженное и страшное лицо — и надавил первую кнопку. Вдруг я почувствовал, что металл шпаги отодвигается от моих губ. Я начал его подвигать к губам, откидывая назад голову. Когда металл остановился, я надавил вторую кнопку и лезвие опять стало отходить от меня.

Я нажал третью, и пришло время, когда я наконец смог зажать зубами рукоятку шпаги.

Я вытянул прямо шею, устремил вперед руки и твердыми, «каменными» шагами пошел к зрителям. Я не видал их, но я слышал вокруг себя тяжелое, удивленное сопение. Это очень приятно. Я наконец расшевелил равнодушный горod!

Но—кабы не эти проклятые шпильки!

Я вернулся к столу. Музыка играла веселое. Я надавил кнопку. Лезвия поползли мне в рот. Я весело удалял от себя рукоятку. Я сверкнул шпагой в воздухе. Я подпрыгнул на одной ноге. Я был дьявольски весел. Действительно, этой шпагой завоеешь весь мир!

Но—кабы не эти проклятые шпильки!

Я кланялся, мне слегка хлопали. Музыка изображала «На сопках Манчжури». Пора приступать ко второму опыту, но мне было страшно. Петька Захаров взволнованно выбежал на сцену и сказал:

— Сейчас знаменитый факир и дервиш Бен-Али-бей приступает к самому тяжелому номеру своей программы. Прошу соблюдать спокойствие. Музыка, марш!

Я взял шпильку и стал погружать ее в щеку. Пот выступил у меня на шее. Когда раньше я думал о предстоящем мне страдании, я больше всего боялся пота. Мускулы скользят между пальцев, булавка скользит, сам ты весь какой-то

рыбный. Я выпрямился и сосчитал народ, сидящий в первом ряду. Я насчитал восемнадцать. Сколько мужчин и женщин? Я попробовал их оженить, слегка развеселился, пот схлынул, но щеки все же колотить трудно. Я отложил булавку. Мне показалось, что в публике послышался смехок. Тогда я подошел пальцем Петьку Захарова, передал ему булавку, и Петька Захаров сказал:

— Дервиш просит меня передать, что булавка оказалась сломанной, тупой.

Я обнажил грудь. Тонкая слюноточивая боль ударила мне в глаза. Головка шпильки запрыгала было у меня в пальцах, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо глядящих на меня; взглянув на Петьку Захарова, на его раскрытый восторженно рот; на Филиппинского, который мне не верит; на Пашку Ковалева, который нагло улыбается и своих четырех рублей никому не возвратит, как бы публика ни избила этого глупого и неудачного факира, — я еще глубже воткнул в свое тело шпильку. «Только бы не проткнуть артерии, — непрестанно повторял я, — только бы не проткнуть артерии».

Розовый кусочек стали вылез из моего мяса, через мою кожу, и лениво, розовато блестя, пополз дальше. Кусок груди шириною со спичечную коробку был проткнут мною насквозь. Я повесил гирыку. Я начал с трех фунтов. Боль металась по всему телу, и больше всего почему-то болели веки. Я быстро взял другую шпильку. Щеки мои горели, рот пересох. Но я улыбался. О, я знал законы цирка! Я воткнул вторую шпильку и повесил гирыку. Всего я воткнул восемь шпилек, и у меня осталось только две гирыки. Мне казалось, что грудь моя сорвана, что широко хлынула кровь. Я не чувствовал тяжести гирык, мне казалось, что громадный, черный гвоздь входит в мои ребра.

Я плотно прижал язык к нижней челюсти. Я быстро схватил оставшиеся булавки и одну за другой вонзил их в щеки. Из заднего ряда какая-то белокурая девушка крикнула:

— Довольно, довольно!

— Чего там довольно, — ответили ей из передних. — Полагается, ну и — коли!

Белокурая девушка упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Я спустился по ступенькам в зал. Я прошел пять рядов, показывая зрителям то, что сделал с собой. Дальше пятого ряда я не пошел: мне почудилось, что весь рот мой наполнен кровью. Мне стало тошно. Я снял самые легкие гирыки. Вытаскивать булавки так же больно, как и втыкать их. Вынув три булавки, я не вытерпел и сказал: «Занавес!»

После меня на сцену вернулся Филиппинский, но анекдотов его не слушали, и тогда высочил Петька Захаров, который заявил:

— Сеанс окончен! Следующее представление в воскресенье! Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша Бен-Али-бея, которых мы не смогли показать сегодня, потому что еще не распакована наша аппаратура, как-то: исчезновение живой женщины в тумане, отсечение головы живому человеку, превращение петуха в лягушку и лягушки в гуся, деревянные яйца, из которых появляется подлинный крокодил, и другое. Музыка, марш! До свидания, господа публика!

## V

Я завидовал и слегка побаивался петькиной неустрашимости. Мне хотелось подражать ему. Мне было приятно, что я оказался неустрашимым факиром. Хотя моя грудь и болела, но я гордился своим поступком. Я думал: постоянное беспокойство Пашки, его вытаращенные глаза и руки, простертые к голове, медлительность Филиппинского действовали на меня, и я чуть было не размяк. Нашлась же во мне смелость пойти к директору Омского летнего театра и предложить свои услуги! Болела бы у Петьки грудь так, как болит моя, он никому не жаловался и вряд ли бы лечил ее. Я лечить грудь не мог потому, что, во-первых, не знал лекарств, кроме тех, которые употребляли в нашей семье, — свицовой примочки и

хины, причем хину отец всегда заменял настоем осинового коры, а во-вторых, если б я пожелал итти к доктору, то не смог бы, — все деньги находились у Пашки, который боялся, что мы по беспутству своему способны растратить их в один день. За пашкиной бережливостью наблюдал Петька Захаров. Петька всячески старался уничтожить пашкино беспокойство, и это раздражало Пашку. Беспокойством своим он как будто любовался, он был рад видеть себя беспомощным. Я думал с раздражением: «Хорошо тебе, Паша, из-за маменькиной шеи уходить в наборщики, а вот теперь поживи-ка самостоятельно!» Но вежливость мешала мне высказать свои мысли.

Со страхом смотрел я на свою побаргровевшую грудь, на темнорозовые пятна, ползущие по щеке. А в следующее воскресенье мне надо выступать. Много раз я собирался сказать Петьке о своей боли, но, увидав его сияющее лицо, его приготовления к следующему представлению, решимость моя исчезала. «Завтра скажу» — думал я.

Мне повезло: нам не дали помещения школы. Зрители поломали несколько парт, стены украсили надписями фамилий и некоторыми изречениями вроде: «Какие там факиры», сопровождая это определение более крепкими словами, чем те, которыми мы орудуем в книгах. Пашка отчаянно завопил:

— Разве здесь можно жить! На каждом шагу или равнодушие, или потибель!

Петька не без удовольствия осмотрел надписи.

— Соображают парни-то, — сказал он, — хорошо бы познакомиться с ними. Наверняка нам быгодились.

Петька обежал все городские школы, но там уже знали, что факиры загадили железнодорожную школу, и всюду Петьке отказывали. А он от этого становился все веселей и веселей.

Филиппинский, пыхтя, подошел к лестнице сеновала. Мне показалось, что Филиппинский доволен, что нам не удастся устроить представление.

— Я вас могу взять в духовой оркестр.

— Допустим, Константин Степаныч, что я сумею колотить в барабан!

И Петька неустрашимо продолжал:

— Но ведь этим-то ребятам надо учиться. А времени нет. Не будем же мы все трое колотить в один барабан, Константин Степаныч.

— Зато верный заработок, — ответил медленным своим голосом Филиппинский.

— Я не хочу на барабане, — сказал Пашка.

Он только-что получил от матери письмо. Пашка телеграммой попросил у ней денег, и мать ответила ему, что денег она не пришлет и вообще он — беспутный и глупый сын. Хвалит петропавловских девиц, но не прислал ни фотографии, ни возраста, — а телеграммами переговариваются только одни дураки. Петька Захаров спокойно взял у Пашки письмо Ковалихи, разорвал его и сказал:

— Я запрещаю тебе во имя гуманности переписываться. Всеволод, подтверди!

Я подтвердил.

Я удивлялся и радовался тому, как быстро Петька Захаров схватывает и подмечает окружающие его впечатления, как быстро припоминает, соображает и отвечает на вопросы. Во время разговора он способен мгновенно рассмотреть быстро промелькнувшие мимо предметы. Он видит у сороки в крыле испорченное перо, в колесе экипажа сломанную спицу, в окне дома успеет сосчитать все горшки с геранью, если проскочит всадник, он подробно и без ошибки опишет его одеяние. Петька был набит всевозможными сведениями. Он мне напоминал многознающих героев из романов Жюль-Верна. Но те сведения, которыми он нас сейчас оглушил, превысили все мои предположения.

Раскидывая носком сапога клочки разорванного письма, он сказал:

— Придется, видно, купить Нубию.

Я читал кое-что о Нубии, но сейчас от растерянности и неожиданности я забыл все прочитанное.

Пашка Ковалев, не задумываясь, сказал:

— Последние деньги хочешь отнять! Не позволю.

Петька строго ответил:

— Не дороже твоей совести, Павел, которую ты хочешь продать, сообщая матери о девицах.

— Я с отчаяния, — тихо сказал Пашка.

Наглость его заметно исчезла. И на него действовала петькина решимость. Кроме того, несомненно, в одиночестве Пашка был более труслив, чем в Павлодаре, когда его окружала толпа заискивающих у Ковалихи хулиганов.

Петька сказал еще строже:

— Ты, Пашка, колеблешься, а тебе надо помнить: в степь мы не вернемся. Если из тебя не выйдет капитана, мы превратим тебя в буфетчика на корабле.

Пашка с отчаянием простер свои руки к голове.

— Сколько же стоит эта Нубия?

Филиппинский, подняв глаза к небу, рассказал коротенький и скучный анекдот. Я с почтением ждал, когда же Петька начнет свои объяснения. Глаза и зубы его сверкали, румянец покрыл щеки.

— Нубия, — сказал он протяжно и деловито, — Нубия суть страна в Африке.

— Еще ее нам нехватало, — ответил Пашка.

— Сколько же бывает в иной голове ненужной быстроты, — сказал Филиппинский.

Филиппинский пожевал, попыхтел и, прихрамывая, поплелся к воротам. Зевая, посмотрел он направо и налево, шлепнул по плечу идущую в зеленый дом девицу, почесал подмышкой и вернулся обратно. В это время Петька рассказывал нам об Африке. Пашка смотрел на него со страхом. Ему казалось, что Петька уже нашел такой способ подкупить Нубию, что эта страна пожелает приобрести нас, и казаки погонят нас по этапу, по дороге будут бить, на станциях будут нас кусать клопы.

Филиппинский слушал, слушал и вдруг сказал:

— Вот из Нубии бы мне артистов. Глядишь, и расшевелил бы город.

Петька то садился на землю, то на лестницу, то вскакивал в сеновал и одновременно с этим быстро выкладывал про богиню Гатор, про Рамзеса Второго, про «каменное брюхо», лежащее возле Нила. Особенно долго он говорил от этого «каменном брюхе». Здесь находится знаменитое место Семне, где Лесиус открыл многочисленные надписи, вырезанные на камне, надписи, дающие высоту нильских разливов в царствование Аменехи Третьего. Всюду возле Семне красуются гранитные скалы, черные и блестящие, изрытые ямами.

— Мы видим, — яростно продолжал Петька, — мы видим с вами высокие берега, узкий канал...

— А зачем мне видеть узкий канал? — сказал Филиппинский.

Пашка спросил с отчаянием:

— Сколько они с тебя запросили за эту Нубию? И как ее и почему ее можно купить на наши средства?

Петька Захаров, как я его теперь понимал, рад был придрататься к любому случаю, чтобы иметь возможность высказать те знания, которые заполняли его голову. Он любил чертить геометрические фигуры, схемы, планы местности, он обожал хронологическую последовательность событий. Торопиться нам некуда, это правда. И я не понимал пашкиного беспокойства. К вечеру, считывал я, Петька наверно от истории Нубии подойдет и к современной Африке, если в голове его не возникнет какая-нибудь иная схема. Сейчас он выхватил из своего дырявого желтого чемоданчика лист бумаги и показал нам чертеж.

— Ничего не понимаю, — сказал скообно Пашка.

Петька важно объяснил:

— Мы можем идти из Петропавловска двумя путями. Если мы пойдем влево, под 35°, мы направляемся через Кокчетав, Атбасар, мимо озера Узумкуль, через горы Улутау, мимо озера Чубар-Тенис, через пески Кара-Кум, к Аральскому морю. Здесь мы подойдем к 30°. На Аральском море мы возможно, порыбачим и через пески Кара-Кум направимся дальше, вплоть до Каспий-

ского моря. Здесь мы, возможно, порыбачим, затем переплывем Каспийское море и попадем в Баку.

Горькая боль отразилась на пашкином лице. Он сказал протяжно:

— Я не хочу рыбачить. Я уйду лучше домой.

— Тебе, Пашка, надо собирать сведения о том, как и почему страдала твоя семья. Собирать их, эти сведения, надо всюду, а Ковалиху больше всего знают в степи. Хотя она и мать тебе, но я скажу прямо, что она довольно преподаля баба и лучше б ее не знали в степи. Но что поделаешь! Игак, тебе-то как-раз, Пашка, и нужно переходить через пустыню и степи к Баку.

— Сколько же этими степями верст?

— До Баку тысячи полторы, не считая того, что нам придется ради разных питательных дел сворачивать в стороны.

— Я хочу домой, — сказал Пашка со слезами.

Филиппинский вздохнул, вытер толстый, жирный подбородок и сказал:

— В Нубии, небось, еще жарче, чем в Петропавловске.

Петька Захаров продолжал объяснять, тыча пальцем в план:

— Вот что значит невежество и неумение читать географическую карту! Присмотритесь, здесь же нет того степного плана, о котором я говорил. Мы идем другим путем. Мы пойдем из Петропавловска на села Петухово, Маршихино, Дубровское. Дальше очень возможно, что мы свернем на Щучье озеро, порыбачим, посмотрим, оправдывает ли оно свое название, и затем вновь вернемся на тракт. Мы пройдем Шматово, Воротниково, пересечем реку Тобол, выйдем на Сладкий Лог, — оттуда рвкой подать до города Шадринска. А от Шадоинска мы пройдем на Камышлов. От Камышлова — на Екатеринбург, а здесь мы всегда найдем нужную и денежную работу. Урал — страна богатая. Скопив деньги, мы прямым сообщением направляемся к морскому порту, скажем, к Ревелю.

Пашка осторожно спросил:

— А сколько же верст останется нам от Екатеринбурга до Нубии?

Петька Захаров поправил что-то карандашом в своем маршруте.

— Пойдем мы среди кустарей, маслоделов, салотопов, дегтярников. Народ они более веселый, не то, что у нас в степи: сплошной сон.

— Петр, я хочу знать: сколько верст до Нубии?

Петька сказал торжественно:

— До Екатеринбурга по влажным и тенистым местам, покрытым высокой, зеленой травой, возле прозрачных ручьев и рек, встречаемые приветливым народом, нам предстоит пройти триста верст, а пожалуй, и меньше, так как многочисленные обозы, идущие по тракту, будут нас подвозить. Затем нас встречает радушный Екатеринбург, затем гостеприимный Урал открывает нам свои объятия.

— Я хочу знать: сколько же верст до Нубии? Не раздражай меня, Петр. Душа моя болит, и если ты совсем раздражишь меня, я способен пригласить самых плохих девок для моей матери.

Петька нахмурился.

— Я не позволю, Пашка, чтобы в моем присутствии существовал человек, позволяющий себе помышлять о торговле живым товаром. Я тебя пока еще уговариваю, я действую на твою гуманность, но, если ты мне надоешь, я просто ударю тебя в зубы.

Петька Захаров важно поднял вверх руку свою, вооруженную страшным маршрутом:

— Смотри, Павел, на Всеволода. Смотри и учись. Как он держит свою шпагу! Как он бесстрашно себя прокалывает. Учись, до каких высоких ценностей, духовных и физических, способен дойти человек.

Петькино одобрение растрогало меня. Я сказал наивозможно серьезно и твердо:

— Ну что же, пора нам отправиться и в Нубию.

Петька помолчал, свернул план.

Пашка сидел, положив голову на сложенные на коленях руки.

Петька сказал:

— В моем маршруте не упоминается путь к Нубии. Я полагаю, что мы поедем в эту страну несколько позже, ска-

жем, к старости. Сейчас нам необходимо быть морскими капитанами. Что же касается Нубии, так это я говорил о лошади.

Филиппинский не удивился. Спокойно он поднял вверх глаза и спокойно сказал:

«Судья (обвиняемому): — Вы украли у этого человека фрак и клетчатые брюки. Ведь это же совсем не подходит одно к другому».

«Врач на одном голландском корабле обыкновенно предписывал больным вместо лекарства пить морскую воду. По несчастью случилось этому врачу упасть в море. При всеобщем смятении и старании спасти врача один из матросов спросил товарища своего о случившемся. Тот, мигая глазами, как будто глаза его запорошило песком, и скребя голову, отвечал хладнокровно:

— Доктор наш упал в свою аптеку».

Я смотрел маршрут, составленный Петькой. Петька не упустил ни малейшей подробности из всех предстоящих нам препятствий и бедствий. Он составил маршрут, не только географический, климатический, но и, как он назвал его, «питательский». Выходило чрезвычайно убедительно, что глубокой осенью мы будем возле Ревеля и там поступим в морскую школу. Если нам не удастся поступить или будет трудно учиться, то мы откроем какое-нибудь театральное предприятие, выручка с которого даст нам возможность купить капитанские дипломы. Как видите, Петька Захаров мало верил в ценность официальной науки. Он имел для этого все основания. То, что он приобрел чтением книг, дало ему знаний в десять раз больше, чем все изученное им в сельскохозяйственной школе. Я нисколько не сомневался, что наше путешествие удастся. Только я попросил его сообщить подробно, какие причины заставили его притти к решению о приобретении коня «Нубии». А главное, откуда мы достанем денег.

Петька Захаров ответил охотно:

— Из всех наук, какие я изучал, я больше всего возлюбил коневодство. Страна наша равнинная. Хороший рысак или хороший наездник всегда найдут здесь пропитание и удовольствие. А коновал тем более. Что же касается «Нубии», так это гэнтэр.

— Нехватало нам еще гэнтэра! — воскликнул Пашка.

— А что такое гэнтэр? — спросил я.

Петька помолчал, посмотрел в наши недоумевающие лица и затем объяснил:

— Гэнтэр — это значит охотничья лошадь. В какие бы условия местности она ни была поставлена, она везде сохраняет свои достоинства. Гэнтэр всегда очень высок по крови, хотя складом и не подходит к скаковой лошади, так как он низок на ногах. В гэнтэре главным образом обращают внимание на поясницу и скакательные суставы.

Пашка вздохнул.

— Как будто мало нам наших скакательных суставов.

— Цена гэнтэра зависит не только от того, как он прыгает, но и от того, каковы приемы и характер его прыжка соответственно роду препятствий. Через обыкновенную изгородь, то-есть незначительное препятствие, гэнтэр должен прыгать спокойно и без усилий. Прыгая через высокое и крепкое препятствие, гэнтэр должен сжаться, напрячь все свои силы, прыгнуть прямо, верно, но опять-таки не торопясь и спокойно. Прыжок через скажем, речку, должен иметь совершенно иной характер. Гэнтэр смело вытягивает голову и шею, легко берет упор на повод, растягивается и лихо, весело, как бы радуясь, устремляется в прыжок. Одно в гэнтэре плохо — он слишком дорог.

— Я думаю, здесь ты не ошибаешься, — сказал Пашка.

— За обыкновенного хорошего прыгуна платят от семи до восьми тысяч франков, а за выдающегося цена доходит от двенадцати до пятнадцати тысяч франков.

— Приличные деньги, — медленно и с уважением сказал Филиппинский.

— Денег много, но, повторяю, гэнтэр — единственная лошадь, на которой

вы сможете охотиться без исключения во всех странах света.

Пашка спросил:

— Если ты предполагаешь быть капитаном, то на кой чорт тебе гэнтер?

— Англичане дорого ценят свою жизнь, — ответил Петька. — Вот Всеволод как факир, знающий Индию, подтверждает общее мнение об англичанах.

— Это правильно, — сказал я.

— Англичане на охоте целиком вверяют свою жизнь лошади. Потому англичане не останавливаются перед ценой.

— В Англию повезешь ее? Впрочем, если ты будешь капитаном, то и увезешь, — сказал Пашка, — а до капитанства где она у тебя будет жить?

— Павел, соображай. Зачем мне везти гэнтера в Англию? Союз сибирских маслодельных артелей, правление которого находится в Кургане, то-есть в двухстах верстах от нас, этот союз поставляет масло для Англии. Понял?

Я спросил:

— Где же ты нашел гэнтера?

Петька веско сказал:

— За деньги лошадь не купить. Можно тратить множество денег на покупку лошадей, но кто сам посредственный ездок, кто не знает лошади, тот и не знает, чего и как можно от нее потребовать, тем более от гэнтера. Знание гэнтеров — великое искусство, Всеволод. Это не уступит твоему факиризму.

С лица Филиппинского исчезло оживление, которое я заметил, когда Петька начал рассказывать о гэнтере. Он ушел от нас. Он шел своей особой походкой, той походкой, когда он глубоко задумывался. Ноги, эти толстые, тяжелые громады, он поднимал тогда очень высоко.

Петька понимал Филиппинского. Он подмигнул мне.

— Прожгло, брат. Он медленный, медленный, а помаклячить любит. Какое дело, Всеволод! Какое громадное дело! И все помогает наука. Иду я мимо бойни. Вижу, приготовлена толпа коней. Обдирать! Взглянул мельком, вижу — гэнтер.

— Сколько же он стоит? — спросил я.

— Запросили шесть рублей. Весь он в язвах, спина истерта седелками. В обозе коня водили, чорт бы их побрал, этих петропавловских дикарей! Ноги избиты,

собой вообще очень невесел. Думаю, за четыре с половиной отдадут.

— И купит, купит, — сказал горько Пашка. — Совсем у тебя какая-то выветренная голова!

Мы отправились смотреть гэнтера «Нубию». Пашка сопровождал нас. Он надеялся, что ему удастся отговорить Петьку. Петька сообщил нам, что он без всякой подсказки догадался о подлинном имени гэнтера, то-есть «Нубии». Едва он назвал это имя, как гэнтер завывал ушами. Пойдет этот гэнтер вместе с нами по низменности, среди пышных зеленых лугов и светлосиних куш, раз'еденных белыми песками. Гэнтер будет толстеть, и, пока мы дойдем до Екатеринбурга, он откормится. А если мы откормим его раньше, то свернем к городу Кургану. Но все-таки больше возможностей встретить англичан, знающих коневодство, в Екатеринбурге, столице Урала, нежели в Кургане.

Я верил Петьке, верил его чудовищной воле, его крайней осторожности в гипотезах и выводах. Он сказал по дороге к бойне, что ко всяким дедукциям, пока они не подтверждены фактическими данными, он относится с недоверием. Математики, науки по преимуществу дедуктивной, он не любит и мало к ней способен. В собирании фактов и в проверке своих предположений он неутомим. Здесь он обнаруживает громадную настойчивость и трудоспособность. И точно: сейчас же на память он нарисовал схему тела гэнтера и для проверки потащил нас в городскую публичную библиотеку. Фигур гэнтера в библиотеке мы не обнаружили. Тогда он повел нас к знатоку лошадей, казачьему полковнику Мясницкому. Мясницкий, худой, черный человек с красными усами, принял нас любезно. Он пожаловался, что всеми забыт, что приближается старость, отставка, — это насмешка над воином! Он достал книгу Филиппса «Основы выездки», но и там не нашлось портрета гэнтера. Полковник рассердился. Он имел всего двенадцать книг, так как считал, что каждый человек должен прочесть в течение года одну книгу, а через двенадцать лет первая прочтенная вами книга будет забыта, и вы можете начинать сначала. Он порывался в фотографиях и

нашел нечто низкое и длинное, о чем он утверждал, что это-то и есть подлинный гэнтер. Рисунок вполне подходил к тому, что соорудил Петька! Полковник предложил нам водки. Мы отказались.

В узком дворе, окруженном черным забором, возле светлозеленых столбов, мы увидели табун коней. Я никак не предполагал, что возможно собрать столько уродов. Здесь ржали, бились или стояли невероятно неподвижно кони неопикуемых мастей, неопикуемой грязи и запущенности. Табун чихал, кашлял, всюду мы видели коросты, следы побоев, раздробленные головы, всюду торчали кости. Петька подвел нас к низенькой лошадке. Он схватил ее за узду и вывел из табуна к воротам.

— Ты посмотри ей в глаза, — сказал радостно Петька. — Ты взгляни ей в глаза, Всеволод!

Я посмотрел в глаза «Нубии». Глаза у нее были серые, умные, ясные и какие-то детские. Весу в ней было не больше пяти пудов. Спина у ней, как и у остальных лошадей, вся в ранах, ребра торчат. Постукивая по этим ребрам, Петька сказал: «Удобно очень. Вся внутренность наружу, и легко лечить». Масть у ней вроде соловой, хвост пушистый, как у лисицы, а шея длинная и тонкая, похожая на верблюжью. Одно ухо — толще — желтое, другое — лежащее — разорвано на три части и странного фиолетового цвета.

Петька говорил:

— Ты посмотри, Всеволод! Мало того, что она религиозная, она еще не способна замкнуться в узкой сфере личных религиозных переживаний. Ее силы ищут широкого применения. Ты не найдешь в ней созерцательного отшельничества. Это, Всеволод, не лошадь, это моралист-проповедник, направляющий свое внимание не на догматические основы учения, не в сторону интеллектуальной критики веры, но в сторону оценки, в сторону соответствия данного учения той жизни, которую он наблюдает. Дисгармония между идеалом и действительностью порождает в этом моралисте острые чувства зла в жизни, которую он наблюдает. Движимый альтруистическими потребностями, он идет в самую гущу жизни, он яростно пропове-

дует добро и обличает пороки. Этот моралист, — здесь я обращаюсь к твоему вниманию, Павел, — этот моралист поговорит еще о твоем характере, Павел!

Я тщательно приглядывался к лошадиной религиозности, но ничего не находил. Мне не хотелось обижать Петьку, и я робко спросил:

— За каким лешим лошади нужна религия?

— За таким же лешим, за каким она нужна и человечеству. Когда человечество разочаруется в религии, в ней разочаруются и лошади. А пока я считаю, что конь имеет такое же право обладать характером, как и человек. Много вы понимаете в конях, а тем более в гэнтерах.

— Я-то ничего не понимаю.

Петька поманил к себе приказчика.

— Четыре семьдесят, — сказал он. — Это наша последняя цена. Лошадь так заморена, что ни на шкуру, ни на мясо невозможна. Я ее беру из сострадания.

— Пять пятьдесят, — сказал приказчик.

— Пять! — крикнул Петька.

Пашка Ковалев вдруг сказал:

— Пять двадцать.

Азарт овладел Пашкой. Азарт овладел мною. Шесть рублей мы никак не могли истратить, а если будет приказчик упорствовать, то мы могли дать и семь рублей. Но азарт быстро покинул Пашку. Сказавши «пять двадцать», он впал в грусть, в отвращение. Он начал яростно критиковать коня. Тогда Петька Захаров ударил ладонью по руке приказчика:

— Пять восемьдесят!

— Берите, — сказал приказчик. — Но без узды.

Мы привязали коню на шею мою соломленную собаку. Я взял «Нубию» за гриву, и конь, вихляя задом, ставя каждую ногу на свой особый манер, поллеся за нами. Он чихал, кашлял, из носа его текла беловатая жидкость. Петька Захаров с умилением смотрел на него.

— Вот это будет гэнтер, так гэнтер!

Теперь, когда мы купили лошадь, мы уже не могли ехать по железной дороге. С горечью думал я о поездках, о полках, на которых можно дремать, о киятке, которого сколько хотите на стан-

циях, о припасах, которые продают бабы.

Мы готовились к походу. Хозяйка не пустила нашу «Нубию» в пригон, так как считала, что этот несурзанный конь заразит весь ее скот. «Нубия» паслась за домом возле длинного заросшего крапивой пожарища. Мы караулили ее по очереди. Часто приходил Филиппинский. Он стоял неподвижно под жарким солнцем и смотрел на мои ноги. Мне казалось, что он уважает меня, что он хочет побеседовать со мною о всем том, что происходит в его доме. Петька Захаров уже успел пленить Ирину Терентьевну, жену Филиппинского. Он наташил ей со всего города слабых и несчастных животных. Он привел нищих. Она даже и не подозревала раньше, что в городе столько несчастных. Он говорил мне, что не показывает ей «Нубию», дабы она не вздумала ее лечить, а возможно также, что она и направится за нами. Филиппинский и ревновал ее слегка, и жалко ему было того добра, которое она раздавала бедным. В этом толстом и жирном теле обитало множество разнообразных страстей. Он говорил Петьке:

— Она раздаст всю мою лавку.

Петька жал ему руки.

— Единственное спасение, Константин Степаныч, это вам итти с нами.

— Не пойду я с вами, — громыхал Филиппинский.

— Мы не в состоянии жить без ваших анекдотов. Когда вы их научитесь произносить с интонациями, вы будете самый знаменитый анекдотист нашего театра. Если вы не пойдете, то и я остаюсь. Я притворюсь больным, Константин Степаныч. И я действительно способен захворать от обиды, которую вы наносите нам. И, больной, слабый, я приду в ваш дом...

— Я не пойду!

— Я тоже не пойду, — присоединялся к голосу Филиппинского голос Пашки Ковалева.

— Видите, вы на юношу действуете. Нет, без вас невозможно нам уйти, Константин Степаныч.

Петька через каждые два часа осматривал «Нубию». Он бегал в казачьи казармы, выпрашивал овес и хлебные

корки, собирал помои у соседей. Хозяйка гнала нас. Не уважай она Ковалихи, она бы давно сообщила о нас в полицию. Я торопил приятелей. Петька угваривал Филиппинского, а в промежутке продолжал свои упражнения на турнике. Он приказал Пашке заняться музыкой. Мы купили на толкучке балалайку за семьдесят копеек. Петька Захаров долго искал сборник куплетов, которые бы смог распевать Пашка. Но сборника не нашлось.

Однажды, когда Петька посыпал краюху хлеба, приготовленную для «Нубии», лекарством «калган», я вспомнил о Волшебной библиотеке и словах старьевщика Трофимова.

— Вполне возможно, что она находится в Петропавловске. Надо бы тебе рассказать пораньше. Если там говорится хоть одним словом о производстве фальшивой монеты, так эта библиотека непременно здесь. Фальшивомонетчики — самый равнодушный народ.

Я рассказал ему о том, как ходил на петропавловскую толкучку.

— Неправильный ход!

В Петропавловске печаталась тощая газетенка, где сообщались через два дня в третий городские происшествия и заседания городской думы. Полагаю, это была самая равнодушная газета в мире. Читая ее, я думал: «Кому это пришло в голову издавать такую скучищу?»

Редактор, белесый и дряхлый человек, в белой рубахе ниже колен, посмотрел составленное Петькой объявление. Петька открыл было рот. Он хотел сказать, что речь о том, сколь важно для России изучение факиризма, и что поэтому мы просим напечатать объявление бесплатно. Редактор вернул нам листок.

— Начальство не разрешит, — сказал он. — Какая там Волшебная библиотека! Полная бессмыслица, молодые люди. И затем, что здесь написано в конце: адресоваться к Филиппинскому. Кто же будет адресоваться к Филиппинскому, когда, если вы его спросите: «Давно ли у вас насморк», он вам ответит через год. Его медлительность известна начальству. Начальство ее не одобряет.

— Мы укажем наш адрес.

Редактор выслушал этот наш адрес.

— И тоже начальство не разрешит. Почему справки о Волшебной библиотеке направлять в публичный дом? И без того много пишут о публичных домах. Здесь начальство одобрило бы медлительность. Я говорю о писании. Пусть «они», если существуют, то существуют молча. Так одобряет начальство.

Петька купил десть бумаги, разрезал ее на мелкие клочки, и мы от руки размножили наше объявление: «Ищутся книги из Волшебной библиотеки, относящиеся к области телепатии, ясновидения и факиризма». Мы указали адрес Филиппинского.

— Зачем тебе, Петька, понадобился Филиппинский?

— Он жирный. Ему жрать, спать надо. Он нам поможет найти деньги по пути, Всеволод. Он способен даже организовать трупку.

После расклейки объявлений мы вернулись к сеновалу. Дверь была заперта на замок.

На лестнице сидел Пашка Ковалев и плакал.

Петька взял недоуздок, прикрепил к нему удила, и мы распутали нашу «Нубию». Все мы трое направились к Филиппинскому. «Нубия» ковыляла за нами.

Петька вбежал в дом к Филиппинскому. Мы стояли у палисадника. Из дома слышались крики, визг, что-то, звеня, упало. Через несколько минут выкатился, тяжело пыхтя, Филиппинский с узлом и одеялом в руке. Оторопело он посмотрел на «Нубию». Так как раны «Нубии» еще не зажили, то Петька укрепил кое-какое наше имущество к ней на задку возле хвоста. Филиппинский сказал:

— Как же я сяду на эту лошадь? Она переломится.

— Если б она была здорова, она бы увезла всех твоих родственников, Константин Степаныч. А сейчас у ней больная спина, и ты пойдешь пешком.

Он схватил «Нубию» за недоуздок.

Он крикнул в окошко:

— Счастливо оставаться, Ирина Терентьевна, благодарю за помощь!

Филиппинский прошел с нами спокойно весь город, но когда мы вышли на тракт и он увидел бурые пески, бурые телеграфные столбы, ковыль, беспощадное солнце, он посмотрел на свой живот, отдал нам свое одеяло, узелки и повернул обратно. Он шел, низко наклонив толстую голову, и мне казалось, что он приготовлял ее к тем ударам, которыми наделит его Ирина Терентьевна.

«Нубия» часа три шла, удивительно затайливо раскидывая свои ноги. Петька неустанно любовался ею. Вдруг мы услышали вдали грохотание тележки.

Петька вскрикнул и побежал назад.

— Волшебная библиотека догоняет! Иначе откуда же такому грохоту!

— Вот еще не было печали, — скорбно сказал Пашка.

Тележка скакала. Конь бежал, не управляемый. Тележка моталась по тракту, задевала за столбы, иногда сворачивала в степь. Внутри ее дрались два человека. Петька задержал коня и тихо сказал мне:

— Филиппинского везут!

Увидав исцарапанные лица Филиппинских, мы скромно отвернулись. Петька Захаров сказал важно:

— Я беру Филиппинского, но не иначе как только в Индию.

— В Индию, так в Индию, — сказала Ирина Терентьевна.

Филиппинский вылез из тележки. Ему, видимо, было совестно, что мы видели, как он дрался со своей женой. Жена плакала. Филиппинский тоже утирал слезы. Они обнялись, поцеловались, она осмотрела его узелки, дала веревку, чтобы связать одеяло.

Для меня совершенно было непонятно, какие причины заставили этого толстого человека пойти с нами.

Петька Захаров загадочно и немного смущенно улыбался.

Ирина Терентьевна взяла вожжи. Тележка повернула влево, а мы двинулись вперед по тракту, в далекую Индию.

(Продолжение следует)

# Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

## ВСТУПЛЕНИЕ

### I

**Д**обрая старая Англия. Октябрьский туманный день. Низкие тучи ползут над серой равниной. Может быть, сейчас пойдет дождь.

Но толпа в центре равнины все густеет. Дилижансы, кэбы, кареты, пешеходы движутся к ней. Забыты охотничьи празднества и скаковые конюшни в поместьях, оставлены просиженные табуреты у конторок и заперты торговые склады, даже в угольных копиях и ткацких мастерских прерваны с полудня работы, и бесчисленные барки неподвижно теснятся в канале, напрасно ожидая грузов.

Небывалый день!

Лэди и джентльмены сидят в каретах и открытых экипажах, расположенных широчайшим полукругом. Разговаривают кучками купцы и фабриканты, теснятся клерки и мастера. И сплошными рядами стоят позади рабочие — углекопы, ткачи, барочники, грузчики, кузнецы, — молчаливый, угрюмый народ.

Прямая и гладкая, как канал, пересекает равнину дорога. По сторонам ее, на высоких столбах — огромные объявления:

В конкурсе участвуют:  
*Новинка* — м-ра Брейтуэйта и м-ра Эриксона.  
*Бесподобный* — м-ра Гакворта  
*Настойчивость* — м-ра Бурстала  
*Ракета* — м-ра ...

Последнее имя видно только тем, кто протеснился поближе. Но оно перелетает из уст в уста, оно возбуждает восторг и ненависть, злобную ругань и одобрительные восклицания.

— Погонщик старых кляч!

— О, этот побьет всех, вот увидите...

— Мы уже видим, джентльмены.

Эти молодчики лезут всюду, они напирают так, что скоро порядочным людям нечего будет делать в Англии...

— Он — дельный человек, вы заблуждаетесь, сударь.

— Он разорит меня, ваш дельный человек!

— А что, ребята, я готов биться об заклад, что он утрет им всем носы...

— Тем лучше. Все-таки наш, из рабочих.

— Поди ты! Из-за таких, как он, тысчи должны будут голодать!

— Говорю тебе, он гонял лошадей на одном руднике с моим отцом...

— Вы видели Ракету?

— Новинка красивей...

— Бесподобный обгонит всех, мистер Гакворт ручался мне лично!

— Оставьте, он так тяжел...

Толпа все прибывает. Люди в экипажах, люди без экипажей, люди в грубой одежде и с грубыми голосами — все смотрят на дорогу. Распорядители отгесняют зевак, слишком вылезавших вперед. Мальчишки кричат в тесноте и ныряют под мордами лошадей — всемирно знаменитых лошадей настоящей английской национальности, которых имеют в доброй старой Англии только очень богатые лорды и лэди. Начинается дождь, мелкий, сеющий — тоже настоящий ан-

глийский дождь. Но никто не уходит и не уезжает. Все ждут.

Скàчки?

Да, скàчки!

Небывалые скàчки готовятся в старой Англии, создавшей скаковой спорт.

Они происходят там, где их не было никогда,—на серой равнине у Рэнхилла, на дороге от старого Манчестера в Ливерпуль, к Ирландскому морю, к каналу святого Георга. Оттуда, с запада, идет туман.

— Лэди и джентльмены! Конкурс начинается!

Играет рожок, кричат констэбли. Толпа на равнине стихает. Кажется, даже дождь перестает итти. Из тумана слышится фырканье, в задних рядах ничего не видно, дамы в экипажах встают.

— Настойчивость... — пронесится в толпе.

— Вот она, вот, смотрите!

Настойчивость фыркает. Мальчишки бегут за ней вдоль дороги. Люди вытягивают шеи: тем, кто сзади, видна только голова мистера Бурстала, проплывающая над рядами. У него—красное лицо, напряженно-застывшее, как у кучера почтового дилижанса, который выпил и знает, что опоздал. Его провожает молчание передних рядов, и только один голос раздается вслед:

— Мои барки при попутном ветре идут быстрее.

Стоящие поблизости оглядываются, кивают угодливо. Многие кланяются: это — один из богатейших лордов графства; половина барок на канале и самый канал принадлежат ему. В задних рядах барочники жуют табак и ухмыляются. Кузнецы и ткачи угрюмо молчат.

В состязании — заминка. Дорога пуста.

— Что же Бесподобный?

— Говорят, он не пойдет совсем...

— В чем дело?

Люди нетерпеливо переминаются. Холодно. Туман.

— Новинка!..

— Внимание, идет Новинка!

Снова доносится фырканье, теперь оно приближается быстрее. Толпа застывает. Слышны сдерживаемые восклица-

ния. Новинка показывается из-за окружающих дорогу построек—и рукоплескания встречают ее.

— О, это ход!

— Bravo, Новинка!!

— Она замечательна!

Новинка несется мимо. Дождя уже нет, ее гладкие, круглые бока блестят, и управляющий ею человек, пролетая над толпою, победоносно размахивает высокой шляпой.

— Bravo! — кричат в задних рядах.

— Кто это, Брейтуэйт?

— Нет, это Эриксон...

— Bravo, Эриксон!!

Люди напирают вперед. Новинка пронесится по дороге, конные констэбли скачут за ней по сторонам, отгоняя лобовых, но лошади их, прекрасные английские лошади, явно отстают.

Толпа с хохотом встречает их и рукоплещет Эриксону. Больше всех стараются углекопы. Барочники глядят исподлобья: они жуют табак, и ни один из них не ухмыляется больше.

К экипажу лорда, владельца канала и барок, подезжает верхом румяный джентльмен в цилиндре, в пестром костюме и сапогах. Они, несмотря на туман, блестят, эти сапоги, как гладкие бока Новинки. Люди торопливо уступают джентльмену дорогу, он наезжает конем на зевак и небрежно помахивает хлыстом. Это — фабрикант из Манчестера, новый владелец здешних угольных копей.

— Милорд,—говорит он громко, кланяясь и чихая.— Милорд, я слышал, что вы намерены уменьшить цены за перевозку угля?

Лорд сидит в экипаже, сухой и прямой, как пастор на проповеди.

— Вы не могли этого слышать, сэр,— жестко говорит он. — Цены останутся прежние.

Они разговоривают, и каждая фраза распространяется в притихшей толпе,— ее передают друг другу стоящие вокруг купцы и мелкие фабриканты, потом клерки и мастера, наконец она доходит до темных рабочих рядов. Так расходится от брошенного камня круги на воде; но здесь волнение не ослабевает, а усиливается.

— Убавить!.. — оживляются углекопы.— Вы слышите, он сказал — убавить цены на перевозку...

Они переговариваются возбужденно, они шепчутся. Если перевозка будет дешевле, может быть, прибавят за добычу...

— Цены прежние! — слышится у барочников. — Он говорит — прежние!

Барочники беспокойно переглядываются. Если перевозка будет дешевле, наверняка убавят и заработок...

И вот над толпой рождается шум. Резкий, шипящий, он пронзает выкрики и спорящие голоса. Четкий, быстрый стук летит из тумана. Ближе, совсем близко... Это уже не движение, это стремительный полет. Толпа замирает в оцепенении, все глаза устремлены на дорогу. Легкий стук, как ветер, несется по равнине. Еще секунда — из-за построек вылетает высокая труба.

— Ракета! — взрываются крики.

— Ракета, браво!!

Все кончилось молниеносно. Сотни глаз успели только разглядеть, что у Ракеты совсем не такие колеса, как у Нюлинки, совсем не такая труба и котел, как у Настойчивости. Ракета промчалась по гладким рельсам, словно ею выстрелили из пушки. В шипенье и стуке мелькнул на ней человек, — его одежду трепало воздухом, как в бурю, хотя над равниной не было даже ветерка.

— Ура, Стефенсон!! — иступленно орала вслед.

Шум колес, свист пара — все утонуло в реве толпы. Чопорные лэди махали перчатками, джентльмены били в ладоши, потрясали зонтиками и кулаками, старухи падали на колени, мальчишки визжали, лошади, храпя, вскидывались на дыбы. Паровоз уже исчез в дыму и тумане, а люди неистовствовали, люди захлебывались восторгом и ненавистью, готовые драться друг с другом, объятые вихрем неслыханной на земле быстроты. Они кричали, что Стефенсон — дьявол, что он достоин быть пером Англии, что теперь по всему графству пойдут пожары от искр, что жить будет легче — за работу в копях и на фабриках будут лучше платить, что Ракету надо разломать ко всем чертям, как раньше рабочие дру-

жины «леддитов» ломали ткацкие машины, что бог вспомнил Англию и сотворил чудо, что от дыма будут дохнуть на-лету птицы, а трава будет горькая, и коровы будут давать горькое молоко, что теперь все товары будут дешевле, что барочникам на всех каналах придется подыхать с голоду, что скоро по всему свету можно будет носиться, как в сказке, и видеть самые чудесные страны и что приходит конец миру...

— Ура, Стефенсон!!

Только тогда стали стихать крики, когда на высокий помост взобрался галстый джентльмен в щегольской одежде — один из хозяев строящейся железной дороги, первой в Англии и во всем мире. Жирным тонким голосом он прочел по бумажке:

— Настойчивость, паровоз системы мистера Бурстала, показал скорость около девяти километров в час... Бесподобный, паровоз системы мистера Гакворта, не выдержал испытания, обнаружив чрезмерную тяжесть веса и громоздкость устройства... Новинка, паровоз системы мистера Брейтуэйта и мистера Эриксона, показал скорость двадцать четыре километра в час... Ракета, паровоз системы мистера Стефенсона, показал скорость пятьдесят шесть километров в час, за что и присуждается ему премия...

Добрая старая Англия слушала онемело. Это была Англия, похоронившая Байрона — защитника разрушителей машин — и ждавшая Диккенса — певца людей, испуганных машинами.

Невероятное творилось в мире.

Как во сне, раздавался еще в ушах сотен людей шум сумасшедшей машины, и джентльмен с помоста называл скорости не в старых английских милях, а в заморских мерах, привезенных инженерами с континента и понятных только ученым людям, и все чувствовали, что произошло событие, от которого вся жизнь на земле станет иной.

Георг Стефенсон — погонщик лошадей в угольных копях, машинист, рудничный инженер, неудачливый изобретатель первого паровоза — создал огнедышащее чудо.

Паровой котел, поставленный на колеса, — большие впереди и маленькие сзади, — стальной зверь с высокой трубой, увенчанной зубчатым раструбом наподобие короны, владычествовал отныне над пространствами.



Прошло сто лет. С тех пор по земному шару пролегло железных дорог втрое больше, чем прямой путь от земли до луны. Не погибли от паровозного дыма птицы, не стало горьким коровье молоко. Но родились в пустынях шумные, прекрасные города — и каторжные тюрьмы; в тайге, в джунглях — во всех новых местах появились книги и водка, а в старых местах — множество новых товаров; подешевела и в самом деле расцвела жизнь. Но не для углекопов. И не для кузнецов, и не для ткачей.

Румяный джентльмен в пестром костюме, владеец копей и фабрик, победил строгого лорда, владельца каналов и барок. После этого оба они соединились с третьим джентльменом, который имел тонкий жирный голос и железную дорогу, — и все три джентльмена стали побеждать других.

Умер Георг Стефенсон, погонщик лошадей и создатель паровоза.

Но джентльмены размножились.

Железная дорога плодила их на земле.

## II

Петроград.

Окраина.

Стройные серо-голубые, отделанные потемневшим золотом, купола аристократического Смольного монастыря. Рядом с ним — уныло-огромная, длинная трехэтажная казарма: здесь девицы звучнейших фамилий русского дворянства с екатерининских времен произрастали в оранжевом воздухе галантно-сенгиментального воспитания, на потребу царей и царской гвардии — для необременительных и почетных должностей жен при простоватых седых вельможах и сметливых юношах, торопящихся стать такими же вельможами.

Перед подъездом снег — грязный, истоптанный тысячами следов. Над подъездом выбит на камне императорский герб.

Внутри — гулкие полутемные коридоры, строгие комнаты, вытянувшиеся бесконечным строем, как фрейлины и придворные на дворцовом приеме.

Комнаты белы и пустынно. Час поздний. Четко слышны редкие шаги. Только к окнам, словно отзвук дневного шума и сутолоки людской толпы, ползет вдоль стен не то дым табачный, не то пыль, не то туман. Но отчего туман, когда уже снег на улицах? И почему пыль пахнет порохом?

На лестнице звенят шпоры. По коридору, сопровождаемые усталыми, хмурыми людьми, быстро идут два иностранных офицера. Один — в походной поношенной форме; шпоры — только у другого. Его шаги уверенны и легки, фигура шупла и стройна в парадном мундире. Чуть поворачивая шею в жестком воротнике, он смотрит надписи на дверях:

«Классная комната № 6». «Бюро иностранных дель».

«Учительская». «Союз солдат социалистов».

Сопровождающие не замечают его презрительного изумления. Они лохматы и угрюмы, один сморкается в пальцы и простуженно кашляет на ходу, другой — в очках и с бородкой, но воротничок его грязен, и галстук перекрутился, как тряпка, и оба стучат сапогами так, что звона шпор не слышно мгновениями и самому офицеру. Он идет между ними за своим коллегой, высокомерно щурясь, брезгливо кривя углы губ, с надушенным платком у носа, но за ними струя тончайших духов беспомощно тонет в запахе пота, дегтя и скверного табаку.

Коридор, поворот, лестница, опять коридор.

Наконец они останавливаются. Часовой у двери, взглянув на пропуска, молча открывает высокую дверь. В приемной тихо. У столов и телефонов несколько человек — трудно разобрать, кто из них посетители, и кто секретари. Тот из иностранных офицеров, который поплотней и одет попроще, здоровается с ними, как старый знакомый, ему вежливо отвечают. Второй стоит в трюне, застыв в надменном ожидании.

— Доложите, прошу вас, — негромко говорит первый офицер черноволосой женщине за столом. — Я — Жак Садуль...

Он улыбается, как бы напоминая о себе и о том, что он здесь — уже не первый раз.

— Доложите господину председателю, что мы явились несколько раньше ввиду того, что тревожные обстоятельства...

— Товарищ председатель ждет вас, — коротко отвечает женщина, вставая. Офицеры оборачиваются. Перед ними открывается вторая дверь.



Над октябрьской Россией стынет февральская ночь.

Голод. Мороз. Тьма.

Нет хлеба. Нет угля.

Стынут машины в мерзлых цехах, стынут люди в нетопленных жилищах, стынут паровозы и вагоны на обледенелых путях: в жилах страны застыла кровь.

Редко-редко слышны гудки на вокзалах, и мертвым блеском расходятся от них стальные пути — туда, в неизвестность, во мрак, навстречу эшелонам германского императора, ползущим с запада, с темных, снежных полей, с открытых революцией фронтов. Они идут — по таким же ширококолейным российским путям — злобешие поезда оккупации. На последних, не доломанных войной и разрухой российских паровозах везжает вглубь восставшей страны колониальное владычество германского капитала. Последние уцелевшие составы платформ и вагонов российского транспорта набиты немецкими полками в остроконечных касках, немецкими пулеметами и орудиями...

Скоро, скоро вспыхнет рабочий тыл у Германии кайзера — через год, может быть, через месяц, может быть, через час... И тогда — победив от Амура до Рейна — несокрушима мировая революция!

Но пока — еще покорны генералам кайзеровские дивизии. Как полчища новых гуннов, катятся они по российским

железным дорогам, надвигаясь к Полоцку — на Псков, на Петроград, к Орше — на Москву, клещами на Гомель и Бердичев охватывая Киевщину, грозя вздвинуть на обломках революции еще неслыханное по тяготе рабство, еще невиданную по пространствам колонию. В Двинске русские офицеры ходят уже с погонями. В Режице буржуа, ликуя, встречают немцев.

Чем остановить эту губительную лаву?

Армией?

Ее нет.

Перемирием?

Оно сорвано.

Мир!

Мир — во что бы то ни стало!!

Над городом Петроградом цепенеет февральская стужа.

На улицах стоят пушки, проходят отряды матросов, темные колонны рабочих с винтовками. К запертым булочным — мимо домов, сто дней назад развороченных снарядами, — собираются на ночь очереди голодных женщин.

На окраинах, по заводам, по вокзалам и депо люди с изможденными землистыми лицами взбудораженно кричат на митингах.

— Товарищи рабочие и солдаты! Немецкие генералы, несмотря на мирные переговоры, продолжают наступление. Войска палача Вильгельма взяли Двинск, Минск и Ровно, они подходят к Полоцку, к Орше! Только контрреволюционеры радуются этому! Советская власть в опасности! Все на защиту революции!

— Господи, да что это делается...

— Граждане России, я прошу слова от имени подлинной рабочей демократии, от железнодорожных союзов, объединяемых Викжелом. Большевики продали Россию немцам...

— Долой его!!

— Нет теперь Викжеля, есть революционный Викжедор!

— Долой соглашателей — да здравствуют большевики!!



Офицеры — за второй дверью. Они кланяются по-военному. У стола — че-

ловек невысокого роста, плотный, с большой головой и выпуклым лбом.

— Здравствуйте, капитан, — быстро говорит он Жаку Садулю и внимательно смотрит на его спутника. Офицер в парадном мундире неприсничаем. Он стоит, как Каменный гость на иллюстрации художника Э. Пичугина к пушкинской поэме.

— Лейтенант граф де-Люберсак, — произносит капитан.

Все трое садятся.

Капитан Жак Садуль говорит о двух великих народах, которым земной шар обязан двумя величайшими революциями. Правда, одна из них — в прошлом, другая — в настоящем, но зато в будущем...

Он говорит горячо. Он взволнован. Он сам — сын участницы Парижской Коммуны, он — социалист и потому не может не почувствовать героическим русским большевикам...

При последних словах капитана лейтенант граф де-Люберсак холодно сшивает глаза. Перед ним через стол — внимательное, спокойное лицо. Небольшие глаза, короткий нос, крупный благородный рот, тяжелый подбородок. Щеки выбриты, но уже начинают щетиниться. Одет небрежно. Так вот каков человек, за которым следит сейчас весь мир!

Слушая капитана, он слегка щурит глаза, изредка быстро взглядывает на графа, и тому всякий раз чудится в этом прищуренном взгляде острая, тонко скрываемая ирония.

«Он третирует нас, как мальчишек, этот большевистский Кромвель...»

Капитан Садуль заговорил наконец о самом главном. — Эти варвары-немцы! Дикое, разбойническое наступление против народа, который не хочет воевать! Они взяли у вас Двинск, Ровно и Минск, господин председатель, они идут к Полоцку...

— Полоцк тоже взят немцами.

— В таком случае это правда, господин председатель, что они двигаются на Петроград?

— И на Петроград, и на Москву.

— То-есть... они двигаются на Псков и на Оршу?

— И Орша, и Псков тоже взяты.

Молчание. Французские офицеры смотрят на вождя непонятной русской революции. Что это? Спокойствие отчаяния? Закаменелая воля фанатика, каким изображают его газеты Европы?

Председатель поворачивается к карте, висящей на стене, потом опять к офицерам. Они слушают хрипловатый голос, смотря на двигающийся под стрижеными усами крупный рот:

«Германский империализм... Он бросил свои войска против безоружной, демобилизовавшей свою армию России, доверившейся международной солидарности пролетариата раньше, чем вполне созрела международная революция...»

Граф де-Люберсак откидывается в кресле. Холодные глаза его становятся злыми. Но, сдерживаясь, он слушает дальше.

Хриповатый голос упоминает о брестских переговорах. Советское правительство ради прекращения войны готово подписать любой сепаратный мир, и все протесты правительств Франции и Англии, к сожалению, не могут оказать никакого влияния на...

Граф де-Люберсак поднимает в упор на говорящего злые глаза:

— Je suis royaliste<sup>1)</sup>, — медленно и скрипуче произносит он.

Щуплая фигура его торжественно выпрямляется в кресле. С паузой, словно с трудом, он переходит на русский язык:

— Я сторонник монархии, и во Франции — сторонник поражения Германии. Вы не должны думать, что я — сторонник советской власти. Но я был за то, чтобы вы подписали договор в Бресте, потому что это необходимо...

Офицер смолкает. Но глаза его, немигающие, круглые, как у совы, договаривают остальное:

«... потому что вы продали Россию немцам, и без мира они возьмут, сколько захотят».

Капитан Жак Садуль тревожно оглядывает обоих. Нелегка роль посредника между французским монархистом и вождем русских большевиков!

<sup>1)</sup> Я — роялист.

— Господин председатель,—вставляет он, приподнимаясь, — итак, мы могли бы вернуться к основной теме нашей встречи сегодня...

Председатель опять слегка щурится. Беглая улыбка трогает стриженные усы—добродушная, как морщинки на лбу и у глаз. Что ж, по его мнению, они договорятся быстро. Итак, французские офицеры желают оказать советскому правительству услуги в интересах помехи нашествию немцев...

— Je suis monarchiste <sup>1)</sup>, — резко вставляет опять граф де-Люберсак, и опять русская речь с трудом цедится сквозь его тонкие бритые губы:

— Моя единственная цель — поражение Германии.

Сейчас все рухнет. Капитан Жак Садуль застывает в отчаянии.

Но мощная голова председателя кивает графу через стол:

— Cela va sans dire <sup>2)</sup>.

Хрипловатый голос звучит успокаивающе-любезно, и опять добродушные морщинки сбегаются на выпуклом лбу. И опять продолжается—официален и деловит — разговор о порче рельсов, о взрывах мостов.

Армии у же нет. Мира е ще нет. Но наступление будет остановлено.

Наконец офицеры встают. Вождь большевиков в потертом пиджаке и французский монархист в офицерском мундире пожимают друг другу руки.

Офицеры—за дверью.

Могучая голова склоняется над превранной ночной работой.

Мно, мир во что бы то ни стало!

«Шутить с войной нельзя. Мы теряем вагоны, и ухудшается наш транспорт. Теперь невозможно ждать, ибо положение определено вполне... Если запросить немцев, это будет только бумажка... Бумажки мы пишем, а они пока берут склады, вагоны, и мы околеваем...»

— Правы ли мы? Да, правы!

«Мы объявляем беспощадную войну революционной фразе о революционной

войне. К ней надо готовиться длительно, серьезно, начиная с экономического под'ема страны, с налажения железных дорог (ибо без них современная война есть пустейшая фраза), с восстановления всюду и везде строжайшей революционной дисциплины и самодисциплины... Наш лозунг должен быть один—учиться военному делу настоящим образом, ввести порядок на железных дорогах. Без железных дорог социалистическая революционная война — вреднейшее предательство...»



В старом здании министерства, обезлюдешем от саботажа, большевистские комиссары и немногие оставшиеся чиновники спешно совещаются, готовя материалы для французских офицеров.

На столах — схематические карты дорог, планы узлов, вокзалов, чертежи мостов—все, что оставила на сегодня война от убогого транспортного хозяйства страны. Что же останется от него завтра?

Рослый рыжебородый молодой человек, в форменной тужурке инженера путей сообщения, внезапно и резко встает. Глаза его сверкают, полная губа гневно вздрагивает над холеной бородой:

— Господа... граждане!.. Неужели новый строй и здесь начинается с разрушения? Вы хотите вылечить умирающего, перерезав ему вены и артерии!

В спешке и шуме, в дребезжаньи телефонных звонков — его не слышат.

Он отходит к окну, саркастически кривя рот. Он сжимает кулаки:

— Великий Стефенсон открыл человечеству новую эру, подарив ему скорость. Великий Ленин хочет открыть новую эру, уничтожив движение!..

Усталый комиссар Гедвилло, только что приехавший на совещание, снимая очки, оглядывается на окно.

— Кто такой? — спрашивает он громко.

— Это Гесс, — отвечают ему.—Инженер Гесс.

— Иностранец?

<sup>1)</sup> Я — монархист.

<sup>2)</sup> Это само собой.

— Нет, русский. Но вернулся из-за границы при временном правительстве...

— Горячий человек, — говорит Гедвилло, надевая очки.

Инженер Гесс выходит из комнаты. Он шагает по лестнице через ступени, с кулаками в карманах, не видя перед собой ничего. Он идет домой по метельным, одичалым улицам, опустошенный, с блуждающими глазами.

Каналы, проспект, Нева. Утро бело и пустынно. Он переходит мост, трамвайные рельсы скользят под его сапогами. В ушах у него гудит и звенит. Может быть, вот сейчас где-то там уже взрываются, с грохотом оседают такие же мосты и корезаются к небу рельсы...

— Так вот она, революция!

Конец культуры чудится инженеру, сплошной дикий хаос, смерть всякого созидания. Он сворачивает на площадь окраины, знаменитую с двадцать пятого октября. Стройные, серо-голубые, отделанные потемневшим золотом, высятся над нею купола. Инженер Гесс идет мимо казарменного здания с каменным гербом, с красногвардейцами и пулеметами на обледелых ступенях под'езда...

Там, за этими мрачными стенами, за гулками коридорами кончает ночную работу человек, понятный миллионам, но непонятный французскому офицеру графу де-Люберсак и русскому инженеру Гессу. Свет зимнего утра падает на складенный выпуклый лоб, сливаясь с бледным ответом невыключенной лампы.

Пусть гибнет всё, что служит старому миру—против нового!

Пусть гибнут локомотивы, мосты, рельсы!

Гибель движения в пространстве спасает жизнь движению во времени.

В комнате мрачного здания с каменным гербом, в голове человека, об'явившего на старой земле новую жизнь, рождаются новые законы движения, которые переродят мир:

«Война подтолкнула историю, и она летит теперь с быстротой локомотива...»

«Революции — локомотивы истории».

### III

Фронт.

Развалины сел, обугленные скелеты фольварков — деревьев, оград, крыш. Дороги, раскрошенные прошедшими толпами, грязный снег, опрокинутые повозки, брошенные орудия.

Пустынные, мертвые пространства.

Вз'ерошенная ветром ворона каркает на железнодорожной насыпи. Под откосом разбитые вагоны: обломками дерева и железа торчат они из-под снега, словно кости павших животных. По шпалам кучками двигаются солдаты. Винтовки, лопаты, кирки, пулемет, молотки, топоры, полевой телефон...

Это — саперы. Они — в грязных, засаленных папахах, в рваных шинелях, в стоптанных облепленных снегом армейских ботинках с обмотками, в дырявых салогах, подвязанных веревками и обрывками ремней. Почти все — заросшие, бородатые, и только по глазам видно, что многие из них — совсем молодой народ. Солдаты волокут мешки, набитые чем-то не похожим ни на инструмент, ни на вещевое и прочее довольствие; передние тянут на веревках полуразбитую дрезину, — она завалена черной, мерзлой картошкой, и борта у дрезины, сколоченные наспех из разломанных фанерных ящиков, гнутся от распирающей изнутри тяжести.

Это — саперы российской армии, бывшей царской, бывшей керенской, уходящие с фронта по постановлению батальонного комитета.

Молодой широколицый солдат шагает позади дрезины. Помогая передним, он подталкивает ее, налегая грудью на железную раму (варезек нету, ладонь пристынет — не отдерешь). В то же время он зорко следит за грузом, и когда картошины от толчков на стыках скатываются и падают, солдат торопливо и тщательно подбирает их на снегу, потом бегом догоняет дрезину и на ходу укладывает подобранное.

— Старайся, Дорофеев! А то немцу останется, — угрюмо подшучивают солдаты.

— Ай да Василий!..

— От парень хозяйственный!

— Жадный, чорт...

В саперной роте—много рабочих, товарищей Дорофеева по заводу, с которого взяли их всех на войну; и крестьянские привычки Дорофеева, не вытравленные ни казармой, ни питерскими цехами, вызывают у солдат иронию, смешанную с одобрением. Дорофеев, отшучиваясь изредка, сосредоточенно продолжает свое дело. Оклики явно смущают его, но заметно это только тогда, когда он вскидывает на товарищей серьезные серые глаза; по лицу же не видно ничего—оно красное у Дорофеева, и от холода, и от молодости, и просто оттого, что такая уж у него кожа — простецкая, обветренная, какую с малых лет выделывают хлеборобам и рязанский простор, и сарматские степи, и вся черноземная полоса.

— Ничего, Вась, действуй! — ободряет его ефрейтор Синюк, весь обвешанный пулеметными лентами.

— А как же... — бормочет Дорофеев и опять нагибается на-ходу.

Медленно двигаются солдаты. Сзади — многоверстная насыпь, впереди — мост. У обгорелой будки путевого сторожа — следы костров и колес.

— На привал, братцы!

— Товарищи, стой!

— Привал!

Далеко, глухо и редко бухают орудия. Солдаты раскладывают на снегу мешки. Винтовки, инструменты свалены в кучу. Звякают котелки, будка трещит под топорами. Вокруг дрезины с картошкой молча толпятся голодные люди в шинелях — идет раздача дневного пайка на обед. Бледными языками разгораются на снегу костры, шипит снег в котелках; переключаются сиплые, застуженные голоса.

Орудия бухают все так же далеко, но чаще.

— Наши...

— Где тебе наши..

— Немец бьет.

Люди сосредоточенно чавкают, хлеблют, обжигаясь и дуя на горячую воду. Около дрезины уже нет никого. Только сапер первого взвода Василий Дорофеев лежит на откосе, животом на снегу. Сальные мерзлые картофелины достались

ему. Оттаяв на угольях, они становятся мягкими, как гнилые груши, но, едва пропекутся,—они уже опять тверды, как камень, и зубы не грызут, а только скоблят их. Василий Дорофеев очень расстроен этим: здорово хочется жевать. Он пробует вытаскивать картохи из золы пораньше, но сырые они вовсе противны: скользкие, сладковато-вязкие, мутно пахнущие тухлятиной и гнилой землей. Саперу Василию Дорофееву становится скучно.

Он кусает печеные камни и от тоски разглядывает дощечки посылочных ящиков, из которых, как деревенское одеяло из лоскутков, сделан дрезине борт.

— Дей-стзу-ю-ща-я арми-я... — громко читает он. — Третий кон-ный корпус... полк... эс-кадрон... вахмистру Кукину...

И другие читают вслед за ним:

— Действующая армия... Егерский полк... Действующая армия... Двенадцатая пехотная дивизия...

Дорофеев отворачивается и звучно цыкает слюной.

— Ишь ты... «Действующая...» — Он произносит ругательство, и серые глаза его щурятся на пестрые ящичные адреса.—Не действует, пружина сломалась! Саперы смеются. Нет уже ни дивизий, ни корпусов, ни полков, ни эскадронов, нет ни царской ни генеральской армии!

Орудия бухают теперь слева—пожалуй, ближе, чем раньше.

— Опять поперли...

— Не иначе, как снарядов им девать некуда.

Саперы переговариваются, как мужики на завалинке. Они плюются картофельной гнилью, матерятся и закуривают. Пар идет от котелков, от людей, от тающего под кострами снега,—мирный пар отдыха и далекого пути.

— А может, и наши,—прислушиваясь, говорит ефрейтор Синюк. Саперы вокруг смолкают и глядят ему в рот. Говорят, Синюк — большевик, а большевики в нынешнее время лучше всех знают, что и как.

Позади, километрах в семи, осталась опустевшая станция. Орудия бухают где-то за нею, все слышней и слышней.

— Подымайсь! — резко кричит Синюк. Солдаты устало возятся, собирая разбросанное по снегу имущество, сапер первого взвода Василий Дорофеев вскакивает и присгально смотрит вперед.

— Ребята... товарищи... бронепоезд!

Саперы кучей кидаются к нему на насыпь:

— Где? Чего ты... Где?

Далеко-далеко, на станционных путях, чуть заметно ползет серая змея. Без гудков, без шума... Только белые дымки появляются над паровозом.

— Огступа-ай! — протяжно кричит Синюк. — За мост, ребята, за мост!

Саперы бегут в беспорядке, роняя котелки и мешки. Дорофеев оглядывается, вскакивает на полотно дороги, он пытается сдвинуть с места дрезину, но одному не под силу. Багровея от натуги, он хрипло матерится.

— Брось! — кричат ему. — Ну ее к дьяволу!

Дорофеев тужится, четверо или пятеро неохотно принимают помощь ему. Дрезина медленно катится к мосту вслед за бегущей толпой солдат.

Вот и мост. Проплывают одна за другой назад высокие, массивные фермы, огромные многопудовые полосы железа величественно и стройно висят над рекой; внизу лед, уже синий, набухший, истрескавшийся, лед, по которому пройти нельзя. Вот и конец моста.

Гулкий, близкий удар потрясает воздух.

— Ох ты, мать честная...

Саперы оглядываются на бегу: бронепоезд, стоя на станции, бьет по реке. Дорофеев останавливается — дрезина с картошкой уже здесь, за мостом.

— Слышь, Синюк! Это немцы. Надо мост взорвать.

— Катись ты к... Отходи, ребята, живей отходи!

— Синюк, это ж немцы, — хрипло повторяет Дорофеев. — Они ж наступать будут..

— Какие немцы, а может, наши...

— Нешто наши будут в тыл бить... Не будешь взрывать?

— А ну тебя, сдурел, чорт...

Сапер первого взвода Василий Дорофеев выбегает вперед.

— Товарищи!! — дико и хрипло кричит он, — товарищи!! Мост надо взорвать! Не дадим немецким офицерам наступление делать... Ну? Кто со мной?

Ему кричат, что наплевать на немцев, что все равно взорвать не успеть, что мост жалко — пригодится еще, что надо не рвать, а удирать. Внезапно Дорофеев вскакивает на дрезину:

— Первый взвод, слушай мою команду! За революцию, против генералов... Чтобы не было больше никакой войны... Командиром взвода буду я!

Он стоит на куче картошки, весь красный от внезапного возбуждения и от путаных, бессвязных слов, которые рвутся у него с языка. Часть солдат в изумлении окружает его, некоторые продолжают бежать от моста, остальные в нерешительности топчутся на месте. Второй удар ухает со станции, на льду выско вправо лопается взрыв.

Дорофеев прыгает вниз, за ним бегут, на ходу раскрывая сумки, десятка два сапер. Они тащат пироксилиновые шашки, лопаты, шнуры. На мосту — у ферм, под камнями устоя, на откосах насыпи — лихорадочно кипит работа.

Удар, еще удар со станции... Дорофеев яростно работает киркой, каменная кладка брызжет осколками ему в лицо.

— Василий, жалко ведь... сколько лет, поди, строили, а мы рушим... Ведь красота — мост!

Дорофеев оглядывается: рядом — Синюк, он тоже работает киркой, лицо у него растерянное.

— Ладно, другой построим... — задыхаясь, отвечает Дорофеев и вновь крушит каменную облицовку, и грязный пот стекает по его щекам...

Едва шашки заложены, саперы видят: серая змея медленно ползет от станции к мосту. Орудия бронепоезда больше не бьют. Тихо. Слышно только тяжелое дыхание работающих людей и шорох щебня, осыпавшегося под солдатскими сапогами. Саперы быстро кончают, последним отбегает Дорофеев.

Бронепоезд подходит осторожно. Метров за пятьсот он останавливается опять, и в этот момент тишину взрывает гул. В грохоте и дыму ничего не видно и не слышно, потом, как в желтом облаке,

Дорофеев из-за кустов видит ферму, рухнувшую в лед.

Люди в серых касках прыгают с бронепоезда. Саперы опрометью бегут по кустикам, с того берега слышны залпы из винтовок, но немцы бьют наугад, ничего и никого не видя...

В овраге двадцать-тридцать саперов собираются вместе. Отсюда, из чащи голых кустов, хорошо виден и бронепоезд, и немцы, и взорванный мост.

— Грохнули... — угрюмо говорит Синюк. — Ребята, ай не жалко? Ведь коммунистической советской республики мост-от теперь...

Сапер первой роты Василий Дорофеев крепко обнимает его сзади за плечи:

— Синюк, лучше построим, товарищ милый! — говорит он, сияя потным измазанным лицом, и щурится от того, что капли пота попадают ему в глаза. Солдаты смотрят на него все до одного, — они первый раз видят таким Василия Дорофеева.

— Лучше, ребята, построим, не жалей! — повторяет он громче. — Нам не то что мост, а всю прежнюю жизнь оторвать от себя надо, верно? И чтобы никто нам, ни немцы, ни буржуи, на шею не лезли, верно? А потом... Потом строить будем, как в песне-то большевики поют...

Он обнимает Синюка за шею и запевает хриплым, непривычным, срывающимся голосом:

Весь мир насилья мы разрушим...

Синюк снимает шапку, выпрямляется и подтягивает, присоединяются еще два-три голоса — неуверенно, не зная еще всех слов, которые поют...

До основа-нья, а-а зате-ем..

Сапер первого взвода Василий Дорофеев стоит перед ними, подняв голову, вытянувшись, как на смотре. Он вытер со лба рукавом пот, ему уже не ест глаза, но они всё щурятся, словно от ветра, дующего навстречу. Дорофеев поет со всеми и смотрит вперед:

Мы наш, мы новый мир построим..

Сильные, застуженные голоса разносятся по снежному оврагу.

Мост между бронепоездом и саперами взорван. И чудится Василию Дорофееву, что это взорван путь прошлому в настоящее.

Не будет теперь ни войны, ни царя, ни генералов. Наверно, уж нет и урядника в селе, и жёнка молодая ждет не дождется, и дочка у нее на руках — Анка, младенец спеленутый, ей ведь, как и революции, и полгода еще нет...

Взорвана дорога к прошлому.

Саперы бывшей армии смотрят в будущее — в дымную пелену над рекой.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ветер переменялся. Теперь он подул слева, и зверь открыл глаза. Он поднял морду, насторожилось ухо — облезлое, надорванное недавней раной.

Ветер явственно доносил запах врага, и зверь приподнялся, глухо ворча. Он был стар и сед. Он лежал на открытом месте, едва защищенный от стужи невысоким сугробом, но лежал совершенно спокойно. На тысячи его следов не было вокруг ни селений, ни дорог, — только серое небо, мороз, ледяной ветер и снега, снега... Колючая муть носилась над белым простором, наметая сугроб на сугроб, обсыпая пушистым инеем редкие кусты.

Только на горизонте, где небо почти сливалось с равниной, еле виднелся черный торчок — верхушка деревенской колокольни. Там, далеко позади, осталось селенье, в котором до рассвета охотился зверь. Он был еще хозяином этих мест, последний из целой стаи, уцелевший за долгую, неравную борьбу; смертельная ее жестокость сделала зверя осторожным до мнительности, старость приучила к постоянному злобному страху, — но здесь, в этих местах, мертвопустынных зимою, он привык чувствовать себя в безопасности.

Запах неотвратимо тек на него, он вскочил и лякнул всей пастью.

Еще ничего не было видно ему, но все вокруг было уже не то. Снежный мир тишины и мороза, казалось, накалился, напрягся бесшумным звоном тревоги. Каждый сугроб таил теперь вражду, каждый куст угрожал засадой — в са-

мом воздухе стыла опасность, леденя сердце зверя, доносясь по ветру все слышней и слышней. Кто-то другой шел сюда хозяином. Это о нём глашатайствовал ветер, о нём предупреждал запах, растекаясь во все стороны; а он подвигался где-то, невидимый и еще далекий, простирая свою власть на сугробы и овраги, на всю бесконечную равнину и снежное небо, застывшее над нею сплошною пеленой...

Зверь замер, весь вытянувшись вперед. Облезлая шерсть встала щетиной. Кляцнули зубы, готовые рвать любую шкуру, вытянулись когти, уже давно не встречавшиеся с когтями равного по силе зверя, но он не двигался с места и напряженно смотрел вперед, дрожа широкоими, влажными ноздрями. Внезапно, как всегда на земле, перед ним рождалось завоевание. Так дикари с океанского берега смотрели на корабли Колумба, так горные орлы застывали в воздухе, впервые увидя над собою аэроплан.

Из-за сугроба показался человек.

Он был еще довольно далеко, но годы накопили зверю опыт.

Человек был в меховой шапке, в руках у него чернела длинная вещь, и зверь метнулся по насту, махая широкоими прыжками через сугроб. Снежная пыль погналась за ним; задыхаясь, он оглянулся на-лету, и в этот момент человек тускло блеснул вещью. Зверь остановился, смаху врывшись лапами в снег. Вещь в руках человека была совсем не похожа на те, несущие огонь и гибель. Он отбежал и опять остановился, втягивая косматые бока. Страх уже казался напрасным. Предстояло не бегство, но отступление—с целью выждать, наблюдать, и после вернуться опять...

Но зверь увидел не всё. За человеком из оврага поднимались еще трое. Они были молоды, но дышали шумно и тяжело, белый пар клубился от их дыхания. Они с трудом вытаскивали из сугробов ноги, помогая себе длинными шестами, и на каждом шагу проваливались опять. Передний уже вылезал наверх. Это был подросток по виду, щеки его пламенели от мороза, косматая папаха насела на самые глаза. Вылезая, он прикрыл ва-режкой лицо, заранее жмурясь от ледя-

ного ветра, но ветра не было, на этой стороне оврага он дул в спину, и подросток беззвучно засмеялся от радости. Дрогнув веселый мальчишеский рот, блеснули зубы, заискрились глаза — большие, удивленные, казавшиеся влажными от тающего на ресницах снега.

— Смотри-ка, Васёнка, — хрипло сказал человек в меховой шапке, повернув от аппарата обветренное красное лицо. Он отодвинулся, и подросток, заняв его место, прильнул к круглому глазку.

— Во-о-о!

Но зверь уже метнулся дальше и пропал в снегах. Растирая щеку дырявой ва-режкой, Васёнка изумленно смотрела ему вслед.

— А я и не знала, что у нас волки есть...

Теперь было ясно, что это — не подросток, а девушка: чистый, свежий голос звучал глубоко и сильно, звенел неуловимо гибкими интонациями женщины, которая умеет и любит петь. Она сдвинула папаху, поправила заиндевевшие темные волосы и оглянулась. Из овражка по колено в снегу поднимались еще двое.

— Який волк? — проговорил передний, добравшись наверх. — Мабудь, седой?

— Седой... — Девушка торопливо отступила: человек в меховой шапке молча отодвинул ее и опять взялся за свое орудие.

— А ты разве его знаешь, Дымко?

— Кто его знае, — протяжно отвечал парень. — Чи волк, чи собака... у нас на деревне два года у собаках жил.

Девушка посмотрела недоверчиво: она не помнила о прирученном волке, хотя была из одного колхоза с Дымко. Парень с озабоченным видом вытряхал из валенка снег, опираясь свободной рукой на длинный прямой шест, окрашенный полосато — в белый и красный цвета. Такие же шесты, с острыми железными наконечниками, были и у второго парня, и у Васёнки—по три-четыре у каждого; только у Дымко висел на полушубке еще бинокль. Все трое окружили человека в меховой шапке, нетерпеливо и молча поглядывая на его возню. Ветер дул теперь в спину — было легче и стоять, и

смотреть, но стужа словно еще усилилась. Ледяное дыхание равнины отдувало полушубки, забиралось в рукава, за шею, от него коченели в валенках ноги — оно пронизывало насквозь. Люди топтались на снегу, ерзали плечами, похлопывали варежками, терли щеки и носы, только человек в меховой шапке напряженно возился со своим странным аппаратом, не обращая на погоду никакого внимания. Казалось, ветер и стужа ярились именно на него. Вихревые порывы свистали в штативе аппарата, тремя остриями глубоко ушедшем в снег, снежная крупа носилась над ним, осыпая винты, металлические стержни и плоскости, колесо наверху и тусклое дуло стальной трубы. Человек в меховой шапке нагибался к этой трубе в позе напряженно целящегося пушкаря времен украинско-польских войн, описанных Гоголем и Сенкевичем. Пальцы правой руки его посинели и опухли. Но перчатка все-таки была лишней и торчала из кармана: человек работал крохотными винтами, сложная система которых управляла трубой. Медленно-медленно наводил он трубу — она поворачивалась едва заметно, четко чернея над снегом дулом своим, как у аркебузы, расширяющимся вперед.

Парни, смерзая, стыло глядели в поле мимо трубы; только Васёнка неотрывно следила за ее движением. Оно возбуждало в ней такие необычайные мысли, что если бы кто-нибудь...

— Пошли, — сурово сказал человек в меховой шапке. Он передал аппарат одному из парней и осторожно шагнул в сугроб, и все четверо двинулись дальше. Ветер стлался за ними, заметая следы: они были глубоки в плотном снегу, но ветер все мёл и мёл, и один из другим исчезали задние следы, и опять белела неоглядная целина, и казалось, что четыре человека неведомо как попали на бескрайный белый простор. Словно стараясь сохранить этот яростно уничтожаемый след, люди отмечали свой путь шестами, втыкая их в снег: оставляя линию шестов за собою, они все больше удалялись от оврага, а оттуда уже показались еще четверо и спешили к шестам, тщательно вымеряя расстояние между

ними длинной стальной лентой, через каждые сто метров разрывая лопатами снег и забивая в мерзлую землю деревянные колья. Они вели себя, как хозяева; но не они, а ветер, снег и простор были хозяевами здесь. Все так же заносило следы и за вторую кучкой людей, заносило и колья, вбитые ими, а шесты они сами вытаскивали, едва успев измерить расстояние между ними, и передавали вперед, чтобы там, в передней кучке, их снова и снова втыкали в снег.

Так продвигались они, торопясь и подгоняя друг друга, задыхаясь от мороза и ветра. Им казалось, что движение их стремительно, а они прошли всего полкилометра за час. Они покрывали снежную гладь своими следами, они утыкали ее шестами и кольями, а позади их простиралась опять такая же нетронутая гладь, и попрежнему лежали без конца и без края снега, сливая в необозримом пространстве и то, что так тщательно измерили люди своей двадцатиметровой лентой, и то, чего они еще не успели измерить.

«... Вот она, история человечества, извечная жизнь земли. Вот так же, как мы, движутся одно за другим поколения, пролагая свои следы на земном шаре, и так же, как ветер и снег, уничтожает время эти следы. Народы и страны проходят в веках, воздвигая на пути своем целые миры сооружений, а время неизменно разрушает их. Приходят новые поколения и спешат запечатлеть, увековечить путь предыдущих — они торопятся, они стремятся к достовернейшей точности знаний, к высшей полноте истины, а время уже готовит им ту же судьбу, и позади, как и впереди, лежит необозримая вечность...»

Так размышлял человек в меховой шапке, шагая по снегу впереди своих спутников. Он тер на-ходу скулы, щипал себя за нос и думал; он думал и усмехался над своими думами, как усмехается кинозритель, увидевший на экране самого себя. Он сознавал себя неизмеримо умнее заочневшего человека в меховой шапке, с небритыми, замерзшими щеками, который явно готов был пасть духом на двадцатиградусном морозе в степи. Он знал подлинный путь

развития человеческой истории, и, несмотря на отмороженные пальцы, отчетливо чувствовал себя частью счастливейшего класса — наследника всех прежних культур.

Его общие знания говорили ему, что разрушительная сила времени не смогла уничтожить пирамиды Египта и римский Колизей, что геометрия Евклида, записанная на пергаменте, оставалась неоспоримо научной больше двух тысяч лет, дожив до эпохи электричества и телеграфа, и что железо, которое в Месопотамии научились делать сорок веков назад, остается главнейшим технологическим металлом и для строителей бесклассового общества.

Его специальные знания говорили ему, что на кольях, забитых его товарищами в землю и уже занесенных снегом, все указующие надписи прекрасно сохранятся, что все колья эти, от первого до последнего через всю степь, легко найдут и разроют люди, которые придут сюда работать после него, вооруженные его чертежами, и что, сколько бы ни заносило и ни замело проложенный восемью людьми путь по снегам, этот путь ложится на степи такую же четкой и точной линией, какую промерен он и зачерчен на клетчатой бумаге этими людьми.

Человек в меховой шапке упрямо и даже с некоторым удовольствием шагал по колену в снегу.

Стало светлей. Туманное пятно солнца проступило за серой пеленой — небо казалось теперь выше, и только на горизонте все так же мутно сливалось с равниной. Все еще не было видно села, а верхушка колокольни то пропадала в морозном тумане, то виднелась, словно совсем недалеко. Человек в меховой шапке посмотрел на часы: скоро полдень. А они прошли всего два километра...

— Давай, давай, ребятки! Надо скорее, поднажмем...

Так окликал он товарищей через каждые полчаса, и ни разу никто не подумал при этом оклике, что по такому снегу да без лыж и вообще-то не ходят добрые люди, а лыжи им только обещают с усмешечками и шуточками вот уже третий день.

— Ще нажать? — отзывался Дымко. Это получалось у него подчеркнуто-вопросительно и даже недоуменно, словно он удивлялся самой возможности такого предложения; а сам уже поглядывал на своих и, похлопывая рукавицами, выразительно подмигивал Васёнке.

— Давай нажимай! — звонко откликнулась Васёнка.— Давай шибче, Дымко!

И Дымко давал шибче, махая по снегу с шестом наперевес, и бинокль молтался и прыгал у него на полушубке, как привязанный на ремне черный щенок. Отбежав, парень оборачивался. Он ставил шест острым концом на снег и, прицеливаясь одним глазом на шесты, поставленные им раньше, быстро передвигал его то вправо, то влево, потом смотрел в бинокль, опять бросал его на ремень и коротким, точным движением ловко и прямо всаживал шест в снег.

— Вешки подавай, жив-ва! — весело кричал он, а Васёнка, запыхавшись, уже протягивала ему вешку — другой, такой же полосатый, остроконечный шест. Она уже знала, что вешки должны стоять «в створ» — точно на прямой линии с двумя ближайшими вешками, но ее не переставало удивлять, что Дымко делает это так уверенно и быстро; иногда он забывал даже проверить себя в бинокль — и все-таки вешки ставились изумительно точно, так, что, встав на линию, можно было видеть только ближайшую вешку, а все остальные сливались с ней. Дымко молча хватал у Васёнки новую вешку и бежал вперед, то и дело проваливаясь в снег; Васёнка дожидалась, пока другой парень снимет самые задние, свободные вешки, и, перехватив их, тоже торопилась вперед, а там Дымко уже прицеливался, устанавливая новую вешку на снегу.

От мороза у него побелели и ресницы, и брови, и вылезшие из-под шапки светлые волосы, — это был какой-то новый, другой Дымко, совсем не тот чудной и мешковатый парень, каким Васёнка знала его всегда. Он даже смотрел иначе, не прежним медлительным, влажным взглядом, за который его смалолетства дразнили «Бычком». Всегда застенчивый, Бычок вдруг осмелел. У него слов-

но окреп голос, появилась быстрота в движениях, он слушал только человека в меховой шапке, а над другим парнем и над Васёнкой сам был старшим — и все это наделал бинокль, доверенный не кому-нибудь другому, а именно ему. Васёнка слышала, что на собрании комсомола в колхозе столь неожиданное выдвигание Бычка было встречено всеобщим недоумением, но человек в меховой шапке объяснил, что, во-первых, товарищ Дымко, оказывается, уже знаком несколько с делом, которое предстоит, а во-вторых, у него замечательно верное и острое зрение, что как-раз и требуется. И теперь Бычок шел впереди с биноклем и покрикивал, а другой парень и Васёнка таскали за ним шесты.

«Ишь, задается!» — с досадой думала Васёнка. Всю зиму в колхозе Дымко ходил за ней, как привязанный, все девчата смеялись над ним, и она сама смеялась, а теперь вдруг стал таким, словно этого и не было никогда...

Время от времени делалась проверка. Человек в меховой шапке сам становился на линию вешек, и тогда все застывали на местах, напряженно следя за ним. Он раздвигал на снегу треногу своего аппарата. Острые наконечники ножек сразу уходили в снег — и тут начинались мучения человека. Провозись каждый раз с установкой треноги, он бросал на снег варежки и начинал осторожно подвинчивать винты, выдвигать и вдвигать что-то внутри трубы и прицеливаться в нее глазом на вешки. Ветер кидал ему в лицо снежную крупу, опухшие пальцы быстро коченели — он моргал и жмурился, но продолжал работать и даже насвистывал, и люди неотрывно смотрели на него. И вдруг одна из ножек треноги еще глубже уходила в снег. Даже тогда, когда это было совсем незаметно издали, все видели беду не по изменившемуся положению инструмента, а по лицу человека в меховой шапке. Насвистывание замирало мгновенно. Отрываясь от трубы, человек смотрел вниз, на нить с отвесом, привешенным ниже штатива под инструмент. Отвес качался на нити, он уже не был в центре треноги: это значило, что все надо начинать сначала. С плотно сжа-

тым ртом человек принимался восстанавливать положение.

Минута уходила за минутой, холод не давал стоять, и когда, наконец, тренога опять укреплялась, как надо, и снова начиналось подвинчивание мельчайших винтов, тогда другая или та же самая ножка опять подавалась глубже в снег. Человек глухо произносил ругательства. Он ярился, еле сдерживая себя, и все видели это, но вряд ли даже догадывался кто из них об истинной причине его пнева.

Не мороз одолевал его, не снег и не ветер, хотя он и чувствовал их не меньше, чем все остальные. Его бесила мысль, скрываемая от самого себя, — единственное, что может разъярить любого человека, хотя бы и был он вполне волевым, как принято у нас выражаться с тридцатых годов текущего столетия. Его бесило сознание, что он должен бороться не столько с настоящими трудностями, которые он прекрасно видел и знал, и чувствовал в своей работе и которые только увеличивали желание добиться победы, сколько с бессмысленными трудностями, с такими, которых могло бы совершенно не быть.

С первого дня выхода с инструментом в эту снежную степь он прятал от себя эту мысль, он отмахивался от нее, говоря себе с досадой и ожесточением, что она может завести чорт знает куда. И пока нужно было шагать часами по колену в снегу — без лыж и без отдыха, на ветру и морозе с рассвета до темноты — он только побрякивал и усмехался; он чувствовал себя, как человек, не привыкший к легким победам и в то же время знающий, что для достижения победы ему требуется лишь сохранять на определенные промежутки времени безотказное командование над потребностями своего тела в тепле, в покое, в питании, — иначе говоря, требовалось лишь то, что он не только умел делать, но считал в душе совершенными пустяками. Но, когда начиналась возня с инструментом на снегу, он ощущал ярость, какой не испытывал уже давно. Он знал, что владеет инструментом в совершенстве (другие это ему говорили еще тогда, когда сам он был более

скромного мнения о себе); он любил с ним работать за его точность, которую считал вообще одним из высших качеств и у людей, и у механизмов; но он видел ясно, он с каждым пройденным километром убеждался все больше, что в этих условиях не носы или уши, не пальцы человеческих рук и ног, а именно точность, работа самого инструмента находится под непрерывной угрозой.

И именно это сознание лишало его самообладания: те, кто послали его сюда, видимо, рассчитывали не только на приспособляемость людей, но и на приспособляемость инструментов. При одной мысли об этом застывшие руки человека в меховой шапке сжимались в кулаки. Его охватывала такая ненависть к глупости людской, какой не испытывал, может быть, и сам роттердамский гуманист, воздавший ей свою смертоносную похвалу за четыреста двадцать лет до появления нашего героя со своим инструментом на снежной равнине.

Но гуманист хоть и был незаконно-рожденный, но защищал с успехом законность своих нападков на глупость даже и в те времена; наш же герой, со злостью нахлобучивая поглубже меховую свою шапку, тотчас же испытывал приступы сомнений, — собственные чувства вдруг начинали ему казаться «незаконными».

«Чорт его знает... — думал он, продолжая работать стынущими пальцами, — конечно с теодолитом на таком снегу — это же идиотизм или вредительство...»

Ну, а если иначе нельзя?

И опять в душе начиналась борьба. Разве люди, пославшие его сюда, были похожи на идиотов? Разве имелись какие-нибудь основания считать их вредителями? Коммунисты и беспартийные — все равно, это были люди, которым партия доверила огромное дело, и потому человек в меховой шапке считал и себя обязанным доверять им. Но... что, если они могли послать его сюда еще осенью? Могли, но не сумели? Что, если, наоборот, следовало послать его только весной? Ведь самому малограмотному технику известно, что нет хуже времени для таких работ, чем зима...

Он смахнул шапку на затылок. Потный лоб сразу охватило морозным ветром, но человек будто не чувствовал этого. Стиснув зубы, он целил слезящимся глазом в стекло, скулы его пламенили, он наводил трубу на линию вешек, словно дуло пулемета на расстреливаемого врага.

— Верно! — хриплым голосом крикнул он. — Можно вешить дальше, ребята!

Проверка была закончена, вешильщики двинулись вперед. В молчании продолжалась работа. Только изредка короткие окрики нарушали тишину, да слышалось сморканье и кряканье уставших на морозе людей.

Скоро ветер затих; и тотчас пошел снег. Пушистые мягкие хлопья закружились в воздухе. Стало теплей и веселей.

— А ну, — ходом, ребята! — закричал впереди Дымко, размахивая биноклем. — Немного осталось!

И все будто только теперь увидели, как выросла над снегом колокольня — уже отчетливо виден был крест и купол, а рядом, пониже, еще крест и белая шапка под ним — купол самой церкви. Узкая, едва заметная на снегу дорога пересекала впереди равнину, заворачивая к селу, и по этой дороге шел ходкой рысью чалый гривастый конек. Всадник, болтая локтями, странно горбился в седле: туловище его, черное и нелепо длинное, как-то по-особенному держалось над крупом лошади, — человек не поднимался и не опускался в темпе аллюра, а трясся все в одной напряженной позе. Он быстро приближался, и все смотрели на него: это был первый человек, встретившийся им за весь сегодняшний день.

— О-це ж кавалерия! — протяжно сказал Дымко.

Всадник ехал уже совсем близко, и хотя нахлобученная кожаная фуражка и поднятый воротник совсем закрывали его лицо, но причина столь своеобразной посадки сразу открылась наблюдателям. Черное длинное пальто свое всадник застегнул на все пуговицы — это было естественно при таком морозе, но совсем неестественно для верховой езды, и оттого, что цивильное одеяние это по самой природе своей не соответствовало

сидению в седле, а всадник явно решил примирить непримиримое и пуговиц не расстегивал, от всего этого ватное пальто неуклонно лезло кверху, вспучиваясь на груди, на животе, словно у беременной женщины, горбясь толстыми складками на спине, и без того сутулой. Длинные ноги всадника были поэтому защищены от мороза и ветра только брюками — серыми, грубошерстными штанинами москвошвеевского образца времен первой пятилетки; они тоже обнаруживали стремление засучиваться и лезть кверху при соприкосновении с седлом, и очевидно во избежание этого, а может быть, и по более глубоким причинам, ноги далеко отскакивали от круглых лошадиных боков, вытянувшись и растопырясь на стременах. Казалось, человек нарочно чудит, стараясь рассмешить зрителей; но вот он остановил лошадь. Из барашкового воротника высунулся длинный горбатый нос, и голос, глухой от закрывавшего рот шарфа, спросил:

— Товарищи, скоро Каменка?

Ему ответили что-то такое, чего либо вовсе нельзя было понять по причине полной несообразности ответа, либо он просто не расслышал. Всадник отогнул с одной стороны воротник пальто: озябшее большеглазое лицо застенчиво и вместе с тем озоровато усмехалось ему, из-под мохнатой папахи темнели спутанные волосы.

— Простите, товарищ... я хотел бы узнать, скоро ли будет Каменка?

— Кому как, — повторила Васёнка, ухмыляясь. Но в задорном тоне ее уже звучало и смущение: изысканное обращение проезжего было так же непривычно и неожиданно в окружавшем ее мире явлений, как и способ ездить верхом, изобретенный этим странным ездоком.

— Кому... как? — с вежливым изумлением переспросил всадник. Васёнка стояла ближе всех к дороге, и он обращался только к ней, остальным попрежнему виден был лишь его горбатый нос. необычайно яркий от мороза или же, наоборот, от тепла, покинутого в недрах барашкового воротника. Васёнка смутилась окончательно.

— Вам вот скоро, — сказала она, пряча улыбку в варежке. — На лошаде-то через минут десять будете. А мы и затемно вряд ли придем... Вот и выходит — кому как.

— Брось трепаться, Васёнка, — сдержанно проговорил Дымко. Ему было досадно за время, пропадавшее зря. Ткнув шестом вперед, он указал всаднику на колокольню:

— А вон она — Каменка, гражданин.

Проезжий обернулся:

— Ага, эта самая и есть? Но это же рядом! Неужели вы туда будете идти до вечера?

— Товарищ, вы мешаете работать, — сказал жесткий хриповатый голос, и всадник только теперь увидел стоявшего в стороне человека в меховой шапке.

— Кто, я? Не может быть!

Он так испуганно откачнулся на седле, что чалый конек двинулся вперед, очевидно приняв это движение седока за понукание. Таким образом, он переместил своего странного седока ближе к человеку в меховой шапке и тем самым очистил поле действия остальным. Дымко тотчас же устремился вперед с новым шестом, Васёнка двинулась за ним. Видя, что все устроилось, всадник благодарно потрепал конька по шее и приветливо поглядел на человека в меховой шапке, как бы затем, чтобы выразить извинение. Тот ответил недовольным взглядом и сказал опять:

— Работать мешаете, гражданин...

— Да-да, уж я вижу, извините, товарищ, — обрадованно отозвался всадник.

Повторение сердитого замечания давало право извиниться вслух, а это устанавливало уже некоторую связь человека с человеком.

Большого странного всадника, возможно, и не требовал от жизни: все остальное он требовал, быть может, от самого себя. Он с неожиданной легкостью прыгнул с лошади и, держа ее в поводу, подошел к краю дороги:

— Простите, товарищ, вы землемер?

— Нет.

— Вы — коммунист?

— Да.

— Ага, вы местный работник.

— Нет... то-есть сейчас — да. До завтра.

Отвечая, человек в меховой шапке наблюдал за работой остальных, и тон его, как бы подчеркивая это, говорил:

«Вот видишь, мне-то ты не мешаешь работать, хотя я и разговариваю с тобой. Надо знать, у кого можно спрашивать, а у кого нельзя».

Всадник, — правда, уже переставший быть всадником, — понял это немое нравоучение именно так. Он совсем отогнул для удобства беседы барашковый воротник, обнаружив, кроме клювообразного носа, впалые щеки, заросшие до ушей, и внимательные еврейские глаза.

— Видите ли, товарищ... я инструктор обкома. Не знаете, секретарь райкома не проезжал сегодня?

— Куда?

— Сюда, в Каменку.

— А чорт его знает. Сам неделю ишу. И если вы из обкома, то, по-моему, ваше первое дело...

Человек в меховой шапке, прищурившись, следил за линией шестов, которая в этот момент только-что увеличилась еще на одну единицу, воткнутую парнем в снег. И вдруг он поднял свой инструмент, осторожно и быстро перенес его на линию шестов и, уставив треногу, принял глазом к трубе.

— Стой, Дымко! — отрывисто крикнул он.

Дымко уже стоял, весь вытянувшись у последнего шеста, и остановившимся взглядом смотрел на трубу. Человек в меховой шапке подкручивал какие-то винтики — лицо его становилось все жестче и напряженнее.

— Свешился, парень! — неожиданно резко и громко сказал он. И это непонятное слово отчетливо сказало проезжему, который молча наблюдал все, что парень в чем-то виноват.

Человек в меховой шапке, не сходя с линии, отступал с аппаратом назад. Отойдя довольно далеко, он остановился. У самого дальнего от него шеста уже стояли люди. Человек нагнулся к трубе, махнул рукой вправо, потом другой рукой влево, и тот, кто был вдалеке у шеста, при каждом взмахе передвигал шест

то вправо, то влево, повинувшись приказывающей руке. Наконец, рука сделала новый взмах, — сверху вниз, — и шест воткнулся в снег, на том месте, на котором застал его этот взмах. То же повторялось и с каждым следующим шестом. Выдергивая их из снега, люди передвигали их то вправо, то влево по командным взмахам руки, и, воткнувши на новое место, спешили к другому шесту, а человек в меховой шапке стоял на месте со своим инструментом, и люди все приближались к нему.

Инструктор обкома смотрел, подняв рыжеватые брови, в глазах появилось задумчивое, мечтательное выражение. Он вспомнил далекие детские годы — местечковую школу, в старом щелястом сарае, где ему единственный раз в жизни досталось рисовать буквы на большом белом листе настоящей, глянцеви́то-гладкой бумаги. То был благодарственный адрес от школьников хозяину этого самого сарая за предоставленное «помещение», и учитель пригрозил выгнать из школы, если на листе будет хоть одна грязная буква. Буквы надо было нарисовать печатные, черной краской, чтобы получилось «как в типографии», и он по совету отца сначала нарисовал главные палочки карандашом. Вышло очень красиво, черные прямые палки четко и стройно расставились на белом поле, но на первой же строке обнаружилось, что он от волнения перекосил линейку — ряд палок едва заметно кривился к концу, и оба они с отцом испугались так, как будто к ним в хибарку пришел урядник. Боясь дышать на бумагу, оба по очереди с замирающим сердцем снимали черные палки мягкой резинкой и ставили вместо них новые, двадцать раз примериваясь к холодной и страшной белизне бумажного простора...

Парни переставляли последние шесты. Человек в меховой шапке в десятый раз целился в трубу и безмолвно командовал рукою: лицо его посерело от злобы, несмотря на холод. Он оглянулся на дорогу:

— Вы что — вы не меня ли ждете, товарищ?

— Ничего, — отозвался инструктор, — я подожду. Вы, кажется, хотели

что-то сообщить мне о секретаре райкома.

— Э, что там... Сами увидите, что за птица.

Человек в меховой шапке махнул рукой вправо, в сторону своего навязчивого собеседника, жестом нетерпения, отстраняющим и категоричным.

Собеседник не шевельнулся. Наступила пауза. Потом, не отрываясь от инструмента, человек проговорил, понизив голос:

— Привык в кабинете торчать, так его и выманишь на мороз, чорта с два... У него там...

Он махнул рукой обратно коротким приглашающим жестом, словно обещая еще более секретное сообщение. Собеседник не тронулся с места—он был наблюдателен и знал уже прозаическое значение этих жестов. Тогда человек, нацелившись глазом в аппарат, махнул рукой сверху вниз, и круто повернулся к собеседнику:

— Такие люди у руководства—это болезнь, это опасность!

Еврейские глаза внимательно смотрели на него.

— Я еще не знаю здешнего секретаря, мы должны встретиться здесь. Но... вы ведь коммунист, товарищ?

— Я уже сказал, что коммунист. Но, кроме того, я—начальник партии и должен требовать от райкома внимания к на...

Он остановился. Один глаз собеседника был выразительно прищурен, но еще выразительнее смотрел другой, — в нем было все, от безграничного изумления до той напряженной осторожности, с какою люди смотрят на человека, заподозренного в потере рассудка. Человек в шапке усмехнулся упрямо и шагнул от инструмента:

— Да нет, не то... Вот этой, изыскательской партии... Ха, да вы меня за ненормального приняли!

Инструктор обкома вежливо улыбнулся.

— Не совсем так. Но я действительно никак не пойму, что вы тут, собственно, делаете.

— Мы?—человек спокойно оглянулся на товарищей, стоявших вдали. Так

оглядывается требовательный командир на своих лучших бойцов.—Мы готовим постройку железной дороги. Это всё — изыскательская партия, и я, и вот эти, и еще вон те... — Он показал на фигуры людей, черневшие вразброд на снегу метрах в ста позади него.

Инструктор даже причмонкул от удовольствия.

— Не может быть! — протестно говорил он, оглядывая этих четырех людей так, словно узнал о них невероятную историю. Однако сейчас же лицо его приняло обычное спокойно-внимательное выражение; он окинул взглядом бескрайнее снежное пространство.

— И когда же вы ее постройте?

Вопрос прозвучал деловито, почти сухо. И начальник партии ответил в тон:

— Через два года можете брать билет.

— Обязательно, — обещал инструктор. — Слушайте, товарищ, так вы тоже идете на Каменку? Я хотел бы с вами там встретиться.

— Завтра утром я буду в сельсовете.

— А сегодня?

Начальник партии посмотрел в сторону деревни.

— Едва ли пройдем засветло.

— Ну, хорошо, а ночевать-то вы будете где-нибудь?

— Да где придется. Сегодня-то конечно в Каменке.

— Так заходите, я остановлюсь у председателя сельсовета. Как освободитесь, так и заходите. Спросите Бермана, это моя фамилия.

— Видите ли, товарищ... Освободиться-то, возможно, до полночи не удастся. На ночевке еще будем работать. Камеральные работы, по-нашему.

Инструктор подумал.

— Хорошо, так я к полночи сам найду.

— Это пожалуйста. Только как вы нас найдете — мы ведь и сами еще не знаем, где нас пристроят.

— Ничего, разыщу. — Инструктор повернулся к лошади, уцепился обеими руками за седло и стал задирать ногу в стремя. Это плохо удавалось ему, он обошел конька и стал пробовать с другой стороны, побряхтывая и морщась, словно от боли. Толстый ботинок крас-

ноармейского образца, облитший снегом, не вдевался и все время соскальзывал со стремени. Начальник партии шагнул было к нему, собираясь помочь, но тот заметил и моментально вскарабкался сам.

— Ух... Плохой я кавалерист, правда?

Инструктор улыбнулся неловко, показалось даже, что он, несмотря на холод, слегка побледнел.

Ватное пальто между тем снова напоминало о своей непригодности к конному строю. Начальник партии посоветовал вполголоса:

— А вы бы, товарищ, пуговицы снизу расстегнули.

Инструктор, усаживаясь в седле, только махнул рукой.

— Пробовал! Очень задувает.

— А так ноги отморозите.

— Нет, я слежу. Инструктор внимательно осмотрел свою ногу—серая штанина успела уже задраться на четверть выше щиколотки, обнажив худую икру в штопаном носке. — Во-первых, я иногда слезаю и бегу сам, а во-вторых, даже когда я в седле, они, видите ли, все-таки двигаются.

Проговорив все это с озабоченным, серьезным лицом, он глубже влез башмаком в стремя и поднял варежку к фуражке:

— Значит, до полночи!

Он причмокнул, чалый конек с места взял рысью, и начальник партии мог констатировать, что ноги инструктора, действительно, развивают при езде сильное движение. С минуту он провожал его взглядом и видел, что и Васенка, и Дымко, и другой парень тоже поворачивают головы вслед необычайному всаднику. Стоя около шестов, они разительно напоминали начальнику партии линейных на красноармейском параде, провожающих скачущего командира, и ни прыгающие локти всадника, ни болтающиеся ноги его не могли разрушить этого неожиданного сходства.

Через минуту партия продолжала работу. Перекликаясь, сближаясь и опять расходясь, люди медленно двигались по снежной целине. В воздухе было совсем тихо, снег давно перестал. Голоса людей звучали удивительно ясно. Изредка звя-

кали металлические наконечники вешек, связку которых Васенка перетаскивала вперед, и даже этот слабый звук отчетливо разносился над снегами. Длинный, совершенно прямой издали, тянулся теперь за партией след—рыхлые ямы шагов, на снегу, а среди них, через каждые сто метров—деревянные колья, угнездившиеся тоже в ямках, но уже вырытых лопатой, глубже и ровней.

Это и были «пикеты» — гигантская пунктирная линия будущей железной дороги. Прежде чем пронестись по ней в купе скорого поезда, прежде чем прочертить ее тремя взмахами рейсфедера на карте, человек должен был прошагать ее всю, от первой до последней станции, прошагать вдесятеро медленнее даже обычного пешеходного шага, беспрепятственно останавливаясь для промеров и вычислений—все равно при солнце или под дождем, в грязи или на снегу... Извечное величие созидания проявлялось здесь, в этой беспощадной неизбежности, заставлявшей человека добывать каждую победу героизмом самого длительного, самого сурового, самого незаметного труда. И, чем крупнее, чем блистательнее была победа, тем больше требовалось именно такого труда, и даже не только для самой борьбы за победу, но и для того еще, чтобы завоевать право на эту борьбу,—для поисков, для проверки, для испытаний, для каждого шага разведки.

Но люди, взявшие на себя эту разведку в зимней степи, вряд ли думали сейчас обо всем этом. Они просто работали—они лезли по колено в снегу, злобясь и досадуя, когда мерзли или уставали, и веселясь, когда согревались или замечали, как много успели сделать. Впрочем последнее стало всем ясно только в четвертом часу дня: начальник партии в первый раз закурил и, тщательно сдув с инструмента снежинки, накрыл его чехлом.

— На привал, ребята! — крикнул он, оглянувшись, веселым голосом и сел в сугроб.

Парни, сморкаясь, потянулись к нему за папиросами.

Впереди, за кустами, открывался отлогий спуск в широкую лошину: на противоположном склоне ее лежало село

Теперь уже не только колокольня, но и вся церковь, и передняя линия хат во всю длину видна была изыскателям.

Безлюдие встречало их. Доносился только собачий лай да каркали вороны. Начальник партии молча смотрел на село и жадно курил. Отсюда, еще до спуска, предстояло делать поворот. Это было очевидно, оставалось неясным только одно: с какой стороны выгоднее обход. Но начальник партии думал сейчас не об этом. Глубоко и удобно сидя в сугробе, как в кресле, он попыхивал папироской и слушал.

Чистый высокий голос уносился над снегами. Песня, как одинокая птица, летела в вышине, и стынущий зимний простор принимал ее в чутком безмолвии.

И-изве-ла-а меня-а я кручи-ина,  
По-од-коло-одная-а а змея...

Старинная женская жалоба плакалась в песне. Она лилась и дрожала, протяжная, горестная, странно-чужая слуху и в то же время хватающая за сердце, как внезапно вспомнившаяся юношеская печаль. Древность, вековой тоской веяло от мотива, а голос был молодой, свежий, сильный, он вливался в заунывные слова какой-то прозрачной волной, сразу настораживая слух, тревожно радуя смутной чувственной радостью, и уже не была мелодия печальной, не казались жалобными слова, а хотелось любить кого-то, и ждать, и желать, становилось вольно и широко, и мечта рождалась вместе с песней, томительная, как желание, и неясная, как надежда...

Пела Васёнка. Дымко и другой парень сидели около нее на снегу за кустами, впереди начальника партии. Как и он, оба молча слушали и дымили папиросками. Выражение их лиц, видных только вполоборота, нельзя было разобрать; но по тому, как сидел Дымко, как держал он голову, почти касаясь шапкой плеча Васёнки и опираясь рукой на раскинувшийся ее полушубок, — по всему этому начальник партии видел и понимал все, или, по крайней мере, думал, что все понимает, как думал бы на его месте и всякий другой наблюдатель, в возрасте тридцати с лишком лет созерцающий молодежь.

Да-а-гарай, ма-ая-а лу-учина-а,  
Да-а-горю-у с тобо-ой и я...

Парень, забывшись, держал папироску в губах и наконец обжегся. Он дернул головой, швырнул окурочек и плюнул вслед. Девушка звонко захохотала, песня оборвалась.

— И в самом деле догорела! — сказала она сквозь смех. Дымко покраснел и отвернулся. Начальник партии вздохнул.

— Хорошо поёшь, Васёнка, — громко сказал он. — Только старина уж очень. Тебе учиться надо. Ноты знаешь?

— Знаю... Да где их взять-то у нас? Я и то все по галкам пою.

— Это как, по галкам?

— А так. Они завсегда на телеграфных проводах сидят, прямо как ноты получается. Вот и балуемся с девочками, тянем на голоса, покуда не улетят.

Начальник партии усмехнулся и не сказал ничего. Прищуренные глаза его смотрели в снежную даль, обветренное, покрасневшее лицо блестело — на лбу, на небритом подбородке, в морщинках у глаз — замерзшими капельками пота.

О чем он думал сейчас? Переживал ли песню? Измерял ли мысленно остающийся путь, оценивал ли трудности предстоящие строительству в этой громадной пойме? Мечтал ли об отдыхе, о позднем горячем обеде и теплом вероятно ночлеге, ожидающем его на том берегу, в одной из этих засыпанных сугробами хат? Или просто отдыхал, не думая ни о чем, чувствуя во всем теле тягучую усталость от барахтанья на морозе по непролазным снегам?

Начальник партии думал о женщине, которую ждал. Без всякого сомнения, ожидание было напрасным. Он сам это знал, и, чем хладнокровнее взвешивал и отбрасывал один за другим последние, слабые шансы, тем больше надеялся. Может быть, вон там, за этими крышами, уже ждет его телеграмма...

Струйка папиросного дыма, вытягиваясь и застывая, исчезла в стеклянном воздухе. Человек следил за дымком, прозрачным, как его мысли.

Еще затяжка, еще... Уже тлел мунштук папиросы, но еще тянулася дымок.

еще пахло от него табаком, но уже с тончайшей, в'едливой примесью гари... Начальник партии бросил окуроч.

Инструмент стоял около него, возвышаясь на своей треноге над снежной гладью. Прикрытый чехлом, он напоминал мирный фотографический аппарат, готовый послушно запечатлеть панораму села и поймы — зимний этюд скованного белого простора. Человек смотрел на свое орудие долгим, рассеянным взглядом — лицо его медленно прояснялось, взгляд становился определенной и тверже. Стройный и четкий мир технических представлений незаметно вновь овладевал им, — так пробуждающийся переходит к действительности от сна.

Итак, вот и она, пойма!.. Сто двадцать пикетов в снегах! Даже летом, в теплые солнечные дни, при легчайшем профиле, он делал не больше семидесяти в день — он, трижды премированный изыскатель, которого даже среди турксибцев ставили в пример другим. Да, там его ценили, там умели дорожить теми, кто этого стоил...

Начальник вздохнул, рука его осторожно гладила ножку инструмента.

Сзади заскрипел снег, он оглянулся; подходила вторая группа партии — пикетажист с клеенчатой книжкой, рабочий с мешком, из которого торчали обструганные колья, и двое других, волочившие по снегу двадцатиметровую ленту. Пикетажист, веснучатый юноша в старой бекеше, положил книжку на снег около начальника и принялся изо всей силы размахивать руками, хлопая рукавицей об рукавицу наподобие того, как делают застоявшиеся на морозе извозчики. Пока начальник просматривал книжку, юноша все обогревался. Лицо его размякло так, что даже веснушки пропали.

— Держи, Петруша, — начальник протянул ему книжку. — А ты, видать, рабочий! Ишь, как раздраконил.

— Замерз, совсем, Василь Василич, — деловито пожаловался юноша.

Он все похлопывал руками и смотрел в лицо начальнику бойкими, ясными глазами. Выражение старательности, веселого и подвижного усердия светилось у него во всем, и оттого лицо юноши,

круглое и несколько простоватое, сразу вызывало к себе покровительственно-дружеское, слегка насмешливое расположение. Начальник партии, сидя в сугробе, смотрел на него снизу вверх смеющимися, прищуренными глазами. Двое молодых рабочих, скручивая ленту, все время старались оставаться сзади пикетажиста, — от его прыжков и прихлопыванья их неудержимо разбирал смех.

— Чего вы там, — оглянулся Петруша, — небось, пустить бы вас по такой стуже с карандашом, давно бы руки отбалились...

— Ничего, не привыкать... — ухмылялись парни, а у самих носы уже посинели, и застывшие, скрюченные пальцы трудно управлялись с лентой. — Прошлый год на шахте работали, и то не отвалились. А уж мороз-то был...

— Так-то кайлом грохать, — не сдавался Петруша, поглядывая в сторону начальника, — а то с карандашом да с книжкой.

— Это конечно. — Парни соглашались с некоторым смущением — они испытывали почтение к карандашу.

Третий, с мешком колея за спиной, стоял в стороне, не принимая участия в споре. Это был высокий, почти одного роста с начальником парень лет девятнадцати, с крупными тяжеловатыми чертами лица и красивым, резко очерченным ртом. Он был самым старым комсомольцем в партии изыскателей, и разговор трех беспартийных ребят казался ему позорно обывательским. Внутренно он, пожалуй, и сам готов был признать, что карандаш, ясное дело, не кайло. Но то, как покорно парни соглашались с превосходством Петруши, а главное, самый факт, что они почему-то считали естественным и правильным, что именно Петруша орудует карандашом и книжкой, а они таскаются за ним с лентой да с кольями, все это злило его.

— Дурни, — сказал он, делая равнодушное лицо. — Карандаша испугались? Вон их тут сколько, карандашников, каждый на тыщу ваших потянет...

И он сбросил мешок со спины прямо под ноги Петруше.

— А верно, Сурков! — Начальник партии, вытянув шею, с усмешкой по-

смотрел на мешок из своего сугроба. Действительно, пикетные колья, гладко и ровно обструганные, торчали острями из мешка, очень напоминая огромные карандаши.

Петруша хмыкнул и отвернулся.

— Сморозил, комса безмозглая... — бормотал он не очень громко.

Мох лишай заползает даже на север тундры, к самому полярному кругу. Не ему ли подобна склока, способная разгораться даже на морозе, пятый день мешая работе двух молодых людей двадцатого столетия?

Из районного центра оба они попали на изыскания в один день: Сурков — по мобилизации от райкома комсомола, Петруша — по собственной инициативе, в качестве юноши, весьма расторопного и знакомого с прикладной математикой. Но уже вечером, едва собралась вся партия к своему инженеру, дошло до Петруши, будто Сурков при свидетелях сказал о нем:

— Недоучка, а лезет. С вуза-то выкинули.

Конечно, Володе Суркову, активисту районного комсомола, было наверняка обидно, что он, посланный комсомолом на обслуживание изысканий, не годится ни на что, кроме таскания мешка с кольями, а беспартийного огольца ставят ему начальником. Но, произнес ли Сурков действительно такую клевету на пикетажиста, и была ли она действительно клеветой, этого начальнику партии некогда было разбирать.

Факт был только тот, что ребята не ладили, хотя работали оба образцово. С первого же дня изысканий Петруша смотрел на этого сумрачного, самоуверенного парня, как на своего личного врага, и вероятно именно поэтому доставляло ему такое наслаждение созавать, что Сурков хотя и комсомолец, но только подручный у него, Петруши, и обязан делать все так, как он скажет.

— Вот и пиши своими карандашами... — бормотал он, принимаясь за пикетажную книжку.

Но Сурков не слушал. Он смотрел на лошину. На дне ее, под снежной пеленой, была река.

Глядя на далекий и высокий берег, застроенный селом, казалось, что по этой реке летом ходят пароходы, — так широка была ее пойма. Но Сурков, уроженец этого района, хорошо знал и село, и реку. Еще прошлым летом, приехав в Каменку по командировке комсомольского райкома, он купался здесь — вода едва доходила ему до подмышек на самых глубоких местах. Вон там, в самом широком месте, как-раз против недостроенной школы, он переходил реку вброд — девять минут туда и обратно, на спор с ребятами. Какие тут пароходы!

— Сурков, здесь паром летом ходит?

— Паром? Ходит, Василь Василич, вон где сейчас дорога, видите?

Сурков показал влево; около самой церкви с западной окраины села спустился в лошину санный путь.

— Это что ж, специально для попа, что ли?

Сурков посмотрел на начальника партии. Эта мысль никогда не приходила ему в голову — зачем попу паром.

— Наверяд ли, — сказал он. — Просто самое узкое место тут.

— Ага, так... — Начальник партии оглядел лошину, что-то соображая. — Слушай, Сурков, ты это верно знаешь? Ну-ка пройдем малость...

Он поспешно выбрался из сугроба, и оба быстро зашагали вниз, к пересекавшей реку дороге. Они вернулись только через полчаса; пикетажист, усевшийся в сугроб на место начальника, встретил их с мрачным видом оскорбленного.

«Что я, хуже комсы знаю? Даже, грунт какой, могу объяснить, а это... Суется по нахальности, а вы и уши развесили. Вот брошу к лешему всю работу, пропадите тогда с вашим Сурковым!»

Ничего этого Петруша конечно вслух не сказал. Он молчал и обиженно топырил губы.

— Пошли, ребята! — с ходу крикнул начальник. — Сейчас будем разбивать кривую. Живей, Петруша, чего киснешь — или замерз опять? Дымко, давай вперед! Товарищи, пусть кто-нибудь перенесет теодолит вон туда...

У Васёнки блеснули глаза.

— Можно мне? — робко сказала она.

— Валяй тащи, только осторожней.

Вряд ли жрицы Изиды переносили когда-нибудь священные сосуды с таким благоговением, с каким Васёнка Шмакова несла за кусты доверенный ей теодолит. Крепко держа инструмент перед собой в вытянутых руках, она едва ступала по снегу, задерживая дыхание и боясь только одного на всем свете: только бы не провалиться и не упасть...

Дойдя до места, она осторожно поставила треногу, тихонько попробовала, не уходит ли какой наконечник слишком легко в снег, и, встав рядом, вздохнула от волнения. Теодолит восхищал ее. С первого утра работы в изыскательной партии она пользовалась каждым случаем, чтобы поближе взглянуть на него, присматривалась к каждому винтику, к каждому повороту его тускло блестящей трубы; но ничего не было в этом ее стремлении общего с тем обычным смешным любопытством, которое всегда вызывает теодолит у людей простодушного и наивного ума. Она не принимала его за фотографический аппарат, как старики в колхозах, лежавших на пути изыскателей; ее нисколько не интриговало то специфическое свойство стекло в трубе теодолита, которое, едва сделавшись известным где-нибудь на остановке партии окрестному населению, неизменно заставляло колхозных кокеток взвизгивать и поджимать вокруг ногубки, старух — яростно отплевываться, а парней — озорно гоготать над всеобщим женским смятением.

Нечто совсем другое, о чем вероятно и не подозревал никто из окружающих, притягивало Васёнку в теодолите.

Он давал ей окрыляющую радость воображения.

Он увлекал ее к наслаждениям мечты. Мечта, мечта!

Сколько столетий воспевали поэты твою волшебную нездешность, безотказно уносившую всех желающих, например, из эпохи пыток, резни и грабежей безграмотного и дикого рыцарского средневековья в божественный мир идеальной любви и античных легенд, а из века всеевропейской аракеевщины, взятков и шпицрутенов — в благороднейшие романтические времена вышеуказанных ры-

царей! Сколько прославленных рисовальщиков изображало тебя воздушным виденьем, бесплотною грезой о недостижимо-прекрасном или на худой конец легкокрылою феей, улетающей в облаках из бледно-сиреневого тюля в сказочные миры! Сколько юношеских поколений уносила ты подобными произведениями искусства от скучной и грязной земли, по которой поколения эти тем не менее продолжали ходить и ездить самым низменно-натуралистическим способом, побеждая косность и дикость земную одной лишь высокою страстью к мечте!

Васёнка Шмакова не имела такого вооружения для мечтательной жизни.

Она не видела еще за свои девятнадцать лет не только картин с Мечтой, но и никаких хороших картин, если не считать шишкинского «Утра в сосновом лесу», вырванного из какого-то старого журнала для украшения колхозной избычитальни, да репродукции в красках с «Заседания Реввоенсовета» Бродского, которое приколол на стене той же читальни вернувшийся из Красной армии старший брат Бычка, Клементий Дымко. Она не читала и книг особенно мечтательного содержания, — ни поэтов вроде Бодлера, о котором в окрестностях, естественно, нельзя было и услышать, ни Жуковского, которого ей как-то всучила в библиотеке учительница Олимпиада Сидоровна, но который ей совсем не понравился, ни Генриха Гейне или Михаила Светлова, которых в библиотеке не было, но которые Васёнке, без сомнения, понравились бы больше всех. Только раз захватила ее старая, трепаная книжонка, — какие-то необыкновенные «Сказки кота Мурра», — и то не успела прочесть и половины; потеряла на речке, не упомянув даже фамилии сочинителя, тоже совсем необыкновенной — из четырех иностранных слов.

Она никогда не сучала, — равно за отсутствием и времени и склонности, — ей нравилась и родная степь, и хорошие песни, и работа в колхозе (она была огородницей по специальности).

И все-таки Васёнка Шмакова ужасно любила мечтать.

Часто, глядя в читальне на «Утро в лесу», она чувствовала не только роси-

стую свежесть воздуха, запахи смолы, хвои, коры и листьев, слышала не только чуткую солнечную тишину; ей представлялась страна, сплошь покрытая вот такими лесами,—и сразу душно и тесно становилось в прохладной тени высоких стволов, тускнел прозрачный свет между них, и медвежата уже не казались милыми, потешными увальнями. Вставала дикая лесная глухомань, где и день непробуден, как ночь, где трудно пройти и совсем нельзя ни проехать, ни провезти ничего, — да и что, кому провезти? Ей представлялось, как живут в этой стране люди — без дорог, без посуды, без электричества, спят в землянках на шкурах и ходят в шкурах, сами похожие на медведей...

Вздохнув глубоко, словно после тяжелого сна, она отворачивалась от картины, и с другой стены на нее строго смотрело заседание Реввоенсовета. Парнишки-школьники, приходя в библиотеку, постоянно вертелись у этой стены, разбирая по именам большевистских полководцев и громким шопотом споря о том, кто из них кого старше по чинам. Но Васёнка видела на этой картине то, чего наверно не видели и многие из взрослых колхозников, когда им случалось сюда попасть. Она смотрела на крупных и плотных людей, подтянуто одетых в новое, чистое, добротное защитное сукно с новыми ремнями, со значками высшего командирского звания, украшенных красными орденами и сидящих за длинным столом, в высоком, светлом зале со знаменами и оружием на стене,— и представляла себе этих же самых людей немного лет назад...

Охрипшие, небритые, в истрепанных кожаных куртках или старых шинелях, обглоданные ветрами, морозами и бессонными ночами, они носились по фронтам, по степям, по городам и селам страны, собирая, убеждая, увлекая в битвы за революцию тысячи таких же голодных, обтрепанных людей. Они падали от усталости, от ран, от сыпного тифа, они поднимались и снова дрались на фронтах, не зная, останутся ли живыми через день, через час, или будут разорваны штыками белогвардейцев. Васёнка видела окровавленные повязки на их ранах,

слышала хриплую команду их в бою и простые, грубые шутки с бойцами на отдыхе; она ликовала вместе с этими людьми, побеждавшими опытнейших царских генералов, и мучилась вместе с ними, оторванными для войны от своих цехов и забоев, от книг и полей... Ей было пять лет, когда поднялась в степи гражданская война, и смутно, как бредовой сон, помнила Васёнка те вихревые годы. Только один удар, может быть, самый последний, врезался ей навсегда в память: белые поспешно отступали из их деревни, и тяжелый снаряд красных ударил в старую часовню, с незапамятных времен стоявшую при дороге у самой околицы. Хата васёнкиной семьи была крайняя — они видели дымную тучу из земли и камней, взметнувшуюся как-раз позади отступавшей колонны. Зазвенело окошко. Мать молча притиснула Васёнку к себе, впалые глаза у нее зажглись горячим, сухим блеском: отец был с красными. Но бабка побелела вся, встала на колени под образа и трясущейся рукой сотворила крестное знамение.

— Осподь-то за них... — свистящим шопотом сказала она и вторым крестом размашисто покрестила в окошко белых. — Не попустил осподь, место свое не пожалел... Ох, заступница-матушка, связался Петро с окаянными...

Васёнка широко раскрытыми глазами смотрела в окошко. Черная туча оседала к земле, горела солома в телеге, опрокинутой набок, дымились пылью развалины часовни, а впереди убегали люди, крича, оборачиваясь и грозя. Васёнка чувствовала плечом, как стучит у матери сердце, — это она запомнила на всю жизнь. Она судорожно стиснула кулачки—ей показалось от бабкиных слов, что, если бы не часовня, снаряд понесся бы дальше сквозь всю колонну врагов, разметал бы их до единого, — сразу бы свободно и радостно стало опять в степи и скорей бы вернулся в хату отец...

С того дня она долго отказывалась молиться богу, но скоро мать умерла, отец так и не вернулся с войны, и бабка опять заставила молиться, а потом они долго жили в соседнем селе, и Васёнку

за голос взяли даже в церковный хор. Но тот снаряд и то осеннее утро всегда вспоминались ей, когда она слышала о войне, и, глядя на «Заседание Реввоенсовета», она полюбила воображать себе, что именно один из этих командиров командовал пушкой, пославшей вдогонку бомбы тот снаряд...

Такова была любовь к мечте у Васёнки Шмаковой, и эта-то любовь притягивала ее к теодолиту. Он понравился ей в первое же утро, когда изыскательская партия вышла в снежную степь и все ребята столпились вокруг инструмента, нацелившегося дулом трубы на белую шапку старого кургана.

— Вот это — штатив, а это — вилка... — объяснял начальник партии. — Вот этот круг называется лимб, он неподвижен в работе, а в центре его второй круг — алидада, она вращается, и вместе с ней вращается и труба на подставке...

Володя Сурков слушал и смотрел, не отрываясь, напряженно морща под малахаем высокий лоб. Дымко внимательно разглядывал буссоль, — на него производило наибольшее впечатление ее посеребренное дно. Пикетажист Петруша стоял поодаль, всем своим равнодушным видом показывая, что все это он давно знает и ничего тут удивительного нет. Васёнка не знала ничего, но равнодушие пикетажиста готова была разделить. Ей понравились только крылатые гаечки у винтов треноги, потому что начальник назвал их «барашками», да еще слово «алидада». Она подумала, что из него могло бы выйти очень красивое женское имя, уж конечно лучше, чем у учительницы.

— Алидада... Алимпиада... Алидада Сидорова... — шептала она про себя, глядя в снежную даль, и ежилась от студеного ветра. Ей было скучно и холодно, она уже жалела, что пошла работать в поле в такую погоду. И вдруг прислушалась.

Начальник отрывисто продолжал объяснять, а сам целился глазом в трубу, подкручивая винтики, и стальное дуло ее медленно поворачивалось на Васёнку.

Так вот какая сила в этой маленькой трубке!

Всего на одну цифирку, на одно деление повернется она с алидадой, и где-то там, далеко-далеко в степи — железная дорога пройдет летом на целые километры левой или правой. Протянутся ли рельсы песками к шахтам, или побегут через засеянные поля, пересекут ли далекие холмы и скалы, или лягут до самого моря по степному зеленому простору, — один едва заметный поворот сделает стальная труба, и будущий путь поездов повернет, повинувшись человеку. Где-то зашумит, всколыхнется от быстрого движения край, потекут в вагонах товары и хлеб, и мясо, появятся книги и зеркала, газеты и рояли там, где их раньше видели только случайно, засияют электрические лампочки в магазинах и клубах, в новых и старых домах, раскинутся сады на площадях и новые фабрики на заросших бурьяном пустырях, быстрее задвигаются люди, шумнее станет на улицах и в комнатах, приедут в театр артисты из больших городов, будут заботливей наряжаться девушки, станут бриться чаще старики и молодые, и там, где стоял на грязном перекрестке колодец, протянется под теплым асфальтом водопроход...

Но вот повернулась еще немножко труба теодолита, и все исчезло, как сон!

Все это будет совсем на другом месте — у другого колхоза, поселка или районного города, даже дым паровоза не будет виден оттуда, и попрежнему сани и телеги будут ползти до станции по целым дням...

Начальник партии возился у инструмента. Жесткий голос его обрывало ветром, он кинул на снег варежки и красными пальцами подкручивал крохотные винты. Он говорил, что самое главное — измерять углы, что теперешняя работа здесь — не последняя, что много раз надо пройти местность, изучить и измерить ее по-всякому, прежде чем окончательно будет решено направление новой дороги. Но Васёнка не слушала. Только одно было ясно ей, и это одно захватывало ее восторгом новой мечты.

... Вот стоит он на снежной равнине, тускло поблескивая сталью трубы, невиданный пулемет на странно-высокой подставке. Он безвреднее детского деревян-

ного пистолета, хлопающего пробкой на три шага,—и он грознее дальнобойного артиллерийского орудия. Вот поворачивается его маленькое дуло, похожее чем-то на Царь-пушку, пришипленную на цветной открытке под образами в бабкиной хате; не страшно и ребенку заглянуть в него, как не страшно заглянуть хоть в какую хочешь пушку, пока в нее не задвинут снаряд. Оно глядит, это дуло, глядит на снега стеклянным глазком. Оно видит белую гладь равнины, потом снежный бугор кургана, потом дальний перелесок и вновь — обратно — курган... Все тихо. Попрежнему нетронуты-чисты снега. Высок курган. Спокойна линия перелеска. Мирно смотрит глазок теодолитной трубы. Им нельзя даже фотографировать, но, может быть, можно рассматривать солнце и звезды?

И вот, как снаряд в пушку, вдвинута в дуло трубки сила человеческой воли: Железная дорога пройдет вот так.

Гибель всему, на что наведен стеклянный глазок! Взрыхлится равнина, повалится одно за другим деревца перелеска, исчезнет курган, — но и гибелью своей не остановить им невидимого снаряда; он устремится дальше и дальше, сметая все на своем пути, уже не задержит его старая часовня и бабкин крест! Попадется каменный дом — не останется камня на камне, попадется скала — взлетит и рухнет скала; эта сила проложит путь и через вековые леса Шишкина, — это будет бой, достойный любого из командиров, заседающих на картине в колхозной библиотеке...

— Сейчас понесешь дальше, — сказал жесткий голос.

Васёнка вздрогнула; около нее люди уже кончали работать. Начальник партии нагibalся к окуляру трубы, широко расставив ноги в белых высоких бурках. Пикетажист, стоя коленом на снегу, под его диктовку записывал цифры в книжку, положенную на другое колено. Впереди, увводя трассу вдоль наклона лощины, уже стояли одна за другой вешки; линия их делала поворот от того места, на котором находился теодолит: она вела вперед, но не прямо через лощину,—она вела наискось, к санному пути, который давеча указал Сурков. Чуть темнее, чем

снег, пересекала реку дорога, круто подымаясь на той стороне. Церковь, как крепость, стояла на косогоре, сугробные крыши хат теснились к ней. Еще было светло, но кое-где в окнах горели закатные огоньки, и над трубами вился дымок: хозяйки готовили ужин.

Уже можно было браться за инструмент. Васёнка поправила папаху, все сползавшую на глаза, и на секундочку посмотрела в окуляр.

— Ой... — шопотом вырвалось у нее. В белом кружке падала вниз, в снега, опрокинутая колокольня, падала и не могла упасть, и две тонких прямых линии перечеркивали ее крест-накрест, как бы решая конечный исход этого неподвижного падения. Тишина стояла кругом такая чуткая, как будто зимняя ширь онемела вместе с Васёнкой, не в силах остановить невероятное...

И тогда в тишине прогудел мягкий и звучный удар.

Девушка оторвалась от стеклянного глазка — и все пропало. Церковь стояла на месте, вознося над селом свои кресты, попрежнему вился дымок над хатами; колокол редко и мерно звонил. Качающиеся звуки поплыли над снегами; спокойные, гулкие, протяжные, они утверждали свое господство в вечернем просторе, и никакие другие звуки не мешали им.

— Одна-ако!.. — медленно проговорил начальник партии. Брови у него высоко поднялись, на широком, обветренном лице выразилось безграничное изумление. Он сдвинул со лба меховую шапку, точно она мешала слушать, и стоял так, переводя взгляд с одного парня на другого. Петруша старательно писал в книжке, не поднимаясь с колена. Начальник партии молча посмотрел на Суркова, и комсомолец ответил ему серьезным, внимательным и в то же время сдержанно-ироническим взглядом.

«Да, вот у нас как... — говорил этот взгляд.

Только через полчаса партия спустилась к реке. Заснеженным косогором поднялся другой берег. Село широко раскинулось по нему. Стало темнеть, торопились поставить последний пикет, — полевой день изыскателей кончался. Над

вырытой лопатами ямой Сурков доставал из мешка свежий кол.

— Забывай, — коротко распорядился Петруша и, потный от гордости, оглянулся на замечательно разбитую кривую. Маневр начальника — переход поймы в самом узком месте — только отсюда, снизу, был виден во всей красоте, и Петруша чувствовал себя главным соучастником этой блестящей победы. Он посмотрел на парней, которые растягивали на снегу ленту, на Суркова, согнувшегося над колышком, и ему неудержимо захотелось показать, как тонко он понимает, в чем тут дело, — не хуже самого инженера, а они все годятся только на то, чтобы вот таскать за ним ленту да забивать колья, куда он велит.

— Кончай рабо-оту! — кричал издали начальник партии.

«А впрочем, чего с ними разговаривать» — подумал Петруша, пряча пикетажную книжку. Ему вспомнилось, за что он сердит на Суркова; и как только он представил себе его усмехающееся широкое лицо, он сразу решил, что конечно ни в коем случае разговаривать не стоит. В это время сзади заскрипели шаги. Подходил начальник партии, и вдруг Петруша громко сказал:

— Вот это работка! Обходное движение — атака с левого фланга!

Вышло так глупо, что Петруша на секунду оглох от стыда: «Хоть бы не слышал никто...» Парни торопливо кончали работу. Он виновато оглядел всех, замирая и уже радуясь, увидел прямо пе-

ред собой сумрачные глаза Суркова. Откровенно - насмешливый тяжелый взгляд комсомольца словно толкнул его под самое сердце... но нет! Сурков смотрел не на него. Осторожно проследив за его взглядом, Петруша увидел: на той стороне по снежному скату косогора Дымко и Васёнка сразбегу карабкались вверх.

Они кричали что-то, размахивая вещами, как пиками, похожие на партизан, штурмующих врага, уже немного оставалось им до каменной низкой ограды. Последний удар колокола замер в воздухе, звонкий смех Васёнки ответил ему. Петруша и комсомолец встретились глазами.

— Не с фланга, а в лоб, — жестко усмехаясь, сказал Сурков.

Сумерки сгустились, когда начальник партии последним поднялся в село. Старичок в новом тулупе, похожий на ночного сторожа, прохаживался на маленькой площади — от церковной ограды до кооперативной вывески. Услышав чужие шаги, старичок обернулся, присмотрелся и шагнул навстречу:

— Извиняюсь, гражданин... Не вы ли будете инженер Дорофеев?

— Я — Дорофеев, — сказал начальник партии.

— Вас телеграмма дожидает на почте. Старичок смотрел доброжелательно, спокойно и ласково.

— Спасибо, — изумленно сказал инженер.

*(Продолжение следует)*

# Барсова шкура

Поэма

ШОТА РУСТАВЕЛИ

*Предисловие*

**К**авказ и в частности Закавказье, как известно, представляют собой своего рода этнографический музей, экспонатами которого являются его многочисленные народы.

Необходимо отметить, что этот пестрый этнографический характер Закавказья отмечается уже греко-римской литературой. Отсюда следует, что народы Закавказья, за малым исключением, населяли страну с древнейших времен. Действительно, сведения о некоторых народах Закавказья мы встречаем и в догреческой литературе. Так, грузинское племя «месхи», знакомое Геродоту, встречается в Библии, в десятой главе книги «Бытия», излагающей генеалогию народов, а также и в ассирийских надписях. Армяне в качестве восставших против персидского ига вассалов упоминаются уже в так называемой бегистунской надписи Дария (в V веке до нашей эры).

Отсюда в свою очередь следует, что народы Закавказья с незапамятных времен принадлежали к восточной культурной сфере. Вероятно не будет преувеличением, если мы скажем, что народы Закавказья испытали на себе влияние всех восточных цивилизаций, начиная от ассиро-вавилонской и кончая греко-римской и арабско-персидской. Понятно поэтому и раннее возникновение письменности вообще, а затем и национальной письменности у некоторых народов Закавказья (армян, грузин). Возникновение национальной письменности у этих народов мы склонны связывать с воз-

никновением национальной и государственной церкви. Что же касается более ранних эпох, то в это время упомянутые народы пользовались, как видно, письмом других культурных народов: греков, сирийцев и других. На армянском языке из светской литературы сохранилась ценная серия исторических произведений, из которых некоторые доходят до IV века нашей эры. Что же касается Грузии, то тут, по имеющимся данным, даже нумизматические надписи не заходят дальше V века. Это обстоятельство нельзя однако считать доказательством отсутствия национальной письменности в соответствующую эпоху. Против этого говорит наличие в Грузии уже в VII веке светской литературы. Против этого говорит также наличие в Грузии трех алфавитов, из которых два употреблялись для церковных, а один — для светских произведений. Так как все три алфавита тесно связаны между собою, их образование мыслимо только в длительные сроки, обнимающие вероятно столетия. Отсутствие в Грузии древнейших памятников вероятно объясняется тем, что собиранье и изучение грузинских археологических и исторических материалов находится до сих пор в самом примитивном состоянии. В доказательство этого можно сослаться на следующие факты, говорящие сами за себя:

а) Из уцелевшей грузинской литературы мы знаем имена до двадцати авторов, произведения которых до нас вовсе не дошли. Таковы Шавтели, Тмочвели, Чахрухадзе и другие.

б) Некоторые из имеющихся ценных литературных произведений до сих пор хранятся в музеях не опубликованные и не изученные.

в) Мы знаем о наличии вне пределов СССР ценных литературных документов на грузинском языке, относящихся преимущественно к раннему средневековью (не позже начала XIII века). Документы эти зарегистрированы (только частично) рядом наших ученых (Марр, Цагарели, Джавахишвили) и одним американцем (Блейком). Они разбросаны в монастырях Иерусалима, Синая, Афона, Петрицона (Болгария), Антиохии. Они содержат сотни рукописей, включающих до 200 тысяч страниц. Однако не только об их издании и изучении, но даже об их сохранности никто до сих пор не мог позаботиться.

При таком положении вещей не удивительно, что Руставели с его произведением стоит перед нами, как гигант без предков и потомков. Все, что касается поэта и его произведения, является для нас сплошной проблемой.

1) Мы не знаем ни его предшественников, ни его последователей. Это значит, что ни до, ни после него никто подобным совершенным стихом не писал. Но для всякого конечно ясно, что тот несравненный язык, на котором писал Руставели, не мог ни появиться, ни исчезнуть сразу. Его развитие до такого неподражаемого совершенства предполагает наличие целой плеяды предшественников.

2) Не знаем среды, при которой мог возникнуть труд Руставели, и какие влияния испытал поэт.

3) Мы не знаем истории текста, то есть не знаем ни первоначального вида поэмы, ни последующих наслоений, вставок и искажений.

4) Мы не знаем социального происхождения поэта, то есть не знаем, является ли он просвещенным патрицием, которого любовь к поэзии превратила в великого мастера слова, или это обычный для эпохи придворный пиитанганегирист-ремесленник, переживший века благодаря высокому дарованию.

5) Мы не знаем ни имени, ни месторождения, ни места деятельности поэта.

Что же мы знаем, спросит читатель. То, что можно вычитать из произведения, плюс еще кое-что. Об этом «кое-что» можно сказать следующее.

Трудно себе представить какое-либо литературное произведение, включая в понятие литературных произведений роман, библию и евангелие, которое по популярности могло бы конкурировать с произведением Руставели. Нельзя найти грузина, который бы не только не знал Руставели, но не мог бы процитировать его. Сокровища руставелевской поэзии в течение веков буквально были расхищены народом и до сих пор находятся в его прочном обладании. Знаем мы также, что произведение Руставели пользуется широкой популярностью, разумеется, среди литературных кругов, и вне пределов своей родины. Оно переведено на русский (Сталинским и Тхоржевским — в отрывках, Бальмонтом — целиком), английский, венгерский языки. Некоторые из его поклонников ставят «Барсову шкуру» выше всех произведений европейской литературы. Осторожнее можно было выразиться так: в европейской литературе не много найдется произведений, которые можно было бы поставить рядом с произведением Руставели.

Среди проблем, связанных с произведением Руставели, особое место мы должны уделить его очень интересным социально-философским взглядам и воззрениям. Казалось бы, эту тему можно было бы разработать, хотя бы только на основе данных самой поэмы. К сожалению, и этой задаче мало кто уделял внимание. Как ни грустно признаться в этом, вместо научной разработки подлинных проблем критика по преимуществу занималась тем, что искусственно создавала ложные проблемы, а потом стала решать их распутывать. К ложным проблемам мы относим следующие вопросы:

1) Вопрос о том, является ли творение Руставели оригинальным произведением, или переводом.

2) Вопрос об оригинальности сюжета произведения.

3) Вопрос о подлинности пролога и эпилога «Барсовой шкуры».

4) Вопрос о преимущественности персидского или византийского культурного влияния на Руставели и его творение.

Утверждение, что поэма Руставели является переводной, связано с одним местом пролога, где говорится: «Эту персидскую повесть я . . . . . переложил в стихи». Оно связано также с тем, что действующие лица поэмы все без исключения носят мусульманские имена и действие как будто бы развивается в мусульманских странах. Кроме того, и лексикон автора буквально пестрит парсизмами и арабизмами. Тем не менее проблема оригинальности или переводности поэмы, страстно обсуждавшаяся в свое время в грузинской литературе, является ложной проблемой. Никакой органической связи между прологом и эпилогом, с одной стороны, и поэмой, с другой, не существует ни по смыслу, ни по содержанию, ни по форме и совершенству стиха. Пролог лишен даже внутренней цельности. Разные четверостишья трактуют о разных материях. В прологе поэма посвящается Тамаре, в то время как в самом произведении она ни единым словом не упоминается. Пролог и эпилог представляют собою позднейшие приписки, и не одного, как видно, а нескольких авторов. Что произведение Руставели не может являться переводом с персидского, видно из наличия в поэме неоспоримых христианских элементов в виде упоминаний апостолов, пророков (Давида, Ездры), причастия и т. д., а также наличия в тексте цитат из так называемого «священного писания».

Первые же строфы поэмы обнаруживают немусульманское происхождение поэмы, ибо они повествуют о том, как арабский царь Ростэван уступает вследствие дряхлости свой престол дочери. Сцена совершенно необычная для мусульманского мировоззрения.

Еще более чепухой нужно считать спор об оригинальности сюжета поэмы. Мы не слышали, чтоб изучение и оценка творчества Гоголя, Гете, Шекспира начиналось с вопроса об оригинальности или заимствованности сюжетов «Мертвых душ», «Фауста», «Гамлета». Такие вопросы следует считать второстепенными. О них можно говорить вскользь и

мимоходом. Ложной мы считаем также проблему о преимущественности персидского или византийского влияний на творчество Руставели. Вопрос этот слишком прост и ясен и не должен вызывать споров.

Раннее средневековье, с точки зрения ислама, — это эпоха сказочного роста политического могущества и культурного влияния. А с точки зрения Византии — это эпоха политического и культурного декаданса. VII и VIII века нашей эры, века наибольшей экспансии ислама, заполнены в византийской истории борьбой за существование с победоносным исламом, наносящим Византии сокрушительные удары, и внутренней борьбой клерикальных групп, расшатывающей государство до основания. На одной стороне мы имеем расцвет политического могущества и культуры, а на другой — декаданс и православное мракобесие. В X веке арабско-персидская образованность достигает высшей точки развития. В эпоху Руставели культурное и политическое величие Багдада, Дамаска, Кордовы, Газни, Нитануры, Самарканды и десятки других, менее крупных центров, за немногими исключениями, уже принадлежит великому прошлому. Халифат давно уже разложился, а султанат доживает последние дни. Золотой век грузинской литературы (XII век) является непосредственным, и даже несколько запоздалым продолжением золотого века арабско-персидской образованности. Ни в Византии, ни тем более в Европе Руставели предшественников и учителей не имеет. Их можно и нужно искать на Востоке. Расцвет грузинской литературы тесно связан с политическим объединением и возрождением государства. Это возрождение сделалось возможным только после разложения халифата и распада султаната. Не случайно конечно, что и в византийской литературе наблюдается некоторое возрождение с ослаблением силы натиска ислама, но гордость византийской литературы XI века, Михаил Пселлос, славившийся как философ, ритор, полигистор и поэт, никакого сравнения как поэт ни с Руставели, ни с кем-либо из его великих персидских предшественников не выдер-

живает. Вопрос о преимущественном персидском влиянии на Руставели мы считаем тем более праздным, что сам поэт цитирует некоторые персидские произведения, очевидно оказавшие на него влияние. «Таких страданий не испытал ни Висо ни Рамин» — говорит в одном месте Руставели, цитируя знаменитый роман, известный нам в стихотворном переводе персидского поэта Фахар-ед-дина на гургани, сделанном в 1048 г.

Следующее произведение, оказавшее сильное влияние на Руставели, — это героическая поэма под названием «Амиран Дареджаниани», являющееся частично переделкой персидского произведения Киса-Гамза. Несомненные также следы влияния на нашего поэта «короля поэтов» Фирдуси и его «Книги царей». Достаточно вспомнить, что и Рустем, и Тариел, оба являются витязями в «Барсовой», или, вернее, «Тигровой шкуре». Ясны также следы влияния на «Барсову шкуру» со стороны персидского поэта Низами, в частности его произведения «Лейла и Меджунун». Влияние указанных произведений сказывается не только в общем героическом тоне произведения, не только в общих приемах для характеристики героев, но и в подлинных заимствованиях отдельных событий, процессов и выражений.

Вернемся теперь к подлинным проблемам, в частности к проблеме об авторе поэмы и времени ее написания. Единственным источником, указывающим, что поэма написана Руставели, являются сведения пролога и эпилога поэмы. Вот эти сведения: а) «Я, Руставели, переложил стихи», б) «Я, Руставели, совершил это дело», в) «Пишет некий месх (племя), стихотворец из Рустави», г) «Амирана Дориджановича воспел Моссе из Хони... Тариела же — Руставели». Как указывалось однако выше, пролог и эпилог ничего общего с поэмой не имеют и являются позднейшими приписками не одного, а нескольких авторов. Таким образом, имя творца «Барсовой шкуры» нам так же не известно, как и имя творца «Слово о полку Игореве». Что же касается имени «Шота», оно не упоминается даже в вышеуказанных приписках. Гипотеза о том,

что поэт именовался Шота, не обоснованная и ни на чем не основанная, появилась лишь в XVII столетии у Теймураза. Тем более странно, что на основании этой совершенно ни на чем не основанной гипотезы некоторые исследователи «Барсовой шкуры» готовы объявить творцом знаменитой поэмы всякого Шота, которого они находят в каком-либо историческом документе, приурочивая кстати появление «Барсовой шкуры» к эпохе, в которой жил такой-то носитель имени «Шота».

Печальней всего обстоит дело с проблемой датировки возникновения поэмы. Легче всего обнаружить незрелость научной мысли, работавшей над проблемами «Барсовой шкуры», именно в этом пункте. Тут можно найти расхождения на целые столетия. Это тем более странно, что в самой поэме можно найти достаточно исторических данных для определения эпохи. Прежде всего одно общее соображение. Язык руставелевской поэмы исключает возможность перенесения даты ее написания в XVI или XVII столетия. С другой стороны, нет возможности отнести это произведение к более поздней эпохе, чем первая четверть XIII столетия, так как нашествие монголов, и особенно Тимура, пятикратно вырезывавшего население Грузии, не только уничтожало литературу и культуру, но и их носителей — людей. После нашествия Тимура Грузия вероятно потеряла не меньше  $\frac{3}{4}$  населения. О каком же литературном развитии могла быть речь при этих условиях? После классического периода, нашедшего трагический конец при монгольском нашествии, грузинская литература оживает лишь через четыре столетия (XVI и XVII века).

Обратимся однако к данным самой поэмы. В поэме упоминается около 9 государств разных названий, из коих некоторые являются историческими. Иногда даются даже некоторые подробности из жизни этих государств, на основе которых не так уже трудно установить нужные даты. Не вдаваясь в подробности, дадим здесь только несколько нужных исторических справок. Руставели знает Индостанский султанат, знает Романию, знает как живые государства

Хварезм и Хатани. А из этого следует очень много. Индостанский султанат образовался из бывшей провинции государства Горидов, после его разрушения Махмудом хварезмским. Это событие имело место в 1206 г. Следовательно, до этой даты Руставели не мог знать это государство. Романьей в истории называются государство, которое было основано крестоносцами (главным образом французскими рыцарями) на развалинах Византийской империи. Это обстоятельство имело место в 1204 году. Следовательно, до этой даты Руставели не мог знать этого государства. Великая Хварезмская держава и Хатаиа были разрушены Чингизханом. Как указывалось, поэт знает эти государства как живые и

действующие и вовсе не знает Монгольской империи. Отсюда ясно, что поэма Руставели написана после взятия Константинополя крестоносцами, после разрушения царства Горидов и обоснования Индостанского султаната и до нашествия монголов, во всяком случае до их обоснования в Передней Азии. Таким образом, вероятная научно-обоснованная дата появления «Барсовой шкуры» лежит между 1206 и 1219 гг. 1206 год — это дата образования знакомого поэту Индостанского султаната. 1219 год — это дата сокрушения описываемого поэтом Хварезмского царства и дата появления на арене мировой истории новой великой империи монголов, не известной Руставели.

А. С.

## ВСТУПЛЕНИЕ

1. Тот, кто создал вселенную,  
 Духом, наваянным с неба,  
 Мудро содеял все сущее  
 В многоличии мира.  
 Дал он в красе, в обилии  
 Землю нам на потребу.  
 Царь — его образ. Подобие  
 Звездному небу — порфира.

2. Давший вид, очертание  
 Телу и вещи каждой,  
 Порази меня крепостью,  
 Напой мои жилы  
 Страстной жаждой желанья,  
 Что мы уносим, однажды  
 Смерти приняв очищение, —  
 В даль с собой за могилу!

3. Льву с мечом златокованным,  
 Льву со щитом и пикой —  
 Солнцу рубинноланитному,  
 Власоогадной царице  
 Что изреку в восхваление,  
 Как угожу гордоликкой:  
 Липнут уста от сладости,  
 Слепнут от света зеницы!

4. Воспоем же прекрасную  
 Солнце-Тамару, чьи оды  
 Я уж восславил: копьями  
 Сердце они пронзили, —

Мне служили чернилами  
 Черного озера воды,  
 И тростники озерные  
 Перьями мне служили.

5. В строки нежно-душистые,  
 По повелению царицы,  
 Переложу ее волосы,  
 Ярко-рубинные губы,  
 Брови — черные радуги,  
 Плотные зубы, ресницы:  
 Пусть, наковальня свинцовая,  
 Камень рассыплется грубый!

6. Для выраженья мне надобны  
 Сердце, язык, уменье.  
 Пусть же слова, как воины,  
 Выйдут, готовые к бою!  
 Тем поможем Тариелу,  
 Произнося в умиленьи  
 Имя его и три имени  
 Верных друг другу героев.

7. Сядем и в память Тариела  
 Слезы источим дружно:  
 Кто же из вас, рожденные,  
 Вздумает с ним сравниться?  
 Я, Руставели, с усердием  
 Перевязал страницы  
 Этой изустной повести  
 Нитью тонкой, жемчужной.

8. Я посвятил в безумии  
 Все мои песнопенья  
 Той, пред которой склоняются  
 Славные витязи царства.  
 Может, вместе с могилою  
 Даст она исцеленье —  
 Я умираю, безумствую,  
 Не находя лекарства.
9. Эту повесть персидскую  
 Я своим пересказом  
 Перекатил, как жемчужину,  
 Из ладоней в ладони.  
 Может, она величавую  
 Деву, отнявшую разум,  
 Ныне — как дело достойное  
 И неззорное — тронет!
10. Очи мои ослепленные  
 В жадном блужданьи, в заботе  
 Видеть ланиты рубинные,  
 Волосы в черном агате:  
 Мне суждено мучение  
 И сожжение плоти!  
 Надо воспеть три образа:  
 Страшно, что слов нехватит!
11. Каждый пусть утешается  
 Тем, что дано судьбою:  
 Пусть работник работает,  
 Воин ристает средь боя,  
 Пусть влюбленный любит, любится,  
 Видя лишь тень пред собою:  
 Не говори в осуждение, —  
 Все одинаковы трою!
12. Мудрость и стихотворчество  
 Рядом стоят от века:  
 Слово благоговейное  
 Слушателю полезно,  
 Кроме того, — удовольствие  
 Годному человеку  
 Длинная речь, но сжатая,  
 Словно в тисках железных.
13. Как скакуну испытание  
 На большом перегоне,  
 Как испытание в меткости  
 Мяч игроку на арене, —  
 Так и песни пространные  
 Для стихотворца, где кони —  
 Строки умело осажены  
 В каждом конце на колени.
14. Приглядитесь к мудреному  
 Делу стихосложения:  
 Лад поредеет, расстроится,  
 Лишь неостанет слова!  
 Бедность в стихе — малословие  
 Даже и при уменьи!  
 Ловкость, геройство, обилие, —  
 Вот искусства основа!
15. Можно ль назвать стихотворцами  
 Тех, кто склеил две строчки?  
 Пусть же не обольщаются  
 Этой жалкой удачей!  
 Некий украсит рифмами  
 Несколько фраз на листочке  
 И, как мул, заупрямится  
 Возле лужи стоячей.
16. Дар стихотворцев незначущих —  
 Мелких опытов скука:  
 Нет у них слова, берущего  
 Сердце стройным величьем!  
 Их молодого охотника  
 Я уподобил бы луку:  
 Где им на зверя крупного, —  
 Впору за мелкою дичью!
17. Есть стихи, очень годные  
 Для обольщений, забавы,  
 Для поношенья приятелей,  
 Для пиров и пирушек.  
 Слушать приятно, что сказано  
 Ярко, ясно и здраво,  
 Но разве будет мастером  
 Изготовитель игрушек?
18. В мудрости, без расточительства  
 Должен жить стихотворец:  
 Только одно безумие  
 В сердце — любовь к единой!  
 Ей посвящает он подвиги,  
 Как ее ратоборец,  
 Брезгуя в битвах с цезурю  
 Мелочью и серединой.
19. Я скажу без смущения:  
 Я люблю, славословлю  
 Только одну: жестокую,  
 Как леопард. Без раздумья  
 Я говорю: Ты, прекрасная, —  
 Жизнь моя, пища и кровля,  
 След твой воздушный жемчугом  
 Я осыпаю в безумьи.

20. Есть любовь лучезарная,  
Отпрыск высших понятий:  
Слово никнет в бессилии  
Для ее выраженья!  
Эта любовь чудеснее  
Поцелуев, об'ятий,  
Но приносит познавшему  
Страшные в жизни лишенья!
21. Этой любви и мудрые  
Часто не понимают:  
Слаб язык в выражении,  
В слушаньи ухо глухо!  
Всякий, изведавший плотское,  
Не любодействуя, знает  
В горькой разлуке с любимой  
Это сияние духа.
22. У арабов влюбленному  
«Бешеный» дано прозвание,  
Потому что безумствует  
И говорит без счётки.  
Так одному — приближение  
К высшему, самосгоранье,  
А другому — порхание  
Возле глупой красотки.
23. Необходимо влюбленному  
Быть красивым, богатым,  
Быть досужливым витязем,  
Щедрым на реч и монету,  
Быть терпеливым, с противником  
Не сидеть панибратом:  
Горе, горе влюбленному,  
Если этого нету!
24. Чувство любви непонятное —  
Нечто совсем иное,  
Чем наслажденье любовное  
И любодейство плоти:  
Радости непостижимые  
И утоление земное!  
Золото солнца вышнего  
И отраженье в болоте!
25. Должен истинно любящий  
Оберегать горделиво  
Постоянство к возлюбленной  
Даже с нею в разлуке,  
Пусть она по обычаю  
Зла, сурова, сварлива:  
Мне бессердечных чмоканий  
Даже противны звуки.
26. Пусть же это влюбленные  
Не называют любовью,  
В сердце смешав неразборчиво  
Завтра, вчера и сегодня.  
Столь дурное мальчишество  
Только пища злословью:  
Это — жрица прекрасная,  
А не блудная сводня!
27. Чтобы служить ей, не высказав,  
Надо таить страданье,  
Чувство в уединении,  
В воображеньи лелея.  
Надо вдали безумствовать  
В горести и пылании,  
В страхе, благоговении,  
Страхом не зная к лилее.
28. Видит истинно любящий  
Сладость в огне и горе,  
Радость свою в страдании, —  
Сердца мучительной тайны  
Не открывая возлюбленной  
В кратком слове или взоре,  
Ни в разговоре с наперсником,  
Ни в беседе случайной!
29. Кто же, кроме безумного,  
Тайну свою откроет  
Глупому и болтливому  
В разуме без секрета?  
Он ославит любимую,  
Сердце лишит покоя  
И оставит в памяти  
Злую, горькую мету!
30. Я дивлюсь на коварного,  
Любящего притворно:  
Бедная убивается,  
В муке ломает руки!  
Не любовь, так — презрение!  
А в презренье позорно  
Всякое слово, с усмешкою  
Сказанное от скуки!
31. Если ж плачет обманутый,  
Пусть он черною ночью  
В черной тоске изведает  
Все дороги на свете,  
Пусть унесет ослепительный  
Образ ее в одиночье:  
Много мудрее безумие,  
Если его не заметят!

## ПЕСНЯ ПЕРВАЯ

## ПОВЕСТЬ ОБ АРАБСКОМ ЦАРЕ РОСТЭВАНЕ

1. Повелитель Аравии,  
Ростэван оправедливый,  
Был осанкой величествен,  
Духом смел и спокоен.  
Щедрый, распорядительный,  
Мудрый, красноречивый,  
Средь прославленных витязей —  
Первый витязь и воин!
2. Расцвела у властителя  
Дочь красотой такою,  
Что в ее восхваление  
И мудрецы не в шутку  
Часто лишались мудрого  
Слова, потом покоя,  
А потеряв спокойствие,  
И самого рассудка.
3. Даже солнце не спорило,  
Тускло светило рядом  
С трепетной ее улыбкою,  
С влажным золотом взора!  
Царь созвал всех вазирей  
И, величавым взглядом  
Всех усадив по возрасту,  
Так приступил к разговору:
4. — Витязи! — молвил, — вазири!  
Неотложимо сейчас нам  
Надо вынести решение  
По согласному слову:  
Жаль, если роза пышная  
Вянет в саду прекрасном,  
Но другая распухнет, —  
Сад благоухает снова!
5. Смерть, как ночь без сияния,  
Но тяжелее сторицей  
Старость — самая тяжкая  
Из тяжелых болезней!  
Потому пред кончиною  
Видеть хочу царицей  
Ту, что солнца Аравии  
Сердцу теплей, любезней!
6. Вазири так ответили:  
— Царь! Когда вянут листья,  
Роза к земле склоняется  
Золотой головою, —  
Разве не ароматнее  
Роза тогда, не душистей?  
Разве звезда соперница  
Пред ущербной луною!
7. Как всё в мире, и женщина  
Тоже создана богом!  
Часто в вашем отсутствии  
Мы судили: девица  
Знает секрет управления!  
Дальше скажем немного:  
Разве не равны детеныши  
Льву, будь львенок иль львица?
8. Не говори о старости:  
Роза еще не завяла! —  
Плохо ты посоветуешь, —  
Все же будет ценнее  
Многих советов... по совести  
Скажем, без лести малой:  
Дочь твоя солнца радостней,  
Значит — царство за нею!
9. Сыном военачальника  
Был Автандил: героя  
Смерть обходила в сражениях,  
Все же не раз он спину  
Показал перед воинством,  
Все берущим без боя,  
Черных, как ночь Аравии,  
Знойных ресниц Тинатины!
10. Как кипарис над поляною,  
Воин был гибок, строен,  
Но таил беспокойную  
В сердце черную рану.  
Был он в славе, в почести  
У царя Ростэвана,  
Все же слов сожаления  
Самых горьких достоин!
11. Слушая речи царские,  
Старых вазирей речи,  
Юноша в одиночестве  
Думал: «Взойдет на царство  
Солнцем дева прекрасная,  
В наши частые встречи  
Выпью чашу с отравою  
Иль получу лекарство!»
12. Царь указ по Аравии  
Издal: «Я, царь и родитель,  
Дочь решил на правление  
Царством моим поставить!  
Да озарит всех радостью!  
Все к царю приходите —  
Вставшее над Аравией  
Солнце видеть и славить!

13. Знатных витязей воинство  
 Неисчислимо множа,  
 Аравийцы пустынею  
 Гонят вскачь караваны...  
 Автандил, весь в сиянии,  
 Сограт, старый вельможа.  
 Вынесли на возвышение  
 Трон царя Ростэвана.
14. Царь Ростэван прекрасную  
 Дочь посадил, корону  
 Сам возложил на голову,  
 Скипетр свой величаво  
 Дал ей в руки лилейные,  
 Грянули трубы, знамена  
 Уронило все воинство  
 В знак торжества и славы!
15. Военачальники, витязи,  
 Знатные чужестранцы,  
 Ратные гости, прибывшие  
 На торжество издалече,  
 Отдали деве почести...  
 Дева плачет, румянца  
 На лице ее зарево,  
 Локон упал на плечи.
16. Слезы по розоланитному,  
 Пышноцветному саду  
 Льются, дева в смущении  
 Думает: «Я недостойна!»  
 Царь поучает: «Родителю  
 Чадо его — отрада!  
 Вижу тебя царицею,  
 Сердце теперь спокойно!
17. Будь же распорядительной!  
 Слезы утри: отныне  
 Пастбища всей Аравии,  
 Горы, быстрые реки,  
 Роши, воды озерные,  
 Земли садов, пустыни —  
 Все в твое управление  
 Я отдаю навеки!
18. Видишь: солнце высокое!  
 Греет оно лучами  
 Вазиря величавого  
 И простого араба!  
 Вот потому-то в милости  
 Пред твоими очами  
 Пусть будут оба равные:  
 Самый сильный и слабый!
19. Как эдем кипарисами,  
 Щедростью царь украшен:  
 Щедрому все повинуются,  
 Даже и вероломный!  
 Даруй, как море дарует  
 Воды: жалок и страшен  
 Тот, кто, скопив сбережения,  
 Клад утратил огромный!»
20. Сел он за чашу веселую,  
 Порозовел на ланиты.  
 Дева от наставления  
 Порозовела тоже.  
 Солнце из легкого облака  
 Кинуло луч с зенита:  
 Лег он тенью покорною  
 К золотому подножью.
21. Верного воспитателя  
 Дева ручкой позвала:  
 «Всю казну распечатайте  
 И сюда принесите  
 Все мои драгоценности:  
 Я с безделья низала  
 Замурухты<sup>1)</sup> и жемчуги  
 На пурпурные нити!
22. И раздала сохраненное,  
 Сбереженное с детства  
 Людям простым и воинам,  
 Слабым, здоровым, недужным:  
 — Вот вам мои сокровища!  
 Вот вам мое наследство:  
 Ради слова отцовского  
 Мне ничего не нужно!
23. Настежь двери сокровищниц,  
 Все ларцы и кладовки  
 Раскрывай, не раздумывай!..  
 ... И бедняк, и богатый,  
 Дети, мужчины, женщины,  
 Неумелый и ловкий,  
 Люди простые и воины,  
 Как лихие пираты,
24. Видя, что щедрость вьюгою  
 Веет, в жадной погоне,  
 В драке перед царицею  
 Бежали быстро, юрко, —  
 Так дерут победители  
 Дань с побитого турка!  
 Долго ржали и жалобно  
 Аравийские кони...

<sup>1)</sup> Изумруды (грузинск.).

25. Минул первый день пиршества,  
Яства, фрукты, напитки  
Выпиты были, с'едены:  
Вдоволь ёлось и п'илось!  
Царь опустил голову  
И сидел, как на пытке:  
— Что с ним за огорчение, —  
Все шептали, — случилось?
26. Не выдавший соперников  
И в бою, и на играх,  
Безбородый, с пушистыми  
Кудрями, солнцеликий  
Автандил рядом с Согратом,  
Так похожим на тигра:  
— Отчего, — молвил юноша, —  
Побледнел царь великий?
27. — Мрачной думой не во-время  
Он полонен или болен!  
— Что ж случилось печального  
За прошедшие сутки?  
Может, — ответственвал юноша, —  
Нами он недоволен?  
Если ж нет, попытаемся  
Развеселить его шуткой!
28. Вазирь важный и юноша,  
Лев и тигр престарелый,  
Влагой густой, целительной  
Оба наполнили кубки  
И, подошедши почтительно  
Поступью твердой, смелой,  
На колени с улыбкою  
Встали на первом приступке:
- 29.—Царь! По всей справедливости, —  
Молвил вазирь, — не весел  
Взор твой: с сокровищниц  
Сбиты петли и скобки!  
Стали все богатеями,  
Осмелел даже робкий!  
Дочь посадив царицею,  
Ты последствий не взвесил!
30. Выслушал царь с усмешкою,  
Поглядел, подивился,  
Как это вазирь отважился  
Молвить горькое слово:  
— Ценно, что прямо сказано! —  
Царь ответил сурово, —  
Но, подозрев меня в скупости,  
Правды ты не добился!
31. Полон горькой тревогою  
Весь я не по причине,  
Что передал правление  
Щедрой своей Тинатине,  
А потому, что утратились  
Силы, состарились чувства  
И передать мне некому  
Золотого искусства,
32. Нужного в битвах опыта:  
Копьёметанья, по туку  
Рубки мечом! Воспитанник  
Мой, Автандил, немного,  
Правда, пошел в воспитателя  
Меткой стрельбой из лука!  
Горе мне, горе: не было  
Дано мне сына от бога!
33. Стройный витязь с опущенной  
Скромно вниз головою  
К гордому слову прислушался  
И улыбнулся. Зубы  
Юного военачальника  
Снежной своей белизною  
Свет излучили. С улыбкою  
Царь промолвил: «К чему бы
34. С желторотой усмешкою  
Мне тебя, мальчик, видеть?»  
Витязь ответил почтительно:  
«Я об'ясню, дай заране  
Фирман — обет, что открытостью  
Я не могу обидеть,  
Что неправого, гневного  
Сердца нет в Ростэване!»
35. Царь ответственвал: «Сказанным  
Даже обидным словом  
Не погневлюсь! Тинатиною,  
Солнцем клянусь в поруку!»  
Юноша без смущения  
Так отвечал: «Суровым  
Необходимо быть в скромности,  
Как и в стрельбе из лука!
36. Я ваш лучший воспитанник  
В лучной стрельбе, в метаньи  
На расстоянье копьями!  
Все же пусть нас заставят  
Меч и мяч перед воинством  
Выказать ловкость, знанье,  
И тогда победителя  
В песне всюду прославят!»

37. Ростэван на соперника  
Глянул и молвил: «Спора  
Я не спущу — на ристалище  
Мы с тобою поднимем  
Луки. Витязи, вазири —  
Наши свидетели — скоро  
Разглядят победителя,  
И назовут его имя!»
38. Автандил дал согласие.  
Снова за чаши сели,  
Все закончилось шутками,  
Вежливым разговором.  
Установили договор:  
Побежденному в деле  
Быть три дня непокрытому,  
Что считалось позором!
39. «Пусть двенадцать невольников, —  
Царь приказал, — таскают  
Наши луки тяжелые,  
Стрелы на спинах потных!  
Шемардинà расторопного  
Я с тобой отпускаю —  
Пусть считают подстреленных  
И убитых животных!»
40. Царь повелел охотникам  
К утру обшарить низины,  
Логи, овраги, займища,  
Где хоронятся звери...  
К утру славное воинство  
Кончило яства, вина:  
Кости валялись на пиршестве,  
Как у барса в пещере.
41. Рано утром, как лилия,  
Стройный, с лицом рубинным,  
В пурпур одетый, в узористой,  
В золотистой повязке,  
Солнцеподобный юноша  
Прискакал с Шемардином,  
Везшим вооружение  
На скакуне арабском.
42. Царь одел снаряжение,  
Сел на коня. На охоту  
Спешно выехал. По полю  
Плыл туман паутиной.  
Было звучно, торжественно.  
Солнце било в ворота  
Царского замка и спорило  
С вышедшей к ним Тинатиной.
43. Скачут двенадцать невольников,  
В самом разгаре охота!  
Луки, как руки, раскинуты,  
Стрел наконечники светят!  
Звери тычутся, мечутся,  
Ради верного счета  
Их настигают и знаками  
Теплые раны метят.
44. Словно во время сражения,  
Воины крадутся цепью!  
Прыгают, скачут, падают  
Козы, олени, серны!  
Неутомимы охотники,  
Выстрелы метки, верны:  
Что может быть прекраснее?  
Что за великолепе!
45. Фыркали кони арабские,  
Меркло солнце от пыли,  
Травы кровью обрызганы,  
Поле в мертвой дичине,  
Но то и дело охотникам  
Стрелы рабы подносили,  
Перед новым выстрелом  
Кровь отерев об овчину.
46. Много они уничтожили,  
Много они убили.  
Даже бога прогневало  
Истребленье такое.  
Все смотрели на юношу,  
Меж собой говорили:  
— На эдемское дерево  
Он похож, на алоэ!
47. Страшное поле кончилось,  
Дальше, у быстрой речки,  
Лес непролазный, по берегу  
Грозно дыбятся скалы.  
Кони с погони взмылены,  
В белой пене уздечки,  
Смотрят сами охотники  
Друг на друга устало.
48. Царь промолвил: «Закончился  
Спор наш в хорошем месте:  
Тут ни проезда коннику,  
Ни пешеходу проходу!»  
И обратился к невольникам:  
«Говорите без лести,  
Верный подсчет по правилам  
Будет царю в угоду!»

49. Отвечали невольники:

«Правда всего дороже,

Царь наш, скажем по совести:

С витязем вы несравнимы,

Хоть казните, хоть милуйте,

Но солгать мы не можем:

Десять на десять выстрелов —

Только один ваш мимо.

50. Всех убитых и раненых

Двадцать сто раз у обоих,

Больше по исчислению

У Автандила на двадцать:

Стрелье его без промаху,

Даже одной не прошло их

Мимо сердца животного,

Богом можем поклясться!

51. Ваши ж, очень немногие,

Мы очищали от глины!»

... Царь был рад, что воспитанник

Лучше стреляет из лука:

Будет теперь под защитою

Царство его Тинатини!

Царь расцвел улыбкою,

Подав витязю руку,

52. Слез с коня, в тень древесную

Посадил его справа,

Их окружило воинство:

Стало люднее самана!

Звонко трубы грянули

В честь, хвалу и славу

Юного победителя

Лучника Ростэвана.

Перевел Сергей Клычков

# Счастье

Рассказ

А. ЗОРИЧ

Ра́йда остановилась внизу, в четырех километрах от места, где начинался под'ем. Пробиваться дальше сквозь густые заросли дикой тундры и хаотические груды валунов не могли уже даже ко всему привычные северные олени.

Двое людей вышли из саней, разминая отекавшие ноги; отсюда предстоял путь, который вел либо к смерти, либо к победе.

Старый лопарь в последний раз натер им по способу прадедов уши оленьим жиром, последний раз объяснил, каких тропинок лучше держаться, пожелал последний раз легкого и верного пути, и, закинув мешки за плечи и закрепив петли остроконечных палок на руках, они двинулись к недоступной и овечьей десятками мрачных легенд горе. Они ушли, старый лопарь усел, скрестив ноги, на меховой шкуре, перед палаткой и, дымя длиннейшей трубкой, запел тихонько песню о злых вершинах, среди суровых камней которых погребено уже столько голов и костей державших смельчаков и безумцев. «Странные люди, — пел он, — непонятные люди! Разве у них мало оленьего мяса и теплых шкур дома? Разве не оставляют они позади жен, детей и очага? Разве не знают, что жизнь бывает одна и с того света нет тропинок в этот? Что же гонит их в горы, и каких кладов ищут они в обледеневшей, мертвой земле? Удивительные люди!»

Он пел и рассуждал сам с собой, удивляясь, хмураясь и раскачиваясь,

а те двое все шли и шли вперед, удаляясь и постепенно теряясь из виду. Часа через три, взглянув вверх, он увидел уже только две маленьких черных точки на первом перевале, казавшихся почти неподвижными; потом исчезли и они, и снова застыла в безмолвии и холодной своей чистоте девственная пелена белых, сверкающих снегов...

Это была разведка на ваннадий, редкий и благородный металл, который идет в сплавы дорогой стали и острая нужда в котором возникла сразу же, едва началась организация собственной автомобильной и авиационной промышленности в стране. Случай навел на мысль, что одна из вершин горного хребта на далекой и дикой нашей северной окраине богата ваннадиевой рудой. Но это был пик, известный под названием Неприступного, куда ни разу еще не ступала человеческая нога. Окруженный глубокими пропастями, почти лишенный площадок и уступов на отвесных склонах, он выглядел, как мрачная крепость, отрезанная от мира. Несколько попыток овладеть этой каменной твердыней — все кончилось неудачами и катастрофами, повлекшими за собой лишь жертвы и несчастья, и на пик уже махнули было рукой, когда назначенный сюда молодой геолог и коммунист Ольхович вновь и с настойчивостью, которая многим показалась непонятной, выдвинул этот вопрос и, хотя вся сложность и рискованность предприятия были понятны и прошлые несчастья стояли перед гла-

зами, настоял в конце концов на своем. Новая экспедиция была решена, и теперь он шел в качестве одного из двух ее участников, с трудом пробираясь по обледенелым тропам к подножью мрачной горы.

Он шел с отличным и гордым чувством завоевателя, ступающего по земле, которой впервые касается человеческая нога. Тысячи лет это стояло нерушимо, и вот он шел — и все это должно было покорно пасть ниц и стать достоянием революции и человека: богатство, пространство, красота. Это волновало и возбуждало, ему было весело и немножко жутко, чувства переполняли его, и хотелось говорить.

Но говорить было не с кем. Второй разведчик, геолог Панько, шагал рядом, хмурый и озлобленный. Это был человек уже немолодой, желчный, циничный и опустившийся, давно растерявший в скитаниях все, что, быть может, и было когда-то хорошего, чистого и ценного в душе. Лет тридцать тому назад он приехал сюда еще юношей и полон был самых лучших желаний и надежд. Но серая, убогая, вся заполненная ничтожными обывательскими пустышками жизнь глухого российского захолустья, каким была тогда нынешняя молодая столица советского Севера, быстро стала засасывать его, действуя, как отравы, парализуя и мысль, и чувства. Он начал пить, призрастился к картам, стал пугаться от скуки с местными женщинами, мелочными, глупыми и неинтересными, и, обрастая слоем незримой грязи, пошлости и убожества, отупел постепенно, совершенно отвык думать и настолько опустился внешне, что, всегда небритый, с неприятной щетиной на лице, со следами перхоти на платье и в грязном выглядывавшем из-под пиджака белье, стал вызывать уже просто безразличное чувство. Городишко этот был населен тогда мешанами; они были корыстны, алчны, себялюбивы, жестоки, и надо всем господствовали у них узкие и мелкие эгоистические интересы. Не видя ничего, кроме этого, вокруг, постепенно он тоже проникся сознанием, что это и есть основные законы, на которых покоится и которыми движется жизнь, и,

встречаясь изредка с явлениями и людьми, стоящими выше того уровня, с которого открывался ему теперь мир, стал смотреть на них недоверчиво и желчно, всегда подозревая, что это только внешнее, а внутри и тут все подчинено той же мелкой корысти и единственному стремлению к собственному житейскому благополучию.

И когда, несколько дней тому назад, его вызвали как одного из самых опытных разведчиков и проводников в управление и сообщили об экспедиции, он, ничего не поняв и не дослушав даже, пошел и к Ольховичу, и к его проекту с той обычной меркой, с какой привык теперь подходить ко всему в жизни, давно перестав чувствовать и понимать убожество своих представлений. «Карьеру сделать хочешь, куш сорвать? — думал он, враждебно разглядывая молодого геолога и пытаясь уловить обычный отпечаток затаенной корыстной мысли на милом и открытом его юношеском лице с мягким ртом и живыми смешливыми глазами.— Понимаешь, прохвост, с какого конца спаржу едят!»

Он хорошо знал хребет и сразу понял, что разведка предстоит очень тяжелая, и мысленно грубо, злобно и цинично обругал Ольховича, который это затеял, но отказаться было невозможно. Пьяница, опустившийся, ничтожный и неприятный человек, он и так был на плохом счету, и эта капля могла переполнить чашу. Пришлось согласиться, и он пошел, ощущая глухое, все растущее раздражение к этому сумасбродному выскочке, втянувшему его в историю, где, неизвестно, ради чего, придется, быть может, ставить на карту и здоровье, и жизнь. Это возмущало его, он сразу взял сухой и враждебный тон, и когда в дороге, возбужденный ее романтической обстановкой, Ольхович с увлечением стал говорить было о замечательном пафосе революционного созидания, который заставляет делать чудеса и поднимает на опромную новую высоту мысль и сердца людей, он послушал, совсем озлился и утрюмо сказал:

— Ну, не знаю, как вы, а я потому иду, что иначе выгонят. А жрать каждому надо. Насчет пафоса не знаю, а вот,

что отношение свинское, — это верно. Посылают людей чуть не на смерть, а суточные в одинарном размере дают. Вместо пафоса платили бы лучше втрое, как раньше. Мне монета нужна, пети-мети, а пафос это филозофы придумали.

Это слово он произнес с косою усмешкой, неправильным произношением и ударением подчеркивая свое ироническое к нему отношение. «Противный все-таки тип!» — растерянно оборвав на полуфразе и взглянув на его обрюзгшее от пьянства, желчное лицо, подумал Ольхович и умолк, сконфузившись и обидевшись. И только, когда они взяли первый перевал и внезапно перед ними открылась величественная и прекрасная панорама покрытых ослепительным снегом гор, он опять не выдержал. Это было до того хорошо, что он ощутил, как что-то дрогнуло у него от радостного волнения и екнуло внутри. Но Панько, когда он показал ему рукой, даже не оглянувшись и снова отрезал желчно и язвительно:

— Если екает, это от консервов наверно. Полагается арктические давать, которые для зимовщиков, но те в управлении пожирают, а нам что попало суют. Вы вот все об идеалах толкуете, а на самом деле каждый только себе в карман норовит.

Ольхович, поморщившись, пожал плечами, они опять замолчали и молча шли уже потом всю дорогу до самого пика Неприступного.

С его подножья началась самая трудная, опасная и мучительная часть пути, один из тех подъемов, о которых геологи говорят, что их можно брать только сердцем, а не ногами. Склоны горы были почти отвесны и вдобавок покрыты коркой льда. Приходилось не идти, но ползти, работая и руками, и ногами, и зубами, и каждой частицей распластанных подобранных тел, цепляясь за каждый камешек, выступ и шероховатость. Было ниже сорока по Реомюру, захватывало дыхание, ледяной горный воздух обжигал лица и, казалось, замораживал горло и грудь; губы у них сразу же растрескались, руки коченели, из-под ногтей показались кровь, на щеках, густо смазанных жиром, появились

зловещие белые пятна, слезы, выступавшие на ветру из глаз, замерзали на ресницах. Уже через час они выбились из сил и остановились, чтобы передохнуть и поесть, но пришлось ограничиться одними галетами. Хлеб смерзся и окаменел, консервы превратились в твердые куски розового льда, их пондобилось сперва растапливать на спиртовке, и это придало им какой-то неприятный, тошнотворный запах и вкус.

Панько, хоть он и знал, что разведка будет тяжелая и ко всему был подготовлен, сразу увидел однако и понял, что путешествие окажется гораздо сложнее и опаснее, чем это можно было предположить, и недаром очевидно все предыдущие попытки кончались здесь несчастиями и катастрофами. И, хотя, обладая большим опытом, превратившим для него эти приключения в будничное, привычное ремесло, он и был достаточно уверен в себе, настроение у него совсем испортилось. И вотнадий, и все, с ним связанное, было глубоко безразлично для него, и, будь он один, он сразу повернул бы обратно, соврав потом в управлении, что в горах обвал и тропы засыпаны снегом. Так он делал уже не один раз, и это всегда сходило. Но тут это было немислимо.

Приходилось смириться и, передохнув и с отвращением поев все же, чтобы хоть сколько-нибудь подкрепиться, оттаявшего на спиртовке мяса, он поднялся опять и двинулся дальше, смутно надеясь, что на отвесной зубчатой гряде, которая начиналась с середины горы, Ольхович не выдержит и сам повернет назад. Он был слишком юн и худощав, и, оглядывая тоненькую его и гибкую мальчишескую фигуру, Панько вообще не понимал, откуда берутся у него силы; у него явно не было ни умения, ни тренировки, это делало для него подъем вдвое тяжелей и опасней, и быстро должно было выбить его, как выражались геологи, из формы. Но хоть и было видно, какого страшного напряжения стоит ему каждый шаг, Ольхович упорно пополз вверх и по этой гряде; от него шел пар, по лицу разливалась бледность, он задыхался, но все же полз и полз вперед; становилось ясно, что он ни перед чем не

отступит, — и Панько почувствовал, как раздражение постепенно переходит у него в ненависть. «Такой далеко пойдет, — желчно и цинично думал он, плетясь сзади, — только покажи сторублевку, ни отца, ни матери не пощадит, подлец!»

Мысль о том, что этим человеком могут двигать какие-нибудь другие побуждения, кроме личных интересов, была настолько чужда для него, что вначале это просто не приходило ему в голову. Однако с каждым часом подъем становился все труднее, и постепенно наряду со злобой в нем возникало смутное чувство недоумения. Сам он, хорошо зная все тонкости и секреты своего тяжелого ремесла, несмотря на возраст и одышку, держался еще кое-как, строго рассчитывая и сберегая каждую крупинку сил. Но Ольховичу приходилось совсем плохо, и со стороны это резко бросалось в глаза. Он быстро худел, лицо его заострилось, в ногах и руках появилась предательская дрожь. Но, измученный, сплошь покрытый ссадинами, синяками и кровоподтеками, он полз и полз дальше, ни на минуту не прерывая смертельного поединка, — и что-то необычное и непонятное начинало казаться Панько в этом удивительном упорстве. И когда на подступах к пику начался самый трудный участок пути и, идя сзади, он увидел, как неумело и мучительно скользит на льду, цепляясь окровавленными пальцами за камни и поминутно рискуя сорваться вниз, его спутник, — в сознании его отчетливо промелькнула вдруг мысль, что какие бы деньги и награды ни ждали этого юношу впереди, жизнь ведь всегда останется дороже и, значит, тут заключено какое-то противоречие и очевидно им движет что-то другое, более значительное. Но, что было это другое, он не знал, представить себе не мог и на мгновение растерялся даже от неожиданности, ощутив то глухое беспокойство, какое испытывает обычно человек, сталкиваясь с явлением, лежащим вне пределов его понимания. И, хотя размышлять здесь было некогда, — почти тотчас же он оступился и едва не сорвался сам, покрывшись с ног до головы холодным потом и почувствовав, как ужас смерти прони-

зал все существо, — эта мысль, погаснув и оборвавшись, оставила все же какой-то осадок и продолжала шевелиться в сознании...

На пятый день они добрались наконец до вершины, заложили ручные буры, и через час пошла порода. Ни цвет ее, ни общий вид, ни специфические мелкие подробности не оставляли сомнений: догадка оказывалась верна, и это действительно был ваннадий. Трудно еще было сказать без анализа, насколько богата руда, но они пробовали участок за участком, порода все шла и шла, и становилось ясно, что, если процент окажется хоть сколько-нибудь высок, здесь сконцентрированы залежи огромного значения и масштабов.

Ольхович сиял, от возбуждения у него захватывало дух. Ощупывая вздрагивающими пальцами, разглядывая, нюхая и даже пробуя на язык каждый осколок добытый руды, он складывал их в мешок так бережно и любовно, точно эти куски камней составляли для него что-то самое дорогое в жизни. Панько искоса поглядывал на него. Он неузнаваемо изменился за эти дни: на посеревшем его лице лежала печать смертельной усталости, рот, сохранявший еще детскую припухлость, принял суровые очертания, глаза ввалились; но это серое, измученное лицо освещено было таким замечательным и чистым внутренним светом, какого Панько никогда еще не видал у людей окружавшей его убогой среды, даже в самые острые минуты их личного счастья и довольства. И опять то чувство недоумения и беспокойства, которое он испытал на подъеме, настойчиво охватило его, и когда вечером, покончив с работой, они легли, натянув мешки, в палатке, он неожиданно и грубовато спросил:

— Скажите, теперь дело прошлое, — за каким, все-таки, чортом понадобилось вам лезть на этот проклятый пик? Что тут зарыто для вас?

— Вы же знаете, — удивился Ольхович, — ваннадий.

— Ваннадий — ваннадием, но вам-то самому для чего это нужно, если не секрет? Ну набрали вы мешок камней, ну и дальше что? Что вам лично это даст?

— Счастье, — не задумываясь, быстро и просто ответил Ольхович, и в голосе его прозвучала взволнованная и теплая нотка: — счастье, Павел Петрович! Справно, как-раз я об этом и сам думал. В чем по-вашему, высшая радость человеческого существования? Ну, вот вы, допустим, просыпаетесь утром — что вам надо, чтобы было хорошо?

— Стопку спирта, — то ли издеваясь, то ли серьезно, сказал Панько. — А чтоб совсем хорошо, еще рябины бросить зерна три для запаха.

— И все?

— Ну, еще ливерной колбасы полфунта и пирожок с грибами.

Ольхович помолчал секунду и, делая вид, что не замечает его тона, сказал:

— Я думаю, настоящая радость—это когда человек понимает смысл своей жизни. Вы задумывались когда-нибудь, для чего живете?

— А бы для чего? — не ответив и ощутив внезапно смутную тревогу, как будто на него надвинулось что-то неприятное, спросил Панько.

— Я живу для величайшего дела, которым начинается сызнова история человечества.

— Из политграмоты шпарите, — криво усмехнулся Панько. — Нам читали. Там точно так сказано.

— Не знаю, может быть, но поверьте, я чувствую это всем существом, каждой клеточкой сердца и тела. И это радость, это настоящая радость! Потому что каждый твой шаг приобретает при этом какое-то особое значение, каждая сделанная тобой мелочь несет огромное чувство удовлетворения, и каждый день превращается в праздник.

— Это философия, — угрюмо сказал Панько, попрежнему ощущая непонятное еще, но все растущее неприятное беспокойство в душе.

— Нет, вы сейчас поймете. Вот вы сказали об этих камнях в мешке: и действительно, что они, если подойти к ним без такого чувства и сознания? Скучная подробность ремесла, груз мертвой породы, которая будет сброшена завтра в управлении и забыта через пять минут. Но взгляните иначе, но озарите их светом революции — и какой огромный

смысл откроется вдруг перед вами в каждой их пылинке! Какая невиданная и высочайшая встанет за ними завтрашняя техника с тысячами блестящих, сверкающих машин, впервые несущих настоящее освобождение человеку! Какой сказочный обряцется мир вещей и образов того замечательного будущего, песчинками которого им предстоит стать! И когда это будущее составляет цель и мечту, и все содержание жизни, — разве это не счастье, разве это не гордость держать его крупницы в руках? Разве само по себе это не есть уже высшая награда за труд и риск, перед которой ничего не стоят ни прибавки, ни премии, ни ордена? Ведь вы поймите, для меня ванадий звучит с большой буквы! Для меня это не камни, но живые частицы идеи, которой я служу, воплощенные кусочки той огромной и прекрасной радости, которая ожидает впереди мой народ! И сегодня самый замечательный день в моей жизни, потому что моими руками, моей волей, моим телом проложена новая тропа к этой радости! Вы спросили, что мне это дало, и я отвечаю—счастье! За один такой день все можно отдать, за один кусок этой руды самого себя отдать можно!

— Чепуха какая-то, — сказал, беспокойно ерзая в мешке, Панько. Он давно отвык от таких разговоров и представлений, обычно все это звучало для него, как фразы на чужом, непонятном языке, и не вызывало ничего, кроме скуки и циничных насмешек; но сейчас он смутно почувствовал волнующую искренность и огромную силу убеждения в горячих словах этого мальчика, и от мысли, что очевидно действительно ради этого тот и пошел в опасный и страшный свой поход, ему стало как-то не по себе. В этом было что-то очень значительное, необычное и тревожное для него, и вдруг ему захотелось как-нибудь отмахнуться и поскорее кончить этот разговор. — Чепуха какая-то, — повторил он, — что же получается, набурили пуд камней, и больше вам и жизнь не дорога?

— Нет, дорога конечно! Как может быть не дорога жизнь, когда на свете существуют такие горы, такое небо, солнце, сосны, любовь, музыка и даже

эти ваши пироги с грибами? Очень дорога! Но то дорожке, — вот в чем дело! То самое дорогое! Отнимите у меня все мое, все, что составляет личное, но оставьте это — и все равно я буду счастлив! А скажите — живи, наслаждайся, но отдай и предай твое дело, твою идею, этот вот пуд камней в мешке — и я не отдам и не предам, потому что зачем мне жизнь, раз она все равно станет пустой после этого?

— Врете вы все, — грубо, взволновавшись вдруг, сказал Панько. — Это так только говорится, а столкни вас по-настоящему со смертью, еще как в кусты броситесь, только пятки сверкнут!

На душе у него стало совсем нехорошо и тоскливо, сознанием овладевала растерянность, и ни над чем еще не задумавшись и ни в чем не разобравшись, инстинктивно он ощутил себя все же, как урод, увидевший рядом с собой в зеркале лицо здорового человека. Он отвернулся и закрыл глаза.

Ольхович помолчал, подумал и тихо сказал:

— Нет, не брошусь. А вас мне жаль, Павел Петрович. Когда мы шли, я возмущался, а теперь подумал, и мне жаль вас. Чем вы живете?

— Я не нуждаюсь в вашей жалости, — сухо ответил, не открывая глаз, Панько.

— За что вы сердитесь? Ведь я это от души говорю.

— Я не сержусь, но, знаете, двенадцатый час, а завтра нам спуск брать. И, кроме того, при сорока ниже нуля лучше философствовать про себя. Все равно вы мне ничего не докажете, а горло застудите безусловно.

И он демонстративно повернулся спиной, натянув на голову меховой капюшон. Но ему не спалось. Разговор расстроил его, и он долго ворочался в мешке, обдумывая то новое, что вторглось вдруг в его сознание. Он давно уже привык жить, не смотря вперед и никогда не оглядываясь на уходящие дни. Но то, что произошло, пробудило какие-то обрывки тлеющей мысли в отупевшем его мозгу и заглохшие, поросшие всякой дрянью, чувства в душе. Кажется, впервые за все последние три-

дцать лет перед ним встал вдруг вопрос—для чего он живет, в самом деле? Неужели только для того, чтобы пить, есть, спать, мыться в бане по субботам и по воскресеньям ходить на пироги к соседям? Неожиданно он почувствовал в этом что-то оскорбительное, и ему пришло в голову, что, в сущности, он прошел всю жизнь, как идет вьючное животное, перед которым болтается клочок сена на шесте; он доходил, получал и с'едал эти клочки — ну, а дальше что? Во имя чего, с какой целью пройден был этот долгий путь, единственным содержанием которого был кусок хлеба, тяжкий, горький и безрадостный, потому что он никогда не видел и не понимал смысла в работе, которую делал? На это он ответить не мог. Он стал вспоминать, и получалось, что ни позади, ни впереди у него не было и нет ничего, к чему стоило бы стремиться,— и жизнь текла и течет вслепую, как у крота в норе. До сих пор это никогда не беспокоило его; он настолько опустился, что всякое представление о том, что можно жить как-то по-другому, давно атрофировалось в нем. Но теперь это другое встало перед ним, ему сделалось вдруг мучительно обидно, и он почувствовал острую зависть к этому юноше, у которого полна смысла и радости каждая минута его существования. Если только этот человек говорил правду, то все, что составляло и заполняло его собственную жизнь, все было бессмысленно, гадко, не стоило ломаного гроша, и он почувствовал, как что-то дрогнуло и ломается в его привычном, тупом душевном равновесии. «А, может быть, врет все-таки? — подумал он с тоской и, сразу обрадовавшись, как за соломинку, ухватился было за эту мысль, обещающую вернуть прежний бездумный покой. — Конечно врет, подлец! И отдаст, и предаст, и отлично будет жить и хапать». Он долго ворочался, стараясь внушить себе это и успокоиться, но ничего не получалось, и он ясно ощущал трещинку, образовавшуюся внутри...

Утром они начали спуск и, выбрав другой, более отлогий склон, прошли совершенно благополучно и даже спокойно почти весь путь, и только, когда до-

рсага уже кончалась и до подножья оставалось всего метров триста, остановились вдруг в недоумении на маленькой открытой площадке. Она обрывалась почти отвесным обледенелым склоном; сойти с нее обычным порядком нечего было и думать. Они осторожно обходя ее со всех сторон, исследуя и примеряясь, нельзя ли прорубить лестницу, или спуститься на веревке. Но веревка была коротка, а лед под снегом необычайно тверд, и топорики отскакивали от него, как от камня, высекая искры. Соблазнившись легким рельефом, они попали в ловушку.

— Ничего не поделаешь, — хмуро сказал наконец, когда все было осмотрено и испробовано, Панько. — Придется ежом спуститься.

— Как это? — не понял Ольхович.

— Ну как? Ляжем с краю, ноги в струну вытянешь, голову чем-нибудь сбмстаешь — и покатишься вниз. А инструмент и породу придется уж бросить. — добавил он злорадно и в то же время ощутив, как что-то выжидательно замирает у него внутри.

— Вы с ума сошли! — вспыхнул Ольхович.

— Ну, вам, как идейному, виднее, — желчно усмехнулся Панько, — мне лично жизнь дороже, во всяком случае. С мешком за спиной, уважаемый, катиться нельзя, хоть там и народная радость. Это руда, а не философские папирусы. Она вам весь позвоночник искромсает.

И в тоне, и в смехе его было что-то очень гнусное, злобное и мелочное. Он сам почувствовал это, на мгновение ему стало стыдно, очень нехорошо, и захотелось подойти к Ольховичу и попросить извинить его. Он уже сделал было шаг и протянул руку, но трещинка внутри у него все росла, что-то говорило ему, что это такая минута, когда на чашку весов брошена, быть может, вся его прошлая жизнь и его будущий покой и благополучие; эгоистическое желание, чтобы Ольхович швырнул сейчас этот мешок с рудой, оказавшись простым болтуном и вернув все в прежнюю привычную колею, взяло в нем верх. Он остановился и опустил руку.

— Нет, породы я не оставаю, — тихо, но твердо сказал Ольхович.

Панько молча отошел, сбросил рюкзак с плеч, переложил, что было можно, в карманы и демонстративно стал проверять и затягивать ремни, готовясь к спуску. На душе у него становилось все хуже и тяжелей.

Ольхович присел рядом и тоже молча стал переключивать руду в мешке, стараясь придать ему плоскую форму.

— Убьетесь, я серьезно говорю! — взглянув на него мельком и поразившись сосредоточенным и строгим выражением его лица, сказал Панько.

— Я тоже не шучу.

Панько пожал плечами и, затянув ремни, подошел и лег на краю обрыва. Ясное сознание, что он делает подлость, оставляя этого неопытного мальчика одного с его пудовым грузом, на какое-то мгновение промелькнуло в его голове; но тотчас же другое чувство, нахлынув, опять смяло это: «А вот теперь и посмотрим, а вот и предашь!» — злорадно и с тоской подумал он и, легко оттолкнувшись одними пальцами, покатился по склону.

Он скатился благополучно, слегка разбив и ободрав только бок, и, вскочив тотчас же на ноги, обернулся быстро и издали, снизу, увидел, как, укрепив мешок с породой в ногах, чтобы не искалечить спину и голову, Ольхович медленно подполз и ложится на краю обрыва.

До самой последней минуты он все еще не верил и надеялся, что тот не решится на это; теперь стало ясно, что надеяться нечего, сердце у него вдруг забилося, во рту стало сухо, он почувствовал, что сейчас случится что-то непоправимое и ужасное и с этим мальчиком, и в собственной его жизни, и, скользя и спотыкаясь, кинулся вперед, замахав рукой и закричав хрипло и с отчаянием:

— Не так, не так!

Но было уже поздно. Ольхович оттолкнулся и покатился вниз. И сейчас же тяжелый мешок перекинул его, ноги оказались сверху, он перевернулся через голову, со страшной быстротой понесся вниз, неуклюже кувьркаясь и колотясь о камни и лед, влетел со всего

размаха в узкую каменную щель внизу и замер там, как-то странно скорчившись, неподвижной и бесформенной массой.

Задыхаясь, Панько подбежал к нему. Он лежал бледный, с искаженным и окровавленным лицом, закусив губу; одна нога у него была неестественно вывернута и обращена пальцами к спине.

— Ну, что? — тихо спросил он, чуть пошевелившись и глухо, сквозь зубы, застонав тотчас же от боли.

— Вы сломали ногу, — не поняв и стараясь не смотреть ему в глаза, ответил Панько.

— Нет, а порода цела?

— Цела, цела, — сказал Панько, ощущая, как его охватывает смешанное чувство жалости и острого, невыносимого стыда.

Ольхович вздохнул облегченно, закрыл глаза и потерял сознание.

Несколько мгновений Панько неподвижно стоял над ним, глядя прямо перед собой остановившимися, невидящими глазами. Лицо у него стало серое, угрюмое, у рта легла горькая складка, на скулах бегали желваки. Неожиданный и острый душевный разлад охватил все его существо. За одну эту страшную минуту, в течение которой, колотясь о камни, летел вниз его юный спутник, рухнул вдруг весь мир представлений, которые скоплялись и вырабатывались в нем десятками лет и приучили его думать, что мелочной и узкий эгоизм есть единственная движущая сила в жизни. Это рухнуло, он почувствовал, что с этим не прожить уже больше ни одного дня, а ничего другого за душой у него не было, и он почти физически ощутил зияющую пустоту, которая перед ним открылась. Ему стало страшно, и мучительно захотелось вдруг вернуть прошедшие так бессмысленно годы и начать жить сызнова, лучше, чище и осмысленно. И тотчас же он подумал, что это уже поздно, пожалуй, раз за плечами пятьдесят лет, давно поседели волосы, начинают слезиться глаза и вспухать вены на ногах, что уже ничего, пожалуй, не изменить, не наверстать и не успеть, — и что-то тоскливо сжалось у него внутри...

Так он постоял с минуту, потом, не спеша, стал опрастывать глубокие карманы куртки и штанов. Он вынул большой и отличный цейсовский бинокль, массивный старинный портсигар с шикростажиями, белый, блестящий бельгийский браунинг с золотой насечкой; эти дорогие и редкие вещи составляли все его ценное имущество, и если бы неделю тому назад кто-нибудь сказал ему, что он откажется от них, чтобы положить взамен несколько кусков породы в карманы, он счел бы, что над ним глумятся. Теперь он без сожаления и равнодушно швырял их в снег, даже не оборачиваясь и не глядя, куда они падают. Он выбросил все, оставив только компас, фляжку с коньяком и маленькую пачку галет, доверху набил все шесть карманов рудой и, подняв и взвалив на плечи Ольховича, медленно двинулся по скользкой тропе. Он шел осторожно, страшно боясь оступиться и уронить свою ношу; с каждой минутой этот мальчик, который вчера еще вызывал в нем только холодную неприязнь, становился все ближе и дороже ему. Он слишком отупел за эти тридцать лет, чтобы понять сразу всю сложную сумму чувств и мыслей, которые владели и двигали этим человеком. Но самый поступок потряс его. Его жизнь тлела, как тлеет костер, в который не положено ничего, что могло бы вызвать настоящее пламя; а теперь это подбросили, и что-то вспыхнуло внутри светлым, ярким, настоящим огнем, и вместе со страхом и ощущением пустоты в нем росло и ширилось стремительно чувство огромной благодарности, точно его подняли внезапно из грязи на сверкающую высоту.

Через полчаса, пройдя метров сто и выбившись из сил, он сделал привал и бережно опустил Ольховича на снег. Тот попрежнему был без сознания, на лице его запеклась кровь, волосы на лбу спутались и лезли в глаза. Панько осторожно откинул их, поправив шлем; лоб под ними был чистый, высокий и какой-то по-детски трогательный. Он нагнулся вдруг и поцеловал этот лоб, испуганно и сконфуженно оглянувшись тотчас же вокруг, как будто кто-то мог быть сви-

детелем этого мгновенно охватившего его чувства в холодной и безмолвной снежной пустыне...

Сам не понимая впоследствии и не помня, как ему удалось это, к утру следующего дня он добрался до бивуака. От усталости и нервного возбуждения его тошнило и шатало из стороны в сторону, ноги подгибались, перед глазами плыли красные круги.

Старый лопарь попрежнему сидел перед палаткой, латая сбрую. На лице его, когда он увидел Панько с его ношей за плечами, отразился суеверный страх, точно за этими безумными людьми шествовал, опускаясь им вслед с недоступных своих высот, сам покарешный их злой горный дух. Он тревожно что-то забормотал и быстро-быстро стал кланяться на восток, стучаясь головой о землю. Панько прикрикнул на него, и, нарубив мягких веток, вдвоем они уложили Ольховича в узенькие оленьи санки. Он стоял, запрокинув голову и торопливо и возбужденно шепча что-то пересохшими губами. У него начинался жар и бред.

Лопарь запряг оленей, крикнул, и райда легко взяла с места. Помахивая длинной лозинкой, он побрел сзади и опять затянул, удивляясь, бесконечную и тоскливую свою песню: «Странные люди! Разве нехватает у них добра и радостей дома, что они идут искать чего-то в снегах на злой горе? Разве есть там хоть кусочек оленьего мяса подо льдом, хоть горсть красных ягод, хоть капля екусной огненной воды? Удивительные люди, глупые люди!»

Панько знал местный язык. Он послушал, и слова эти, которым он столько раз равнодушно внимал, показались вдруг ему недостойными, пошлыми и оскорбительными. Он вспыхнул внезапно и, схватив и сильно трякнув изумленного лопаря за плечо, крикнул:

— Замолчи ты! Что ты понимаешь? Замолчи сейчас же, слышишь?

Едва выбравшись на дорогу, он пустил оленей во весь дух, так что узкие и легкие санки, казалось, отрывались минутами от земли, и позади на целый километр вились тучи снежной пыли. К вечеру, загнав упряжку, он добрался до

города и сдал Ольховича в приемный больничный покой.

Обычно, возвращаясь с разведки, он еще отсиживался, валяясь на кровати, два или три дня дома, чтобы присчитать потом лишние суточные. Но сейчас, впервые, кажется, за все последние годы, ему самому захотелось вдруг поскорее узнать, что таят в себе эти куски мертвого камня, которым набиты его карманы, и, даже не заходя к себе, он побежал в лабораторию...

Была уже ночь, когда, наскоро покончив с анализом, он подходил к больнице. Окна операционной были освещены, он взглянул, и внутри у него что-то мучительно заныло. Дежурный врач пригласил его в кабинет; они поговорили не больше минуты, но, когда он вышел, лицо у него было такое старое, как будто бы за одно это короткое мгновение было прожито и легло на плечи несколько тяжких лет. Сгорбившись вдруг, медленно и тяжело переступая ногами, он прошел в палату.

Ольхович лежал без кровинки в лице, полужакрыв глаза.

— Ну как? — спросил он, еле шевеля пересохшими губами. — Сколько процентов?

— Пятьдесят два, — хрипло ответил Панько и отвернулся, чувствуя, как подкатывает к горлу горячий судорожный ком.

— Счастье! — улыбнулся Ольхович. — Это счастье, Павел Петрович. Ведь там сотни тонн. Эх, встать бы поскорей, надо теперь с запада зайти, там еще богаче будет. Дернуло же меня так неосторожно! До чего нога ноет!

— Это бывает, — растерявшись, глухо сказал Панько.

— Что бывает?

— Да вот, кажется, что болит, а это-го... ну, как бы сказать? Дело в том, что ноги-то у вас уже нет, Андрей Ильич, Андрюша...

Мучительная гримаса исказила лицо Ольховича. Точно собранное мгновенно в один сверкающий фокус, перед мысленным его взором с поразительной отчетливостью встало вдруг и пронеслось в эту короткую ужасную минуту все, что составляло бесхитростную радость лич-

ного его бытия, здорового и молодого человека, и прелесть замечательной, волнующей его работы покорителя неосвоенных просторов природы—работы, к которой никогда уже не придется больше вернуться. Все это уходило и терялось теперь навсегда, и что-то оборвалось и рухнуло вдруг в жизни, которая вчера еще обещала так много прекрасного впереди. Он сделал судорожный глоток, точно ему нехватало вдруг воздуха, и закрыл глаза...

Панько взглянул на него и заплакал. Он понимал, что это нехорошо и надо бы сдержаться, но ничего не мог с собой поделать. Он не плакал уже много лет и давно отвык от душевных переживаний и слез; а теперь они текли сами собой, что-то сжимало его сердце, и непривычное тепло заливало грудь. Ему мучительно жаль было и Ольховича, и себя самого, потому что жизнь прошла бестолково, бессмысленно и нехорошо,

и поздно, слишком поздно пришло теперь впервые это новое сознание и настоящее большое чувство, которое могло бы наполнить жизнь прекрасным смыслом. Он стоял, согрившись, старый, грязный, неряшливый и опустившийся человек, плакал, и слезы текли по дрожащему его, небритому, заросшему неопрятной щетиной подбородку...

— Ну ничего, — бормотал он расстроенно, переминаясь, не зная, куда девать руки, что сделать и сказать, — ничего, как-нибудь! Теперь, знаете, такие протезы делают, лучше, чем на живой ходить... Как-нибудь!

Ольхович лежал бледный и неподвижный, опустив веки. Потом он пошевелился, открыл глаза, точно стряхнув с себя что-то постороннее и ненужное, что овладело на эти минуты сознанием и душой, и, улыбнувшись, сказал:

— Конечно ничего! Пятьдесят два? Все равно — это счастье!

# Морские просторы

Повесть

Н. НИКАНДРОВ

(Окончание <sup>1</sup>)

## XVIII. Щупают

Плавали без конца. Ночевали среди моря на якорю и опять плыли. Потеряли всякое представление о времени.

— Кто знает, какое сегодня число?

— Сегодня?..

И никто из троих не мог ответить на этот вопрос.

— Нам не числа нужны, а рыба, — оправдывал свое незнание Тихоньч.

И ни Гарасим, ни Колька не возражали ему. С ним согласились бы и все остальные рыбаки Каспия, уже охваченные обязательным ежегодным «косячным» настроением.

На Каспии даже детям известно, что, коль скоро «казанская» прошла, рыба сбивается в недрах моря в колоссальные «косяки». Но где они? Как их найти?

Наконец на ост-зюд-остовом горизонте заметили подозрительное кружение взад-вперед на небольшом участке моря множества парусников. Паруса рыбацких лодок на фоне сплошь темного горизонта вдруг на короткий момент вспыхнули, ослепительно забелели, залитые почти отвесными солнечными лучами, случайно прорвавшимися там сквозь тучи, как сквозь потолок.

— Окружают рыбу, — сказал Тихоньч и скомандовал: — Щуп!

Колька вскочил, схватил «щуп», толстый, особым образом оструганный

шест, запустил один его конец — «лопасть» — на полном ходу судна в море, поставил в воде вертикально, а другой конец — рукоятку — сильно прижал к плечу и замер, весь обращенный в слух, как у трубки телефона.

Тихоньч и Гарасим, каждый со своего поста, один от руля, другой от грот-мачты, сосредоточенно следили за Колькой, за выражением его лица.

— Ударила! — воскликнул Колька повеселевшим голосом и продолжал еще крепче прижиматься щекой и ухом к щупу, еще настойчивее вслушиваться. — Еще ударила! — через несколько минут сообщил торжествующе парень, с которого окончательно соскочили и сонливость, и скука, и лень.

— А какая рыба? — спросил дед.

Колька затруднился ответить сразу.

— Сейчас еще послушаю..

Гарасим с раздражением вырвал у него из рук щуп и некоторое время послушал сам.

— Лещ, — сказал он разочарованно, возвращая Кольке щуп. — И ходовой лещ. Не косячный.

— Все равно щупайте, — распорядился Тихоньч, не спуская глаз с далекой флотилии судов. — Щупайте по-сменному.

Колька и Гарасим чередовались. Один щупал, другой лежал на животе на вахте, на самом носу судна, глядел вперед и предупреждал рулевого обо всем, что встречалось на пути.

— По носу балберы! — кричал вахтенный, завидя лежавшие на воде попе-

рек пути судна черные поплавки частиковых сетей. — Чаканы! — возвещал он о плавающих впереди особых, стоячих, букетообразных поплавках из пучков зеленого тростника, принадлежавших исключительно белужным крючкам. — Аханья! С левого борта аханья!

Тихоньч в соответствии с этими сигналами направлял лодку то в одну сторону, в обход чужих снастей, то в другую.

— Щупаешь или спишь? — время от времени проверял он Кольку, когда тот слишком долго молчал, с рукояткой щупа у плеча, навалившись одним боком на борт.

— Щупаю, щупаю! — отзывался Колька и открывал глаза. — Стукнула! — вскоре после проверки объявлял он. — Еще стукнула... Еще... Еще...

— Сколько раз под ряд стучит?

— Три-четыре раза. Потом перерыв. Сажений десять проходим, опять раза три-четыре стучит. Рыба есть!

— Это не рыба, если на десяти саженьях четыре раза стукнет. Когда будет все время барабанить по щупу дробью, когда будет щуп выбивать из рук, когда щуп не протолкнешь в воду, в косячную гущину, — тогда будет рыба. Щупай, щупай еще. Дальше она лучше стучать будет. Держи щуп правильной, лопастью не табань. Так и тебе самому будет легче: ребром навстречу воде.

Колька увлекался. И стоял какой-нибудь солидной рыбине твердым камнем удариться о нижний конец щупа, как он тотчас же начинал волноваться фантазиями охотника.

— Ну, и здорово ударила! Прямо фонарь на щеке набила! Должно, красная рыба, осетр!

— Какая там красная рыба! — смеялся дед. — Сазан.

— Нет, не сазан, — спорил Колька. — Сазан так не ударит. Еще сейчас больно как отдавало в плечо.

— Это и есть хороший сазан. Ты поддержи щуп иголками навстречу воде и, как только рыба ударит, вынь щуп.

Как он сказал, так и вышло. Когда, после очередного стука рыбины, Колька вынул щуп из воды, на нижнем конце его, на нескольких, специально для это-

го остро отточенных длинных пвзвях были наколоты крупные, как серебряные полтинники, рыбы чешуйки.

— Чья это чешуя? — тоном победителя спросил дед.

— Сазанья, — побежденно ответил Колька.

— Вот видишь, — поучал дед. — А ты говоришь, «красная рыба». Красная рыба, та не только щуп, но и посуду близко к себе не подпустит.

— Уж больно твердо ударила. Прямо, как палкой.

— А ты думаешь, сазан мягко бьет? Эта рыба, сколько хитрая, столько же и сильная. Об ней много замечательных историй можно было бы рассказать. Когда ловишь ее распорным неводом, она чуть заметит между клячами щелочку, как сейчас же вся валом валит туда и прорывается наружу. Ты ее бьешь с лодки прямо по лбу шестом, чтобы она поворотила обратно от выхода из невода, а она знает свое, прет вперед, пробивается только к той щелочке. А попадетса в мало-мальски подержанную сетку, рвет ячею и уходит. Поэтому наш ловец избегает ее ловить, если не надеется на свою дель.

— Колька, — говорил Гарасим, когда у него были обе руки заняты щупом, — скрути папироску, закури и дай мне.

Колька вертел из газетной бумажки «собачью ножку», насыпал в нее махорки, закуривал, несколько раз жадно затягивался сам, потом совал папироску мокрым концом в рот Гарасима.

Курили очень много. Фунтовой нормы махорки на месяц конечно никому нехватало. Приходилось пускаться на всевозможные уловки, чтобы добывать дополнительную порцию, — за рыбу, за деньги, за что угодно. Временное отсутствие сетку, из-за штормов нарушающих транспорт, обыкновенно переносится морскими рыбаками легче, чем нехватка махорки.

Судно заметно приближалось к «базару» ловецких посуд. Насколько позволяло направление ветра, дед держал к ним уже напрямик. Ни на секунду не спускал с них своих наблюдающих глаз. Вдруг — пока он успел зажечь спичку,

чтобы закурить, — все паруса, все их множество, бесследно исчезли. Дед увидел перед собой только чистое зеленое море да белые волны на нем. И больше ни соринки. Казалось, огромная флотилия парусников, вмещающая в себя несколько рыбацких колхозов, в секунду была поглощена какой-нибудь одной гигантской волной. Хотя бы где-нибудь уцелел самый плохонький, самый маленький парусок, — нигде ни одного.

Дед поднялся у руля на ноги, уставил глаза вперед и только тогда стал замечать, как в том месте, где были паруса, на момент выскакивали из-за гребней волн и снова прятались за ними человеческие головы, плечи, вздернутые носы лодок...

— Грохнули паруса! — изменившимся голосом объявил он. — Громят воблу!

И внешний облик деда тоже изменился. Как будто он сбросил с себя несколько десятков годков. В осанке появились скрытые до тех пор нетерпеливость, азарт, нежелание считаться ни с чем, молодой задор, жажда схватки, борьбы, победы, в крайнем случае — хотя бы скандала. В руках зашевелилась такая сила, что рукоятка руля, зажата в ладони, при желании в любой момент могла бы быть превращена в порошок. Громадная зеленая бородаща, в большей своей части обычно спрятанная, теперь целиком вылезла из ватного тряпья наружу, как будто именно ей и предстояло сейчас действовать.

Если так заволновался дед, то тем более загорячились оба его товарища. Гарасим выплюнул за борт только-что сделанную драгоценную папиросу; у Кольки перекосило на сторону лицо, так что одно ухо долгое время сидело у него значительно выше другого...

— Добились-таки рыбы! — лихорадочным голосом произнес он, и это прозвучало у него, как «слава тебе господи!»

— Еще не «добились»! — оборвал его дед резко. — Когда получишь квитанцию за сданную рыбу, тогда сможешь сказать, что «добились»!

— И правда! — поддержал деда Гарасим энергично. — Вот из-за таких-то рыба и уходит из самых рук!

Продолжали плыть и щупать.

— Ну, как? — помолодевший, похорошевший, спрашивал дед, хотя по выражению лиц Кольки и Гарасима прекрасно мог читать, как обстоят у них дела. — Стучит?

— Стучит! — восторженно отвечал Колька, прижавшись одной щекой к щупу. — Просто ужас как стучит! Стучит и стучит! Беспрерывно стучит! Идем по сплошной рыбе! И крупная же, сволочь!

— Может, начнем громить? — неуверенно спросил Гарасим.

— Ни в каком случае, — твердо предостерег его дед. — Надо раньше узнать, в каком конце косяк гуще. Почему-то посуды сбились именно в том конце, значит, там косяк толще.

Он сам взял в руки щуп, чего обычно не делал, а за себя на руль посадил Гарасима.

— Ну, как? — спрашивали то Колька, то Гарасим и следили за ним.

Но он молчал. И как-то важно, надутым молчал. Потому что зачем ему было им отвечать? Не советоваться же ему с ними, не обсуждать же сообща какой-нибудь «вопрос», не митинговать. Тут море. И он тут полный хозяин. Все равно, как он скажет, так и будет. Где укажет, там и начнут ловить. Тут-то он в силе ни с кем не разговаривать. Это не контора с надписью: «без доклада не входит». Сюда, наоборот, он всех приглашает входить без доклада, всех, всех, — померяться с ним.

И в голосе старика впервые зазвучала чисто военная, безапелляционная власть; в действиях засквозила нарочитая подчеркнутость, что тут только один он настоящий мастер, владеющий максимальным искусством то или иное выполнить. Все остальные должны слушаться его, учиться у него.

Чтобы немедленно показать им свое превосходство и щегольнуть перед ними своим умением, он, прежде чем сдать им щуп, повернул его в воде известным ему образом, немного подержал, вытащил на воздух и, передавая Кольке, с гордым видом сказал, — и тоже не просто, а по-военному:

— Принимай щуп!

Колька схватил было шест, но не мог, как дед, удержать его в руках за один конец: на каждом отточенном гвозде было наштыковано по живой вобле, а на одном корчилась даже пара.

— Гарасим, помоги Кольке.

Пятидесятилетний Гарасим, как мальчик, быстро кинулся исполнять приказание деда. Но и его помощи оказалось едва-едва достаточно, чтобы удержать щуп за рукоятку, как держал дед. Таким образом, старик уже на этом пустяке продемонстрировал им, на чьей стороне и тонкие знания, и грубая сила. При желании он мог бы еще посмеяться, позимываться над обоими...

— Неужели еще щупать? — почти с плачем спросил Колька в ответ на приказание деда продолжал разведку. — Ловить здесь, и больше ничего! — капризничал он.

Тихоныч засмеялся.

— А как ты будешь ее ловить, если она стоит сейчас на месте? Она стоит, и сетки твои тоже будут стоять среди нее, все время порожние.

— А почему же люди там ловят? — указал Колька на то место, к которому они подплыли и где уже хорошо были видны суетящиеся в толчее лодки, люди.

— Мне не интересно, что делают люди, — кокетничал своей уверенностью дед. — Я только знаю, что я должен делать. Люди, может, сбрасывают с себя штаны и начнут нырять в море за воблой. А я пока еще в своем уме. А говоришь, Колька, что ты в море много ловил. Если ты так ловил, то не знаю, не знаю... с кем это ты ловил.

Гарасим вскочил на ноги и расширенными глазами уставился вперед.

— Уже приемки показались!

И Тихоныч, и Колька тоже взглянули туда.

По морю неслись полным ходом, одно за другим, прямо к «базару» рыбацких лодок, как бы с целью атаковать их на воде, громадные парусо-моторные суда, государственные «приемки», принимающие у рыбаков, колхозников и единоличников живую рыбу по весу, под установленные квитанции. Все приемные суда плавали с отличительным знаком — особым красным флагом на верхушке

коренной мачты. Рыбацкие лодки в свою очередь «семафорили» приемкам, что у них есть для сдачи государству живье: вывешивали на шестах пальто, одеяло и другое тряпье.

— Уже семафорят! — взвыл с завистью Колька. — Уже сдают.

— Пускай семафорят, — уничтожал его своим спокойствием Тихоныч. — Пускай сдают.

Он с жадностью докурил папиросу, швырнул окурок за борт, вскочил и во второй раз сам схватил щуп.

— Взяла ход, — сказал он, вслушиваясь в непрерывную дробь ударов под едой по лопасти щупа. — Ложи право руля, вернемся назад и пройдем еще раз по тому месту, по которому только что шли! — скомандовал он Гарасиму, заменявшему его на руле.

Судно, качаясь и так, и этак на волнах, — и с боку на бок, и с носа на корму, — прочертило на воде полный круг и уже было наладилось итти опять по прямой, когда дед снова скомандовал рулевому, чтобы тот описал на месте еще один круг. Так, делая круги и прощупывая густоту косяка, судно подошло наконец к самому месту лова. Впереди, позади, влево, вправо — везде уже плескались на волнах цепочки черных мокрых поплавок, — балбер.

— Вон, видишь, сколько тут выбито порядков, — сказал дед, ловко лавируя своим судном среди лабиринта поплавков.

— Выбьешь свои сетки, да на чужие. Имейте в виду, что половину этих сеток течением и волной закружит в жгуты, в которые даже малька не попадет. Если будем так горячиться, то останемся не только без рыбы, но и без сетей, за которые придется отвечать перед колхозом. Где же ты, Колька, когда и какую рыбу ловил? Наверное арбузы на бахчах ты ловил да чилим по ильменям...

**ХІХ. Громка воблы. Пловучий город на момент, — с торговлей, промышленностью, советскими учреждениями, — и аэроплан нам ним**

— Здорово, Тихоныч! С приездом! — весело приветствовал звено деда Хрущов с борта пролетевшего мимо при-

емочного моторного судна, прикрепленного, по договору, к колхозу «Луч Октября». — Почему запоздал? — продолжал он весело кричать уже через рупор, стоя на корме и быстро уплывая в самую тесноту лодок.

И потом еще не раз проносился мимо них мотор с Хрущовым, раздавался то там, то здесь его счастливый, по-праздничному возбужденный, сыплющий шутки голос.

— Товарищи!.. Не забывайте, что по зюд-зюд-осту отсюда стоит на мертвом якоре шаланда № 31!.. Там для вас круглыми сутками топится баня!.. Круглыми сутками работают печи хлебопекарни!.. Круглыми сутками открыт прием всякого рода корреспонденции — особенно денежной — в почтовой конторе с радиотелеграфом!.. Бесплатная медицинская помощь! Лечиться от косячной горячки!.. Зубоврачебный кабинет!.. Рвать зубы у кого есть лишние, против нормы!.. Справочное бюро по выигрышным облигациям госзаймов, а то, может, кто из вас уже давно выиграл 200 тысяч, да по малолетству не знает!.. Библиотека-читальня, ликбез!.. Литературно-творческая консультация, вроде скорой помощи для начинающих Пушкиных и Толстых!.. Известь для дубки сетей!.. Купорос от «стоноги»!.. Смола!.. Дрова, керосин, табачок!.. Постное масло, пшено, лапша, сахар!.. Зубной порошок, пудра, краска для губ!..

Вслед за ним, в таком же приподнятом настроении, носился в толчее лодок, среди плавающих на воде сетей, поплавок, вех и флажков, другой мотор, с известной всем небольшой фигуркой Борьки-пионера на борту. С двумя такими же, как он, помощниками, на полном ходу своего каркасика, он ловко забрасывал на все рыбацкие суда комплекты подобранной литературы. Рыбаки всюду приветствовали его появление шумными возгласами.

— Свежие номера газет, местных и столичных!.. — восхищенно выкрикивал Борька звонким, мальчишеским голосом. — Журнал «Безбожник» с раскрашенными картинками!.. Последняя речь

товарища Сталина отдельной книжкой!..

— Боря! Даешь речь Сталина!

— Боря! Давай и сюда!

— Боря! На наше звено еще ничего не давал!

— Боря! Давай газеты, которые покрупнее, в которых бумаги побольше, маленького формата на нашу бригаду не давай, не хотят!

— А-а, вам курить?! Если на курево, тогда никаких вам не дам!!!

Благодаря радиопередаче местонахождение в море крупного косяка воблы стало известно всем, и к месту «громки» весь день и всю ночь прибывали и прибывали суда. Быстроходные моторные «приемки» тащили за собой на буксире из-за всех горизонтов целые гирлянды рыбацких парусников, которые иначе никак не смогли бы успеть к косяку из-за неподходящего направления ветра. А с вечера, когда ветер окончательно залег и когда движение по морю стало возможным только моторным судам, ловецкие лодки приплывали исключительно на буксирах и у госрыбтрестовских моторов, и у НКПСовских катеров, и у охранно-вкоровских баркасов, и даже у товаро-пассажирских пароходов, которым было по пути. Приплывали — с песнями, с шумными криками — целыми семьями, целыми рыбацкими колхозами. И у всех были такие лица, как будто подошло еще одно подкрепление к действующей армии, прибыли и высаживались на-ходу еще один смелый партизанский десант... Опоздавшие, не желая оставаться за чертой косяка, как имеющие одинаковые со всеми права на рыбу, не обращали внимания абсолютно ни на что и ни на кого, ломались вперед, вознамерившись новым и новым клином в тесную группу лодок, уже разместившихся было на ночь, и вызывали с их стороны бури негодований, протестов, жалоб, угроз. Но никакие слова ни на кого тут не действовали. Каждое судно думало лишь об одном: как бы поскорее «выбить» на якорь свои сетки, высыпать на воду свои балберы и тем закрепить за собой место в море. Так рискующие решительно всем, в том числе собственными жизнями, золотоискатели, в глу-

хой тайге, торопятся захватить в свои руки участок породы с обнаруженным золотом. И порядки «выбивали» повсюду: и параллельно соседскому, и под углом к нему, и поперек него. Чужую линию поплавок без смущения перекрещивали своей. Или свою сетяную стену протягивали через многие другие, поступая с ними так, как будто их вовсе тут не существовало. Лишь бы как-нибудь проткнуться к счастливому участку моря, лишь бы наконец прикоснуться к косячной рыбе.

За чисто ловецкими, приемочными, засолочными и прочими рыбодобывающими и рыбообрабатывающими судами следовали по пятам и пловучие универмаги астраханского рыбпотребсоюза со всеми товарами, и агитпароход с бригадой политических работников, и культпароход с драматической труппой, кинопередвижкой, хором баянистов, оркестром Налбандова, и пароходик с пловучей редакцией и типографией печатающейся в море путинной газеты «Ударный лов», дающей ежедневные отчеты о результатах соцсоревнования как между ловцами, так и между приемочными судами, одинаково яростно борющимися за переходящее красное знамя. То там, то здесь, победоносно, хотя и тоненько, вскрикивали свистки «Опыта» и «Почина», совсем игрушечных пароходиков Астраханской научной рыбохозяйственной станции, с плавающими на них партиями студентов и профессоров астраханского рыбного техникума и московского рыбного вуза.

Ни на секунду не переставая, назойливо шумел у всех в ушах, низко парящий над флотилиями лодок, госрыбтрестовский разведочный аэроплан, на обязанности которого было не упускать из виду захваченный врасплох косяк и преследовать его всюду, куда бы он ни двинулся с этого места.

Границы остановившегося среди моря массива воблы были точно определены, измерены, взвешены. И над косяком рыбы, этажом выше нее, на поверхности моря, расположился такой же густой косяк рыбаков на своих «посудах» всевозможных наименований, — бударки, подчалки, реюшки, баграуши, распоры,

подбегные, рыбницы, стойки, фырки, сейнера, дрефтера... Особо выделялись своим веселым, бодрым людским составом и хорошим снаряжением суда калмыцких рыбколхозов, «прибывавшие» из Калмобласти, и киргизских — из-под Гурьева.

Воблы под тонким слоем воды сбилось так много, что высыпаемые в море сети не тонули, а рыхлым ажурным покрывалом ложились на черные от жира спины рыб. И лодок над этой рыбой сгрудилось тоже такое множество, что, если посмотреть сбоку, за ними не было воды, — только лодки, лодки и лодки, как в какой-нибудь Генуэзской гавани. И люди шагали на воде, — по своим и чужим лодкам, — как по суше.

Среди открытого моря, без всяких признаков берега, на бесконечной, голой, однообразно-унылой водяной пустыне, землито-серой, с жиденькой прозеленью, вдруг, по мановению волшебного жезла, возник большой, культурный, пловучий город, с густо заселенными лодками и пароходами вместо домов. С электрическим освещением, с советскими организациями и учреждениями, с наукой, искусством, литературой и со всем прочим, связанным воедино крепкой организацией астрыбакколхозцентра.

О ночном сне тут конечно не помышлял ни один человек. И жизнь в пловучем городке буйно кипела, как в Париже, всю ночь. Едва «выдрав» из воды сетки, люди торопились выпутать из них рыбу и снова «выбить» их в море, пока они, мокрые, не успевали смерзаться на морозе.

Воблы набивалось в сетки такое количество, что не выдерживала никакая дель, и бывали случаи, когда в руках ловцов оставались одни «подборы», а самая сеть, сплошь зашипованная воблой, отрывалась и вместе с живой рыбой уходила, — тут же, на месте, писались акты об обстоятельствах, при которых погибало колхозное рыболовецкое имущество.

Сети двух или нескольких разных хозяев, спутавшиеся балберами или ташами, попросту кромсались ножами: рыба ценилась дороже сетей. И странно сверкали над водой большие, широкие,

остро отточенные ножи в дрожащих руках ловцов, с одинаково хищным видом поровших как свои, так и чужие сети.

За ночь были отмечены две катастрофы с человеческими жертвами, и в обеих была наказана ужасающая жадность ловцов: два судна, перегруженные со своих сетей рыбой сверх всякой нормы, на глазах у людей пошли ко дну. Все видели гибель рыбаков, слышали их крики, но заняться их спасением было некому, вернее некогда, так как косяк в любую секунду мог уйти и уже не даваться в руки ловцов вплоть до будущей осени. На первом судне погиб, оставленный без помощи, старик, инвалид, на одной, деревянной ноге; на втором — подросток лет пятнадцати, сын глухонемого рыбака, спасшегося чудом, быть может, даже ценой гибели сына, что еще не было окончательно установлено людской молвой.

Большие государственные приемочные парусо-моторные суда были охвачены общим ажиотажем и уходили с места тоже сильно перегруженными. Люди забыли буквально обо всем, знали только гигант-косяк, на спине которого суетливо копошились, с сетями, с ножами, как сказочные карлики на спине Гулливера. И ни с усталостью, ни с голодом, ни с холодом, ни с мокротой не считались. Просто ничего этого не замечали ослепшие ко всему, кроме нагружаемой рыбы.

Зато много курили. И как курили! С какой жадностью! С какой страстью! С каким счастьем!

Нигде в мире махорка не играет такой спасительной роли, как на Каспии, в пугину, в среде рыбаков. Недаром в это время за махорку тут способны отдать все.

## XX. Небывалый случай

Погоды забрасывали Тихоныча в течение его долголетней работы на море решительно во все концы Каспия, и у него непрерывно росло число знакомых рыбаков и из других ловецких колхозов. Поэтому старика нисколько не удивляло, если иной раз в море с проплывавших мимо судов его вдруг приветствовали и даже окликали по имени.

— Эй, вы, кукшинцы, с опозданием вас! — услышал он веселое и не ко времени шутовское восклицание, когда его суденышко продиралось среди массы других вглубь площади косяка.

Тихоныч поднял голову и увидел перед собой, на соседнем судне, совершенно незнакомого ему рыбака, тоже старика и тоже рулевого «кормщика».

— А ты почему знаешь, что мы из Кукши?

— По мачтам. У вас, в вашем районе, немного не так ставят на судах мачты...

И он, опять-таки не ко времени, слишком подробно стал распространяться о том, в каком районе Каспия как ставят на судах мачты...

— Ну, вот что, болтать много нам сейчас некогда, — наконец оборвал он сам себя. — Говори прямо, сетки свои еще не выбивал?

— Нет. Где там? Какие сетки? Только-только паруса уронили.

Веселый старик обрадовался:

— Не выбивали? И не надо. Получайте от меня готовую рыбу. Добирайте вот с этой переборки остатки. Тут налить рыбой вашу посуду вполне хватит.

Звено Тихоныча конечно жадно ухватило за предложение незнакомого старика и круто повернуло свою посуду к нему. По пути пришлось переплывать через «порядок».

— А вы отчего не добираете всего? — спросил Тихоныч, глядя в воду, на странно-неподвижные, грузно-затопленные балберы «порядка».

— Мы уже налились доотказа, больше нам не осилить, а рыбы на порядке еще много.

— Вот спасибо, — сказал Колька и быстро схватился наряжаться в непромокайку для предстоящей работы по выдирке из моря чужих сеток с рыбой.

Гарасим тоже заторопился, никак не попадал руками в рукава, оторвал у ворота пуговицу...

— А почему вы не придете сюда еще раз, когда сдадите эту рыбу? — продолжал недоумевать Тихоныч.

— В том-то и дело, что сдавать некому. Приемок нету, вот горе. Хоть выбрасывай рыбу обратно в море. Есть,

которые побросали. Ну, куда с ней деваться, с таким огромным количеством: одна хорошая волна — и пойдешь ко дну. Спасибо, хоть мороз держится: вобла может лежать, не завоняется...

— А где же приемки?

— Сейчас последняя ушла с полным грузом. Ожидай, когда вернутся: до промыслов ведь отсюда далеко, закроя два-три будет. Да там простоят в очереди, пока разгрузятся: то рабочих нет, то тары нет, то соли нехватило...

— А куда же вы с этой денетесь?

— Рассчитываем добраться ночью буксиром до 31-й шаланды. Там и сдадим ее. Поутру все равно всем придется бежать отсюда в новые места: эта рыба ждать нас не будет. Она и так что-то долго тут задержалась. Вот-вот покажет нам хвост. А мы-то тут на ней уже чуть фабрики не строим... Такой подняли гром. Одни сейнера как ее пугают, со своими машинами, моторами, лебедками, цепями, якорями. На другом броненосце меньше шума, чем на них. Не только рыба, сам убежал бы от них, от ихнего грохота.

Три пары сильных, соскучившихся по работе рук энергично взялись за дело. Выдирали из воды чужие сетки, выпутывали из ячеи рыбу, наливали ею все смещения своего судна.

— Как густо забиты сетки рыбой! — радовался Колька, с трудом вынимая сетку кусок за куском из моря.

— Да, — сказал Гарасим и разорвал ячею, чтобы не тратить драгоценное время на выпутыванье воблы. — Вот нашпиговалась! Почти-что в каждой ячее по рыбе!

— Давно ее тут громите? — беседовал за работой Тихонич со стариком, стоящим на якоре, в ожидании обещанного буксира.

— Настоящая громка началась со вчерашнего вечера. Но и позавчера тут тоже брали пудов по 100 с переборки.

— А хорошая вобла, крупная, — немного погодя, сказал Тихонич, извлекая из воды нежное плетение сетки, сплошь утыканное во всех направлениях рыбинами, как колючками.

— Да, вобла ноне крупная, — похвалил рыбу незнакомый старик. — Из годов крупная.

Старики разговорились.

— А сами чьи будете? — спросил Тихонич.

— Рышковские. Из колхоза «Заря Октября».

— Ого! Вон откелева залетели!

— Да. Залетишь.

— А где в ту пятидневку лежали?

«Лежали» на рыбацко-каспийском наречии означает: ночевали на якоре с выбитыми в море сетями.

— В ту неделю? Лежали и на ост-зюд-остовом осередке и немного мористее.

— Ну, а как там рыба?

— Вперед была. Хоть и не так много, как тут, но все же была. Потом ушла. Рыба была — ловца не было. Ловец пришел — рыба ушла.

— Это всегда так. А как вы наскочили на этот косяк?

— Воспользовались слухами, полученными другими на 29-й шаланде. А туда приходят сведения со всего Каспия по радио, такая ежедневная сводка, где сколько показалось рыбы.

Нос лодки рышковского колхозника привязался к каравану других, таких же перегруженных рыбой, лодок: к ее корме сейчас же прицепилась носом еще одна; к корме той — еще... И все они, буксируемые насвистывающим далеко впереди пароходиком, вытянулись в тугую ровную линию, вот-вот готовую перерваться, и двинулись в далекий путь. Остальные, которым отказали в буксире, некоторое время плыли за ними и продолжали просить взять их с собой.

— А сбрую тебе куда вернуть? — вспомнив про чужие сетки, озабоченно спохватился Тихонич, встал на ноги и прокричал вслед рышковскому колхознику.

— Никуда не надо! — сложив кисти рук рупором, отвечал тот таким же криком с кормы своего уплывшего судна. — Эти сетки не наши, нам самим их дали люди, которые сняли с них два полных груза рыбы, а больше поднять не могли!

— Куда же их девать, такую тяжесть?

— Бросьте в море!

Таким образом, звено Тихоныча, не замочив ни одной своей сетки, налил рыбой один раз и сдало груз приемочному судну, прождав его всю ночь. Потом, на том же «бесхозяйственном» порядке, нагрузилось во второй раз и уже утром опять сдало груз государству. Руки дрожали даже у Тихоныча, привыкшего к подаркам моря, когда он во второй раз брал у приемщика сдачную квитанцию с проставленной на ней кругленькой цифрой.

За работой провозились всю ночь и не заметили, как на поверхности всей восточной половины моря вдруг вспыхнули и замигали, как звезды на ночном небе, холодные, зимние, медно-желтые солнечные блики.

Готовились с таким же пылом работать еще день и еще ночь, сколько понадобилось бы, когда стоянку судов вдруг облетело уничтожающее известие: косяк ушел! Весь ушел! Полностью ушел, не оставил на месте ни одной рыбки.

Гулливер, когда ему пришло время, естал и отправился, неизвестно куда, неизвестно зачем, в точности неизвестно даже, когда, потому что кто говорил — в таком-то часу, кто — в другом.

Гулливер ушел. Карлики остались. К ним не переставали приплывать со всех концов моря хорошо вооруженные свежие подкрепления, не подозревавшие, какое ожидало их разочарование. Один карлик убивался больше всех. Горестно и растерянно кружил он в воздухе на гидроплане, все над тем золотым местом, где час тому назад лежал на отдыхе безоружный Гулливер. И долго и тщето смотрелся он на-лету в опустевшую воду, снижаясь к самой ее поверхности, с рыдающим и отчаянным воем, как бы с плачем о потерянном рае, как чайка, нечанно обронившая из клюва обратно в море хорошую добычу.

В момент на великом множестве матч всполыхнулись вверх и расправились в ясном утреннем воздухе громадные белые паруса, — по паре на каждом судне, — и соединенная рыбацкая флоти-

лия, смесь из разных колхозов, вся разлетелась, как от взрыва, в разные стороны. Помчались, накренысь под надувными парусами, кто куда, — догонять ускользнувшую из рук рыбу.

Шумного пловучего городка, с густым населением в лодках вместо домов и со всеми новейшими советскими учреждениями, — как не бывало. На его месте осталась прежняя, голая, унылая, совершенно нежилая, даже без единой чайки, водяная пустыня, — чайки, и те улетели после ухода косяка.

Звено Тихоныча, подобно остальным судам, принимавшим участие в ночной громке воблы, весь день носились по морю под парусами, со щупом, не вынимаемым из воды. И — безрезультатно.

А вечером, выбросив два якоря и поставив судно на ночевку в новой неведомой точке открытого моря, Тихоныч, Гарасим и Колька, несмотря на усталость после ударной работы на косяке, долгое время не спали. В каютке, при свете керосиновой лампочки, разутые, раздетые, они сидели по-турецки на своих койках, каждый перед кучкой мелких денег, и много раз пересчитывали сдачу, полученную при покупках на косяке в пловучих лавках рыбпотребсоюза. И все им казалось, что их обсчитали.

— С тебя сколько взяли за постное масло? А за спички? — уже в который раз переспрашивали они друг друга.

Потом делали в уме все четыре арифметических действия, каждый сообразно своему уменью.

— Почему же мне сдали, грабители, всего рубль восемьдесят две копейки?! — следовало затем возмущенное восклицание одного.

— А куда же девались мои еще два с полтиной?! — бил себя по лбу другой.

— Давайте подсчитаем снова все расходы, только в другом порядке, — не уставал предлагать одно и то же третий. — Ну, считайте. Начнем с махорки. Махорки... на месяц... восемь осьмушек... по двенадцать с половиной копеек осьмушка... Всего один рубль денег... Теперь дальше...

От перевозбуждения и с непривычки к умственному труду щеки у всех горят, глаза блестят. Мысль путается, обрывается, то и дело возвращается назад... Беспереывные, как на больничных койках, тяжелые вздохи-выдохи...

— Ффуу... Ну, давайте сосчитаем еще разок с начала... Только теперь с крупы... С крупы еще ни разу не начинали... Со всего начинали, а с нее — нет...

## XXI. Моряцкие разговоры

Уже по всему Каспию шли лихорадочные поиски косяков. Искали их отдельные ловецкие лодки, искали целые рыбацкие колхозы: искали рыбохозяйственные учреждения, научные организации...

И на каждом рыбацком судне, как в маленьком пловучем сумасшедшем доме, одержимом одной общей для всех манией, могли говорить и слушать только о косяках и о том, что имело какое-нибудь отношение к ним.

— Косячная рыба, она щекотливая... — неудержимо рассуждал и рассуждал Тихоньч, раскидисто развалиясь на своем несменяемом посту, на корме, и нащупывая во внутреннем боковом кармане кучу свежих, веселящих его сознание сдаточных квитанций, в то время как его черное литое суденышко, порожнячком, с сетями, всегда готовыми для внезапного лова, несло и несло по широкому морскому простору, в неутомимой погоне за новой порцией манящего рыбацкого счастья.

— Дед, а косяк нельзя распугать нашими посудами? — спросил Колька со своей вахты.

— Распугать? — улыбнулся Тихоньч, радуясь, что заговорили опять о косяках. — Нет. Распугать косяк посудами нельзя. Косяк уходит с места и избирает в море маршрут по своей воле и по своим собственным причинам. Если залезть в самую серединку косяка и разбить его на куски, то рыба все равно опять собьется в одну массу. Косячная рыба — как вода в море. Воду в море, сколько ни перегораживай на отдельные

участки, она все равно опять сольется вместе, как только уберешь перегородки. Но косяк косяку рознь, что тоже надо хорошо помнить. Один косяк легко vybrать полностью, лишь бы тары и переезочных средств хватило, а от другого и кусочка не отобьешь: весь проскользнет мимо рук и, кого хочешь, оставит дураком. Много зависит от того, какая рыба в косяке. Взять например сазана. На что он с холодами дуреет, но его и в косяке трудно взять. Иной раз залезешь в самый косяк сазана, как мышшь в мешок с крупой. Вода кругом прямо кипит от рыбы. Рыба радуется, веселится, играет, одна за другой выскакивает из воды прямым золотым столбом на воздух: огромная площадь моря, в несколько квадратных верст, вся, куда ни посмотришь, утыкана этими вспыхивающими и потухающими золотыми свечечками. Ну, думаешь, вот сейчас без хлопот накидаю рыбы полное судно, жаль только, судно маленькое. А станешь ловить, и одной рыбы на котел не поймаешь, — можно утопиться с досады. Вот что такое косяки. И вот что такое косяк сазана. Совсем другое можно сказать про косяк другой рыбы, например, воблы...

— Дед, значит, сазан ходит только с сазаном?

— А с кем же ему ходить? Не с тобой же! И не со мной. Хотя, правда, косяки встречаются в море разные. И такие, и такие. И одной породы, допустим, одна вобла, и всяких пород, разная смесь, «не разбери господи». Только крупная держится с крупной, отбивает прочь от себя мелкую, вроде советится с ней знаться, задирает нос, — как у людей. И та идет в море своим собственным косячком, благо в море места много, но все-таки, как более пугливая, она норовит итти обязательно рядом с крупной. И при встрече в море с морским хищником, как молния, кидается в косяк крупной, вроде прячется в ней, заставляет ее воевать за себя. А так как она по малолетству пугается большею частью зря, по пустякам, то крупная видит в ней только лишнее беспокойство для себя и иной раз сама, не хуже хищника, так пустится в море за

ней, такую ей задаст гонку, что та не знает, куда деваться.

— Дед, ну, а большие бывают косяки? — после некоторого раздумья спросил Колька, с громаднейшей алчностью в глазах и губах.

Дед тоже крикнул от переполнявшего его чувства.

— А то маленькие? — улыбнулся он. — Понятно, большие. В десятки квадратных километров. Войдешь в середину такого косяка и стоишь в нем, как в раю. Не хочется уходить! И, если не сазан, то не ловишь, вроде черпаешь из моря рыбу к себе в судно, — зюзгой или коплером. Сколько судно в состоянии поднять, столько и берешь. Если такой косяк поднять на борт целиком, он покроет десятилетний наш промфинплан. Раз поймал, и десять лет отдыхай, только поедай, что поймал, да и то не поешь всего, много еще останется, придется в третью пятилетку доедать.

— Неужели? — воскликнул Колька и разинул рот.

— Вот тебе и «неужели». Ведь рыба идет в косяке таким плотным массивом от дна моря до самой поверхности, что в ней совсем нет воды, она идет там вся сухонькая, как вот эта ладонь. Вот и попробуй вычерпать ее всю, до дна. Дольку в сто тысяч пудов вынешь из такого косяка, а ему даже не чувствительно, даже ямочки на том месте не получится, потому что туда сейчас же нальется другая рыба. Это как в наших каспийских заповедных водах или в запретных ямах. Там воду не проткнуть с лодки веслом, до такой степени она твердая от рыбы, — что твой камень. Думаешь, на скалу наехал, а это ты на сплошной рыбе сидишь. Шест, воткнутый с лодки в море, стоит в рыбе так прочно, как вбитый в землю кол. Ткнешь с лодки в море вилами, — на каждом штыке вил, как на вертеле, столько наколото живых рыбин, сколько позволяет длина штыка. Другая, может, тоже рада бы наколоться, да для нее на штыке уже нет места.

— Вот бы нам сегодня наскочить на такой косячок! — воскликнул Колька и заржал от восторга.

— Сегодня? Сегодня, сейчас, когда дует низовка, вообще очень трудно найти косяк, потому что низовая вода покрывает все осередки, и рыба разбрасывается по всем мелям, во всю ширину моря. Найди-ка ее. А когда ветер потянет сверху, норд-вест, тогда вода обратно уходит вниз, опять открывает мельки, рыба кучнеет и ходит больше бороздинами, которые известны нам наперечет. Но другая бороздина сама не меньше моря, так что и по бороздинам тоже не так-то легко ее найти.

— А разве еще не узнано и не записано, каких больше трактов придерживаются в море косяки?

— Пойди. Попробуй. Узнай. Запиши. Приезжали даже из Москвы и из-за границы, которые хотели узнать и записать. Думали, это легко. Предлагали большие деньги. И наша астраханская научная рыбохозяйственная станция, имеющая свои пароходы, свои сети, своих специалистов-профессоров, тоже годами бьется над этим вопросом и до сих пор все равно по-настоящему ничего не знает, у нас спрашивает. Одна селедка, и та уже вогнала их в чахотку, не говоря уже о прочей, более беспутевой рыбе. Каждый год так: ждут ее хода здесь, выезжают навстречу целой экспедицией, со всем начальством, а она возьмет и пройдет в другом месте. А то раз, помню, тоже вот как сейчас, после верхнего подула моряна. Мартын с утра весь сидел на меляках, — значит, рыбы в море нет, и мы не беспокоимся. Потом, около полдня, мартын сел на глубевую воду. Ну, думаем, рыба в море показалась. Плаваем-плаваем, щупаем-щупаем, — нигде ничего нет. Хотя бы одна малявка стукнула в щуп, — ни одной. Смотрим: у мартына рыба есть, у тюленя есть, у всех есть, только у нас у одних нету, как будто мы дурее всех. Что делать? Среди нас был один очень горячий ловец, так тот думал, что получит разрыв сердца. Знаю, говорит, что рыба тут, а ее, проклятой, нету. Чувствую, говорит, что сейчас сердце мое разорвется вдребезги. Просто из себя выходит человек. Или, говорит, сошла с ума рыба; или, говорит, рехнул-

ся я. И все равно, говорит, знаю, что при таком случае мне не выжить, прощай, белый свет! А с нами плавал на судне один парнишка, просто сиротка, так лет двенадцати мальчишка. вроде глупой, из сожаления взяли, пускай, думаем, хотя четверть пая себе заработает, а то у парня рубашку нечем сменить, прошивел весь. Он сидит на носу судна, свесил шивую голову с борта, глядит в воду и все треплет, все треплет что-нибудь языком. Слышим его голос, как он там сам с собой болтает: «А рыбы-то, а рыбы-то под нами, прямо черно». Мы конечно пропускаем его слова мимо ушей. Мало ли чего глупой не наболтает?! А потом случайно смотрим за борт, — и правда, плывем по самой по рыбе. Валом валит рыба под нами, а щуп... обходит! Вся обходит, каждая рыбка обходит, как будто на нашем щупе написано, что это щуп! И быстро идет, а не натолкнется на щуп. Хотя бы одна, какая-нибудь слепая, взяла да и напоролась на него, — так нет, с такой аккуратностью обходит щуп, как будто он убьет ее. Вот тебе и рыбий тракт. Вот тебе и косяк. Вот тебе и профессора, — рассказать им про этот случай, еще не поверят.

— Ну, и чем же тогда у вас кончилось? — спросил Колька.

— Как чем? Грохнули паруса и давай ее громить...

— Много нагромили?

— Я думаю, не мало. Погода на море стояла хорошая, тихая; народу вокруг никого, никто не мешает... Потом, понятно, откуда ни возьмись, набежал ловец, суден до двухсот. Успели мы налить два судна, спасибо поблизости была моторная приемка Калмыбртреста. А после сунулись еще — ни рыбки. Ушла. И потом, сколько суток ни искали ее по морю, нигде не нашли. Откель пришла и куда потом девалась, чорт ее душу знает. Своего рода тайна, секрет. Прилетела, как птица, и улетела, как птица. Угоняйся за ней. Угоняйся за ней, если она, может, с самим с чортом связана.

— Ха-ха-ха! — разразился хохотом Колька при виде серьезного лица деда, с каким он упомянул о чорте.

Дед обиделся.

— Смейся, смейся, дурак. А почему на косяках не в редкость бывает так: у одного в сетках полно рыбы, даже ядро рвется, а у другого, тут же, рядом, ни рыбки, хотя известно, что рыба и там шла? Скажешь, и тут тоже без колдовства?

— Ха-ха-ха! — опять прорвало смехом Кольку. — Ха-ха-ха!

Дед не обращал внимания на его смех и продолжал:

— Калмыки, те даже большие деньги дают, если кто околдует ихние сетки, чтобы в них рыба хорошо шла. Раз мне пару таких хороших своих степовых иноходцев дали! Просил одного, а когда хорошо поймали, сами мне другого в коюшню поставили. Заместо «иноходец» они говорят «минаходец». А кони — огонь! Ужас, какие горячие. Так и рвутся бежать, не признавали шагом ходить. Я на них зимой, на льду, немало белорыбицы нахватал...

— Дед, неужели до сих пор ничего не известно, как косячную рыбу можно было бы без таких хлопот брать?

— Почему «ничего не известно»? Кое-что все-таки известно. Известно например, что каспийская рыба, что ни холоднее погода, то она и кучней, и смирней, и хлопот тогда с ней меньше. Даже если взять сазана. Его и в осеннее время легко поймать. А зимой он ручной совсем, подходи и бери, если только сумеешь его найти. Как заляжет на зиму по ямам, вроде медведя в берлоге, так его оттуда не сдвинешь ничем. Лежит и лежит. Прямо пластами, один на одном, как сельдь в бочке. Уже весь в пролежнях делается, а все лежит. Уже отгниет одна щека, один глаз, один бок, отвалится хвост, а он ни на что не обращает внимания, знает свое — лежит. И ничем не растормошишь его, чтобы наконец сдвинулся с места и пошел в сетку. Скорей сгниет весь, чем пойдет в дело. Вроде — ни себе, ни людям.

## XXII. Игра в „кошки-мышки“

Изо дня в день повторяя одно и то же, суденышко и на этот раз бежало по волнам и бежало.

Оно то зарывалось носом в воду и задирало вверх хвост, как пьющая из лужицы утка, то, наоборот, взбиралось носом на гребень вала, а кормой увязало в водяной яме между этой волной и следующей, точно лошадь, передними ногами уже ступившая на самую верхушку крутой горы, а задними неожиданно севшая на колена.

— Держит прямо на нас, — первым заговорил Гарасим, в то время как оба его товарища продолжали молча следить за ведомственным пароходиком, длинненьким, тоненьким, повернувшим качающееся острие своего носа прямо на них.

— Да-а... — произнес Тихоныч с таким вздохом, который означал: «попались, чорт возьми».

— А уйти не сумеем? — спросил Гарасим.

— Как уйдешь? — пожал плечами Тихоныч и поглядел на волны, на ветер, на расстояние, отделявшее их от пароходика.

— Зачем убегать? — протяжно пробасил Колька. — Что, мы украли что-нибудь, что ли?

— Попробую положить лево руля, — сказал Тихоныч. — Ему против волн будет потруднее, чем нам.

Он круто повернул руль, изменив курс судна, и пароходик, ранее приближавшийся к судну, теперь, благодаря маневру Тихоныча, шел все время на одном расстоянии от него.

На пароходике, очевидно, заметили фокус суденышка и тотчас же прибавили ходу.

Тихоныч ответил на это странной жесткой улыбкой, приказал своим людям туго-натуго выбрать всю слабину у парусов, иначе расположить на судне «немцев» и самим пересесть на другие места. Суденышко подтянулось, подобралось, напряглось и опять пошло вровень с пароходиком, несколько не поддаваясь ему.

В открытом море, без берегов, без свидетелей, завязалась отчаянная борьба двух: пароходика и парусника. Первый преследовал второго. Второй пытался уйти.

Дерзкая выходка парусника, побиди-мому, вызвала на пароходике большое возбуждение. По крайней мере, на его палубу высыпало из кают много народу. Один человек отделался от других и направил издали на смельчака бинокль.

Странное чувство испытывали рыбаки, неожиданно-негаданно ввязавшиеся в неравную борьбу. Неподвижно, как каменные, сидели они, все трое, на своем суденышке, не спускали глаз с преследующего их пароходика, молчали, с затаенным дыханием ожидали результата нечаянно начавшегося состязания.

— Уходим, — с торжеством произнес наконец дед, когда результат был ясен для всех.

Гарасим и даже Колька так и заржали от восторга, видя, как черный пароходик с длинным рыбьим носом, обливаемый белой волной, заметно стал отставать.

— Ну и дед! — вырвалось восклицание у Кольки. — И все-так мы зря убегаем, — сейчас же прибавил он.

На пароходике, было видно, произошло какое-то замешательство. Люди столпились на палубе кучкой и что-то горячо обсуждали. Потом немую пустыню моря вдруг прорезали громкие, странные своей индустриальностью, позывные паровые гудки, частые-частые, выразительные-выразительные, как бы говорящие на своем языке: «стой-стой-стой!»

В лодке переглянулись, рассмеялись и без слов сошлись на решении прекратить ненужное бегство.

— Все равно далеко не уйдем, — сказал Тихоныч и крутым поворотом руля поставил судно в дрейф.

Паруса, освобожденные от ветра, свободно затрепались во все стороны, заплескались, зашелкали на мачтах, как флаги, и судно остановилось. Волны и ветер некоторое время медленно вращали его на месте, потом потащили как-то боком в сторону.

Пароходик быстро приблизился.

— Уберите паруса и давайте чал! — прокричали с него в рупор.

Колька не замедлил исполнить приказание, бросил с судна на корму пароходика чал и, пока матрос закреплял

его у себя, с носа парохода, из одной его ноздри с ужасным железным лязгом загремела в воду, как в беззвучную пропасть, тяжелая якорная цепь.

— Значит, волынка будет большая, — с неудовольствием в своих белесых глазах произнес Гарасим.

— Наоборот, очень интересно, — весело сказал Колька и во все глаза глядел на подошедший к ним пароход с новыми людьми.

Два молодых человека, один с биноклем, другой с записной книжкой, оба в глубоких дорожных шубах и теплых шапках, сошли с полукруглой кормы пароходика на нос рыбацкого судна, прошлись по палубе, приветливо поздоровались со всеми за руку. За ними следовал третий, пожилой, гладкий, в морской форме, со смущенной улыбкой на красном выбритом лице, с необычайным блеском чем-то озадаченных глаз.

— Извиняюсь... Кто у вас рулевой? — спросил он, обращаясь к команде суденышка.

— Вот он, — с гордостью показал Колька на деда.

— Давно работаете на море? — спросил тогда капитан у деда, пожирая его глазами профессионала, влюбленного в свое дело.

— Сроду моряк, — отвечал Тихонич. — И отец мой, и дед, и прадед все век свой провековали на море. В нашем роду сухопутных людей не было.

Моряк с парохода пораженно пожал плечами, еще раз окинул завистливо блестящими глазами могучую фигуру деда, с громадной белой подушкой бороды на груди, и, унося с собой все ту же острую, сосредоточенную улыбку, ушел.

### XXIII. Астгорпартком

На палубе, в гостях у рыбаков, остались только те двое: один — с биноклем, другой — с записной книжкой.

Первый спрашивал, второй записывал. Оба работали очень быстро.

Какого села рыбаки, какого колхоза, номер колонны, бригады, звена. Кто старший на судне, ответственный, звеньевой. Имена и фамилии остальных. Ка-

кого месяца и числа вышли на осеннюю путину, сколько сдали государству рыбы, где сдаточные квитанции, не было ли каких проволочек, а также бюрократических придирок со стороны приемщиков, не пытались ли они рыбу высшего сорта пометить низшим. Нет ли каких деловых заявлений относительно плохой подготовки к путине как со стороны обеспечения водоходными судами и орудиями лова, так и со стороны снабжения рыбаков в море продуктами питания.

— Партийные на судне есть?

— Нету.

— Комсомол?

— Нету.

— Это плохо. Значит, райком плохо работает. Необходимо, чтобы с каждого ловецкого судна хотя бы по одному человеку было вовлечено в партию.

— Почему не в комсомоле? — поставил в упор вопрос Кольке человек с биноклем.

— Не пришлось, — замылся Колька.

— «Не пришлось», значит, не помог. Значит, никто не поинтересовался человеком. Вот видите, материал есть, а работа не развернута.

Потом перешли к чисто производственным ловецким делам.

— Вот что, астраханский городской комитет партии, по директивам от вышестоящих органов, решительно и навсегда покончил на Каспии с ловом в море в одиночку и перевел вас всех, колхозников, на новую, высшую форму труда, на так называемый бригадный лов. А между тем мы застаем вас блуждающими в течение долгого времени в море в единственном числе. Почему это?

— Из двора вышли вместе, всем колхозом... — сказал Гарасим.

— Из двора? Только из двора? А в море?

— В море? — дернул одним плечом Гарасим. — В море рассыпались врозь...

— Вот вы нам сейчас и объясните причины этого.

Гарасим посмотрел на Тихонича.

— Вот наш звеньевой.

Сперва объяснения давал один Тихонич, потом к нему присоединился с разными добавлениями Гарасим, потом втя-

нулся в беседу и Колька. Говорили одновременно все трое, вперевивку. И тщетно горкомцы пытались организовать беседу как следует и убедить троих рыбаков высказываться по очереди. Рыбаки и сами хотели бы держаться порядка в разговоре, да никак не могли. Один из них говорит, когда вдруг и другого прорвет что-нибудь прибавить, очень важное, даже самое главное, и — третьего.

Оправдания, приводимые рыбаками, не содержали ничего нового и были общеизвестны. В море бригады ловецких судов разбивает на отдельные посуду чаще всего шторм. Это он и их загнал от своего колхоза нивесть куда. Они и рады были бы работать не на отшибе, а ближе к народу, да не позволили погоды...

— Только без вранья. Таких штормов этой осенью еще не было.

— А тринадцатого октября!

Горкомцы устали друг на друга вопросительные лица, на которых было написано: «А чорт его знает, какая была погода на разных точках Каспийского моря тринадцатого октября?»

И победителями в этом пункте беседы остались рыбаки, собственно, Гарасим, как автор внезапно сочиненного им «тринадцатого октября».

Потом, в ответ на тот же вопрос, рыбаки, опять сразу втроем, приводили дальнейшие свои доводы, попрежнему упирая на слово «море», «в море»... В море люди одного судна, благодаря своему большому знанию моряцкого дела, надеются найти рыбу на зюд-осте, в то время как люди другого судна, той же бригады, благодаря своим, тоже очень большим моряцким знаниям, согласны искать рыбу только на норд-норд-осте. В море не только целой бригаде судов, но даже двум судам трудно работать в паре: если одно судно почему-либо сдаст свои темпы или просто станет среди моря на якорь, то не может же и другое судно ради него обречь себя на бездействие. В море, кроме того... В море...

— О! — спохватился вдруг горкомец с биноклем и начал отмахиваться руками от слов Гарасима, как от колдов-

ских чар. — Вы мне эти песни не пойте! Ишь как распелся! Повторяю, вы нам лучше эти песни не пойте! Это старые песни! Это вредные песни! Мы давно их слышали и давно от них отказались! Пора и вам перестроить себя на новые голоса! Выгодность бригадного лова для вас же самих, для колхозников, налицо! Она хорошо учтена нами и всячески проверена! Товарищ Сокол, огласи-ка им факты, цифры...

Товарищ с записной книжкой извлек из портфеля брошюру, открыл заложенное закладкой место и громко прочел: «В рыбацком колхозе «Наш путь» Камызякского района, при бригадном лове на одного ловца-колхозника падает вылова 73 центнера, заработка—536 руб., а на колхозника, не участвовавшего в бригаде, — вылов 52 центнера, заработка — 396 руб...», «В колхозе имени Калинина, Астраханского района, средний вылов на одну посуду в бригаде — 251 центнер и средний заработок ловца — 611 руб. Вылов же на колхозную посуду, не организованную в бригаду, составляет 205 центнеров и заработок на одного ловца — 455 руб...», «В колхозе «Марксист», Марфинского района, на долю каждого ловца...»

— Довольно! — остановил чтение Сокола товарищ с биноклем и обратился опять к рыбакам: — Вам этих фактов, этих цифр недостаточно? Если недостаточно, мы можем привести их еще, сколько хотите. Наши факты, наши цифры опровергают ваши слова, ваши доводы. В вас говорит просто привязанность к старине, нежелание ничего нового. А люди попробовали новое и уже убедились в его превосходстве над старым. Ведь бригадный лов, кроме внедрения в ваши массы высших социалистических форм труда, еще и способствует улучшению общих бытовых условий жизни рыбаков, облегчает труд, повышает его производительность, создает базу для соцсоревнования и ударничества, делает возможным взаимный контроль в море, ставит в повестку дня учет качества и количества рыбацкой работы, труда, укрепляет трудовую дисциплину... А главное — повышает ваш за-ра-бо-ток!!! Словом, преимущества

бригадного лова неисчислимы и неоспоримы, — закончил горячо горкомец.

Рыбаки молчали. Тихоныч вздохнул и украдкой поглядел на Кольку, на Гарасима, как они себя чувствуют. Те не шевелились.

— Книжка заданий и выполнений по пятнадцатидневкам есть?

— Да, есть... — сделал рукой Тихоныч, как тяжело больной.

— Покажите.

— Колька, слазь сейчас вниз, поройся там в вещах, — проговорил Тихоныч тем же расслабленным голосом.

— Кажется, она была в мешке с сухарями, — крикнул вслед убежавшему Кольке Гарасим.

Пока Колька искал книжку, беседовали без него. Потом, когда он вернулся ни с чем, пошел искать книжку Гарасим. Но беседа опять не приостанавливалась ни на минуту...

Красный, вспотевший, держа в руках охапку одежд, снятых с себя от жары, с расстегнутым воротом рубахи, Гарасим явился из нижнего помещения судна на палубу тоже с пустыми руками, без учетной книжки.

— Ффуу... — измученно вздыхал он вместо отчета о своих поисках.

Очередь, таким образом, — по старшинству, — дошла до Тихоныча.

— Придется пойти самому, — сказал он и пошел.

Гарасим, чтобы поддержать иссякающее терпение горкомцев, стоял, переступая с ноги на ногу, делал руками жесты и повторял на все лады:

— Книжка есть... Книжка обязательно должна быть... Как же без книжки?.. Без книжки никак невозможно... Она у нас есть... Только где — вот вопрос...

— Может быть, вы ее давно раскурили с махоркой?

— Нет... Зачем же... Для этого у нас другой бумага хватает...

Наконец явился Тихоныч с пропажей в руках.

Это была крохотная, меньше ладони, тетрадошка, с печатными графами, с заготовленными датами, измятая, истрепанная, со страницами, пересыпанными крошками ржаных сухарей, со смазавшейся типографской краской, с закру-

ченными в трубку уголками страниц, с утерявшейся обложкой...

— Почему же она у вас ни разу не заполнена?

— Не успели собраться, — опустил голову Тихоныч.

— Путина приходит к концу, а вы все еще «не успели собраться»?

— Когда вспомнишь про эту книжку, карандаша нету, — помог Тихонычу Гарасим. — А пока найдешь карандаш, куда-то затеряется книжка. Так и мучаемся с ней каждый раз. Легче поймать лишнюю сотню центнеров рыбы, чем иметь дело с ней.

— Ну, это вы оставьте! — не поверил Гарасиму горкомец и опять обратился к Тихонычу как звеньевому, лицу, ответственному на судне. — Ну, а вы что скажете?

— Главное дело, днем некогда, — залепетал Тихоныч. — Днем едва управляемся со своей ловещкой работой..

— А ночью темно, нет керосина, — подхватил Гарасим.

— Почему керосина нет? Разве на море вас не снабжают керосином?

— А когда, допустим, керосин есть, тогда, как назло, на лампе стекла нет, — продолжал Тихоныч.

— А где фитилей взять? — спросил Гарасим. — Если бы были фитили...

— Другой раз и рады бы вечером что-нибудь записать, графу заполнить. Да темень такая, друг дружку не видишь! — вяло уверял Тихоныч.

Оба горкомца, слушая подобные, чисто мальчишеские увертки стариков, долго крепились, сохраняли серьезный вид, потом не выдержали и расхохотались.

— Наша малограмотность, наша привычка к канцелярскому труду, — объяснил Колька приезжим причину всего. — И потом, по правде сказать, нам нечего бывает писать. Что мы можем отмечать за каждый день или за пятнадцатидневку, если мы ловим не ежедневно, а только, когда есть рыба?

— Почему ловите не каждый день? В море всегда есть рыба, а не по каким-то определенным вашим дням! Температурная установка партии — ловить обязательно каждый день. Мы знаем,

вы привыкли ловить по-старинке, только тогда, когда рыбы много, когда ее можно руками брать. А мы сейчас вводим новое, плановое хозяйство, по которому рыба должна быть у нас всегда. Никто не требует от вас непременно громадных количеств рыбы, пусть это будет не большая, но постоянная рыба, чтобы рабочий наших промышленных центров в течение круглого года имел к столу свежую рыбу.

— Мы и так ловим ее круглый год, — сказал Гарасим.

— Сколько концов выбиваете? — спросил горкомец, когда осматривали состояние сеток: просушиваются ли, ремонтируются ли...

— Глядя по рыбе, — отвечал Тихонич. — На косячной рыбе все выбиваем. На ходовой — половину, третью часть, четвертую...

— Как так? Почему половину? Почему треть, четверть? Последняя усадка партии выбивать в море не менее семидесяти пяти процентов сеток!

— А в «мертвые сезоны», когда рыбы нет?

— Никаких «мертвых сезонов» у нас не должно быть! Мы вместе с вами должны научиться находить рыбу и в «мертвые сезоны»! Надо что-то делать, а не опускать руки перед «мертвыми сезонами»! Надо работать, искать, бороться и побеждать!

— Что правда, то правда, — сказал Колька. — Работаем мы по-старому, по заведенному давно, прежде нас. А про что-нибудь новое у нас ничего не слышать.

— Теперь будет слышать, — уверенно сказал горкомец.

Горкомцы проявили большой интерес и к мельчайшим подробностям рыбацкого быта в море, на плову. Расспрашивали рыбаков о том и о сем и несколько раз высказывали свое удовлетворение их толковыми раз'яснениями. В особенности были довольны откровенными ответами Кольки, раскрывшими им немало рыбацких «секретов».

— А чего ради таиться? — приглашал он к большей искренности и своих старших товарищей, все еще взвешивав-

ших на весах осторожности каждое свое слово. — Ну, пусть они будут партийные! Чего же нам остерегаться их? Что они сделают нам? Кроме пользы, ничего. Ведь если все будут так скрывать от них правду, тогда они никогда ее не узнают и не будут иметь возможности исправить недостатки. Тихонич, ты знаешь больше нас всех и молчишь больше всех. А ну-ка, покажи свою смелость, выскажись им. Пусть люди хотя раз в жизни, хотя от одного узнают, услышат. А то все только за глаза говорят, а в глаза никто, ни один.

— Да, да, товарищ звеньевой, очень просим вас, говорите всю правду!

— Товарищи, а у вас там на пароходе... вино есть? — спросил Тихонич.

— Конечно нет.

— Ну, тогда вы от нас сегодня ничего не узнаете.

Горкомцы рассмеялись.

— Вот так номер! Неужели так-таки ничего и не узнаем без вина?

— Всего не узнаете. А кое-что, понятно, узнаете, самую мелочь.

— Но процентов пятьдесят все-таки узнаем?

— Нет. Процентов пять.

Горкомцы опять расхохотались.

— Ну-ну... — вздохнул первый.— Типик...

— Да-да... — подтвердил таким же вздохом второй. — Экземплярчик...

— Вы нам все-таки, товарищ звеньевой, объясните, почему мы от вас ничего не узнаем?

— Тут объяснять нечего. Просто, чтобы начать по-свойски с вами разговаривать, я должен вперед развеселиться, сорвать с себя такую корку.

— Какую «корку»?

— Да такую.

— Какую «такую»?

— Да такую. Такую корку.

Они так и не узнали от него толком, про какую именно «корку» он твердил.

— Принесите вина, узнаете.

— Мы не имеем права прибегать к таким средствам: угощать вас или спаивать вином.

— А мы не имеем права трезвые обо всем вам говорить,

— Ерунда. Говорите, что хотите и о чем хотите, и о ком хотите.

Все замолчали. Гости и хозяева, впятером, сидели на палубе, на краях люка, которым был закрыт трюм. Гости без конца угощали хозяев хорошими папиросами. Лодку сильно качало на волнах, и лицо одного гостя вскоре осунулось, побелело. Рыбаки украдкой поглядывали на него и незаметно пересмеивались между собой.

— Нет, правда, дедушка, давайте поговорим с вами по-простецки, по-дружески. Наша партия в настоящее время очень ценит хозяйственный опыт стариков. Вы вот многое видели, многое знаете, выросли и состарились на море. Поставили сегодня в неловкое положение даже нашего капитана, тоже старого морского волка, которого мы до сегодняшнего дня считали непобедимым...

В глазах Тихоныча при последних словах горкомца сверкнул огонек удовлетворения.

— Флотского комсостава форменные фуражки носят, — пробормотал он, смущенно отворачиваясь от своих собеседников.

— Поэтому, дедушка, нам было бы очень важно, очень ценно услышать от вас ваше искреннее слово обо всем, что касается вашей ловецкой работы и наших большевистских к вам требований.

— Я не отказываюсь говорить. Я не молчу. Я говорю не меньше других.

— Да, но мы хотели бы, чтобы вы отказались от ваших пяти процентов.

— Это не от меня зависит.

— А от кого же? Или от чего? От «корки»?

— Да. От «корки». Но вы не беспокойтесь. На сегодня с вас и моих пяти процентов хватит. Больше, чем пять процентов, у вас у самих нехватит терпения слушать.

— Хватит, хватит! Говорите, говорите. Только давайте сядемте поудобнее.

Между тем с парохода на суденышко постепенно спускались и другие, заинтересованные беседой с рыбаками. И на палубе суденышка уже находились: еще двое горкомцев, двое райкомцев, капитан парохода, штурвальник, машинист, масленщик, несколько матросов, повар...

Сидели под открытым небом, кто на чем: на люке, на сетях, на бочках, на колодах дров...

Председательствовал товарищ с биноклем, секретарствовал — с записной тетрадкой.

Слово для обстоятельного доклада принадлежало Тихонычу.

— Тихоныч, ты смотри, не бойся, — от души попросил Колька, которому больше других хотелось, чтобы все протекало хорошо.

— Я не боюсь... — пошевелил плечами старик. — Чего мне бояться?..

#### XXIV. Говорит Тихоныч. Культармец Колька

— Вы вот, товарищи, и бумажки разные циркулярные засылаете к нам, в наше колхозное управление, и книжки, и газеты... Командируете и людей, партийных работников, и сами у нас бываете, даже встречаетесь с нами в море и беседуете, вот как сейчас... И везде проводите вашу политику, везде выставляете нам, ловцам, ваши партийные требования... Не спорю, много справедливого и даже умного в этих требованиях, очень много... И многое, очень многое для нас уже сделано вами... Но если взять наше чисто ловецкое дело, некоторые тонкости нашей моряцкой профессии, то... то...

— Вы хотите сказать, — помог ему председатель, — что тут вам учиться у нас нечему? Вы это хотели сказать? Если это, то можем вас уверить, что мы, большевики, не только учим вас, но и сами с радостью поучимся у вас..

— Это хорошие слова, — сказал Тихоныч, — учиться всем надо... А наша молодежь не желает учиться у стариков... Она знает только опровергать нас...

— Дедушка, вы говорили о наших к вам «партийных требованиях», — направлял речь старика председатель, — вот и разберите их тут сейчас как следует. Раскритикуйте нас хорошенько.

— Ваших большевистских требований к нам конечно много, очень много, всех не перечить... Скажу только об некоторых... Первое: вы требуете не тратить в

море время на поиски большой рыбы и ловить малую. Это для нашего ловца неприменимо... Ведь нашего ловца не год кормит, а неделя... Найдет ловец косяк в море — оправдает свой труд; не найдет — не оправдает.. Истреплет ловец сетки на «малой рыбе», а когда придет «большая», ему будет нечем ее ловить... Вот почему неприменимо к нам и ваше второе требование: ловить ежедневно и выбивать при этом не меньше семидесяти пяти процентов сетей... Третье требование касается глубей, ловить обязательно на глубях, есть там рыба или ее там нет... Мы не боимся глубей, хотя, по условиям наших слабых посуд, нам рискованно выходить на глубины... Но мы стараемся ловить рыбу там, где нам с нашими средствами легче всего ее взять... Рыба во всем море одна и та же, только в разное время года, по условиям кормов, она переходит в разные места... И вот мы ее караулим там, где ее доступней поймать... А вы настаиваете только на глубях, говорите, что ловить в чернях — значит ловить по-старинке, по-дедовски, говорите, что в чернях и без нас поймают, и посылаете нас на глубины, как будто на глубях рыба совсем другая, которую мы не достанем в чернях... И то мы не спорили бы против этого, против глубей... Но тогда дайте нам не такую посуду, как эта, и не такую спецодежду, как наша... Но, пока что, с нас и на чернях рыбы хватает... Если бы ее там не было, тогда другое дело, тогда мы сами пошли бы искать на глубях... Мы ведь всегда ходим следом за ней, находимся там, где она... А известно, что в холода рыба держится ближе к черням, на глубях она тогда только мимоходом... Белужники, и те с холодами выдираются из-под свала и идут к черням, так как даже такая глубоководная рыба, как белуга, и та идет тогда в черни, под камыш... А на глубях в ту пору и малявки не поймаешь... С ноября даже «стоечные» суда, и те уже на мертвых якорях не стоят, а срываются со своего постоянного места и начинают ловить «на фырок», то-есть уже бегают за рыбой, а не ожидают ее... Можно сказать, уже с покрова хороший ловец не надеется поймать ходовую ры-

бу, а рассчитывает только на косячную... И настоящий хладнокровный ловец в это время по несколько суток бегают по морю, не замочив сетей... Потому что улов в сорок пудов для него не улов, а пролов... Это ничего, что вы говорили про Англию, что в такой первой во всем мире морской стране, как Англия, и пять пудов рыбы считается у рыбаков улов... Мы в Англии конечно не были и ничего про Англию конечно не знаем, но думаем, что в Англии потому так, что там все другое... Вы как зашли к нам на палубу, так сейчас же сделали нам замечание, почему у нас сетки сухие, почему мы накануне не выбивали их в море, «прогуляли»... Никакого прогугу тут нет... Просто накануне был шторм, а если после шторма в этой местности выбить сетки, их так забьет верблюдом и другим сором, что в ячею даже вода не пройдет, а не то, что рыба... Эти мелочи надо учитывать... А их, таких мелочей, разве мало у нас?.. Неужели вы думаете, что ловец сам себе враг?.. Он сам рад побольше поймать, это его хлеб... Когда есть надежда на рыбу, он работает день и ночь, ни с чем не считаясь... Работает до упаду лица, то-есть пока лицом не тыкается в сетку... Ну, а если рыбы нет—и сеток в море не кладет, жалеет, бережет колхозное добро, как раньше берег свое... И ты хоть над каждым над ним по бригадиру поставь, все равно ничего не поймает... Допустим, партийный придет и заставит его безо время выбить семьдесят пять процентов сетей... О, слов нет, выбьет тогда хоть все сто процентов, а как он выбил, как именно, в каком смысле, этого партийный, самый заслуженный, никогда не поймет... Выбьет нарочно по течению, и ни одна рыба туда не попадет... Или поставит стенку так, что водой сетки закрутит в жгуты, и суток двое еще придется их раскручивать... Получится не дело, а ребяташичная игра... Вам все это конечно еще в новинку, а нашему ловцу оно давно шею проело... На море лов умственный... На море каждый не поймает, даже если он ловец... На море надо уметь... А кто не умеет, будет заметывать так же, как ты, но ты будешь с рыбой, а

он — нет... У нас думают: «косяки, косяки...» Но и на косяках надо знать, как ее брать... Ловец никогда никому не откроет своих знаний... И один наливает рыбой подчалок на пятьдесят пудов, другой — только бударку на пятьдесят, а третий и пяти пудов не берет, несмотря на то, что все трое стоят и работают на одном косяке... Выходит, что дело не только в косяке... Выходит, что дело не только в косяке, но еще и в ловце... Иной ловец только называется ловцом, а на самом деле он и пол-ловца не стоит... Если ты полный ловец, не половинный, дойди сам до этой практики, как ловить, а я тебе свой секрет не открою, потому что то, что я за него заплатил, стоит мне дороже денег...

— Разве у вас еще существуют какие-то «секреты»?

— А как же не существуют?.. Сколько хотите... В морском лову, куда ни ткни, везде секрет, везде практика... Разобраться до тонкости только в одних морских течениях чего стоит... У нас думают так: нет никакого течения — нечего ловить; покатило течение — и рыба двинулась, можно класть сетку... А на практике это не совсем так... Или взять сетки... У нас думают так: на такую-то рыбу такой-то калибр ячеи и — все... А на самом деле это далеко не все... Кроме дели, кроме ячеи, есть еще в сетке и подборы, и таши, и балберы, и сторожки, и чипчики... И если сетка сеledочная, то балберы на ней надо сажать учащенные, потому что сеledка скорее другой рыбы в ячее задыхается,дохнет, не держится на плыву, а идет на дно и тянет всю сетку за собой...

— На минутку, дедушка, я вас перебею вопросом. Скажите, вам известно, что установка советской власти такая, чтобы раскрыть разные личные секреты в производстве и обратить их на пользу всех трудящихся?

— А как же? Известно.

— Ну, и как вы смотрите на это? Хорошо это или плохо?

— Понятно, хорошо.

— А почему?

— Как почему? Коль скоро теперь все государственные и мы сами государственные...

Перед прощанием горкомцы спросили: — Все грамотные?

Рыбаки замаялись. Колька пробормотал:

— Какая наша грамота...

— Ну, читать, писать все умеете?

Тихоньч и Колька с улыбками скользнули взглядами по смущенному лицу Гарасима.

— Значит, один он неграмотный?

— Он.

— Стыдно, стыдно, товарищ... Это не при царизме... В такое время, с такими возможностями — и оставаться неграмотным! Сейчас же принимайтесь за учебу. Сейчас же!

Белесые глаза Гарасима забегали, заметались, как бы ища вокруг спасения, А когда он увидел, что горкомцы достают для него из портфеля учебные пособия, он завертелся на месте, замахал руками.

— Бросьте, товарищи, думать обучать меня грамоте!.. Мне не до этого!.. У меня дома семь душ детей, восьмым жена сейчас в положении!.. Я об них должен думать!.. Над ними должен голову ломать, как их прокормить, во что обути, одеть!..

— Грамотному гораздо легче заработать на семью, чем неграмотному...

— Только не у нас... не у ловцов...

— Словом, вот вам учебные пособия.

— Не возьму... Не принимаю... Некогда учиться... Не знаешь, рыбу ли ловить, не знаешь, грамоте ли учиться...

— Как некогда? А вечерами? А ночами?

— Что же я сутками должен работать? Днем — над сетками, ночью — над книжками? А отдыхать когда? Нет, не буду я учиться. Время мое прошло.

— Вот упрямство. Но мы, большевики, народ тоже упрямый.

И они после долгих уговоров заставили Кольку дать свою подпись на печатном бланке с обязательством, что он, рыбак такой-то, дает торжественное обещание в такой-то срок обучить такого-то своего товарища читать, писать и считать.

— Объявляем тебя морским культурмейцем на вашем судне и работу твою будем периодически проверять.

Колька принял общественную награду с неохотой. И после того, как дал свою подпись, все еще продолжал отговариваться то тем, то другим.

— Отговариваться? Нельзя. Советская власть не дает тебе этого права. Чудак, ты должен гордиться, что принимаешь посильное участие в общем нашем культурном строительстве. Мы охотно высадили бы на вашу посуду на недельку-другую нашего культурмейца, партийного, тем более, что он смог бы преподать вам и ряд уроков по политграмоте, но, к сожалению, мы своих всех уже разместили по посудам до окончания путины. Правда, один человек еще есть, но его укачало, просится обратно в Астрахань.

Когда расставались, горкомцы выдали культурмейцу Кольке карандаш, две тетрадки и книжку для первоначального чтения «По стопам Ленина».

— Распишись в получении.

Гарасим усиленно подталкивал в бок Тихоныча, когда гости, уже распрощавшись, перелезали на борт парохода.

— Говори же! Скажи! Не бойся! — понуждал он деда возбужденным и таинственным шопотом.

Дед прокашлялся, сделал несколько шагов вслед за горкомцами и проговорил им в спину:

— Товарищи, объясните, а за что выдаются преминальные нашим ловцам?

Те остановились.

— Как за что? Известно, за что. За хорошую работу.

— А не за язык?

— Нет, нет. Только за хороший лов и бережное отношение к колхозным сетям.

— А наш кукшинский колхоз понимает иначе. Кто много болтает языком, тому у нас выдают преминальные, и ма-нуфактурой, и всем.

— Это неправильно.

— Мы тоже думаем, товарищи, что неправильно. При таких порядках вся апатия к работе пропадает.

— А вы взгрейте за это правление вашего колхоза.

— Не знаем, с какого конца начать. Боясь, что начнем греть их, а жарко станет нам.

— Этого не должно быть. И этого бояться не надо. Лучше всего в таких случаях пишите в нашу газету «Коммунист», выходящую в Астрахани. Но базируйтесь только на фактах, на проверенных фактах.

Гости, стоя вдоль одного борта парохода большой группой, человек в пятнадцать, еще раз тепло распрощались с тремя рыбаками.

Горкомец с биноклем кивком головы сделал знак капитану, уже занявшему свое место в рубке, тот позвонил вниз, в машинное отделение, оттуда донесся звон колокольчика.

— Вперед! Пол-най! — скомандовал тогда капитан машинисту в медный рас-труб передаточной трубки.

Пароходик тронулся с места и сейчас же, по указанию горкомца с биноклем, взял курс прямо на видневшееся вдаль другое рыбацкое суденышко, такое же черное, под двумя белыми нарусам, в одиночестве совершающее свой, очевидно очень длительный, путь.

— А добивчивые какие! — замотал головой Тихоныч, когда они остались на своей лодке только втроем. — Эги добьются своего!

— Сделали меня учеником, — повел вбок обозленное лицо Гарасим.

— Зачем учеником? — поправил его Колька. — Студентом!

Потом некоторое время они сидели молча, как бы переполненные всем только-что пережитым.

— Да... — наконец поднял голову Гарасим, вздохнул и заговорил: — Уже призвели меня в ученики, в школьники... Уже Кольку, молокососа, поставили моим учителем, наставником... Уже выдали на это дело карандаши, тетрадки, книжки, тут же, в двадцать четыре секунды... Уже взяла с Кольки целых две расписки, одну, чтобы он не отпирался выучить меня уму-разуму в кратчайший срок, а другую, чтобы письменные принадлежности не пошли не по назначению... И уже поплыли наперерез другой такой же рыбацкой лодке, проделать там то же самое с другими...

Колька хохотал. Тихоныч продолжал сохранять каменное молчание.

Гарасим, после паузы, воскликнул, недоуменный, раздавленный совершенно неразрешимой загадкой:

— И откуда у людей берутся силы на все это?!

— Вот видите, — заговорил серьезно Колька, — а вы говорите: «Советский режим, советский режим...» Ну, а какая другая власть, кроме советской, стала бы так нянчиться с вами, да еще с такими закоренелыми стариками.

— Об этом мы ничего не говорим, — неопределенно пробормотал Тихоныч.

И он еще долгое время оставался в сознании какой-то оглушенности, озадаченности, какого-то глубокого, трудного раздумья.

## XXV. Птичка-штормянка

Волны катились попрежнему с норд-веста на зюйд-ост, а новый ветер — моряна — «работал» в противоположном направлении. И черному суденышку под двумя белыми парусами, державшему курс на норд-норд-вест, пришлось итти еразрез волнам.

Частыми, равномерными скачками суденышко беспрерывно прыгало с волны на волну, точно бежало по шпалам, слишком близко расположенным друг от друга. Качавшимся вверх-вниз носом оно рассекало в каждой встречной волне новую брешь, взметая при этом целое облако белых брызг, точно паровоз, выбрасывающий в стороны от себя белые клубы пара. Пенистая, в мыле, вода моря и кипела, и шипела, как горячие пары паровоза. Простые рейковые паруса — передний меньший, задний больший — кренились вместе с мачтами в одну сторону, а иногда выпуклой своей стороной касались самой воды, как бы раздавая на берегу избранным волнам короткие, осторожные, поверхностные поцелуи, — в такие моменты и суденышко бежало по морю уже не на киле, прямом, как стрела, а на своем округлом, как у брюхатой коровы, боку, вдруг открывая ветру и весь свой киль, от носа до кормы окованный полосой железа, и все свое уродливо-широкое чрево, обросшее зеленой, нежной, бархатисто-осклизлой тиной.

Ветер был настоящий предзимний; самый непостоянный, самый неровный; с внезапными капризами, с неожиданными сюрпризами. И в литой корпус суденышка иногда так бухало волной, с такой поразительной силой и с такой непредугаданной стороны, что несколько колод тяжелых дубовых дров, оставленных Колькой на палубе, то и дело перебегали от одного борта к другому; из лежачей бочки с пресной водой, прикованной железными лентами к палубе, вышибло длинную деревянную пробку, залетевшую выше мачт; пробку крепко забили, а через некоторое время ее опять выбросило, — на этот раз в море. Самое же суденышко после таких толчков на момент вовсе останавливалось, как оглушенное. Бессильно повиснув на гребне случайной волны, как вышедшее из равновесия коромысло весов, оно держало свой нос или почти вертикально задраным вверх, или, наоборот, так же круто вонзенным вниз. И каждый раз казалось, что судно наконец получило смертельный удар, не может дальше ни итти, ни стоять, и только в предсмертном раздумьи выбирает, в какую сторону падать, куда свалить свои кости.

Когда черный нос судна высоко поднимался над водой, резко бросалась в глаза прибитая к нему светлая фанерная дощечка, на которой было толсто выездено, очевидно смолой: «Село Кукша, рыбколхоз «Луч Октября», вторая колонна первой бригады, четвертое звено».

— Места тут, кажется, не такие глубокие, а глядите, какие убойные! — удивился со своего поста, из-под коренной мачты, Гарасим, когда метким ударом волны в один борт сильно повернуло нос судна в ненужную сторону. — Бьет, как обухом! Вот-вот прошибет борт!

— Тут не местность играет роль, не глубина, а вода, — объяснил Тихоныч, поворотом руля направивший нос судна куда было надо. — Главное дело, вода уже не та, не летняя, не жидкая, а зимняя, холодная, густая. Жидкая никак не бьет, только купает, а эта, густая, еще и ударяет, как молотком. Ударит по виску хороший комок зимней воды и

может убить. А летняя никогда не убьет, только испугает.

— Скоро «шауш» пойдет, — вспоминая о первом каспийском ледке, авторитетно проговорил деланным баском Колька, лежа на животе на своей вахте, на носу судна, и, как охотник из засады, терпеливо наблюдающий оттуда, что делается впереди судна.

Рыбу и не ловили, и не искали.

— Коль скоро так разыгралась нивовка, рыбу сейчас не нащупаешь никаким щупом, не поймаешь никакими сетями, — дымя махорочкой, говорил дед у руля. — Она сейчас не интересуется узкими бороздинами, а свободно прет через все осередки. Пойди, отыщи ее на таком пространстве. Сейчас она смеется над нами.

— Дед, а зимнее море не посмеется над нами, над нашей гнилушкой, которая держится только на смоле? — засмеялся Колька и со страхком поглядел на волну, идущую на них отвесной горой и закрывающую от них весь горизонт.

— Еще не зима, — уклонился от прямого ответа дед. — Еще даже отзимков не было. А после первого отзимка мы побежим домой.

Плыли, не останавливались, надеялись к ночи приткнуться к более надежному месту для ночлега: стать по соседству либо с большим кораблем, ночующим среди моря на якоре, либо с неподвижной шаландой, всегда, даже издали, поднимающей дух у морского ловца своим неожиданным, ярким, в несколько ярусов, электрическим светом, напоминающим огоньки ночующего в море величественного броненосца...

И никто из троих не заметил, каким образом и когда на палубу суденышка прилетела маленькая серенькая птичка, и размером, и оперением очень похожая на жаворонка.

На странствующие по морю рыбацкие суда вообще нередко садятся на отдых усталые, отставшие от своих, заболевшие в пути или подраненные хищником птицы. Но на них рыбаки обычно мало обращают внимания.

— Шгорминка прилетела! — тоном механического открытия прокричал со сво-

ей вахты Колька, первым заметивший шагающую по палубе крохотную птаху.

Появление на судне маленькой пернатой вызвало среди рыбаков настоящий переполох.

— Где шгорминка? — привскочил с места под своей мачтой Гарасим, в первый момент не поверивший страшному сообщению Кольки. — Может быть, это просто воробей?

— Какой воробей?! — горько возмутился Колька.

— Да, да, Гарасим, посмотри хорошенько, правда ли это шгорминка? — настойчиво потребовал дед с кормы и с давящим чувством ожидал ответа Гарасима.

— Шторминка... — приговором прозвучал в лодке голос Гарасима. — Она... шторминка...

На мгновение у всех троих было такое выражение, как будто они увидели себя окруженными со всех сторон врагом. И как бы затем, чтобы проверить размеры грозившей им опасности, каждый из них прежде всего повел растерянными глазами вокруг.

И отовсюду на них смотрело, как раскрытая пасть, одинаково грозное, одинаково враждебное, разбушевавшееся море.

Потом у всех троих явилась потребность еще раз собственными глазами взглянуть на маленькую, с воробья, птичку, в руках которой с этой минуты находилась вся их судьба.

Задобрить ее. Согреть. Прикормить. Или, наоборот, взять весло и одним махом пристукнуть?..

— Что с ней делать? — спросил у старших товарищей Колька, душа которого вдруг затомилась незнанием, бездействием, бессилием.

— Ничего, — со странной поспешностью предостерегающе закричали те в один голос. — Не трогай. Не трогай ее.

Судно продолжало свой бег. Предзимний, неровный ветер продолжал развивать свои яростные порывы. Волны вокруг продолжали расти. Люди, трое человек, трое мужчин, трое отважных каспийских моряков, с ущемленной душой продолжали следить... за каждым движением крохотной птички. Вот она сделала на расслабленно-раскоряченных но-

гах несколько шагов в эту сторону, несколько в ту, потом остановилась, свесила нос, постояла и зачем-то опять пошла...

И дернул ее чорт залететь именно на их судно. Почему не залетела на другое? Ведь по морю сейчас скитаются тысячи рыбацких судов.

Птичка-шторминка имела самый жалкий, самый несчастный, самый измученный вид. Перья — сильно поредевшие, помятые, намокшие, прилипающие к коже. Крылья, как перешибленные, двумя раскрытыми веерами всюду волочились за ней по земле, одно — с одной стороны, другое — с другой, оба слишком большие для нее, как чужие. Тельце, исхудавшее до такой степени, что кажется вовсе не существующим, — один порожний чехольчик из кожицы с перьями. Клюв все время беспомощно раскрыт, как от кровавой раны внутри. На голове — какой-то безобразный, мокрый вихор, придающий всей птичке дикий вид, точно после отчаянной борьбы. Летать она не могла, точно уже израсходовав все свои силы до конца. Несмотря на кажущееся полное безразличие ко всему, держалась она все же большею частью спиной к людям. Мокрая, облезлая, еле живая, по-старчески переходила с места на место, заходила во все укромные уголки, даже под внутреннюю обшивку судна, где ее никто не смог бы достать, но вскоре уходила и оттуда...

— Дед, откуда она к нам прилетела? И где она постоянно живет?

— Этого никто не знает.

Опять все замолчали.

— Дать ей хлеба?

— Все равно не будет есть.

— Почему?

Дед только пожал плечами, считая вопрос глупым.

— Врет, каких-нибудь круп насыпать, прекрасно стала бы есть, — продолжал сомневаться Колька.

— Никогда ничего в рот не возьмет, — твердо стоял на своем дед. — Через все море принесла морякам на судно весть об угрожающей им беде, исполнила свой долг и теперь тут же умрет. Никто и ничто ее не спасет, никакая твоя крупа.

— А нас что спасет? — попробовал состричь Колька.

Дед не нашел нужным отвечать на неуместную шутку молокососа.

Колька все же принес птичке хлеба и насыпал на палубе вокруг нее кольцом крошек. Шторминка равнодушно шагала по крошкам, как по песку, не поднывая клювом ни одной соринки. Тогда Колька не поленился, опустил в каюту за пшеном, которого никогда не ел сам, мечтая уберечь до возвращения на берег. Но шторминка не обратила никакого внимания и на крупу, попрежнему трудно переходила с места на место, волоча за собой по палубе распластанные крылья и не закрывая полуоткрытый клюв.

— Значит, больная, — решил Колька, сгребая обратно пшено в ладонь.

— Ничего не больная, — с раздражением заметил Тихоныч и покривил лицо от досады. — А просто она знает, чего ей полагается и чего не полагается.

— Такое маленькое творение, вроде воробья, а знает что-то такое, чего не можем знать даже мы, — с робким уважением произнес Гарасим.

— Конечно, она знает больше, чем человек, — подтвердил Тихоныч. — Барометр, и тот ошибается. А она никогда. Коль скоро прилетела к нам на судно, не ждите от погоды ничего хорошего, глядите в оба.

И он отдал распоряжение звену приготовиться к самому худшему. Под его руководством на судне тотчас же закипела небывалая возня. Точно люди на самом деле готовились к бою.

Вспотели от работы. Выбирали у вантин слабинку. Рифили паруса. Распутывали и крепили якорные цепи. Перекалывали с места на место «немцев». Окружили особенным вниманием бочку с пресной водой...

— Тычков надает нам хороших... — предсказывал дед, все труднее ускальзывая с помощью руля и от внезапных порывов ветра, и от чудовищных волн.

— Конечно, — говорил он. — Лучше всего сейчас нам было бы стать на якорь. Но тут глубоко, наших цепей нехватит. Пробежим еще...

Птичка-шторминка сидела на палубе, как всегда, спиной к людям, носом к внутренней обшивке борта, высоко нахохлившись плечи и расстелив по полу крылья. Один из обломков холодной волны, то и дело залетавших на судно, упал на птичку, смыл ее с места, смял, после чего она перестала даже быть похожей на птичку. Как больная крыса, ползком, на брюхе, добралась до борта, уткнулась носом в уголок между обшивкой и шпангоутом и там затихла.

— Уходи, дура, оттуда, а то опять залет, — сказал Колька и хотел отнести ее в другое, более защищенное место.

— Не трогай, не трогай, — строго остановил его старик. Ей уже ничего не нужно. Все равно она спасать себя ничем не даст. Она сознает, что сделала свое дело, долетела до моряков, дала им весть, и что теперь ей полагается только умереть.

Птичка долго не сходила с места, и об ней на некоторое время забыли. А когда вспомнили, Колька поднял с того места, в уголке, где она в последнее время сидела, ее холодный, заочневший трупик.

— Не то, что жиру, на ней даже мяса нет, — подробно обследовал он трупик, даже понюхал его. — А легонькая какая, как порожняя внутри.

— Далеко, далеко пришлось лететь бедняжке к морякам, очень изморилась, вот и исхудала, — растроганно, с благодарностью, помянул дед покойную.

И перекрестил себя маленьким, никем не замеченным крестиком, одними пальцами, вокруг одной пуговицы на груди.

## XXVI. „Чамра“. „Рваная шапка“. Качели „гигантские шаги“

А перед вечером, вместо моряны с зюд-остовыми волнами, снова задул норд-вест, пригнавший с севера несметные полчища собственных волн. И теперь волны шли оттуда и оттуда; одни в лоб другим; встречались в открытом море, со всего разбега сталкивались, вступали в яростную борьбу; с воем, свистом, плеском вздымали к небу белые хоботы. На чью сторону клонилась по-

беда, на сторону ли зюд-оста или норд-веста, невозможно было определить. Побеждали где зюд-остовые волны, где норд-вестовые. И на очищенном для себя широком просторе волны-победительницы, распустив длинные, гладкие хвосты, вольно катились, одни — на север, другие — на юг. И в крепнувшем ветре хвостатые волны эти росли. И долго еще они не имели ни определенного направления, ни стройных параллельных рядов, а продолжали расползаться по всему морю в беспорядке в разные стороны, как выпущенные на свободу чудовищные змеи, с высоко поднятыми над водой головами, бесплодно рыскающими, кого бы сожрать.

Суденышко, вдруг ставшее крошечным, по сравнению с водяными валами, заметалось, закрутилось, забросалось, между разными ветрами, между разными волнами.

Командующий голос Тихоныча разносился, как на войне. Чувствовалось — каждое неисполненное его приказание несет всем гибель...

Ветер, казалось, тоже налетал и оттуда, и оттуда; стрелял в полотнищах парусов и так, и этак; трещал в сухой древесине негнущихся мачт, валя их то на ту сторону, то на эту; свистел в вантах; скрипел в блочках; как орел, на-лету выхватывал с палубы все, что попадалось под руку; врывался бешеным вихрем и в нижние помещения, обыскивал и там все уголки. Рвал с гребней расползающихся волн громадные клочья воды, дробил их в дождь, швырялся им, как гремящим горохом, и по надутым парусам, и по бортам судна, и по палубе, и по проолифенным спецодеждам рыбаков...

Вскоре к этим соленым брызгам, взрывающимся снизу, присоединились брызги дождя, больно секущие сверху. А на судне и без того все было мокро: и вещи, и люди; и до этого со всего текло — и с вещей и с людей.

Об еде не думали; не кипятили и чай; а без табака не мог обойтись ни один. Но никакая спецодежда не спасла бы спички в кармане от сырости, и, чтобы закурить, приходилось, со всякими предосторожностями пролезать в собствен-

ную каюту, как во вражеский стан, — один закуривал там для всех.

Водяная пурга закрыла морские дали. Горизонты сузились вокруг лодки до маленького кружочка. И Тихоныч, зрение которого — только зрение — в последние годы стало сдавать, с мучительным напряжением всматривался во все, что происходило вокруг, — в небе, в море, в ветре, в волнах.

— Как бы не ударила нас «чамра»! — чтобы перекрыть вой стихий, изо всех сил прокричал со своего места Гарасим, угадав тайную тревогу старика.

— Нет! — отозвался с кормы дед таким же далеким-далеким криком. — «Рваная шапка» навряд успеет нас сегодня поймать! Станем на якорь!

— Б-бух! — ударил в этот момент неожиданный порыв ветра и в паруса, и в корпус судна с такой силой, что казалось, навсегда пригвоздил их к месту.

Судно остановилось, легло набок и затрепетало обоими парусами над самой водой, как подстреленная птица.

Однако дед в ту же секунду поставил его обратно на киль и каким-то чудом погнался еще быстрее, точно озлившись в пылу борьбы.

Море и дед — две стихии, две одинаково серьезные силы, два равных противника — встретились в решительной схватке. Кто кого? Пощады от другого не ожидала ни одна сторона.

— Получила? — с хищным поблескиванием глаз, казалось, говорил дед, когда иной водяной вал, иная водяная стена вместо того, чтобы обрушиться на крохотное суденышко и подмять его под себя, вдруг, точно свергаясь в пропасть, прокатывалась с шипеньем мимо, была изо всех сил впусую. — Получила?

А море в ответ посылало против деда все новые и новые удары...

... Внезапно налетевший короткий норд-вестовый ураган поставил остатки зюд-остовых волн на дыбы; закрутил их гребни высокими пенистыми вихрями; на момент закрыл ими перед глазами все; ударил, как из пушки, по суденышку...

— «Чамра»!!! — сквозь вой стихий, слышался приглушенный выкрик Гарасима, с его поста, под грот-мачтой.

— «Рваная шапка»!!! — еще большим испугом прозвучало с того места, где находилась вахта Кольки, под фокком.

— Роняй паруса!!! — в то же мгновение мужественно скомандовал старик, и сам рванулся было белой бородой вперед, к парусам, но, последними тремя десятками лет прикованный к рулю, не изменил моряцкой дисциплине и остался на своем месте.

Передний, меньший парус, распластавшись всем своим полотнищем параллельно поверхности моря, щелкая, как пастушеский бич, скатился, вместе с ре-ей по фок-мачте вниз, на палубу. Задний, больший, на полсекунды «заело» в блоке на макушке грот-мачты, и, воспользовавшись этим моментом, в него успела ударить лобовым ударом «чамра», или «рваная шапка». С мягким хрустом, как при вырывании исполинского зуба, переломилась у самого своего корня грот-мачта и, спустя мгновение, промелькнула свежим изломом вместе с парусом где-то на вершине волны, отдельно от судна. Перевернутое вверх килем судно, как всплывший труп издохшего чудовища, закружилось на месте, в водовороте борющихся друг с другом волн, норд-вестовых с зюд-остовыми, потом, под учащенными толчками победившего норд-веста, медленно поплыло — обратно тому направлению, которым плыло раньше, на этот раз и по попутному ветру, и по попутным волнам. Порожня бударка, не имеющая собственной воли, потащилась на длинном буксире за судном, верная ему до конца. Легонькая, двухносовая, едва прикасающаяся к воде, она следуя за судном, отчаянно билась в воздухе, как птица на привязи, в белых оглушительных взрывах волн, в разбойничьем посвисте норд-веста...

Первым ухватился могучей рукой за корму бударки, точно за собственную карету, Тихоныч, вдруг вынырнувший возле нее из воды, с разъяренным лицом, с потоками морской воды в зеленоватоседых волосах головы, бороды, оставивший в недрах воды теплую шапку и как-то ухитрившийся сорвать с себя ватную одежду. Старик не испугался, а рассер-

дился. И мир прежде всего услышал из его уст крепкую моряцкую брань. Потом — словно брань его подействовала — на одном борту бударки показалась, на своей толстой шее, круглая, наголо-выбритая, литая голова Гарасима, пыгающегося обуздать вертлявую бударку и взобраться в нее. Оба среди открытого моря вцепились руками в крошечную лодчонку с такой силой, на которую способен только человек, взявший за горло свою смерть. Двум богатырям попалась в лапы их собственная смерть, — можно себе представить, что они с ней проделывали. Ни «чамра», ни «рваная шапка», ни зюд-остовый шторм, ни норд-вестовый ураган, ничто не в силах было бы оторвать руки двух старых морских волков от хрупкой дощатой лодчонки, захваченной ими в свои предсмертные объятия.

Через несколько минут от зюд-оста не оставалось и следа. Над взлохмаченным морем дул чистый, розный норд-вест. В воздухе резко похолодало. И вместо недавнего дождя над морем густым, слышимым роем кружились крупные, белые хлопья снега. Но сколько их ни сыпалось на воду, суровое вечеряющее море ничуть не делалось от этого ни светлее, ни светлее.

Из перевернутого судна в момент аварии выпали в море два больших якоря, оба тяжелые, о четырех лопастях. И опрокинутое вверх килем судно с двумя отвесно свисающими с него в воду якорными цепями, как с двумя длинными подводными щупальцами, долго плыло по норд-вестовым волнам. Наконец якоря где-то достали морского дна, легли на него, проползли несколько десятков сажень, пока не вонзились лопастями, как занозами, глубоко в грунт, и судно остановилось. Теперь волны не несли его больше, а перекатывали через него, как через неподвижный островок. Бударка стояла на некотором расстоянии и непрерывно дергала за буксирный канат, точно пыталась вернуть к жизни парализованное судно. Находившиеся в бударке Тихоныч и Гарасим быстро подтянулись за канат к остановившемуся судну, чтобы, пока не стемнело, узнать, в каком оно состоянии.

Держась руками за железную полосу киля, два человека сидели рядом на скользком днище опрокинутого подчалка, без шапок, босые, в одном нижнем белье. С обоих потоками стекала вода; мокрое белье, как пластырь, облипало и стягивало все тело...

— Где же Колька? — уже в который раз повторил Гарасим вопрос, больше всего волновавший обоих. — Утонул?

— Но утонуть без причины он тоже не мог, первый в нашей Кукше пловец, — сказал Тихоныч.

— А продержись он хотя минуту на воде, мы бы непременно его увидели, — ломал голову над разными догадками Гарасим.

— И все-таки он пропал, — приходил к заключению Тихоныч. — Погиб, только не знаем, как. Может, сломанной мачтой расшибло человеку череп, и он сразу пошел ко дну. Может, ногу захватила петлей якорная цепь. Может, запеленал парус. Или запутался в сетях. Могли и «немцы» задавить, это тоже бывало... Все могло быть.

Не переставая думать о Кольке, они старались разрешить и свой личный вопрос, где им удастся подольше продержаться в ожидании какой-либо помощи, здесь ли, на перевернутом судне, или на бударке.

— Но какая тут может быть помощь... — плохо верил Гарасим в собственное спасение. — Главное дело — приближается ночь, и все рыбацкие суда уже стали в море на якоря...

— Случаи разные могут быть, — твердил свое Тихоныч.

Волны разной силы, с разными промежутками, одна за другой набегали на стоявшее на двух якорях опрокинутое судно и то вдруг высоко обнажали его корпус, тогда с него и с сидящих на нем людей, как со скалы, стекала вода; то глубоко погружали его вместе с людьми в воду, тогда на месте судна торчали только два человека, вернее, их головы. А иногда их так глубоко накрывало волной, что они выпускали из рук киль и держались на месте в плыв, ожидая возвращения судна из глубины обратно. В один из моментов, когда они сидели на киле, вцепившись босыми ступнями в

днище судна, оба вдруг почувствовали под своими ногами сперва какую-то возню, потом настоящий, деловой стук, как будто под судном энергично работали молотком.

— Колька! — вскричали оба.

И они таким манером забарабанили в доски днища жесткими пятками, чтобы он без труда догадался, что это сигнализируют ему. Он тотчас же ответил им оттуда таким стуком, который красноречивее всяких слов сказал им о том, что для парня дорога буквально каждая секунда и что с помощью ему нельзя медлить. Так загучал бы вероятно еще только человек в крышку гроба, если бы вдруг обнаружил себя в земле заживо похороненным.

Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что это был Колька. Находясь с момента аварии в одном из отделений трюма, он колотил там каким-то орудием, очевидно делал попытки пробить дно судна и вырваться из-под воды на воздух.

Напряган мысль и вспомнили о валявшемся на дне бударки железном «тимляке», которым багрят пойманную белугу. И в промежутках между каждыми двумя волнами отчаянно прорубали железным багром дно судна, хотя и очень старое, но крепко проконопаченное и осмоленное. Одной смолы оказалось почти на полчетверти.

Забота о срочном спасении товарища отодвинула в сторону мысль об угрожавшей им самим наименьшей опасности.

— Смотри, бей между шпангоутами, — напомнил дед Гарасиму, сделавшему «тимляком» первый удар.

Работали по очереди.

Один взмахивал тимляком, как топсом, другой в это время поддерживал товарища на слишком скользкой опоре и зорко следил за волнами.

— Держись! — предупреждал второй и крепче держал в своих руках первого, когда видел надвигающуюся на них особенно сердитую волну. — Стоп! — командовал он, когда находил необходимым на момент вовсе приостановить работу и заняться собственным спасением от какого-нибудь «девятого вала».

Обоих корчило от мороза, поэтому каждый с мучительным нетерпением ожидал своей очереди погреться работой багром.

Тугими бинтами сковало тело заледевшее на них белье. Сперва один, потом другой, молча посрывали они его с себя, по отдельным лоскуткам, и остались совершенно голыми. Как нарочно, сейчас же не укарауленный ими «девятый вал» мягко прошелся своей высокой толщей поверх днища судна и с ног до головы искупал обоих.

— Не упусти тимляк!

Но после морозного, режущего норд-веста ледяная морская вода показалась им теплой, и они перестали остерегаться ее.

Двое работали сверху, третий снизу.

Еще один энергичный удар багром, и внутрь судна наконец провалился кусок вырезанной ими доски, размером с голову. Через образовавшееся квадратное отверстие из утробы судна с шумом вырвался наружу столб спертого воздуха, едва не сдунувший обоих. И вслед за этим оттуда, как из скворешни, высунулась голова Кольки. Они даже не успели разглядеть его лица, когда подоспевшая волна заставила Кольку снова спрятаться в его подводное убежище.

— Спасайте... — все же успел он взмолиться судорожным голосом, вернее не голосом, а всем своим вывернутым наружу нутром.

После того, как из трюма через пробитую дыру вырвался воздух, судно село в воде еще глубже. И это сразу ухудшило положение всех троих. Теперь уже самая ничтожная волна, и та считала своим долгом прогуливаться по тинистому днищу судна.

Голова Кольки еще несколько раз высывалась из зиявшего отверстия. И каждый раз, сузив до невозможности голые плечи, Колька делал нечеловеческие усилия высверлиться сквозь узкую дыру наружу. Видя муки парня, слыша его стоны, Тихоньч и Гарасим удесятерляли энергию, с которой работали над дальнейшим расширением отверстия.

— Убери голову! — командовал Кольке Тихоньч, замахнувшись над отвер-

стием тимляком.—Убери пальцы! Пальцы, пальцы береги!

С каждой минутой, с каждой секундой работать становилось труднее.

Мороз к ночи усиливался. И обнаженные тела работающих, обливаемые волнами, осыпаемые снегом, в непрерывно свистящей струе норд-веста покрывались со стороны ветра ледяной коростой. У Гарасима вскоре перестало сгибаться левое колено, он держался на левой ноге, совсем как на деревяшке, и во время плавания приходилось действовать одной правой. А что, как занемет сейчас и эта правая? Сгущающаяся темнота заставила Тихонича вовсе отказаться от плотницкой работы после того, как он — по слабости зрения в вечернее время — ударом тимляка разорвал Кольке ушную раковину. А судно все больше отдавало из-под себя воздух, из каких-то своих сокровенных помещений, долгое время оставшихся сухими, и все глубже оседало в воду.

Одна небольшая волна осторожно взяла с судна за подмышки обоих и бережно отнесла их на себе далеко в сторону от судна.

— Куда плыть? — строго спрашивал неунывающий старик, не различая в полупотемках ничего, когда они вдвоем плыли обратно к судну.

— На вест-норд-вест! — отвечал Гарасим, плывущий где-то тут же и шумно выхаркивающий из рта соленую воду.

— А не на чистый вест? — исправлял Тихонич ошибку своего зрячего товарища. — Смотри, держи на чистый вест! А то проплывем мимо!

Второе такое же трудное возвращение из потемок в плывь к судну понудило обоих решиться бросить судно и окончательно переключиться на бударку.

— Теперь спастись можно только на ней.

— Тимляк у тебя?

— Нет. Взят той волной...

Действуя четырьмя руками, с неимоверной быстротой выбрали они к себе на судно всю буксирную веревку, — она вся так и прилетела к ним, легкая, как воздушная. Но бударки на ней уже не

было; на ее месте оказался только перетертый волнами измочаленный конец веревки...

Это лишило возможности двоих покинуть третьего и привязало их к нему уже до конца.

Но его голова что-то очень долго не вылезала из своей ловушки. А может быть, и вовсе не долго. Они никогда не сумели бы ответить на этот вопрос.

Огнеси их теперь в сторону новая волна, они в темноте уже никак не смогли бы отыскать свое судно. Это заставило их наглухо прикрепить себя к нему.

На одном конце буксирной веревки накрутили большой узел, подобие футбольного мяча, только пошире, и с громадными усилиями пропихнули его в квадратное отверстие, сделанное для Кольки. Мяч, попав под днище судна, несколько распялился там на свободе и потом плотной пробкой крепко застрял в проходе. Другой конец каната разделили между собой поровну, на две части, и каждый обмотал своей долей голое туловище. Первая же — «пробная» — волна взяла их за подмышки, подняла над судном, хотела отнести за собой, но, не осилив прочности буксирного каната, ушла ни с чем. И задеревяневшими ногами со сведенными судорогой пальцами они вскоре снова нащупали под собой зыбкое днище судна. И это повторялось много раз. В подобных кружениях вокруг неподвижной оси двух человек, обмотанных в талиях веревками, было что-то напоминающее катанье на качелях «гигантских шагах».

Два человека, крепко привязанные буксирным канатом к затонувшему судну и друг к другу, еще крепче были привязаны судьбой к третьему человеку, находящемуся где-то тут же, у них под ногами...

... Оба не заметили, как быстро нагнулась на них долгая, предзимняя, морская ночь. И в тесно зажавшей их со всех сторон тьме они уже видели только черные лица друг друга, только блестящие незнакомых, чужих, неизвестно что замышляющих глаз.

## XXVII. „Я говорил!“

— Ты слышишь? — вдруг жадно вострепнулся в темноте и спросил прерывающимся от волнения голосом первый человеческий силуэт, обращаясь ко второму, в такой же скрюченной позе застывшему рядом, на днище перевернутого судна.

— Ты видишь? — в тот же момент обратился к первому внезапно оживший второй и, точно хищник, завидевший добычу, всей своей задрожавшей фигурой нацелился в какую-то далекую точку.

В промежутках между усталыми уханьями далеких и близких волн явственно слышалось так хорошо знакомое обоим глухое отстукивание судового мотора, похожее на долгую, непрерывную дробь барабана. Одновременно с возникновением этого стука в непроглядной тьме вдруг замаячили маленькие, едва приметные желтые огоньки. Огоньки неравномерно и вяло покачивались в черной пустоте, сразу все, точно фонарики, посаженные на рога одного и того же чудовища, медленно бредущего в темноте.

— Судно! Большое судно!

Барабанная дробь усиливалась, значит, тяжелое чудовище не удалялось, а приближалось к ним. А судя по числу и расположению фонариков на его широких рогах, оно по счастливой случайности держало курс прямо на них.

И Тихонычу так захотелось по-мальчишески крикнуть своему более малодушному товарищу:

— Я говорил!

Но опыт долгой моряцкой жизни все же остановил его от этого.

Гарасим тоже был бы рад сказать что-нибудь, все равно что, лишь бы повеселить себя собственным голосом, да почувствовал — перехватило глотку.

И оба они молчали, стояли в выжидательных позах, собирали в себе последние силы, когда вдруг и третий, Колька, с небывалой силой неожиданно заколотился у них под ногами, отчаянно завозился в своем пловучем гробу, словно рыбацко-моряцким инстинктом тоже почуяв маящую близость спасения.

И тотчас же для всех троих время потянулось с ужасающей медленностью.

— Го-го-гоо!!! — разорвал немоту ночи могучий, с хрипотцой, голос деда, когда наконец черная тень рогатого чудовища с фонариками заколыхалась на воде совсем близко от них.

— На мо-то-ре!!!

— Есть на моторе! — с матросской суровостью отозвался из морозной темноты озябший вахтенный судна.

Черная громада судна приостановила ход; неуклюже повернула высокий качающийся нос прямо на них; застопорила машину. И сделалось так странно-пусто для слуха рыбаков, когда внезапно оборвалась гулкая дробь мотора, уже казавшаяся им вечной...

# Наука и жизнь

## НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. Е. ЛЬВОВ

### 1. „Дсѣтсрий“, „тритий“, „три-гелий“

Никогда еще так усердно не бомбардировали ядра атомов, как весной и летом 1934 г... Никогда еще атомным пушкам, то-есть, трубкам с разреженными газами, поддерживаемым под высоким вольтажем, не придавали столь огромные, иногда превосходящие человеческий рост, размеры. Никогда еще на атомы не обрушивалось сразу и без передышки столько протонов и дейтонов, столько альфа-частиц, как в излагаемых дальше опытах Лауритсена и Крэнна в Америке, Курчатова и Синельникова в СССР, Жолио и Кюри во Франции, Резерфорда и Олифанта в Англии.

Что специфически-новое отличает эту последнюю диверсию физики в глубоких недрах вещества?

Бомбардировали ядра и раньше. Ударяя быстрыми и тяжелыми корпускулами, откалывали от ядер их составные части, загоняя «снаряд» внутрь ядра, добивались, наоборот, усложнения его строения. И в том, и в другом случае констатировали превращение одного атомного ядра в другое, превращение одного известного (числящегося в периодической таблице Менделеева) элемента в другой, столь же известный элемент.

Азот превращали в кислород, бор — в углерод, фтор — в натрий.

Это было осуществление старой мечты алхимиков, пусть пока еще в практиче-

ски слишком малом, но во всяком случае во вполне реальном масштабе.

Так было. Но летом 1934 года это уже пройденная ядерной физикой ступень. Речь идет в настоящее время уже не только о превращении одних имеющихся в природе химических элементов, но и об изготовлении — по заказу теории — таких веществ, которых в естественных условиях вообще в природе нет. Речь идет о не снизшейся алхимикам возможности создания — по плану, выработанному человеческим гением, — совершенно новых качественных форм материи.

Центр тяжести переживаемого сейчас физикой исторического момента здесь! Центр тяжести — в совершающемся на наших глазах переходе физики за тот рубеж, когда пассивное изучение глубоких недр атома сменяется активной творческой переделкой материи человеком.

Есть аналогия между этими событиями крупнейшей важности и теми смелыми предприятиями, которые осуществляются сейчас на другом участке материалистического естествознания. Старая биология занималась систематикой животно-растительных видов, распределяя их по типам, классам и родам старика Линнея. Новая генетика, действуя скрещиванием и прямым воздействием рентгена, создает новые, не существовавшие в природе виды животных и растений, с успехом выполняя функции, вакантные

после упразднения должности творца вселенной.

Старая химия, столь же пассивно ограничивавшаяся рассортировкой химических элементов по клеткам менделеевской системы или — как наибольший свой триумф — занимавшаяся поисками недостающих элементов, то-есть заполнением пустых мест таблицы, — эта химия дополняется сейчас ядерной физикой, выходящей уже за пределы классической, заполненной «доотказа» системы Менделеева. Обе последние, оставшиеся незанятыми клетки: «85» и «87» укомплектованы в 1932 г. элементами, спектроскопически найденными Харкинсом и Брашем.

Значит, задача может заключаться теперь лишь в «сотворении» физикой новых атомов. Задача должна заключаться в создании новых химических элементов-монстров, не уместяющихся уже в разграфленной на квадратики менделеевской плоской таблице, но представляющих как бы боковую, перпендикулярную пристройку к ней.

Как это возможно?



Атомные ядра, как хорошо известно читателю <sup>1)</sup>, построены из положительно заряженных протонов и из ненаэлектризованных вовсе нейтронов. Количество протонов (от 1 до 92 штук) в ядре, как также известно, определяет химическую физиономию соответствующего элемента <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> См. нашу статью «В недрах атомного ядра», в кн. 5 «Нового мира», 1933 г.

<sup>2)</sup> Происходит это потому, что химические свойства элемента определяются числом электронов, находящихся во внешней оболочке его атомов (которая только и участвует в химических реакциях). Электронов же в атомной оболочке сгущается под действием электрического притяжения к ядру очевидно ровно столько, сколько единиц содержится в заряде ядра. А единиц в заряде ядра — столько, сколько там протонов. (Напоминаю еще раз, что заряд протона равен по величине и противоположен по знаку заряду электрона, и именно эта величина условно и принимается за единицу заряда.)

Но различных атомных ядер с одним и тем же числом протонов в них можно очевидно спроектировать весьма большое количество. Для этого достаточно только прибавлять к заданному числу протонов разные числа нейтронов. И в результате получаются элементы, хотя и обладающие одинаковыми химическими свойствами (так называемые «изотопы»), но все же отличающиеся друг от друга целым рядом важнейших практических признаков.

Так, атомное ядро с 19 протонами и 22 нейтронами принадлежит радиоактивному элементу «калию 41» <sup>3)</sup>. Ядро же опять с 19 протонами, но с 20 нейтронами дает элемент «калий 39», хотя химически и не отличный от предыдущего, но, во-первых, гораздо более легкий, а во-вторых, совершенно нерадиоактивный!

Таблица из 92 клеток, известная под названием периодической системы Менделеева, теряет — в итоге — свое прежнее значение списка 92 единственно возможных в природе химических элементов. Как только заполнится этот список, так наступит, казалось, конец поискам новых веществ...

Но эта таблица расшифровывается как перечень 92 различных химических типов материи, внутри каждого из которых (типов) возможны самые разнообразные вариации.

Искусственно вылепляя комки из протонов и нейтронов во все новых и новых количественных комбинациях, физика и получает тогда возможность воспроизводить все новые и новые качества вещества.

Так генетик, маневрируя генами, выводит невиданные породы растений и животных, сталкивая между собой нужные свойства и творя новые признаки.

<sup>3)</sup> Для того, чтобы не вводить множества новых названий, изотопы одного и того же типа обозначают цифрой их атомного веса, которую ставят рядом с общим родовым названием элементов данного типа. Некоторым особо важным изотопам впрочем дано особое название. См. ниже.



Задача создания новых сверхлегких веществ выдвигается на первую и важнейшую очередь. Легчайшими газами и сверхлегкими металлами интересуется промышленность. Найти в частности облегченный вариант гелия, драгоценного невозгораемого газа, употребляемого для наполнения дирижаблей, — задача, стоящая принесения жертв и трудов.

Атомные ядра легчайших элементов, далее, представляют собою готовые снаряды для бомбардировок по атомам. (Тяжелые ядра не годятся для этой цели, так как их положительный заряд велик и «снаряды» слишком отталкиваются тут электрическими силами от мишени, чтобы раздробить ее.)

Наконец, простота устройства легких ядер помогает дальнейшему углублению внутрь строения материи, помогает распутывать на простейшем плацдарме детали тех сложных явлений, которые протекают внутри ядра.

Старая периодическая система не давала особых просторов в этой области. Два легчайшие элемента знала эта система: первый — с атомным весом 1, второй — с атомным весом 4. Водород и гелий. Свободных мест между ними нет. Элементы с атомным весом 2 и 3 — невозможны?

Ядерная физика открывает сейчас доступ к ним.

Ядро обычного водорода состоит из одного протона. Ядро простого гелия — из двух протонов и двух нейтронов.

Отсюда уже прямо видно, что новые комбинации протонов и нейтронов с итоговым весом, меньшим 4, вполне возможны. Возможно спроектировать элементы, промежуточные между водородом и гелием, и вот их чертежи.

Во-первых, ядро из двух протонов. Оно должно дать начало химическому элементу типа гелия (потому что ядерный заряд тут + 2), но с атомным весом не 4, а 2. «Гелий 2»! Навряд ли имеются однако большие шансы на его искусственный синтез. Два одноименно заряженных протона, по из-

вестному закону, отталкиваются друг от друга, и сцепить их в одно ядро представило бы задачу достаточной трудности.

Совсем иное дело — ядро из одного протона и одного нейтрона. Протон и нейтрон, очутившись рядом, энергично притягиваются друг к другу, — факт, вполне установленный рядом косвенных и прямых данных. Химический элемент, имеющий возникнуть в этом случае, обладая опять атомным весом 2, будет принадлежать уже к химическому типу водорода, а не гелия.

Естественность образования комбинации протон + нейтрон делала, повторяем, весьма вероятным существование элемента «водород 2» в природе. И этот элемент действительно существует! Обстоятельства его открытия подробно излагались уже на страницах «Нового мира»<sup>1)</sup>. Два года прошло, напомню, с тех пор, как американские физики Урэй, Брикведд и Мёрфи, подвергнув тщательному исследованию промышленный водородный газ, нашли в нем следы присутствия «водорода 2», примешанного в средней пропорции 1 : 5.000. В текущем 1934 году физики научились уже быстро и четко, в любых нужных количествах выделять тяжелый водород в чистом виде.

Новое вещество выпускается с января с. г. американской химической промышленностью на рынок по сравнительно умеренной цене: 5 долларов за кубометр 100-процентного газа. Приобретающие все больший размах эксперименты с «тяжелой водой» (см. ниже) форсируют спрос на «водород 2» со стороны химических, медицинских и биологических лабораторий мира.

Этим фактом впервые в истории науки ядерная физика выходит непосредственно на арену народного хозяйства — на промышленную, практическую арену. Профессиональные скептики, покровительственно отдававшие дань остроумию алхимических операций

<sup>1)</sup> См. «Научное обозрение» в кн. 11 «Нового мира», 1933 г.

современной физики, но всегда выражавшие сомнения по поводу практической ценности этих операций, теряют свое оружие... «Водород 2», этот спланированный на кончике пера ядерной теории и вышедший прямо из протонно-нейтронной «кухни» на заводы химической промышленности элемент является и впрямь первым взносом современных алхимиков в область практической жизни!

Отметим разногласия, возникшие по поводу названия нового вещества. Все сходится на том, что «водород 2» (сокращенно:  $H_2$  или  $H^2$ ) — слишком длинное и неудобное название.

Д-р Урэй и его американские сотрудники, впервые нашедшие двойной водород, предлагают назвать его «дейтерием» (химический значок— $D$ ). Обычный же «водород 1» переименовывается, в связи с этим, в «протий». Отвечающие противу и дейтерию атомные ядра — соответственно — «протон» и «дейтон».

Англичане во главе с Резерфордом гурьбой стоят за другие названия. Простой водород в английском варианте продолжает именоваться водородом, тяжелый же получает название «диплоген» (соответствующая частица — «диплон»). Физические журналы Европы и Америки заполнены нескончаемой полемикой между «дейтеристами» и «диплогенистами». Несомненно, этот затянувшийся спор свидетельствует лишь о запасе неистощимой жизнерадостности, присущей современной ядерной физике, искренно тешащейся первыми шагами своего детища, едва вышедшего из лабораторной «реторты»...

\*\*\*

Следующая по очереди новая и легчайшая атомно-ядерная комбинация: протон с двумя нейтронами. Опять — ядро с единичным положительным зарядом, опять вещество водородного типа. Да, водород, но уже не в два, а в три раза более тяжелый по сравнению с обычным, — «водород 3». Следуя избранной ими номенклатуре, американцы

окрещивают его «третий» (соответствующее ядро — «тритон»)!

Существует ли подобное вещество в природе? 15 марта американские физики В. Блэки и А. И. Гуд публикуют сообщение, гласящее, что после многократного исследования нескольких литров 100-процентного дейтерия удалось констатировать присутствие в нем следов трития, примешанного в пропорции 1 : 50.000.

Но сам дейтерий («водород 2») примешан к обычному водороду, как только что сказано в доле 1 : 5.000. Таким образом, концентрация «водорода 3» в промышленном водородном газе должна быть равна 1 : 5.000  $\times$  50.000. Иначе говоря: 1 часть сверхтяжелого тройного водорода на 250 миллионов частей водорода простого! Столь чудовищно малая концентрация, по мнению д-ра Урэя, сделает в высшей степени нерентабельной производство чистого трития путем выделения его из естественного водорода. Стоимость нового газа должна будет составлять здесь не меньше миллиона долларов за кубометр!

Но если затруднительно добывать тритий из естественных его источников, то нельзя ли попытаться изготовить соответственное атомное ядро искусственным, синтетическим путем?

Только 2 недели проходит после сообщения Блэки и Гуда, и 31 марта на страницах английского «Nature» мы уже имеем историческое сообщение Эрнеста Резерфорда и его молодых учеников.

Англичане действовали по заранее обдуманному плану!

Что получится, если столкнуть два ядра тяжелого (двойного) водорода: два «дейтона» или, как предпочитают говорить англичане, два «диплона»? Склеившись вместе, эти две частицы должны дать комоч из двух протонов и двух нейтронов, то-есть ядро обыкновенного гелия. Получившееся ядро будет однако не совсем похоже на гелиево. Точная масса одного дейтона равна 2,0136. Масса комка из двух дейтонов тогда  $2 \times 2,0136 = 4,0272$ . Масса же ядра гелия — 4,0022. Получается избыток массы в 0,0025 единицы... Но всякое количество массы вещества, как из-

вестно, пропорционально количеству заключающейся в нем энергии. Избыток массы (у двухдейтонного комка) должен, таким образом, заранее свидетельствовать о том, что этот комочек обладает избытком внутренней энергии по сравнению с гелиевым ядром. Но это ядро устойчиво. Комочек же из двух дейтонов должен быть тогда взрывчатым, неустойчивым куском вещества, способным к самопроизвольному распаду с выделением всей содержащейся в нем избыточной энергии.

Спрессовав два дейтона в один кусок, следует ожидать, в итоге, немедленного разрыва этого куска на части. Если одной из таких частей будет протон, то на долю другого обломка придется два нейтрона плюс один протон. А эта комбинация как-раз и дает ядро трития! Имеющая выделиться в момент разрыва весьма значительная энергия (см. выше) погонит оба неравные друг другу обломка с разными скоростями, что позволит немедленно отделить их на опыте.

Подсчет баланса энергии, в частности, показывает, что образовавшиеся на месте удара прогоны получают толчок, позволяющий им пробежать по инерции путь около 15 сантиметров в воздухе. Более тяжелые же ядра «водорода 3» («тритоны») будут иметь максимальный пробег в 1,7 сантиметра.

Операция была начата.

В качестве содержащей дейтоны мишени Резерфорд и его сотрудники Олифант и Хартэк взяли порцию всем известного нашатырного спирта (химическая формула  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ). В состав молекулы нашатыря входят, как видно из его формулы, помимо азота и хлора, четыре атома водорода. Но к обычному водороду всегда примешан, как мы видели, в пропорции 1 : 5.000 тяжелый водород — «дейтерий». Значит, и на каждые 5.000 молекул нашатыря должна приходиться в среднем одна такая молекула, в которой простой водород замещен дейтерием. Подвергая нашатырь спирт специальной обработке, Резерфорд, Олифант и Хартэк могли еще более увеличить процент содержания в нем D-атомов.

Оставалось обстрелять этот обогащенный тяжелым водородом (и, следовательно, дейтонами) нашатырь потоком дейтонов.

Все остальное разыгралось по нотам. Бомбардирующие дейтоны сталкивались сразу с дейтонами, входящими в состав нашатыря. Двухдейтонный комочек разламывался на части. В пространстве вблизи мишени Резерфорд, Олифант и Хартэк простым глазом (по вспышкам, даваемым частицами при ударе о сернисто-цинковый экран) немедленно обнаружили громадные количества протонов, мчавшихся с большими скоростями и пробежавших 14 сантиметров в воздухе. Среди них были явственно замечены частицы, с зарядом, равным протонному, но останавливавшиеся на расстоянии 1,7 сантиметра от мишени.

Это были ядра тройного водорода — «тритоны»!

Рекордный выход энергии соответствовал всем ожиданиям.

При ускоряющем напряжении электрического поля в 100 000 вольт общая энергия частиц, испущенных нашатырем в процессе бомбардировки дейтонами, ровно в 3.000 раз больше той энергии, которую несут с собою сами бомбардирующие дейтоны. Внутрядерная энергия, освобождающаяся при взрыве комка из двух дейтонов, иначе говоря, составляет 300 процентов энергии, затрачиваемой экспериментаторами на производство этого взрыва.

Мы остерегаемся предвосхищать дальнейший ход событий, но процедура бомбардировки тяжелого водорода ядрами тяжелого же водорода (дейтонами) обещает по многим признакам оказаться одною из тех процедур, которые в будущем изменят техническое лицо планеты.



«Гелий 2», «водород 2», «водород 3», — исчерпывается ли этими возможностями (две из них — уже совершившийся факт) искусственное приготвление новых сверхлегких элементов?

Эти три комбинации были равносильны, напоминаю, следующим сочетаниям протонов и нейтронов в атомном ядре: 1) два протона («гелий 2»), 2) протон с нейтроном («водород 2»), 3) протон с двумя нейтронами («водород 3»).

Раз так, тогда остается нерассмотренным еще одно, четвертое по счету сочетание — нейтрон с двумя протонами. Сочетание, долженствующее дать ядро типа гелия с массой 3 и зарядом 2.

В тот момент, когда пишутся эти строки, и это последнее недостающее звено материи между водородом и гелием может считаться найденным, и притом сразу по двум различным путям.

Ядро «гелия 3» (или «три-гелия») можно было попытаться искусственно вылепить, во-первых, бомбардируя протонами легкий металл литий. Тот металл со средним атомным весом, близким к 7, который выпускается химией под названием лития, представляет собой, точнее говоря, смесь двух изотопов: одного с атомным весом 7, другого — 6. Ядра «лития 6» построены из трех протонов и трех нейтронов. Вобрав в себя один протон, ядро «лития 6» должно превратиться в комок из 4 протонов и 3 нейтронов. Дальше можно было бы ждать распада этого комка на три осколка: на один нейтрон и на два куска по два протона с нейтроном в каждом. Эти два последние осколка и дадут ядра «три-гелия».

Опыты бомбардировки лития по этому плану ведутся сейчас (в мае 1934 г.) полным ходом молодыми советскими физиками И. В. Курчатовым и К. Синельниковым в Физико-Техническом институте под Ленинградом, в Лесном. Но еще не дожидаясь их окончательного результата, лаборатория Эрнеста Резерфорда сообщает об обнаружении ею следов «гелия 3» в качестве отходного продукта той самой дейтонной бомбардировки нашатырного спирта, которая привела (см. выше) к блестящей находке «третия».

В самом деле, комок из двух налетевших друг на друга дейтонов, взорвавшись, может расколоться не только на

протон и «тригон» (ядро «водорода 3»), но и на нейтрон плюс ядро три-гелия. Это легко проверить простым подсчетом. В двух дейтонах содержится 2 протона + 2 нейтрона. Если эта комбинация разобьется на два куска, из которых один — нейтрон, тогда на долю другого куска придется 2 протона + 1 нейтрон, то-есть ядро три-гелия.

В опыте с нашатырем Резерфорд, Олифант и Хартэк и наблюдали наряду с частицами «водорода 3» и протонами полет нейтронов, несших как-раз ту самую энергию, которая должна теоретически получиться при втором варианте превращения. Значит, в этом опыте фактически имеют место оба варианта дейтонных столкновений. И — одновременно с синтезом «тройного водорода» — происходит образование ядер «гелия 3».

Обнаружить эти последние ядра прямым наблюдением на опыте еще не удалось. Дело в том, что длина их максимального пробега по инерции в воздухе (в условиях опыта Резерфорда) равна всего 5 миллиметрам. И нет ничего удивительного, что на столь малом отрезке пути полет этих частиц остается пока незамеченным.



Задача, встающая перед экспериментаторами на следующий день после исторического опыта Резерфорда, заключается в том, чтобы научиться управлять ходом дейтонной бомбардировки нашатыря, добываясь в одних случаях синтеза одного только «водорода 3» (с выходом протонов в качестве побочного продукта). В других же случаях — получать только ядра «гелия 3» (с отходом нейтронов).

Осуществление этой задачи вместе с максимальным повышением коэффициента полезного действия атомных бомбардировок откроет рано или поздно путь к освоению новых химических элементов «третия» и «три-гелия» в количествах, сравнимых, быть может, с теми, в которых выпуска-

ется уже на рынок первенец ядерной физики — «дейтерий».

## 2. Искусственная радиоактивность

Искусственная радиоактивность! Само сочетание этих слов казалось чем-то вполне невысказанным еще пять-шесть лет назад.

С тех пор, как в 1895 г. Анри Беккерель впервые обнаружил странные лучи, испускаемые кусочками урановой руды, сотни и тысячи опытов были потрачены на доказательство того, что искусственное воспроизведение радиоактивного феномена никакими способами невозможно. Ход всех других физических явлений можно как-то изменять, можно регулировать, действуя температурой или давлением, или электрическими и магнитными влияниями. Одна лишь радиоактивность, то-есть последовательное самопроизвольное распадение всех атомных ядер, находящихся в данном куске вещества, не поддавалась никакому вмешательству извне. Сколько ни пытались нагревать, как ни сдавливали крупинку радия прессом высоких давлений, каким бы другим испытаниям ни подвергали ее, никогда и никому не удавалось повлиять на темп распада радия. Никогда и никто тем менее мог заставить распадаться нерадиоактивные вещества, искусственно превратив их в радиоактивные...

Этот секрет ныне находится в руках науки.



Возьмем радиоактивный препарат: соль радия, урана, тория или других родственных им веществ. Она, крупинка эта, разбрасывает во все стороны осколки ядерной материи трех сортов. Во-первых, здесь летят куски по два протона и по два нейтрона в каждом (так называемые частицы альфа), во-вторых, электроны («бета-частицы»), в-третьих, корпускулы коротковолнового света — фотоны (они же кванты) гамма-лучей.

Мы вспоминаем однако, что при обстреле любых атомных ядер тяжелыми и быстрыми корпускулами из недр раздробленных ядер вышибаются опять-таки те же самые альфа-частицы, те же самые гамма-кванты и т. д...

В обоих случаях (и в явлении радиоактивности, и в опытах атомной бомбардировки) в пространстве летят обломки распадающихся атомных ядер. Не значит ли это, что, бомбардируя ядра любого химического элемента, мы автоматически создаем тем самым феномен искусственной радиоактивности.

Дело обстоит не так. — Ибо, во-первых, специфика явления радиоактивности в том-то и заключается, что распад атомных ядер и выделение мощных потоков энергии происходит здесь безо всякого нажима, безо всякой бомбардировки, безо всякой затраты энергии извне. А во-вторых, в опытах обычного атомного обстрела происходит разрушение только тех ядер, в которые произошло удачное попадание «снаряда». Иначе тут очевидно не может и быть. И в этом заключается крупная невыгода искусственного расщепления ядер с практической стороны.

В естественном же радиоактивном веществе самопроизвольно распадаются, повторяем, одно за другим все без исключения атомные ядра.

Картина явления с удивительной точностью напоминает собою лавину в горах. Обвал одного ничтожного снежного кома увлекает в падение все новые и новые встречные массы. Потеря равновесия и «обвал» одного внутренне неустойчивого радиоактивного ядра передается соседним, столь же неустойчивым ядрам. От соседних к следующим, от следующих к третьим, и так до тех пор, пока не «рухнет» последнее ядро... Скорость распространения радиоактивной «лавины» различна для разных элементов. Мерилом ее считают то время, которое требуется для разрушения половины наличных атомов. Время это

(или так называемый «период полураспада») исчисляется миллиардами лет для урана и тория. Время это равно трем с половиной дням для радиоактивного газа нитона (редона), оно еще меньше (5 секунд) у элемента актиния и, наконец, достигает стомиллиардной доли секунды у «тория С».

Едва успев образоваться (из обломков ядер других радиоактивных веществ), элементы эти прекращают свое существование. Вся освобождаемая радиоактивной «лавиной» энергия выделяется тут на глазах у наблюдателя. Беда однако в том, что количественное содержание этих быстро распадающихся (типа нитона и актиния) элементов — ультрамикрожно. Из грамма чистого радия образуется и в каждый момент времени существует рядом с ним не более одной десятиллионной грамма нитона.

Радиоактивные же элементы, добываемые в мало-мальски больших количествах (радий, торий, уран) распадаются зато медленно, выпуская свою внутриядерную энергию «через час по чайной ложке»...

И в том, и в другом случае мечта о практическом использовании радиоактивности как идеального, работающего без всякого вмешательства человека, источника даровой энергии упирается в явный и, казалось бы, непреодолимый тупик.



Внутренняя неустойчивость, шаткость, непрочность атомных ядер, сказали мы, есть главная особенность элементов, называемых радиоактивными. Но тогда остается узнать — в чем причина этой неустойчивости и чем, собственно говоря, радиоактивное атомное ядро отличается от ядра обычного?

Взгляд на периодическую таблицу Менделеева дает руководящую нить разгадки.

Мы замечаем прежде всего, что все основные радиоактивные элементы — а именно 37 из 40 известных до сих пор — сосредоточены в самом конце системы, занимая 8 последних ее номеров: от 84-го, полония, и до 92-го — урана.

Элементы эти являются тем самым наиболее тяжелыми и наиболее сложными устроенными из всех простых веществ природы. Но не сама эта наибольшая тяжесть и сложность ядер является здесь обстоятельством, заслуживающим особого внимания.

Наиболее существенным оказывается соотношение между количеством нейтронов и протонов, входящих в состав каждого радиоактивного ядра. Число нейтронов в ядрах атомов, вообще говоря, почти никогда не бывает равно числу протонов. Лишь у девяти элементов (у гелия, углерода, азота, кислорода, неона, магния, кремния, серы и кальция) ядра в виде исключения составлены поровну из протонов и нейтронов. У всех остальных известных веществ (кроме конечно водорода, чье ядро есть просто протон) атомный вес более чем в два раза превышает заряд ядра, и, следовательно, нейтронов в ядре больше, чем протонов.

И это нейтронное «засилье» — что самое важное — прогрессивно увеличивается по мере продвижения к концу менделеевской таблицы. Так, если у элемента № 26 — железа — на 26 штук протонов в ядре приходится 30 штук нейтронов (соотношение 1 : 1,2), то у № 50 — сурьмы — это отношение поднимается уже до 1 : 1,4. Наконец, когда число ядерных нейтронов начинает отклоняться к числу протонов, как 1 : 1,5, когда, другими словами, на каждые два протона в ядре начинает приходится по три нейтрона, тогда мы имеем первый радиоактивный элемент полоний, первый случай «обвала» ядра, первый грохот радиоактивной лавины, перекатывающейся от атома к атому.

Как понять эту замечательную и немогущую быть случайной закономерность?

Мы можем понять ее, если примем во внимание те силы, которые связывают отдельные частицы внутри ядер атомов. Мы говорили уже, что протоны, обладая одноименным зарядом, резко отталкиваются друг от друга. Ядро, составленное из одних протонов (напри-

мер ядро «гелия 2», см. выше), будучи предоставлено самому себе, разорвалось бы вдребезги, не просуществовав ни одного мгновения. Немногим большую прочность должно было бы иметь и ядро, вылепленное из одних нейтронов. Нейтроны, как незаряженные частицы, не действуют друг на друга электрическими силами сцепления. Ядру, составленному из нескольких спрессованных вместе нейтронов, ничто не помешало бы развалиться от малейшего толчка извне.

Наоборот, между протонами, с одной стороны, и нейтронами — с другой, как упоминалось, существуют притягательные силы, природа которых далеко еще не ясна, но самый факт наличия которых не подлежит сомнению.

Раз так, тогда становится ясным, что ядерная постройка, включающая в себя несколько протонов, может держаться в равновесии только в том случае, если эти протоны прослоены в достаточном количестве нейтронами. Последние как бы цементируют ядерное сооружение, удерживая протоны на территории ядра. Обратно, присутствие протонов в куче нейтронов само по себе должно, силами притяжения, скреплять ее в крепкий, сопротивляющийся раздроблению комок.

И так как нейтроны все же не отталкиваются никак друг от друга, то известная прочность ядерной постройки, заранее говоря, сможет быть гарантирована еще при определенном избытке числа нейтронов по сравнению с числом протонов в ядре. Что же касается до протонов, то благодаря их активному отталкиванию друг от друга следует предвидеть, что уже малейший количественный перевес ядерных протонов над нейтронами должен вызвать взрыв и распадение ядра.

Два кардинальные важности вывода, следующие отсюда, дают ключ к загадке радиоактивности и к пониманию всех поразительных событий, развернувшихся в последние дни.

1) Ядро, в котором протонов больше, чем нейтронов, должно, как правило, быть ядром радиоактивным, то-есть способным к самопроиз-

вольному распаду с выделением энергии вовне.

2) Ядро, в котором нейтронов больше, чем протонов, может существовать в равновесии лишь в том случае, если перевес числа нейтронов не переступит определенного критического предела.

Этим пределом, как показывает опыт, и является соотношение 3:2! Ядра 40 радиоактивных элементов, во главе с радием, торием, ураном, находятся, как сказано, за этим пределом. Только 3 слаборадиоактивных вещества: самарий (ядро с 62 протонами и 88 нейтронами), рубидий (37 протонов и 50 нейтронов) и калий (19 протонов и 22 нейтрона), имеют несколько меньший, но все же вполне осязаемый перевес числа ядерных нейтронов над протонами.

Что же касается до элементов с преобладанием (хотя бы самонаименьшим) протонов в ядре, то проверка правильности предсказаний теории в этом случае до сих пор была невозможна. Ни один такой элемент не был известен до января 1934 года. Старая периодическая система не знала таких элементов. И они по всей вероятности и не существуют вовсе нормально в природе, так как, будучи сильно радиоактивными, должны распасться спустя несколько минут или, самое большее, часов...

Задача искусственной радиоактивности приобретает теперь вполне определенные очертания.

Становится ясным прежде всего, что ядерная физика располагает в настоящее время возможностью искусственного приготовления любого количества новых радиоактивных элементов в дополнение к 40 известным старым. Для этой цели очевидно достаточно вылепить (путем синтеза или перепланировки старых ядер) новые атомные ядра с достаточно большим «перегрузом» числа нейтронов над числом протонов (или, наоборот, с перевесом, хотя бы самым малым, протонов над нейтронами) в каждом ядре.

Выгоднее при этом попытаться, «вопреки природе», изготавливать ядра именно последнего типа (то-есть с преобладанием протонов), и как-раз потому, что неустойчивость подобных ядер (см. выше) должна быть особенно велика и радиоактивный распад должен идти здесь с особо мощным выделением энергии и в особо быстрых темпах.

Создание новых радиоактивных веществ, как ясно далее, принципиально возможно теперь в пределах любого химического типа элементов, в пределах любых (а не обязательно последних) из 92 клеток таблицы Менделеева. Ибо никто и ничто не может помешать спланировать «перегруженную» (то-есть радиоактивную) комбинацию из протонов и нейтронов так, чтобы ее итоговый положительный заряд (определяющий, как говорилось, химическую физиономию элемента) оказался бы равен ядерному заряду, скажем, железа или серы, или какого-либо иного, еще более легкого сочлена системы. Любому химическому элементу может быть придан, другими словами, радиоактивный изотоп.

Задачей дня является всеобщая и полная радиоактивизация материи!

За эту всемирно-историческую задачу международная физика и принимается в переживаемые дни.

### 3. „Радиоазот“, „радиофосфор“, „радиокремний“, „радиоуголь“

31 января 1934 года Фредерик Жолио и его жена Ирэн Кюри в Париже публикуют в академических «Comptes rendus» («Отчетах») свое знаменитое сообщение, облетевшее весь мир и предопределившее в значительной мере дальнейший ход работы физики в последние дни и декады.

Жолио и Кюри известили об искусственном создании им трех радиоактивных элементов, не существующих в естественных условиях в природе и спроектированных на рабочем столе ядерной физики столь же успешно, как это было сделано по отношению к трем ультралегким ядерным конструк-

циям: «дейтерию», «тритию» и «тригелию».

Жолио и Кюри взяли легкий и отнюдь не радиоактивный металл бор. Это ядро состоит из 5 нейтронов и 5 протонов. План таков: впрессовать туда альфа-частицу (2 протона + 2 нейтрона), вынув в то же время один нейтрон. Что получится? Возникнет постройка из 7 протонов и 6 нейтронов. Получится ядерное сооружение с перевесом числа протонов над нейтронами. Окажется налицо заведомо сильно радиоактивный элемент! Обладая ядерным зарядом 7 и массой 13, элемент этот будет принадлежать к химическому типу азота, отличаясь от обычного газа с этим названием несколько меньшим (не 14, а 13) атомным весом...

Жолио 10 минут под ряд бомбардирует бор альфа-частицами. Источник альфа-частиц убирается затем с экспериментального стола. На бор ничто больше не действует. Бор предоставлен самому себе. И вот, толчок за толчком, удар за ударом, счетчик Гейгера, — аппарат, регистрирующий полет каждой отдельной заряженной частицы в воздухе, — начинает сигнализировать разрядами тока о невидимой, исходящей со стороны пробирки с бором, бомбардировке.

Постепенно загухая, бомбардировка эта продолжается полчаса.

Это была радиоактивность.



Оставалось проверить: действительно ли виновником радиоактивного излучения, исходящего от обстрелянной пробирки, является не сам бор, а новый элемент — «азот 13».

По ходу превращения ядер бора в ядра «азота 13» (по схеме бор + альфа-частица — нейтрон = «азот 13»), как видим, обязаны получаться в качестве отходного продукта нейтроны.

Полет нейтронов действительно констатируется на опыте. Вот первое доказательство того, что превращение происходит здесь по намеченной теорией схеме.

Для прямого и непосредственного подтверждения реальности «азота 13» супруги Жолио прибегают к следующему

делающему честь их экспериментаторскому остроумию маневру.

Альфа-бомбардировке подвергается не сам чистый химический элемент бор, а его соединение с азотом — нитрат бора. Расчет такой: если в результате бомбардировки часть бора действительно окажется превращенной в новый элемент «азот 13», то этот элемент, примешавшись к своему изотопу-близнецу — простому азоту, — входящему в состав нитрата, сможет быть легко отделен от бора. Достаточно для этого подогреть препарат непосредственно после бомбардировки. Нитрат разложится тогда на части. Металлический нелетучий бор останется на дне тигля. Азот же (точнее, оба азота: и «старый» и «новый») улетят прочь. Вместе с ними «улетит» и радиоактивность. Нелетучий остаток бора окажется нерадиоактивным. Улетевшую же радиоактивность можно будет снова «поймать», отводя выделяющийся из тигля газ в змеевик, охлажденный ниже 200 градусов холода. Там азот стугнется в жидкие капельки. Собрав бережно эти капельки, супруги Жолио исследуют их счетчиком Гейгера.

Снова — отчетливые удары невидимой бомбардировки... Вся радиоактивность опять налицо, и ее носитель более не вызывает сомнений...

Это 41-й по счету радиоактивный элемент. Элемент, имеющий в своем ядре больше протонов, чем нейтронов. Элемент, созданный не природой, а человеком. «Азот 13», или «радиоазот».

Радиоактивный его распад — в согласии со всеми предсказаниями теории — идет стремительными темпами. Спустя несколько десятков минут от радиоазота не остается никаких осязаемых следов... Более точный промер хода ослабления интенсивности излучения с помощью счетчика Гейгера позволил установить «период полураспада» (тот период, в течение которого распадается половина наличного числа атомов) — 14 минут времени.

\*\*\*

Ядро радиоазота искусственно «выкроено» Жолио из ядра бора и альфа-частицы (минус один нейтрон).

Но то же самое ядро может быть «сшито» очевидно и самыми разнообразными другими способами.

Так закройщик может скроить один и тот же образец одежды, комбинируя каждый раз по-новому куски разной величины.

Можно взять например ядро углерода (6 протонов и 6 нейтронов), загнать в него бомбардировкой один протон, и тогда — сразу и непосредственно! — получится искомая комбинация из 7 протонов и 6 нейтронов: ядро радиоазота.

Через 3 недели после опыта Жолио коллеги французов по ту сторону Ламанша — д-ра Коккрофт и Уолтон и их сотрудник м-р Джилберт из лаборатории Резерфорда — осуществляют это предприятие, направив на кусок угля струю протонов, разогнанную шестьюстами тысяч вольт. Опять искусственная радиоактивность и опять с тем же периодом свыше 10 минут...

И наконец еще один реализованный в самые последние дни молодым американцем Джонни Лауритсенем путь.

Ядро углерода (6 протонов и 6 нейтронов) плюс ядро тяжелого водорода (1 протон и 1 нейтрон) минус нейтрон, — эта комбинация должна опять дать комок из 7 нейтронов и 6 протонов: радиоазот.

И Джонни Лауритсен ударяет по куску угля тучей ядер тяжелого водорода — дейтронов. Дейтроны расчетливо ускоряются таким (не большим и не меньшим) вольтажем — 900.000 вольт, чтобы обеспечить не только пролом и проникновение дейтона внутрь угольного ядра, но и выброс оттуда нейтрона.

Это удастся. В руках у американца — снова (в третий раз в истории последних месяцев!) радиоазот.

\*\*\*

Первый в мире искусственный радиоактивный элемент создан.

За ним последовали другие.

В январе — феврале 1934 г. Ф. и И. Жолио, окончив опыты с бором, переносят альфа-бомбардировку на магний и алюминий. Загоняя внутрь ядра

магния альфа-частицу (с выбиванием нейтрона), удается вылепить не существовавшее никогда в природе ядро из 14 протонов и 13 нейтронов, оказавшееся радиоактивным, с периодом полураспада в две минуты тридцать секунд. Оно принадлежит химическому элементу типа кремния с атомным весом 27 (вместо 28, как у обычного кремния) и элементу, названному «радио кремний».

Аналогичный опыт с алюминием приводит Жолио к созданию третьего неизвестного ранее вещества, с ядром из 15 нейтронов и 15 протонов, ядром, которое могло и не быть радиоактивным (так как протонов в ядре тут поровну с нейтронами), но которое все же оказалось радиоактивным с периодом в 3 минуты 15 секунд.

Почему? По всем признакам потому, что расстановка 15 штук протонов в этом ядре настолько тесна, что их взаимное отталкивание не может уравновесить даже присутствие 15 нейтронов.

Принадлежит к семейству протонов фосфора, третий искусственно добытый радиоактивный элемент назван «радио фосфором».

И наконец Джонни Лауритсен со своим сотрудником Крэнном извещает 15 марта о достижении им четвертого случая искусственной радиоактивности.

Вгоняя в ядро бора дейтроны (Жолио, как мы помним, производил то же с альфа-частицами) и выбивая попутно нейтрон, Лауритсен и Крэн получили ядро из 6 протонов и 5 нейтронов — новый изотоп углерода: «уголь 11», или «радиоуголь», с периодом половинного распада в 20 минут времени.

Но самое замечательное оставалось впереди.

Исследуя внимательно массу и заряд струи частиц, извергаемых распадающимися ядрами новых радиоактивных элементов, Лауритсен и Крэн, Жолио и Кюри, Уолтон и Джильтберт остановились в изумлении.

Лучи новых веществ не состояли ни из альфа-частиц, ни из электронов, ни из квантов гамма.

Радиоазот, радиофосфор, радиокремний и радиоуголь и спускали потоки чистых позитронов.

#### 4. На сцене позитроны

Понять этот феномен было не так легко.

Со времен мартовских событий 1933 г.<sup>1)</sup>, со времен открытия положительного электрона (позитрона), физики, правда, достаточно привыкли уже к появлению нового пришельца в самых глубоких и интимных, связанных с атомным ядром процессах.

Я напоминаю, что все бесконечное пространство вселенной, вне и внутри атомов, заполнено, согласно гениальному открытию Дирака, сплошным и незамечаемым в обычных условиях роем электронов, находящихся в «дремлющем», малоактивном (и главным образом потому незамечаемом) состоянии с отрицательной энергией. Достаточно однако произойти мощному разряду энергии в какой-либо точке мира (как-раз такие разряды происходят в моменты радиоактивного «обвала» атомных ядер), чтобы этим разрядом был «встряхнут» и переведен в активное, всеми замечаемое состояние с положительной энергией по меньшей мере один «подпольный» электрон... Экспериментатор, следящий за ходом этого явления, должен будет заметить однако внезапное появление в пространстве не одной, а сразу двух частиц. Во-первых, самого «встряхнутого» электрона, а во-вторых, «дырки», незаполненного пробела, образовавшегося на том самом месте невидимого электронного роя, из которого был вызван наш электрон. Эта-то «дырка», по законам контраста, и должна будет восприниматься наблюдателем как частица с зарядом, противоположным заряду окружающего ее «фона», то-есть не с отрицательным, а с положительным зарядом. Наблюдатель увидит положительный электрон.

Раз так, тогда появление позитронов в пространстве, окружающем атомное ядро

<sup>1)</sup> См. о них в «Научном обозрении», кн. 11 «Нового мира», 1933 г.

радиоактивных веществ, должно как будто быть вполне ordinary и обычным явлением.

Это так. Но вот обстоятельство, одним ударом взрывающее всю проблему отбрасывания исследователя назад, к тому месту, из которого он вышел.

Почему 4 новых радиоактивных вещества испускают одни только позитроны. И как могло произойти, что у 18 из 40 старых радиоактивных элементов наблюдается испускание потоков одних чистых электронов (бета-лучей)?

Ведь согласно всей картине Дирака образование позитрона не в паре с появлением соответствующего электрона есть вещь столь же невозможная, как, скажем, существование тени без существования того предмета, который эту тень отбрасывает! Обратное: появление в пространстве электрона, выбитого из «дремлющей» области отрицательных энергий (а именно такое происхождение имеют электроны бета-лучей), может идти только в паре с появлением «дырки» — позитрона. «Дырка» — позитрон — сопряжена со «своим» электроном, как человек со своею тенью.

И тогда электронные (бета-) лучи, испускаемые радиоактивными веществами, должны были бы обязательно в равном количестве состоять из электронов и позитронов. Всегда наблюдались бы и бета-электроны и позитроны. Но никогда: одни электроны или одни позитроны.

Это была загадка.



Блестящее ее разъяснение, развязывающее весь узел противоречий, завязавшийся вокруг последних опытов Лауритсена и Жолио — Кюри, дано в кратком сообщении молодого ленинградского физика Д. Д. Иваненко, автора целого ряда смелых пионерских идей, перевернувших в последние годы физику атомного ядра.

Да, несомненно, в момент мощного разряда энергии, сотрясающего распадающееся ядро, внутри этого ядра мо-

жет родиться одновременно пара и только пара частиц: электрон+позитрон. Но следует ли из этого факта, что покинуть ядро и быть обнаруженными во внешнем пространстве должны обязательно оба участника «пары», а не один из них?!

Проследим — на самом деле — вслед за Д. Д. Иваненко судьбу каждой такой пары, поднятой радиоактивным или иным взрывом «со дна» отрицательных энергий и очутившейся внутри ядра. Попав сюда, электрон будет иметь стремление притянуться к внутриядерным протонам и, следовательно, застрять внутри ядра. Позитрону же в силу твердо установленного факта тяготения положительно заряженных частиц к нейтральным, в свою очередь будет угрожать задержка в ядре со стороны ядерных нейтронов. При этом в виду несомненной невозможности существования внутри атомного ядра в свободном виде каких-либо других частиц, кроме протонов и нейтронов<sup>1)</sup>, каждого из попавших в ядро участников пары ожидает следующее. Электрон, присоединившийся к ядерному протону, как бы растворится в его массе, подобно куску сахара, попавшему в стакан с кипятком. Противоположные заряды электрона и протона, взаимно погасившись, приведут одновременно к тому, что «бтянув» в себя электрон, протон превратится в электрически нейтральную частицу почти той же, что и раньше, массы<sup>2)</sup>, — в нейтрон.

Нейтрон же, притянув и «вобрав» в себя позитрон, наоборот, воспримет положительный заряд последнего и тем са-

<sup>1)</sup> Свободные электроны и позитроны не могут существовать внутри ядра, как выясняется, прежде всего потому, что они не могут выдержать той чудовищной «спрессовки», которой подвергаются все частицы на невообразимо-малой ядерной территории. Как подсчитал Д. Д. Иваненко, энергия «давления» на электрон и позитрон в ядре гораздо больше энергии внутреннего сцепления этих частиц. Поэтому электрон и позитрон, попав в ядро, должны оказаться просто расплюснутыми под прессом гигантских «давлений» и автоматически потеряют там свое индивидуальное существование, «растворившись» в общем котле ядерной материи.

<sup>2)</sup> Так как масса электрона ничтожно мала.

мым должен будет превратиться в протон.

Таким образом, по идее Д. Д. Иваненко, первоначальная, известная уже нашему читателю гипотеза Жолио о том, что протон представляет собою сложную частицу, состоящую из позитрона и нейтрона, эта гипотеза должна быть видоизменена следующим образом.

Во-первых, выясняется (см. выше), что протон не содержит и не может содержать внутри себя в «готовом» виде ни нейтрона, ни позитрона. Но тот позитрон, который оказывается налицо в опытах так называемого «расщепления протона», всегда берется из состава «встрянутой» где-то поблизости дираковской пары. Нейтрон же, остающийся на месте опыта после мнимого «расщепления», есть не что иное, как результат прямого превращения протона в нейтрон, превращения, происшедшего после того, как протон втянул и «переварил» внутри себя другого участника пары (то-есть электрон).

Вот эта, совершенно новая и революционная точка зрения советского ученого, оставляя пока в стороне вопрос о внутреннем строении протона<sup>1)</sup>, подчеркивает и доказывает, как видим, другой не менее важный факт,—факт взаимной превращаемости обеих основных и качественно различных частиц ядерной материи. Протон может превращаться в нейтрон и обратно — нейтрон при определенных условиях трансформируется в протон!

Факт этот с необходимостью подказывается и методом диалектического материализма в физике. Материалистическая диалектика природы учит нас, что все качественные формы вещества суть проявления бытия одной и той же еди-

<sup>1)</sup> Все это не означает конечно, что протон и нейтрон вообще не обладают никакой внутренней структурой. Речь идет лишь о данной частной модели строения протона из нейтрона плюс позитрон. Если эта модель оказывается ныне нереальной, то отсюда не следует, что не существует других, более правильных моделей и что в ближайшее время не будут открыты совершенно новые частицы, из которых построен протон.

ной мировой материи и потому подлежат неограниченному превращению друг в друга.



Теперь уже может быть дана разгадка опыта Жолио—Кюри, Лауритсена и Крэна.

Восстановим еще раз в памяти картину радиоактивного «обзала» атомных ядер.

Неустойчивое равновесие сил, связывающих обручем протоны и нейтроны. Разрыв обруча. Отпадение иногда целых кусков ядерной постройки (альфа-лучи). Мощные разряды освобождающейся энергии. Встряска «подпольного» роя дираковских электронов. Появление электроно-позитронной пары внутри ядра. Электрон тянется к протонам, позитрон же — к нейтронам.

И вот, если данное радиоактивное ядро состоит из равного числа свободных протонов и нейтронов, тогда (при равенстве притягательных сил) будут очевидно равные шансы для электрона и позитрона: либо застрять внутри ядра, либо вырваться оттуда в окружающее пространство.

Тогда и только тогда следует ожидать либо полного отсутствия какого бы то ни было электронного<sup>1)</sup> излучения, либо возникновения в пространстве потока «смешанных», то-есть составленных пополам из электронов и позитронов, бета-лучей.

Такие лучи, сказали мы, не наблюдаются в действительности.

Но ведь в том-то и дело, что ядра всех известных радиоактивных элементов не составлены поровну из протонов и нейтронов. В том-то и дело, что радиоактивные элементы именно потому и радиоактивны, что их ядра перегружены, как правило, частицами либо одного (нейтроны), либо другого (протоны) сорта...

И в частности ядра всех известных до января 1934 г. радиоактивных элемен-

<sup>1)</sup> Под словом «электрон» понимаются в этом случае обе его разновидности: и отрицательный, и положительный электроны.

тов в большей или меньшей степени перегружены нейтронами. А раз так, тогда при образовании электронно-позитронных «пар» будет гораздо больше шансов, что рядом с парой окажется в этом случае нейтрон, а не протон. И — в результате — имеющиеся в избытке ядерные нейтроны наверняка оттянут тут из «пар» всех позитронов. Большинство же электронов ничто не помешает удалиться прочь из ядра!

В пространстве, окружающем радиоактивные ядра, возникнут состоящие из электронов, и только из одних электронов, бета-лучи.

Так должно обстоять дело, и так фактически обстоит оно у старых радиоактивных элементов.

Новые же радиоактивные вещества, искусственно приготовленные на лабораторном столе Лауритсенем и Жолио, как-раз тем и замечательны, что в их ядрах содержится, как мы помним, больше протонов, чем нейтронов. И раз в этих ядрах имеется преобладание протонов, то этим самым predeterminedена и судьба образующихся электронно-позитронных пар. Все электроны наверняка окажутся тут задержанными ядерными протонами, у множества же позитронов не окажется под боком нейтронов, и позитроны эти выпадут из ядра. Наблюдатель заметит (и фактически замечает!) в пространстве, окружающем новые элементы, чисто позитронные, положительные бета-лучи...

Остается раз'яснить тот остающийся здесь единственно непонятным факт: почему «радиофосфор» испускает также одни лишь позитроны, хотя его ядро вылеплено поровну (по 15 штук) из протонов и нейтронов.

Автор этой статьи считает возможным дать здесь объяснение на основе следующих соображений. Протоны и нейтроны в ядрах атомов имеют, как известно, тенденцию «упаковываться» попарно в частицу: протон + нейтрон, известную под названием дейтона. Но дейтоны имеют тот же положительный итоговый заряд, что и протон, и потому они с таким же успехом должны притяги-

вать и «растворять» в себе «рождающиеся» внутри радиоактивных ядер дираковские электроны. Если предположить теперь, что внутри ядра радиофосфора произошла упаковка хотя бы одной только протонно-нейтронной пары в дейтон, тогда общее количество отдельных положительно заряженных частиц (считая сюда и свободные протоны, и дейтон) в этом ядре оказывается равным 15, число же свободных нейтронов делается 14. Перевес положительных частиц обеспечен, и позитронное излучение получает право на существование!



Из теории Д. Д. Иваненко прямо следует, что всякий раз, когда мы будем готовить на лабораторном столе искусственные радиоактивные элементы с числом нейтронов в ядре большим, чем число протонов, тогда мы должны опять «по-старому» ожидать излучения чистых электронных потоков без всякой примеси «дырок» — позитронов.

Эта статья была уже вчерне написана, когда пришло сообщение из Рима, блестящим образом подтверждающее прогноз советского ученого.

Итальянский физик Ферми извещает, что после бомбардировки газа фтора нейтронами им получено ядро из 7 протонов и 9 нейтронов, принадлежащее новому, никогда не существовавшему ранее элементу химического типа азота с атомным весом 16<sup>1)</sup>. Элемент этот радиоактивен так же, как и «радиоазот» Жолио, но испускает, в отличие от него, не позитроны, а обыкновенные электроны.

Мы имеем сейчас, таким образом, налицо два искусственно добытых радиоактивных азота: «радиоазот 13», открытый Жолио, и «радиоазот 16», изготовленный Ферми, отличающиеся друг от

<sup>1)</sup> Реакция превращения идет здесь так: «фтор 19» + нейтрон = «азот 16» + альфа-частица.

друга существенно тем, что ядро первого из них имеет избыток протонов, а ядро второго — избыток нейтронов. В полном соответствии с теорией Д. Д. Иваненко первый испускает позитроны, второй — электроны.

В том же сообщении Ферми приводит данные, касающиеся синтеза им еще одного радиоактивного элемента: «радионатрия» («натрия 24»), испускающего электроны опять в согласии с количественным составом его ядра: 11 протонов и 13 нейтронов.

\*\*\*

Эти последние открытия доводят список новых элементов, искусственно приготовленных ядерной физикой в течение весны и лета 1934 г., до восьми.

«Тритий», «три-гелий», «радиоазот 13», «радиоазот 16», «радиокремний», «радиоуголь», «радионатрий», — таково пополнение списка существующих в природе элементов со стороны формирующей заново материю руки человека.

Элемент «три-гелий» («гелий 3»), следы присутствия которого среди продуктов распада «лития 6» и гелия 4,0272 (см. выше) замечены гг. Курчатовым и Синельниковым в Ленинграде и Резерфордом в Кембридже, также, судя по протонному избытку в его ядре, должен быть радиоактивным (и притом позитронно-радиоактивным) элементом.

Генеральная «радиоактивизация» материи подвигается на всех парах!

Сравнительно ультрамалый коэффициент полезного действия современных атомных бомбардировок (одно попадание на миллионы и миллиарды выстрелов) не позволяет еще изготавливать новые радиоактивные субстраты в практически осязаемых количествах. Так, в опыте Жолио выход ядер радиоазота из сырьевого материала бора не превышал 1.000.000 штук ядер на грамм бора. В грамме же вещества содержится в среднем 1.000.000 квинтиллионов (то-есть миллиардов миллиардов) штук атомов.

В тот день, когда физика научится превращать бор в радиоазот грамм на грамм, энергетика земного шара примет другое направление.

## 5. Дэ два О

В предыдущем нашем «Научном обозрении» были приведены предварительные, только-что поступившие тогда сведения о первом практическом применении открытого ядерной физикой элемента дейтерия (тяжелого водорода). Я говорю о получении новой жидкости, имеющей ту же химическую формулу, что и простая вода, но отличающейся заменой атомов водорода Н атомами дейтерия — D.

Не H<sub>2</sub>O, а D<sub>2</sub>O!

Первые смутные известия, обошедшие около полугода тому назад всю мировую печать, говорили об одном. Тяжелая вода «дэ два О» обладает резко выраженной способностью угнетать развитие живых клеток и тканей. Отсюда — домыслы и сенсации на тему о «самом сильном яде на свете», о якобы нескольких каплях D<sub>2</sub>O, способных убить роту солдат, и так далее, и тому подобное в том же роде.

Научная действительность — как это было уже не раз — оказывается однако сильнее фантазий!

Не имея ничего общего с рассказами вышеприведенного типа, роль, которую играет тяжелая вода в жизни человека, оказывается более серьезной, чем это можно было ожидать.

Намечается связь между тяжелой водой и старостью.

Но сперва — несколько основных фактов, добытых в области биологического действия тяжелой воды.

Вот результаты весьма тщательных исследований, поставленных пионером тяжелой воды Джильбертом Д. Льюисом из Калифорнийского университета в Америке.

Семена табака, вымачивавшиеся в течение 3 недель в 90-процентном концентрате тяжелой воды, не давали никакого роста. Будучи вынуты спустя 3 недели из ванны D<sub>2</sub>O и помещены в простую воду, они дали лишь несколько слабых, хилых и сморщенных ростков.

Микробы (колонии дрожжей), засеваемые в 90—95-процентную тяжелую

воду (в присутствии питательной среды и нужных для нормального развития солей), обнаруживали полную остановку размножения и резкое замирание дыхательных явлений. В процессе дыхания дрожжи выделяют, как известно, углекислый газ, и в тяжелой воде продукция эта в 10 раз меньше, чем при нормальных условиях.

Дальнейшая программа опытов Льюиса предусматривала испытание тяжелой водой все более высоко организованных живых существ.

Плоские черви — планарии, погруженные в 90-процентный  $D_2O$ , спустя 3 часа теряли последние признаки жизни. Бросалось в глаза резкое сморщивание и как бы высыхание тела планарий. После перенесения в обычную водяную ванну половина их очнулась и приняла нормальный вид, остальные — погибли.

Рыбы. Опыты велись с мелкими экземплярами: мальками и взрослыми особями мелкорослых пород и показали вполне определенное избирательное действие тяжелой воды на рыб разных пород. В то время как одни разновидности золотых рыбок замирали, находясь уже в 30-процентной тяжелой воде, другие не проявляли заметного отклонения от нормы в 80- и 90-процентном концентрате. Во всех случаях наблюдался тот замечательный факт, что, поглощая тяжелую воду, рыбы возвращают ее обратно из организма в гораздо менее концентрированном виде! Это можно было проверить прежде всего путем непосредственного очень точного измерения процентного содержания тяжелых молекул в ванне до и после пребывания в ней рыб. Вместе с тем исследование клеточной воды, выжатой из организма рыб, показывает, что концентрация тяжелых молекул  $D_2O$  является там повышенной против нормального процента (1 : 6.000) и повышенной тем больше, чем дольше пробыла рыба в тяжелой воде.

Мы вернемся еще ниже к этому факту кардинального значения.

Оставив рыб, Льюис переносит свои опыты на млекопитающих. Берутся

3 молодые белые мыши из одного помета и одинакового веса около 10 граммов. Одна мышь оставляется для контроля на нормальном режиме. Двум другим, в течение трех часов, в три приема вливается в желудок 0,54 грамма 87-процентной и 0,26 грамма 71-процентной  $D_2O$ . Общее количество введенной тяжелой воды, при пересчете на 100-процентную концентрацию, равняется 0,66 грамма.

Это равносильно вливанию в желудок взрослого человека 4—5 литров сто процентной тяжелой воды!

Тщательный контроль над поведением подвергнутых этому испытанию мышшей показал, что, кроме небольших явлений отравления, наблюдавшихся в самом начале, никаких особых последствий в дальнейшем не обнаруживается. Уже на следующий день после опыта мышь вернулась к норме.

Отсюда прямо следует, что тяжелая вода при отдельных приемах ее внутрь в качестве питья навряд ли может считаться ядом, по крайней мере для высших теплокровных животных и человека. Но в чем причина ее убивающего действия на низшие организмы?

Мы подходим к наиболее глубокому пункту проблемы.

Физико-химическим субстратом жизни является, как известно, белковое вещество в коллоидальном студневом состоянии.

Коллоидально-студневое состояние характеризуется, как это можно считать выясненным после глубоких исследований проф. В. Я. Курбатова в Ленинграде, тем, что имеется невидимый простым глазом каркас из мельчайших кристалликов, образующий нечто вроде губки или пшеничных сот. В порах этой губки, удерживаемая электрическими притягательными силами, циркулирует вода, или, точнее, заряженные куски (ионы) водяной молекулы: положительные ионы водорода и отрицательные ионы гидроксидов (гидроксил — комочек из одного кислородного и одного водородного атома).

На-ощупь и на-глаз вся эта конструкция воспринимается, как студень или желе, содержащее в себе иногда 99 процентов воды и только 1 процент твердого вещества.

Тот необычайный факт, что подобную, на 99 процентов состоящую из воды, субстанцию можно резать на куски ножом, как-раз и объясняется наличием кристаллического каркаса, удерживающего студневую воду от растекания и придающего студню определенную, сравнительно твердую консистенцию и форму.

Из такого рода (весьма усложненных лишь) студней и построено, в основном, тело растений, животных и человека.

Нормальная жизнедеятельность организма может быть обеспечена только при поддержании равновесия студневой постройкой тканей. Равновесие студня есть подвижное равновесие между заряженными атомами (ионами) кристаллического каркаса и ионами воды. Первые и вторые находятся в непрерывном движении, они беспрестанно обмениваются местами (причем ионы воды замещают атомы «каркаса», и, обратно, последние переходят в воду). Ионы движутся, и притом так, что среднее число не-водных атомов в «губке» и водных ионов в напитывающей эту губку воде в каждый момент времени остается постоянным.

Предположим теперь, что концентрация молекул  $D_2O$ , входящей в состав студневой воды, повышена против нормальной. Предположим, иными словами, что часть ионов водорода, циркулирующих в порах студневой «губки» заменена в два раза более тяжелыми ионами дейтерия. Обладая гораздо меньшей подвижностью (по причине своей большей массивности), ионы эти должны своим присутствием сразу нарушить подвижное равновесие всей студневой системы. В частности должно произойти замедление и торможение обмена ионами между узлами кристаллизации в «каркасе» и водой. Как следствие отсюда, нужно ожидать ненормального разраствивания центров кристаллизации с вытечением соответствующего

объема воды. Следует ожидать своеобразного сморщивания и «засыхания» студня с обызвесткованием, отвердеванием всей или части его поверхности.

Оба эти феномена, то-есть явление сморщивания, явление потери упругости и «сочности» тканей, с одной стороны, и склеротического их отвердевания, с другой, являются однако как-раз признаками старческого перерождения организма. Оба эти феномена ясно намекают на возможность прямой связи между старением организма и тяжелой водой.

Невозможно отрицать, что анатомо-патологическая картина старости во многом напоминает картину смертельного поражения тяжелой водой, наблюдаемую хотя бы у плоских червей-планарий.

Было бы разумеется, неправильно и поспешно утверждать, что физиологическая старость имеет свою единственной причиной действие тяжелой воды. Без сомнения, старость и старческое немолимое перерождение коллоидно-студневой постройки тканей есть результат действия многих факторов. Но столь же несомненно, что обогащение организма высших животных и человека к концу жизни тяжелой водой должно ускорить и форсировать роковой конец, наступивший бы значительно позднее при выключении из игры этого фактора.

Каким образом и почему может происходить накопление тяжелой воды в организме стариков?

Молекулы  $D_2O$ , благодаря своей большей (по сравнению с молекулами  $H_2O$ ) массивности, как говорилось уже, значительно менее подвижны. Как следствие отсюда, тяжелая вода труднее испаряется (точка кипения  $101,42^\circ$  вместо  $100^\circ$ ), хуже диффундирует через перепонки, быстрее замерзает и т. д. По этой же причине, попадая внутрь организмов и перерабатываясь ими, тяжелая вода имеет тенденцию, как это прямо подтвердили вышеприведенные опыты с рыбами, застревать внутри тела, вытесняя из клеточной воды молекулы  $H_2O$ .

И если единовременный прием даже нескольких литров концентрированной тяжелой воды человеком не может, повидимому, дать сколько-нибудь серьезных результатов, так как почти все тяжелые молекулы спустя несколько часов окажутся тут выведенными через почечные и кожные пути, то совсем другой оборот может принять дело при систематическом накоплении действия тяжелой воды на протяжении многих десятков лет.

В течение каждого года своей жизни взрослый человек проводит сквозь организм не менее 1.000 литров воды.

И так как каждый литр проточной питьевой воды содержит  $\frac{1}{6}$  кубического сантиметра  $D_2O$ , то из года в год следует ожидать систематического повышения концентрации тяжелых молекул в составе воды, образующей основной коллоидно-студневой субстрат человеческого тела.

Последние опыты, поставленные американскими биофизиками Д. В. Хэк и Е. Вестлином, показывают, что процентное содержание  $D_2O$  в клеточном соке 70-летних стариков больше, чем аналогичный процент у детей.

В свете этих последних фактов возникает предположение о возможности prolongации человеческого долголетия (о возможности «профилактики жизни», как удачно выразился по другому поводу проф. А. А. Чижевский) путем питья воды, совершенно очищенной от примеси тяжелых молекул  $D_2O$ .

Будущее покажет, насколько современная нуклеарная физика, благополучно осуществившая (хотя и в лабораторных еще масштабах) алхимическое превращение вещества, насколько эта физика близка к реализации другой древней мечты человечества,—мечты о «жизненном эликсире», если не уничтожающем, то во всяком случае откладывающем старость и смерть.

# Литература и искусство

1. П. РОЖКОВ — Социалистический реализм и „здоровая эмпирия“. 2 И ГРОНСКИЙ — О живописи. 3. Из стенограммы вечера, посвященного творчеству П. Васильева

## 1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И „ЗДОРОВАЯ ЭМПИРИЯ“

### П. Рожков

Принципы побеждают, а не «примираются».

Сталин.

В статье «О социалистическом реализме» («Новый мир», кн. 9 за 1933 г.) я писал о том, что —

«вопрос о социалистическом реализме нельзя правильно поставить и разрешить, если игнорировать своеобразие того этапа, который переживает советская литература».

В чем же это своеобразие? Имея в виду общепризнанное несоответствие между глубоким содержанием нашей эпохи и качественным уровнем художественной литературы, я указывал на отставание нашей критики, как на основную и главную причину отставания литературы от жизни. Но в основе отставания критики, писал я, в свою очередь лежат «определенные причины субъективного характера». Я указывал на то, что в течение целого ряда лет характер нашей критики в основном определялся рапповскими теориями, что эти антимарксистские теории не выдержали испытания практики, но в то же время они, эти теории, еще по-настоящему не разоблачены.

«Ошибочные рапповские теории, — писал я, — и до сего времени продолжают лежать в основе многих конкретно-критических статей. Задача литераторов состоит в том, чтобы по-серьезному, пересмотрев и переоценив

старое рапповское «наследство», конкретно разработать и утвердить в литературе марксистско-ленинские принципы критики. В этом сейчас основная и главная задача товарищей литераторов. И вот вместо того, чтобы взяться за разрешение этой высокопочетной задачи, некоторые литераторы становятся на путь «тактики процесса», или на путь «здоровой эмпирии», т.-е. стремятся приспособиться к самотеку, пытаются низвести критику до уровня стихийного развития литературы».

Я указывал далее на то, что линия на самотек или на «здоровую эмпирию» выражается в следующих основных фактах:

1) в объективистских, по существу, беспартийных разговорах о групповщине (добрые пожелания и невинные фразы о необходимости «разбить» и «поломать» групповщину, без ясного указания на то, что основным и решающим, единственно надежным условием искоренения всяческой групповщины является правильная теоретическая линия в литературе);

2) в хвостистой постановке вопроса о конкретной критике (разговоры и разговорчики о необходимости конкретной критики без уяснения тех методологических принципов, которые должны быть положены в основу конкретной критики; более того — декла-

мадия о конкретной критике наряду с отрицанием основных и общих принципов в критике, наряду с заявлением о том, что критик-де «не должен исходить из наперед составленной схемы и навязывать писателю различного рода задачи», что «никто не должен навязывать писателю рецепты связи с социалистическим строительством, пути и способы его изучения...»).

Анализируя охарактеризованные выше факты, я писал:

«Разглагольствуя о «жизненной правде» и ниспровергая общие принципы, молодые «здоровые эмпирики» не замечают того, что они, по существу, танцуют под дудку старых «здоровых эмпириков», т.-е. тех товарищей из числа бывших рапповских теоретиков, которые, насочинив в РАПП целые «столбовые дороги» и целые «Магнитострой» всевозможных теорий, методов и лозунгов, теперь вдруг сразу обо всем «забыли» и пытаются предстать голыми людьми на голой земле. Вместо смелой и откровенной самокритики по существу, т.-е. вместо беспощадной переоценки тяжелого груза старых антимарксистских теорий и вместо разработки новых вопросов развития литературы эти «голые люди» кивают на какую-то абстрактную «литературщину» и громко кричат о повороте к реальной жизни...»

Для доказательства того, что молодые «здоровые эмпирики» танцуют под дудку старых «здоровых эмпириков», я специально останавливался на рассуждениях бывших теоретиков РАПП — Ермилова и Авербаха. Я доказывал фактически, что в своей статье «Театр и правда» т. Ермилов под флагом модных разговорчиков о «стиле нашей жизни» откровенно проповедывал самотек (любой художник вправе «рассчитывать на то, что его будут критиковать, исходя из неповторимых особенностей его стиля, что к нему не будут предъявлять требований, не совместимых с его эстетикой»); что т. Авербах в своей статье в альманахе «Год шестнадцатый» старался замазать и затемнить вопрос о теоретических ошибках РАПП, стремясь представить ликвидацию РАПП как

следствие отрыва от политических задач современности, отрыва, обусловленного только «рамками существовавших литературных организаций». Авербах, таким образом, стремился вопрос о теоретических ошибках РАПП подменить вопросом чисто-организационного свойства (как будто организационные ошибки не вытекали из ошибок принципиального характера). Совершенно ясно, что эти рассуждения тт. Ермилова и Авербаха объективно совпадали с рассуждениями молодых «здоровых эмпириков». Поэтому я писал:

«Мы видим, что взгляды молодых «здоровых эмпириков», восстающих против «единообразной системы», против «единого художественного метода» (И. Разин), против «навязывания» писателю различного рода задач (Кирпотин и др.) и т. д., тесно смыкаются с позицией старых «здоровых эмпириков».

Указав на все эти обстоятельства, я формулировал в своей статье следующий вывод:

«Итак, о чем говорят все названные выше факты? О том, что дальнейшее развитие советской литературы, как никогда, упирается сейчас в теорию. Именно в этом и заключается своеобразие положения в советской литературе. Надо не на словах, а на деле «порвать со старым», т.-е. ликвидировать групповщину. Необходимо вести беспощадную борьбу с идеологией «хвостизма», ибо «идеология «хвостизма» — логическая основа всякого оппортунизма» (Сталин). Без солидного теоретического обоснования невозможна подлинно конкретная и партийная критика, невозможна ликвидация групповщины, — невозможно движение литературы вперед. Но солидное теоретическое обоснование критики предполагает в первую очередь серьезную переоценку тех рапповских теорий, которые до сего времени лежали в основе нашей критики и приводили на практике к культивированию групповщины, к отрыву от политических задач современности».

Все последующие основные положения и аргументы моей статьи исходили из этого главного пункта, являясь его конкретным развитием и обоснованием. Я доказывал:

1) что кустарный рапповский «реализм», или метод «живого человека», по существу не имеет ничего общего с социалистическим реализмом, что метод «живого человека» был в свое время разоблачен Марксом и Лениным как субъективный идеализм в общеполитическом смысле и как мелкобуржуазная теория в конкретно-историческом смысле;

2) что социалистический реализм есть показ типичных характеров в типичных обстоятельствах, т. е. в обстоятельствах эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи диктатуры пролетариата, эпохи победоносного строительства социализма.

Но содержание понятия типичных характеров в типичных обстоятельствах до сих пор не раскрыто в нашей критике в марксистско-ленинском смысле. Пишущие о социалистическом реализме или не идут дальше тавтологии, или вкладывают в понятие типичных характеров вульгарный смысл (типичный характер есть «синтез» многочисленных наблюдений и исследований, — вытяжка из бесчисленного количества «живых личностей»). Объективный смысл всех этих рассуждений о социалистическом реализме сводится к проповеди самотека, или «здоровой эмпирии» (социалистический реализм есть «правда жизни», «жизненная правда», «практика» и т. д., и т. п.). Ясно, что рассуждения наших критиков о социалистическом реализме идут по линии метода рапповского «живого человека». И я старался показать, что это явление наблюдается не только в критике (в общетеоретических и конкретно-критических статьях), но и в самой художественной литературе. Путем анализа конкретных художественных произведений я старался показать, что недостатки некоторых наших писателей (Леоназа, Фадеева, Панферова и др.) идут по линии влияния кустарного рапповского реализма, по линии засилья антиисторической «живой личности», как таковой.

Таковы были основные принципиальные положения моей статьи о социалистическом реализме, напечатанной в 9-й книжке «Нового мира» за 1933 г.

Выступая с вышеназванной статьей, я конечно очень хорошо сознавал, что я делаю только первый шаг, что теория самотека, или «здоровой эмпирии», в советской литературе имеет очень широкое распространение и очень глубокие корни, что, следовательно, полное разоблачение этой теории и уяснение основных принципов марксистско-ленинской литературной критики может быть осуществлено только в долгой и упорной борьбе с представителями теории самотека, или «здоровой эмпирии». События, происшедшие после напечатания моей статьи, целиком и полностью подтвердили правильность именно такой точки зрения. Из этих событий я назову только следующие основные факты: а) выступление «Литературного критика» против моей статьи о социалистическом реализме, б) дискуссия о третьей книге «Брусков» Панферова и позиция некоторых руководящих товарищей в этой связи; в) последние выступления некоторых руководящих товарищей по вопросам социалистического реализма в связи с опубликованием устава Союза советских писателей.

Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы в свете названных выше фактов дать конкретный анализ положения в советской литературной критике на данном этапе и с фактами в руках доказать правильность основного вывода моей статьи о социалистическом реализме, а именно правильность того, что своеобразие положения в советской литературе попрежнему заключается в том, что мы переживаем сейчас полосу откровенной проповеди и господства теории самотека, или «здоровой эмпирии», и что дальнейшее развитие советской литературы, как никогда, упирается сейчас в теорию.

\*\*\*

Против моей статьи о социалистическом реализме «Литературный критик» выступил со статьей т. М. Розенталя:

«Типический характер в изображении П. Рожкова» (см. № 6 за 1933 г.). Тов. М. Розенталь признает, что «автор ставит ряд вопросов и отдельные из них правильно решает»; что «неплохо... разъясняется марксовская и энгельсовская критика «Франца фон-Зикингена» Лассала и т. д.»; что «автор статьи в своем определении понятия «типичных характеров в типичных обстоятельствах» правильно исходит из критики рапповского тезиса о «живой личности» и подвергает его в основном правильному разбору»; что «автор несомненно прав, когда он в противовес рапповской теории «живой личности» считает понятие типичных характеров конкретно-историческим понятием», и т. д., и т. п.

Как видим, т. Розенталь отпускает целый ряд комплиментов по моему адресу. Правда, при этом он допускает некоторые неточности. Неверно, будто я в определении понятия типичных характеров в типичных обстоятельствах исхожу из критики рапповского тезиса о «живой личности»... В упомянутом определении я исхожу не из критики теории «живой личности», а из метода Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина вообще и из положений Маркса и Энгельса, высказанных ими о реализме — Гаркенс, Лассала, Бальзака и друг. — в частности. Критика же теории «живой личности» является для меня не исходным пунктом, а непрременным условием конкретно-исторической постановки вопроса о социалистическом реализме в советской литературе, условием правильной постановки и разрешения вопроса о типичных характерах в типичных обстоятельствах. Но, если оставить в стороне только-что названные неточности, остается фактом то, что т. Розенталь вынужден признать в целом ряде вопросов мою правоту. Однако все эти признания и комплименты т. Розенталя — только цветочки, а ягодки впереди. Тов. Розенталь категорически не согласен с центральным пунктом моей статьи — с моей трактовкой понятия типичных характеров в типичных обстоятельствах. Тов. Розенталь считает, что «в руках П. Рожкова понятие типичного характера превращается

в мертвую маску»; что Рожков призывает к «лакировке» действительности; что «насквозь абстрактной, механистической схемой — вот чем оказывается на проверку теория типичных характеров П. Рожкова». Не довольствуясь всеми этими констатациями, т. Розенталь идет дальше и извлекает, так сказать, «социологический эквивалент» из моих взглядов. Он пишет: «Выступив справедливо против рапповской теории «живой личности», т. Рожков выставляет свою теорию, не менее враждебную марксизму, теорию, которая воскрешает из забвения «Литфронт», с его проповедью схематизма, механицизма и прочих прелестей». И т. Розенталь тут же разъясняет читателю, что конкретно означают «прочие прелести». «Не случайно ведь, — пишет он, — среди теоретиков и вождей группы «Литфронта» были герои «право-левацкого блока» Сырцова и герои троцкизма, боровшиеся против линии партии»...

Мы видим, что т. Розенталь пытается подвести мои взгляды под партийно-политический уклон. Можно ли в принципе возражать против того, чтобы в литературной полемике давалась партийно-политическая квалификация взглядов противника? Думаю, что в принципе возражать против этого нельзя (если учитывать то обстоятельство, что литературные дела имеют свою специфику, что эти дела нельзя отождествлять непосредственно с делами внутрипартийными). У нас не мало таких литераторов вегетарианского толка, которые, вообще говоря, в принципе терпеть не могут, когда их взглядам дается четкая политическая квалификация. Таким вегетарианским литераторам кажется, что политическая характеристика тех или иных взглядов в литературных спорах является приклеиванием «ярлычков». Что касается меня, то я не принадлежу к породе вегетарианских литераторов, мечтающих о критике, «приятной во всех отношениях». Я считаю, что всякий критик, претендующий на защиту партийной линии в литературе, обязан быть непримиримым к враждебным марксизму-ленинизму взглядам, в какой бы форме они ни выражались. Всякий

критик, следовательно, обязан в той или иной форме давать четкую политическую квалификацию взглядов противника в том случае, если он считает, что эти взгляды враждебны марксизму-ленинизму. Все дело в таком случае заключается в том, чтобы политическая квалификация взглядов противника была фактически обоснована. Если же этого нет, то попытки давать политическую квалификацию взглядам противника формально неизбежно превращаются в побрякушку, в звонкую фразу, а по существу — в средство запугивания несогласных, в орудие зажима самокритики. Как обстоит на этот счет у т. М. Розенталя? Можно ли назвать его обвинения по моему адресу в какой бы то ни было мере обоснованными? Не является ли политическая квалификация, употребляемая т. Розенталем, выражением сердитой растерянности и дымовой завесой для «здоровой эмпирии»? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к фактам.

Метод полемики и существо рассуждений т. Розенталя обнаруживаются с самого начала. «В представлении автора, — пишет т. Розенталь по моему адресу, — вся работа, проделанная нашей критикой по разработке проблемы социалистического реализма, не имеет никакого значения». (Курсив мой — П. Р.).

Неправда, тов. Розенталь! Если бы работа нашей критики по разработке проблемы социалистического реализма не имела никакого значения, то мое выступление в печати со статьями на данную тему не имело бы никакого смысла. Как-раз наоборот. Я выступал и выступаю со статьями о социалистическом реализме именно потому, что работа, проделанная (и продельваемая) нашей критикой по разработке проблемы социалистического реализма, имеет совершенно определенное значение. Я выступал и выступаю не против критики вообще, а против определенной критики, против конкретных литераторов, проповедующих под флагом борьбы за социалистический реализм «здоровую эмпирию», или теорию самотека. Так как проповедь этой

«здоровой эмпирии», или теории самотека, выступает в многообразных проявлениях, то в настоящей статье мы вынуждены будем в порядке логической последовательности разобрать наиболее характерные образцы этой «здоровой эмпирии», или теории самотека.

Начнем с вопроса о групповщине. В своей статье о социалистическом реализме я уже указывал на то, что разговорчики о вреде групповщины, о необходимости ликвидации групповщины и консолидации коммунистических сил в литературе являются невинными фразами, поскольку не выдвигается принципиальная основа для ликвидации групповщины и консолидации коммунистов-литераторов. Но вышеупомянутые разговорчики о групповщине являются невинными фразами лишь по форме, по существу же они имеют более глубокое значение. Суть дела в том, что в нашей критике нет даже правильного определения групповщины. И это обстоятельство неминуемо облегчает проповедь «здоровой эмпирии», облегчает существование групповщины в новых формах и отставание этой групповщины под флагом рассуждений о вреде групповщины. Как на пример неправильного определения групповщины сошлемся на статью т. Ермилова «Стиль искусства и стиль жизни» («Красная новь», кн. 6, за 1933 г.). В этой статье т. Ермилов рассуждает о том, что столь распространенное у нас явление «полемикобязни или споробязни» порождается «неправильным толкованием понятия групповщины». Что же сам т. Ермилов понимает под групповщиной? «Групповщина, — говорит т. Ермилов, — представляет собою в наших условиях неверие в лигературно-политическую линию партии, неумение — или нежелание — осуществлять идейную гегемонию пролетариата в области литературы».

Определение т. Ермилова является неправильным и потому уводит в сторону от существа дела. Неверие в литературно-политическую линию партии и неумение или нежелание осуществлять идейную гегемонию пролетариата в области литературы имеет более опреде-

ленное название — название оппортунизма. Групповщина, как правило, связана с оппортунизмом, она на практике является выражением оппортунизма, но отсюда еще не следует, что понятие групповщины идентично понятию оппортунизма (т.е. равняется неверию в литературно-политическую линию партии и нежеланию осуществлять идейную гегемонию пролетариата в области литературы). Беспорным является то, что даже при наличии уверенности в литературно-политической линии партии и при желании осуществлять идейную гегемонию пролетариата в литературе многие наши коммунисты-литераторы так или иначе повинны в групповщине. В чем же дело? Дело в том, что групповщину нельзя механически отождествлять с оппортунизмом (как это делает Ермилов), ибо групповщина есть не оппортунизм вообще, а оппортунизм особого свойства. Групповщина есть порождение беспринципности.

Известно, что Ленину приходилось вести долгую, упорную и ожесточенную борьбу со всякого рода групповщиной. Между тем наши «здоровые эмпирики» всех мастей почему-то игнорируют это обстоятельство и не хотят обратиться к Ленину. Не удивительно поэтому, что в вопросе о групповщине у нас существует полная неразбериха. Неразбериха эта выражается в том, что групповщина у нас сплошь и рядом смешивается с течением. Известно, что наибольший свой расцвет групповщина получила в РАПП. Известно далее, что когда говорят о групповщине на данном этапе, то часто имеют в виду определенных товарищей из бывшего рапповского руководства. Но спрашивается: можно ли все то, что делалось в РАПП, подвести под категорию «групповщины»? Нет, нельзя, ибо РАПП — это прежде всего определенное идейное течение. А идейное течение непозволительно смешивать с групповщиной (хотя в РАПП, по собственному признанию тов. Чумандрина, и были целые «Магнитострой групповщины»). Что такое группка? Группка, говорит Ленин, это такое объединение людей, которое «ни по од-

ному важному принципиальному вопросу революции» не способно дать «самостоятельных и цельных ответов». А что такое течение? «Течением, — разъясняет Ленин, — можно назвать только такую сумму политических идей, которые определились на всех важнейших вопросах... революции... и которые, кроме того, доказали свое право на существование, как течение, распространенное среди широких слоев рабочего класса». Как на пример течений, Ленин указывает на течения большевизма и меньшевизма (см. том XV, 3-е изд., стр. 239).

Ленинская постановка вопроса о группках и течениях непосредственно относится к внутрипартийной борьбе с примиренцами и «добродетельными» (с группой большевиков, занимавших в 1911 г. примиренческую позицию по отношению к ликвидаторам и Троцкому). Однако всякому мыслящему человеку ясно, что ленинская постановка вопроса о групповщине и течении должна явиться руководящим принципом при подходе к вопросу о групповщине в советской литературе. Применяя ленинский принцип к современному положению в советской литературе, мы можем сказать, что группка — это такое объединение литераторов, которое ни по одному важнейшему принципиальному вопросу развития советской литературы не способно дать самостоятельных и цельных ответов (пример — группа Панферова), течение же — это такая сумма литературно-политических и теоретических идей, которые более или менее отчетливо определились на всех важнейших этапах и в принципиальных вопросах развития советской литературы, которые получили широкое распространение среди советских писателей (пример — группа налитпостовцев, основной костяк РАПП).

Какое значение имеет точное разграничение понятий групповщины и течения в советской литературе? Самое злободневное литературно-политическое значение. Ведь фактически у нас понятие групповщины употребляется совершенно не критически: в групповщине обвиняют Авербаха и Киришона, в групповщине обвиняют Панферова и Новица, в групповщине обвиняют кое-кого

еще и т. д. Групповщина превращается в некую мистическую сущность. Практически на данном этапе трудно разобрать, что есть групповщина и что не есть групповщина, где групповщина начинается и где она кончается. А при такой путанице естественно, что понятием групповщины у нас жонглируют, как кому вздумается, бросаются этим понятием направо и налево, как футбольным мячом. В результате всего этого — отсутствие подлинной борьбы с групповщиной, перманентные и «ортодоксальные» выступления против групповщины на словах и фактическое способствование групповщине или защита и насаждение групповщины в новой форме на деле.

Поставим вопрос более конкретно. Мы уже сказали, что многие литераторы склонны рассматривать рапповский период, как период групповщины, и только. Но такой подход к делу является абсолютно неверным, ибо рапповское объединение представляло собой не группку, а идейное течение. Так стоит вопрос. А из такой постановки вопроса вытекает важное следствие: рапповское идейное течение нельзя «забыть», нельзя от него философически отмахнуться ручкой, полагаясь на само тек, на то, что, дескать, это идейное течение исчезнет само по себе. Рапповское идейное течение (в виде мелкобуржуазной теории «живого человека») существовало и существует реально, и его или надо принять, или надо отвергнуть, а не ограничиваться заклинаниями и оговорочками, доходящими до примиренчества к упомянутому идейному течению.

Я представляю себе, как целый ряд «реальных мудрецов» вроде тт. Розенталя, Усиевич, Войтинской и др., встретят такую постановку вопроса криками негодования. «Рожков, — кричат они, — тянет нас назад, к давно пройденному этапу. Ведь «живой человек» всем надоед. Ведь РАПП давно ликвидирован и распался как целое. Зачем же снова поднимать старые вопросы?» Ото всех этих криков негодования у меня уже заранее (выражаясь словами Ленина) мороз подирает по коже, и

я думаю, куда бы мне спрятаться. Попробую спрятаться за Ленина. Ленин в свое время (имея в виду внутрипартийные дела) писал: «Встает вопрос принципиальный: может ли взгляд на необходимость старого решения старых проблем меняться в зависимости от степени распада — даже, если хотите, от исчезновения «целого»? Всякий понимает, что нет» («Наши упразднители»).

Приведенное положение Ленина по сути дела, т.-е. в принципе, имеет самое близкое отношение к современной обстановке в советской литературе, ибо своеобразии положения в советской литературе на данном этапе заключается в том, что РАПП организационно «ушел» (вернее, его «ушли»), но идейно он безусловно живет — и в критике, и в художественной литературе. В этом суть дела, а этой сути дела, этой аксиомы как-раз и не понимают очень многие наши «здоровые эмпирики». Эти «эмпирики» громко кричат о вреде групповщины, но, не устанавливая точного различия между групповщиной и идейным течением, на практике смешивая эти понятия, они по сути дела не затрудняют, а облегчают существование и процветание групповщины. Они не понимают того, что «смешивать течение с группками — значит осуждать себя в партийной политике на интриганство» (Ленин, «Наши упразднители»).

Не понимая того, что нельзя смешивать групповщину с течением, наши «эмпирики» сплошь и рядом попадают в комическое положение. Приведем некоторые примеры. На третьем пленуме оргкомитета Союза советских писателей т. Киршон отстаивал возможность идейных течений в советской литературе. А т. Кирпотин, слушая речь т. Киршона, ему поддакивал: «разные стили и течения возможны и среди коммунистов». От этой реплики тов. Киршон немедленно пришел в умиление: «совершенно верно, т. Кирпотин, и это я тоже хочу разъяснить т. Фадееву» (см. «Литературную газету» от 4 апреля 1934 г.). Приведенный факт свидетельствует о том, что т. Кирпотин и т. Киршон полностью согласны в вопросе о «течении», что они «хотели разяс-

нить» одно и то же. Но спрашивается: каков объективный смысл рассуждений т. Кирсона (и поддакивания т. Кирпотина) в вопросе о течении? «Смысл моих рассуждений, скажет тов. Кирпотин, в том, что мы не должны всех писателей мерить на один шаблон, что социалистический реализм не исключает, а предполагает самую широкую свободу творческих исканий». Совершенно верно. Творческие искания нам необходимы. Но, во-первых, как надо понимать возможность «стилевых течений»? Ведь, употребляя понятие «стиль», т. Кирпотин, очевидно, имеет в виду стиль (вернее, метод) социалистического реализма. Но если это так, то своим поддакиванием т. Киршону т. Кирпотин, по существу, сползает на точку зрения Ермилова, т.-е. допускает возможность сосуществования различных стилей (вернее, разных методов). Следовательно, объективно т. Кирпотин (хотя бы он и имел в виду одних коммунистов) оставляет лазейку для иных методов, отличных от метода социалистического реализма. Во-вторых, самое существенное состоит в том, что т. Киршон как в понимании реализма, так и в понимании романтики продолжает оставаться по сути дела на старых рапповских позициях (утверждая, что реализм — это показ характеров вообще, а романтика, как буржуазный хлам, нам совсем не нужна). Не ясно ли при таких обстоятельствах, что разговоры т. Кирсона о возможности идейных течений в советской литературе объективно ведут к отставанию рапповского идейного течения, т.-е. теории «живого человека». Между тем т. Кирпотин, поддакивая т. Киршону, и не подумал о том, чтобы установить ясное и четкое понятие идейного (или «стилевого») течения, чтобы поставить вопрос на принципиальную почву. Таким образом, обоюдные и согласованные рассуждения тов. Кирсона и т. Кирпотина о возможности идейных течений в советской литературе объективно означают возможность существования старого рапповского идейного течения, т.-е. теории и практики «живого человека».

Другой пример. В целом ряде документов неоднократно заявлялось о том, что групповщина в советской литературе уже в корне разбита. Так, в своих выступлениях на московской областной и городской партконференции и на XVII партс'езде т. Юдин заявил о том, что «групповщина разбита» коренным образом (см. «Литературную газету» от 22 января 1934 г. и от 10 февраля 1934 г.). То же самое утверждается и в передовой № 4 «Литературного критика» за 1933 г. В этой передовой говорится: «Мы осуществили в нашей советской литературе единство коммунистов на литературном фронте... Есть конечно «остатки групповых отношений», но конечно это уже «не является проблемой для советской литературы». Так заявляют т. Юдин и передовая «Литературного критика». Между тем из передовой «Литературной газеты» от 16 апреля 1934 г. мы узнаем о том, что некоторые товарищи, плохо работающие в оргкомитете, якобы по причине своей творческой загруженности, «оказываются весьма и даже с излишком активными, когда речь идет о сколачивании своей группы и противопоставлении ее другой группе»; что по этим настроениям и тенденциям надо «со всей решительностью ударить, ибо групповщина сейчас опаснее, чем когда бы то ни было. Она создает разброд среди писателей накануне всесоюзного с'езда... Групповщина мешает проведению партийной линии в литературе, способствует политиканству и интриганству, она антипартийна в своем существе... Если бы не было пережитков групповщины, если бы более смело и активно ставились творческие вопросы, если бы лучше была организация»... и т. д., и т. п.

Оставим пока в стороне заклинания и причитания «Литературной газеты» («если бы да кабы...») <sup>1)</sup> и констати-

<sup>1)</sup> «Литературной газете» очень часто приходится рассуждать по методу «если бы да кабы». Так, до выступления Горького о языке она превозносила Панферова в советские «Бальзаки» (отказываясь печатать статьи с критикой Панферова), а после выступления Горького она сразу «забыла» все эти факты и начала «менять вехи». Далее: разве не обаяна «Литературная газета» вместо благих по-

руем главное: «Литературная газета» признается в том, что групповщина существует и даже «создает разброд среди писателей накануне всесоюзного съезда»... Это признание «Литературной газеты» чрезвычайно важно. Кому же мы должны верить? т. Юдину, как ответственному секретарю оргкомитета, или же «Литературной газете», как органу оргкомитета? Оставляя пока в стороне вопрос о том, как «Литературная газета» сама конкретно борется с групповщиной, мы должны сказать, что в данном случае передовая «Литературной газеты» говорит правду: групповщина существует и «создает разброд среди писателей». Факт наличия групповщины авторитетно признает сам А. М. Горький, заявляя, что «все еще не изжиты настроения групповые, что литераторы делятся на «наших» и «не наших» (см. «Правду» и «Известия» от 14 июня 1934 г.). Существование и процветание групповщины тесно связано с тем обстоятельством, что у нас нет точного разграничения между понятием групповщины и понятием идейного течения. Так что на практике получается так, что групповщина смешивается с идейным течением, а идейное течение смешивается с групповщиной. Разве не обязан был «Литературный критик» установить строгое ленинское различие между понятием групповщины и понятием течения? Разве не обязан он был выдвинуть и обосновать основные принципы нашей критики, как единственно надежное условие ликвидации всякой групповщины? <sup>1)</sup>.

желаний («если бы да кабы») развернуть самокритику на своих страницах так, чтобы «более смело и активно ставились творческие вопросы?»

<sup>1)</sup> В тесной связи с вопросом о групповщине должен быть поставлен вопрос и о литературных нравах. В своей статье «О литературных забавах» («Известия» и «Правда» от 14 июня 1934 г.) тов. Горький указывает на факты разложения в литературной среде (хулиганство, пьянство, анархосиндикалистская самовлюбленность и проч.). Но разве не ясно, что все эти явления, объективно выражающие влияние кулацко-буржуазной идеологии на наших писателей, связаны с отсутствием самокритики, с отсутствием развернутой постановки и открытого обсуждения основных принципиальных вопросов развития советской литера-

На двух примерах (на выступлениях т. Киршона и т. Кирпотина и на выступлениях т. Юдина и «Литературной газеты») мы показали, на какую комическую беспомощность в литературной политике обрекает отсутствие точного разграничения между понятием групповщины и понятием идейного течения. Однако суть дела не в этих примерах самих по себе. Суть дела в том, что нежелание или неумение установить точное ленинское различие между групповщиной и идейным течением является неслучайным. Игнорирование ленинского различия между групповщиной и идейным течением неизбежно связывается с примиренчеством к мелкобуржуазной теории «живого человека», с фактическим сползанием на позицию этой теории.

Докажем это фактами. Ярким образцом примиренчества к антимарксистским раповским теориям является статья т. Усиевич «О социалистическом реализме» («Литературная учеба», № 2 за 1932 г.). Имея в виду «диалектно-материалистический» метод раповского «живого человека» и «срывания масок», т. Усиевич пишет: «Понятие о диалектико-материалистическом методе в литературе в результате свелось к понятию о двух-трех, иногда (? — П. Р.) в момент своего выдвижения правильных (!? — П. Р.), но абсолютизированных, застывших и тем самым обратившихся в свою противоположность, лозунгов, как «срывание всех и всяческих масок», «живого человека», и т. д., и т. п. И дальше: «Так или иначе, как реакция на голую «призывность», господствовавшую в пролетарской литературе первого ее периода, эти лозунги своей направленностью были верны» (Курсив мой. — П. Р.).

Всякий, кто вдумается в суть дела, поймет, что т. Усиевич проповедует примиренчество к раповским теориям с помощью подмены диалектики софистикой. Она проделывает незамысловатый фокус: понятие метода или теории туры? Разве не ясно, что хулиганство и прочие «литературные забавы», это в значительной мере — обратная сторона самотека, или «здоровой эмпирии», следствие отсутствия атмосферы высокой идейности среди писателей, отсутствия глубокой разработки теории?

она подменяет понятием лозунга. Но ведь это не одно и то же. Лозунг не равняется теории или методу, он есть лишь конкретное выражение той или иной теоретической линии на данном отрезке времени. Ведь всякому мыслящему человеку ясно, что рапповский «диалектико-материалистический творческий метод» практически нашел свое выражение в теории и «живого человека». Но сводить теорию «живого человека» к понятию «о двух-трех, иногда, в момент своего выдвигания правильных, но абсолютизированных» лозунгах способен только человек легкомысленный. Совершенно ясно, что рассуждения т. Усиевич основаны на чудовищной софистике и являются ярким образцом примиренчества к субъективному идеализму, к мелкобуржуазной теории «живого человека».

Кое-кто может сказать: рассуждения т. Усиевич — ее частное дело. Но кому же не известно, что т. Усиевич подвизается в литературе в роли официально-апробированного и ортодоксального критика? Кому не известно, что т. Усиевич поручаются ответственные статьи в критических журналах и ответственные выступления на всевозможных совещаниях, пленумах и т. п.? Не менее известно также и то, что «Литературный критик» ни разу не выступил против примиренчества т. Усиевич по отношению к рапповской теории «живого человека». Это значит, что между «Литературным критиком» и т. Усиевич нет никаких разногласий. Но между «Литературным критиком» и т. Усиевич нет разногласий не только в принципе, но и фактически. Так, в № 6 «Литературного критика», в статье М. Розенталя «Мировоззрение и метод», мы читаем о том, что у рапповских теоретиков

«представление о диалектическом методе было сведено на уровень плоского представления о нем, как о сумме тезисов, антитезисов и синтезисов, и всякое произведение, которое воплощало в художественной форме все эти «хитрости», выдавалось за величайшее достижение пролетарского мировоззрения и методологии в области искусства» (стр. 15).

Тов. Розенталь говорит явную неправду. Абсолютно неверно, будто у рапповских теоретиков представление о диалектическом методе «было сведено на уровень плоского представления о нем, как о сумме тезисов, антитезисов и синтезисов». Тезисы, антитезисы и синтезисы — это только поверхностная, формальная видимость, а не суть дела. Представление о диалектическом методе у рапповских теоретиков было сведено не к сумме тезисов, антитезисов и синтезисов, а к субъективно-идеалистической и мелкобуржуазной теории «живого человека». Вот в чем суть дела. И когда т. Розенталь эту суть дела замазывает, то в полном согласии с т. Усиевич он проявляет примиренческое отношение к вышеназванной теории «живого человека».

Посмотрим теперь, как у нас решается вопрос о методе и мировоззрении писателя. На эту тему в «Литературном критике» (№ 6 за 1933 г.) напечатана специальная руководящая статья т. М. Розенталя. Тов. Розенталь ставит своей задачей выяснить

«во-первых, каково основное звено, уцепившись за которое, советский писатель, еще не стоящий на точке зрения диалектического материализма, но желающий активно участвовать в социалистическом строительстве, сможет дать высокохудожественное произведение, отражающее борьбу пролетариата, и таким образом включиться в ряды активных бойцов за социализм; и, во-вторых, каковы реальные пути преодоления писателем пережитков своего старого мировоззрения и переделки его в коммунистическое, марксистско-ленинское мировоззрение».

Итак, каково же то звено, за которое должны уцепиться наши писатели, еще не стоящие на точке зрения диалектического материализма, чтобы включиться в ряды активных бойцов за социализм и чтобы овладеть марксистско-ленинским мировоззрением? Таким «звеном», согласно разъяснению т. Розенталя, является «реалистический метод художественного творчества», по существу,

оторванный от мировоззрения писателя.

Логическая цепь рассуждений т. Розенталя сводится к следующему:

1) Сущность художественного творчества такова, что мировоззрение художника на практике «наталкивается на препятствия в лице самой жизни, которая живыми фактами убеждает художника, что действительность, ее процессы, ее течения совершенно иные, чем ему кажутся, согласно своему мировоззрению»...

2) «Всякий писатель (значит, и пролетарский — П. Р.), глубоко изучающий и наблюдающий реальные объекты, может притти в столкновение со своими взглядами на мир; сама жизнь подсказывает ему совершенно иные методы, чем те, которые диктуются его ограниченным мировоззрением... Действительность с огромной силой врывается в творчество писателя, и под ее напором ослабевают и зачастую не выдерживают мировоззренческие установки писателя (стр. 24 — 26).

3) Так как «сама жизнь» исправляет и переделывает по-своему мировоззрение «всякого писателя», то все это «дает ему (писателю) возможность, особенно, если это крупный художник, увидеть некоторые существенные стороны действительности и отобразить их даже вопреки его мировоззрению и идейным убеждениям» (стр. 27).

4) Оговорочка: «само собою разумеется, что для художника, стоящего на позиции коммунистического, пролетарского мировоззрения, проблема противоречия мировоззрения и метода исчезает» (стр. 30).

5) «Однако, поскольку в рядах пролетариата, борющегося за построение социализма, имеются не только пролетарские писатели, но и непролетарские, которых рабочий класс привлекает на свою сторону и которые еще не переделали своего мировоззрения в коммунистическое, постольку проблема противоречия мировоззрения и

метода не только не исчезает, но и имеет актуальнейшее значение» (стр. 31).

6) Итог: «значение этой проблемы» (т.е. проблемы противоречия мировоззрения и метода) «в том, что она (проблема! — П. Р.) указывает единственно реальный путь переделки мировоззрения писателя. Величайшей важности урок, который вытекает из рассмотрения этой проблемы и исторического опыта, связанного с ней, состоит в том, что реалистический метод художественного творчества является не только основным условием правильного отображения действительности, но и одновременно путем к выработке правильного мировоззрения» (стр. 31, курсив везде мой. — П. Р.).

Мы видим, что рассуждения т. Розенталя в итоге сводятся к обоснованию возможности и допустимости противоречия между реалистическим методом и мировоззрением в советской литературе, поскольку многие советские писатели «еще не переделали своего мировоззрения в коммунистическое». Не овладение коммунистическим мировоззрением является, по Розенталю, путем к изображению действительности методом социалистического реализма, а наоборот, сам «реалистический метод художественного творчества является не только основным условием правильного отображения действительности, но и одновременно путем к выработке правильного мировоззрения»...

Все эти рассуждения т. Розенталя на страницах «Литературного критика» являются абсолютно неверными, в корне противоречащими марксизму-ленинизму. Порок рассуждений т. Розенталя состоит в том, что он подходит к вопросу о методе и мировоззрении писателя антиисторически. Не трудно видеть, что т. Розенталь в своих суждениях по сути дела некритически пользуется замечаниями Ленина о Толстом и замечаниями Энгельса о Бальзаке. В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» Ленин писал о том, что «ес-

ли перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» (т. XII, 3-е изд., стр. 331). Можно ли это замечание Ленина толковать в смысле позволительности противоречия между методом и мировоззрением советского писателя? Ни в коем случае. Ленин хотел своим замечанием сказать только то, что Толстой не был бы великим, если бы он не отразил хотя бы некоторые из существенных сторон революции. Из такой постановки вопроса никак не следует того, что реалистический метод «всякого писателя» во все времена может находиться в противоречии с мировоззрением этого писателя. Точно так же и замечание Энгельса о том, что реализм Бальзака проявлялся даже вопреки реакционному мировоззрению этого писателя, нельзя толковать, как разрешение на противоречие между методом и мировоззрением писателя в наше время вообще и в советской литературе в особенности. Ведь у Энгельса истина конкретна. Ведь Бальзак писал в первой половине XIX века (1816—1848 гг.), т.-е., по сути дела, в до-марксовский период, и от Бальзака марксисты не могли требовать того, что мы можем и должны требовать от писателя нашей эпохи, творящего в эпоху империализма и пролетарских революций, в эпоху, когда пролетарское мировоззрение — учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, — существует как стройная и единственно научная система. Противоречие между реалистическим методом и мировоззрением Бальзака Энгельс отмечал не как само собою разумеющийся и положительный факт, а как печальное, объективно существовавшее обстоятельство. Победа реализма Бальзака, несмотря на реакционное мировоззрение, — это редкое явление, и с к л ю ч е н и е, а не правило. Только великая гениальность Бальзака позволила ему быть реалистом, несмотря на реакционное мировоззрение. На примере писателей, менее талантливых, чем Бальзак, особенно наглядно можно видеть, как именно реакционное мировоззрение мешало им стать последовательными реалистами. Именно

мелкобуржуазное и реакционное мировоззрение испортило таких реалистов, как Золя и Евгений Сю.

Так стоит вопрос в принципе. Но мы уже сказали, что истина конкретна. Конкретно своеобразие положения в советской литературе сейчас заключается в том, что наши писатели стоят на весьма низком уровне в смысле овладения марксистско-ленинским мировоззрением. Это признают сами наши писатели. Так например, т. Сейфуллина в «Разговоре с молодым писателем», заявила: «Мы не знаем философии своей эпохи, мы знаем Маркса гораздо меньше, чем наши пионеры его знают» (см. «Октябрь», кн. 3 за 1934 г., курсив мой.— П. Р.). Допустим, что заявление т. Сейфуллиной страдает преувеличением. Но факт остается фактом: писатели наши очень плохо знают философию своей эпохи, философию марксизма-ленинизма. И когда «Литературный критик» сущее возводит в должное, когда он преподносит нашим писателям, еще не овладевшим марксистско-ленинским мировоззрением, проблему противоречия между мировоззрением и методом, толкуя эту «проблему» в смысле возможности и целесообразности вышеупомянутого противоречия; когда, с другой стороны, для того, чтобы разрешить названное противоречие, предлагается идти не от овладения марксистско-ленинским мировоззрением к изображению действительности методом социалистического реализма (именно так, и только так, должен быть поставлен вопрос), а сам стихийно существующий «реалистический метод художественного творчества» объявляется «путем к выработке правильного мировоззрения», то разве не ясно, что «Литературный критик», по существу, отрывает марксистско-ленинское мировоззрение от реалистического метода писателя и делает ставку на стихию, на самотек? <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Забавно то обстоятельство, что тот же «Литер. критик» заявляет о том, что «в корне неверна постановка вопроса, пытающаяся отделить творчество художника от его мировоззрения» (см. ст. П. Юдина в № 1 «Литер. критика» за 1933 г., стр. 13).

Постановка вопроса у т. Розенталя следующая: так как многие писатели еще не овладели марксистско-ленинским мировоззрением, то пусть они занимаются художественным творчеством и путем «реалистического художественного творчества» приходят к марксистско-ленинскому мировоззрению (по пути сталинской своей метод с этим мировоззрением, и т. п...). Правильная же постановка вопроса должна быть такой: так как многие наши писатели еще не овладели марксистско-ленинским мировоззрением, то они должны им как можно скорее овладеть, а критика должна им в этом помочь. Но критика должна говорить писателям о мировоззрении не вообще, не абстрактно, а применительно к литературе, т. е. критика обязана разъяснить писателям, как марксистско-ленинское мировоззрение конкретно проявляется и реализуется в художественном творчестве. Иначе говоря, критика обязана всесторонне раскрыть и обосновать на конкретных художественных произведениях содержание метода социалистического реализма, как конкретного проявления или выражения марксистско-ленинского мировоззрения в литературе. Поступая так, критика не призывает писателя от самого, стихийно существующего художественного творчества идти к марксистско-ленинскому мировоззрению, а призывает его марксистско-ленинское мировоззрение конкретизировать в литературе как социалистический реализм. Не трудно видеть, что такая постановка вопроса, будучи диаметрально противоположной той, которую дает т. Розенталь, является единственно правильной, ибо она предохраняет наших писателей от ограниченности рамками литературы, предохраняет от той самой «литературщины», о которой так много и так громко у нас кричат.

Но дело не только в этом. Дело в том содержании, к которому т. Розенталь объективно сводит понятие «реалистического метода художественного творчества». Мы выше не случайно подчеркнули слова: стихийно существующий «реалистический метод художественного творчества». Ведь поскольку

т. Розенталь «реалистический метод художественного творчества» сводит к вульгарному, плоскому понятию «самой жизни», «живых событий» и т. п., постольку ясно, что путь, предлагаемый т. Розенталем, есть путь «здоровой эмпирии», путь самотека.

В связи с только-что охарактеризованной «проблемой» т. Розенталя стоит проблема критического «освоения» литературного наследства. Наметьте решение этой проблемы пытаются гг. Юдин и Фадеев в статье «Социалистический реализм — основной метод советской литературы»<sup>1)</sup>. Авторы статьи «с особенной силой» (и правильно) подчеркивают задачу критического освоения литературного наследства. Но как же они практически предлагают это наследство освоить? Они берут правильный тезис (о том, что художник — социалистический реалист — должен видеть действительность в ее революционном развитии) и, обращаясь с этим правильным тезисом к художникам прошлого, совершают весьма существенную ошибку. Имея в виду всю предшествующую дворянско-буржуазную литературу, гг. Юдин и Фадеев утверждают:

«Классово-ограниченное мировоззрение даже самых лучших и передовых художников прошлого не позволяло им сказать правду о действительности во весь голос, потому что это мировоззрение не позволяло им видеть действительность в ее революционном развитии. Только социалистическому реалисту, вооруженному революционным мировоззрением, обогащенному опытом победоносного строительства социализма в нашей стране, доступно изображение действительности в ее историческом движении, показ того, как в сегодняшнем дне рождается завтрашний. В этом смысле социалистический реализм не только не исключает революцион-

<sup>1)</sup> Названная статья имеет особое значение в виду того, что авторы ее ставят своей задачей изложить «основные требования социалистического реализма, как они формулированы в уставе Союза советских писателей СССР» (см. «Правда» от 8 мая 1934 г.).

ную романтику, а, наоборот, предполагает и утверждает ее»...

Приведенное положение содержит в себе вредную путаницу и является, по существу, совершенно неверным.

1) Правильно то, что только художнику, владеющему методом социалистического реализма, доступна наибольшая, какая только возможна на данной ступени исторического развития, мера или предел познания объективной действительности. Иначе говоря, метод социалистического реализма в корне отличен по существу своему от метода реализма самых передовых художников прошлого так же, как метод диалектического материализма вообще в корне отличен, например, от диалектического идеализма Гегеля. Но совершенно неверно, будто самые лучшие и передовые художники прошлого не видели действительности в ее революционном развитии. Ведь нельзя же предположить, что, говоря о понимании действительности в ее революционном развитии, гг. Юдин и Фадеев имеют в виду то понимание действительности в ее революционном развитии, которое свойственно представителям марксистско-ленинского мировоззрения. Очевидно, что реалисты прошлого не были марксистами, и, следовательно, обвинять их в том, что они не понимали действительности в ее революционном развитии в той мере, какая доступна марксизму-ленинизму, было бы нелепо. Из всего смысла рассуждений гг. Юдина и Фадеева видно, что они и не думали подходить к лучшим и передовым художникам прошлого именно с таким нелепым требованием. Из смысла рассуждений гг. Юдина и Фадеева явствует, что, говоря о видении действительности в ее революционном развитии, они имели в виду (поскольку речь идет о художниках прошлого) способность видеть действительность в ее исторически прогрессивном развитии. Именно так и понимают дело сами авторы статьи, когда усматривают преимущество социалистического реалиста (по сравнению с передовыми художниками прошлого) в том, что социалистический реалист способен изобразить «действительность в ее историческом движении»,

что он способен осуществить «показ того, как в сегодняшнем дне рождается завтрашний»... Но если это так, если видение действительности в ее революционном развитии понимается самими авторами статьи (гг. Юдиным и Фадеевым), как способность изображать действительность в ее историческом движении, как способность видеть в сегодняшнем дне рождение завтрашнего, то абсолютно неверным является их утверждение, что самые лучшие и передовые художники прошлого не способны были видеть действительность в ее революционном развитии, что будто бы они не видели того, как в сегодняшнем дне рождается завтрашний. Достаточно в этой связи сослаться на письмо Энгельса к Гаркенс. Отмечая (в этом письме), что в своих произведениях (несмотря на монархические убеждения) Бальзак дал «самую замечательную реалистическую историю французского общества» (за период с 1816 до 1848 г.), Энгельс говорит:

«То, что Бальзак был принужден идти против своих собственных классовых симпатий и политических предубеждений, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их, как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где в это время их только и можно было найти, это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака» («Литературное наследство», № 2, стр. 5, курсив Энгельса).

Можно привести аналогичные отзывы Маркса и Энгельса о греческом искусстве, об искусстве эпохи Ренессанса и т. д. Совершенно ясно, что утверждение гг. Юдина и Фадеева (будто бы самые лучшие и передовые художники прошлого не видели действительность в ее революционном развитии) находится в коренном противоречии с только-что цитированным положением Энгельса, — находится в противоречии с духом марксизма.

2) Практически — абсолютно неверное рассуждение гг. Юдина и Фадеева

ева о самых лучших и передовых художниках прошлого может принести сугубый вред в двух отношениях: во-первых, недопустимо запутывается и смазывается «задача критического освоения литературного наследства» (т.-е. та самая задача, которая поставлена в уставе и которую подчеркивают сами авторы статьи). Ведь суть, критического освоения литературного наследства прошлого как-раз и заключается в том, что мы из огромного разнообразия художников различных классов и различных исторических эпох должны выбрать, понять и приблизить к практике советских художников (т.-е. «освоить») как-раз наиболее прогрессивное. Иначе говоря, мы должны унаследовать именно таких самых лучших и передовых художников прошлого, которые видели действительность в ее историческом движении, в ее революционном развитии. А ведь согласно утверждению авторов статьи самые лучшие и передовые художники прошлого (все без исключения) не видели действительности в ее революционном развитии... Получается явная бессмыслица.

Во-вторых, своеобразие положения в советской литературе сейчас состоит в том, что наши советские писатели стоят на очень низком уровне культурного развития. Когда-то Энгельс в «Диалектике природы» писал о людях итальянского Ренессанса в следующих выражениях:

«Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными (не в бровь, а в глаз гг. Юдину и Фадееву.—П. Р.). Наоборот, они были более или менее обвеяны авантюрным характером своего времени. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества (прекрасно, именно не только в теоретической, но также и в практической жизни...); Леонардо да-Винчи был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны

важными открытиями самые разнообразные отрасли физики; Альбрехт Дюрер был художником, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации... Маккиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом» и т. д...

Можно ли что-либо подобное сказать о подавляющем большинстве наших советских писателей, о подавляющем большинстве «социалистических реалистов». Увы, этого сказать никак нельзя. Выше мы уже приводили мнение т. Сейфуллиной о степени знания нашими писателями философии нашей эпохи. Совсем недавно другой писатель, Леонид Леонов, написал мужественные слова о том, что наши писатели плохо видят действительность, что, живя «в атмосфере, ионизированной передовыми идеями века», некоторые наши писатели не являются даже барабанщиками великого похода в социализм, что изобразить нового человека нашей эпохи, «схватить его во весь рост, в его динамике, в его замысле, — на это еще не хватает ни нашей культуры, ни нашего мастерства» («Литературная газета» от 16 апреля 1934 г.).

И вот нашим писателям, слишком бедным в культурном отношении, гг. Юдин и Фадеев говорят: «Самые лучшие и передовые художники прошлого не видели действительности в ее революционном развитии. Видеть действительность в таком развитии способен только социалистический реалист»... А так как у нас все сейчас (от Пришвина и Пантелеймона Романова до Панферова и Исбаха) считают себя «социалистическими реалистами», то рассуждениями гг. Юдина и Фадеева об'ективно дается, так сказать, юридическая санкция зазнайства и наплевательского отношения к подлинному освоению изумительной по своему глубочайшему смыслу культуры великих художников прошлого. Недаром некоторые наши горе-реалисты, лепечущие в литературе на юридическом языке, возомнили себя гениями, заткнувшими за пояс Бальзака и многих других (куда уж ему, Бальзаку! Ведь он не видел действительность в ее революционном разви-

тии, а мы, т.-е. Панферов, Фадеев, Киршон и др., видим действительность, как полагается социалистическим реалистам...). Таким образом, ясно, что своей статьёй гг. Юдин и Фадеев помогают не критическому освоению литературного наследства, а распространению зазнайства и некультурности среди наших писателей, распространению «здоровой эмпирии»<sup>1)</sup>.

Совершенно бесспорно то, что марксистско-ленинское мировоззрение неизмеримо выше мировоззрения самых передовых художников прошлого. Но нельзя факты действительной жизни, факты действительного положения в советской литературе софистически подменять абстрактным рассуждением о высоте марксистско-ленинского мировоззрения. Марксистско-ленинское мировоззрение по своему качеству безусловно высоко, но об этом надо говорить не абстрактно-метафизически, а сугубо конкретно. Конкретно (в живой действительности) дело обстоит так, что подавляющее большинство советских писателей находится на очень низком уровне развития в смысле культуры, в смысле овладения марксистско-ленинским мировоззрением. Подавляющее большинство советских писателей по своему общекультурному уровню стоит

<sup>1)</sup> В своей статье гг. Юдин и Фадеев, по существу, игнорируют тот факт, что без критического унаследования («освоения») передовых художников прошлого (потому именно и передовых, что они видели действительность в ее историческом движении, в ее революционном развитии) нельзя по сути дела разрешить вопрос о сущности социалистического реализма (заметьте себе, что проблему реализма с точки зрения пролетариата Маркс и Энгельс решали на анализе передовых и непередовых художников прошлого). И то, что гг. Юдин и Фадеев игнорируют названный факт, конечно не является случайным. Не случайно то обстоятельство, что под критикуемой здесь статьёй подписан тов. Фадеев, для которого характерным является неправильный, антиисторический подход к вопросу о литературном наследстве. Позиция Фадеева в этом вопросе характерна тем, что он или целиком, некритически принимал и принимает литературное наследство прошлого (например Толстого), или в такой же мере некритически, без конкретно исторического подхода, отбрасывал и отбрасывает это наследство (см. например статью «Долой Шиллера»).

на много голов ниже по сравнению с великими художниками прошлого. Вот об этом прежде всего надо писать и настойчиво твердить советскому писателю, а не о том, что «только» социалистический реалист способен видеть действительность в ее революционном развитии, что будто бы великие художники прошлого действительности в таком развитии не способны были увидеть... И степень овладения марксистско-ленинским мировоззрением должна измеряться, между прочим, тем, насколько тот или иной советский писатель критически освоил великих художников прошлого, видевших действительность в ее революционном развитии. Иначе говоря, не может быть и речи о высоком уровне мировоззрения художников — социалистических реалистов, — если они не умеют из многообразия художников прошлого отобрать и «освоить» таких, которые были в условиях своего времени наиболее прогрессивными, которые видели действительность в ее историческом движении, в ее революционном развитии. Само собой разумеется, что подойти именно так к художникам прошлого советский писатель сможет лишь в том случае, если он как следует усвоит революционный метод Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Само собой разумеется, что некоторые самые лучшие и передовые художники прошлого видели действительность в ее революционном развитии не сознательно, а стихийно, иногда вопреки своему собственному реакционному мировоззрению (например Бальзак). Но в данном случае речь идет не о том, какова была степень осознанности видения действительности в ее революционном развитии у самых лучших художников прошлого, а о том, что сознательно или стихийно, но объективно в своем реализме (и в своей романтике) самые лучшие и передовые художники прошлого безусловно видели и отражали действительность в ее революционном развитии, в ее историческом движении.

3) Наконец рассуждениями гг. Юдина и Фадеева о литературном наследстве недопустимо запутывается вопрос о революционной романтике. В самом де-

ле: тт. Юдин и Фадеев утверждают, что самые лучшие и передовые художники прошлого не видели действительности в ее революционном развитии. «Только социалистическому реалисту, — пишут они, — доступно изображение действительности в ее историческом движении, показ того, как в сегодняшнем дне рождается завтрашний. В этом смысле социалистический реализм не только не исключает революционную романтику, а наоборот, предполагает и утверждает ее...»

Итак, революционная романтика предполагается и утверждается только «в этом смысле», т.-е. только применительно к социалистическим реалистам, для которых доступно изображение действительности в ее историческом движении, и т. д. А из всей литературы прошлого революционная романтика, таким образом, исключается, ибо, как утверждают тт. Юдин и Фадеев, самые лучшие и передовые художники прошлого не видели действительности в ее историческом движении, они не способны были показать, как в сегодняшнем дне рождается завтрашний... Все эти рассуждения тт. Юдина и Фадеева являются абсолютно неверными. Эти рассуждения находятся в непримиримом противоречии с тем, что писал Ленин о революционной романтике великих утопистов, опережавших в своей мечте действительное историческое развитие, видевших в сегодняшнем дне рождение завтрашнего (см. Ленин, т. II, 3-е изд., стр. 99). Революционная романтика существует не только «в этом смысле», т.-е. не только в творчестве социалистических реалистов, но и в литературном наследстве прошлого, — например у Сервантеса, Байрона, Гейне и целого ряда других («самых лучших и передовых художников прошлого»). Выходит, таким образом, что, говоря в своей статье о революционной романтике (в связи с определением сущности социалистического реализма), тт. Юдин и Фадеев безнадежно запутывают вопрос и, по существу, отрицают революционную романтику, как закономерный элемент литературного наслед-

ства. Выходит, что, говоря на словах о необходимости критически освоить литературное наследство прошлого, тт. Юдин и Фадеев на деле (в той же самой статье) выдвигают совершенно ошибочный постулат для некритического отрицания революционной романтики как необходимого элемента литературного наследства... Воистину, правая рука не знает, что творит левая.

Если мы сравним рассуждения тт. Юдина и Фадеева с разобранными выше рассуждениями т. Розенталя, то увидим, что эти рассуждения с разных концов, но объективно ведут к одному и тому же итогу. У Розенталя: многие наши писатели еще не владеют марксистско-ленинским мировоззрением, но жизнь и справляет мировоззрение «всякого писателя». Следовательно, надо идти к овладению марксистско-ленинским мировоззрением стихийным путем «реалистического художественного творчества». Объективно равняется — ставке на самотек. У Юдина и Фадеева: мировоззрение писателя — социалистического реалиста — неизмеримо выше мировоззрения самых лучших и передовых художников прошлого. Эти последние не видели действительность в ее революционном развитии. Объективное следствие такой постановки вопроса — способствование комчванству, наплевательскому отношению к литературному наследству прошлого, т.-е. наплевательскому отношению к расширению и углублению марксистско-ленинского мировоззрения наших писателей. Объективно равняется — ставке на самотек.

До сих пор мы разбирали относительно общие вопросы. Мы показали, что в нашей официальной критике игнорируется ленинское различие между групповщиной и идейным течением. Это обстоятельство не случайно. Игнорирование различия между групповщиной и идейным течением ведет на практике к такой постановке вопроса о сущности рапповского идейного течения (теории «живого человека»), которая на деле ведет к примиренчеству по отношению к этому идейному течению. Мы показали далее, что постановка вопроса о методе и мировоззрении у тт. Розенталя, Юди-

на и Фадеева об'ективно означает ставку на самотек. Мы констатировали, что рассуждения вышеназванных товарищей идут по линии «здоровой эмпирии».

Но для того, чтобы этот вывод стал окончательно ясным и бесспорным, мы должны перейти от относительно общих принципиальных вопросов к относительно более конкретным и посмотреть, как представителями нашей официальной критики конкретно решается вопрос о социалистическом реализме.

Начнем с общего определения социалистического реализма. В статье «Социалистический реализм — основной метод советской литературы» тт. Юдин и Фадеев пишут: «Новые принципы художественного творчества нашли свое главное выражение в социалистическом реализме, являющемся основным методом советской художественной литературы и литературной критики». Приведенное определение социалистического реализма является неточным. Неточность прежде всего — логическая. Неправильно утверждать, что социалистический реализм является основным методом советской литературы, подобно тому, как неправильно утверждать, что основным методом марксистской науки является диалектический материализм. Диалектический материализм является не основным методом, а просто (безоговорочно) методом марксистской науки (политэкономии, истории и т. д.). Точно так же стоит вопрос и применительно к советской литературе. Правильное определение должно гласить: методом советской литературы и советской литературной критики является социалистический реализм (а не «основным методом»).

Допустим, что авторы вышеназванной статьи своим определением хотели указать на то, что де-факто еще далеко не все советские писатели владеют методом социалистического реализма, что на практике существуют еще методы, не идентичные социалистическому реализму, и что, следовательно, определяя социалистический реализм, как «основной метод», мы тем самым указываем основное и решающее направление, в котором

должны развиваться не только те советские писатели, которые уже более или менее владеют названным методом, но и те советские писатели, которые еще им не владеют... Достаточно, как следует, вздуматься в суть дела, чтобы убедиться в том, что такое рассуждение не выдерживает критики. Ведь не говорим же мы о том, что диалектический материализм является «основным методом» марксистской науки на том основании, что многие деятели науки вообще и многие марксисты в частности еще недостаточно или плохо владеют названным методом. Ведь сущность марксистско-ленинского метода (диалектического материализма) именно в том и состоит, между прочим, что он обязывает подходить ко всем явлениям конкретно-исторически, т.-е. обязывает учитывать, между прочим, и то обстоятельство, что не все ученые (даже не все именующие себя марксистами) владеют в необходимой мере методом марксизма, что они, эти ученые, развиваются в направлении к марксизму-ленинизму неодинаково и с противоречиями. Точно так же и в отношении литературы. Заявляя, что методом советской литературы должен быть социалистический реализм (без всякой оговорки о том, что он только «основной»), мы отнюдь не игнорируем противоречивости реальной действительности — противоречивости развития мировоззрения многих советских художников (ставших на платформу советской власти, но еще не овладевших в необходимой мере методом марксизма-ленинизма). Наоборот, только при условии, что социалистический реализм (как конкретное выражение диалектического материализма в искусстве) будет безоговорочно, безусловно методом советской литературы (а не «основным» только), — только при этом условии и возможно по-настоящему учесть все многообразие и противоречивость процесса воспитания советских писателей в духе марксизма-ленинизма.

Логическая неточность формулировки статьи тт. Юдина и Фадеева несомненно влечет за собой практическую путаницу и практический вред. Поскольку социалистический реализм характери-

зуются не как безраздельный, безусловно господствующий марксистский метод, а только как «основной метод» литературы и критики, постольку объективно (независимо от воли авторов статьи) признается право на существование других, не основных методов, например субъективно-идеалистического метода «психологического реализма» или «живого человека». Далее некоторые товарищи, например Васильковский в «Правде», уже пытались трактовать социалистическую романтику как дополнительный или равноправный «метод» советской литературы... Подобная постановка вопроса является совершенно неверной, ибо романтика (как мечта) есть не самый метод, а специфическое проявление метода социалистического реализма (в широком смысле), как метода конкретно-исторической правды в искусстве<sup>1)</sup>.

Таким образом, при внимательном рассмотрении становится ясным, что своим определением социалистического реализма тт. Юдин и Фадеев, по сути дела, оставляют лазейку для стихии самотека, для «здоровой эмпирии».

Пойдем дальше. В статье «Расплата» («Литературная газета» от 8 февраля 1934 г.) т. Эгарт жалуется на то, что—

«привычка толочь воду в критической ступе, к сожалению, не перевелась еще. Лозунг социалистического реализма порой разбалтывается в ней незаметно в тот злополучный «метод диалектического материализма», которым, как оглоблей, крестили не так давно. Часто добротная серость, посредственность, размазывающая нудную натуралистическую кашу, выдается за социалистический реализм»...

Как на пример «толчения воды в критической ступе» сошлемся на статью т. Кирпотина «О социалистическом реализме» («Правда» от 7 мая 1933 г.). Определяя социалистический реализм как правду, т. Кирпотин пишет:

«Правда превращает литературу в оружие против капитализма за социализм. Естественно поэтому, что

только пролетарская литература и литература, создаваемая писателями, переходящими на сторону рабочего класса, может воплотить в художественных образах действительность во всей ее правде, в ее противоречиях, в тенденциях ее развития, в исторической перспективе пролетарской революции и строящегося социализма. В этом и заключается прежде всего смысл лозунга (?) «социалистический реализм» (курсив мой. — П. Р.).

Итак, правда дает возможность пролетарским писателям и писателям, близким к пролетариату, «воплотить в художественных образах действительность во всей ее правде»... А равняется А, правда есть правда... Мы видим, что рассуждения т. Кирпотина о смысле «лозунга» (?) социалистического реализма представляет собой чудовищную тавтологию<sup>1)</sup>.

Однако мы изменили бы духу марксизма, если бы указали только на формальную сторону дела, мы если бы ограничили только констатированием логической пустоты рассуждений т. Кирпотина. Мы обязаны пойти дальше и поставить вопрос об объективном значении вышеупомянутой тавтологии. Объективный смысл этой тавтологии — развязывание стихии самотека, ставка на «здоровую эмпирию», ибо она, эта тавтология, «теоретически» оправдывает некритическую болтовню многих наших литераторов о социалистическом

<sup>1)</sup> В подобной тавтологии упражняется сейчас огромное количество «критиков». Сошлемся например на статью тов. Каменгулова «О социалистическом реализме», сплошь заполненную трюизмами, пустыми абстракциями и тавтологией: «тезис о правдивом отображении действительности — разъясняет тов. Каменгулов, — составляет самую существенную часть (?) лозунга (!) социалистического реализма» (см. «Литературный Ленинград» от 26 января 1934 г.). Однако суть не в одной тавтологии. Суть в том, что подо всей этой шелухой у тов. Каменгулова явственно проступает та же самая тенденция: под флагом рассуждательств о вреде «не исторических», «абстрактно теоретических домыслов» и т. п. — ставка на «здоровую эмпирию» и отсутствие всякой критики «живого человека», т. е. отсутствие именно исторической точки зрения на предмет.

<sup>1)</sup> См. об этом также мою брошюру «Нужна ли нам романтика?»; изд-во «Советская литература», 1934 г.

реализме, как о «правде жизни», «жизненной правде» и т. п.

Выходит, что даже бессодержательная, на первый взгляд, тавтология в конечном итоге имеет известное социальное выражение. Но ведь суть дела в том, что дело далеко не ограничивается только тавтологией. Суть дела в том содержании, которое вкладывается сейчас в понятие социалистического реализма.

Тов. Розенталь очень обиделся, когда я обвинил «Литературного критика» в проповеди «здоровой эмпирии». Розенталью кажется, что Рожков «без всякой оглядки на свою совесть (замечательна эта апелляция к «совести»! — П. Р.)» делает вывод: журнал проповедует эмпиризм... «Очевидно,—продолжает т. Розенталь, — П. Рожков рассчитывает на то, что читатель так ему и поверит, и, не заглянув в передовую журнала, вместе с ним, П. Рожковым, выругается: мол, какие нынче журналы пошли, — проповедуют на своих страницах самотек, хвостизм, отказываются от определения и постановки задач перед писателем и т. д. А еще «pretендуют на руководящую роль в критике» (см. «Литературный критик», № 6, 1933 г., стр. 109).

Нет, уважаемый тов. Розенталь! Рожков не полагается на чью бы то ни было «совесть». Я считаю, что апелляция к «совести» есть возвращение к методу субъективной социологии, подменяющему объективный анализ конкретных фактов моральными сентенциями. Марксист обязан апеллировать не к «совести», а к фактам. Именно поэтому, уважаемый тов. Розенталь, П. Рожков отнюдь не рассчитывает на то, что «читатель так ему (т.-е. мне. — П. Р.) и поверит», «не заглянув в передовую журнала»... Напротив, мы как-раз призываем читателя не верить на слово, не оглядываться на чью-либо «совесть», а самому заглянуть в ту самую передовую журнала, которую с победным видом цитирует т. Розенталь в статье против Рожкова.

В своей статье я цитировал положение передовой «Литературного критика» о том, что «критик не должен исходить из наперед составленной схе-

мы и навязывать писателю различного рода задачи», — как образец ставки на хвостизм. И вот тов. Розенталь, так сказать, поднимает перчатку. Он с гордым видом пишет в своей статье («Типический характер в изображении П. Рожкова»):

«Но читатель все-таки заглянет в журнал и увидит, что приведенная цитата разъясняет лишь мысль Белинского о внутренней критике, о том, что критик должен подходить к произведению не с готовой схемой, а из самого художественного произведения определить, какие задачи ставил себе сам писатель, какие идеи он выразил в произведении, а вскрыв это, подвергнуть данные идеи обсуждению, установить, насколько они соответствуют или не соответствуют действительной жизни»... и т. д.

«Именно об этом идет речь в передовой, а не о том, как это хочет представить тов. Рожков: должна ли критика или не должна выдвигать и ставить перед писателями определенные задачи... Но это все, разумеется, мелочи» («Литературный критик», № 6 за 1933 г., стр. 109).

Нет, уважаемый тов. Розенталь, это совсем не мелочи. Отказ от «навязывания» писателю различного рода задач у вас совсем не случаен. В самом деле, вдумаясь в только-что цитированное вами положение. Верно то, что критик может только из самого художественно произведения определить, «какие задачи ставил себе сам писатель, какие идеи он выразил в произведении»... Этот тезис не станет оспаривать даже Перверзев. Но мы у вас, тов. Розенталь, спрашиваем: что такое «соответствие или несоответствие действительной жизни»? Ведь понятие «действительной жизни» вы, по существу, сводите к плоским и вульгарным разговорам о жизни, как таковой, о «жизненной правде» и т. п. И в этом занятии вы имеете целый легион единомышленников. Вот например мы раскрываем 10-ю книжку «Октября» за 1933 год и читаем в статье тов. Чарного:

«Мы будем резко говорить о недостатках критики не для того, чтобы с

обывательским нигилизмом отрицать ее... А для того, чтобы по-большевистски сосредоточиться на еще не решенных задачах...»

Как видим, Аркадий говорит красиво<sup>1)</sup>. Что же предлагает этот Аркадий? То же самое, что и Розенталь: «мы зовем писателя черпать материал (замечательен этот формалистский язык. — П. Р.) из самой действительности, понимать ее и правдиво отображать; точно так же и критик, разбирая литературное произведение, должен исходить прежде всего из живой действительности, из ее основных процессов и потребностей. Это будет лучшей гарантией против схоластики... Против схоластики абстракций...» и т. д. (стр. 221).

Таким образом, как т. Розенталь, так и т. Чарный ратуют за одно и то же понятие «действительной жизни». За понятие «живой действительности» против «схем, абстракций, схоластики» и т. п. Открываем еще один журнал — «Красную новь» (книга 6 за 1933 г.) — и в статье теоретика «живого человека» В. Ермилова «Стиль искусства и стиль жизни» читаем:

«Жизненность, теснейшая связь с действительностью есть такое коренное свойство социалистического реализма, которое и составляет одну из самых важных отличительных его черт» (стр. 171).

Мы видим, что и Розенталь, и Чарный, и Ермилов стоят на одной и той же позиции. Все они дружно призывают нашу критику обратиться к «действительной жизни», к «живой действительности», к «жизненности» и т. п. Что же скрывается за этими расплывчатыми и неопределенными фразами о «живой действительности»? За ними

<sup>1)</sup> Такое же хвастовство культивируется и на страницах «Литературного критика». Так, в № 1 за 1933 г., в статье, подписанной, между прочим, «критиком, приятным во всех отношениях», — Корнеием Зелинским, — мы читаем: «В лоб, по-большевистски, опрокидывая и разоблачая идеализм во всех видах, мы считаем...», и т. д. Как видим, Аркадий-Зелинский декламирует на страницах «Литературного критика» не менее красиво, чем Аркадий-Чарный на страницах «Октября».

скрывается ставка на самотек, ставка на копирование жизни вообще, всякой «живой действительности». «Социалистический реализм, — разъясняет «Литературный критик», — есть требование от писателя правды, правды жизни, т. е. не домыслов, не беспредметного фантазирования по поводу жизни, а отражения того, что есть в жизни» (№ 2 за 1933 г., стр. 21. Курсив мой. — П. Р.).

Такие истины преподносит нам «Литературный критик». Но разве не ясно, что ратовать за отображение всякой «живой действительности» за «отражение того, что есть в жизни» вообще, — это значит проповедывать «здоровую эмпирию» и сплззать на позицию «живого человека»?

Именно на эту самую позицию и сплззает т. Розенталь со своими единомышленниками. В статье, направленной против меня, он пишет: «Нельзя не согласиться с тем, что рапповская теория «живого человека» в методологическом смысле есть точка зрения субъективного идеализма, а в конкретно-историческом смысле — точка зрения мелкого буржуа». Приведя эту цитату из моей статьи и согласившись с нею, т. Розенталь тут же продолжает: «в представлении рапповских теоретиков «живая личность» действительно являлась «высохшей мумией», абстрактным существом, лишенным каких-либо социальных качеств» (стр. 110).

Как же так, тов. Розенталь! С одной стороны, вы согласились с тем, что «рапповская теория» «живого человека» методологически есть субъективный идеализм, а конкретно-исторически точка зрения мелкого буржуа, а с другой стороны, вы тут же рядом, не моргнув глазом, утверждаете, что «в представлении рапповских теоретиков» «живой человек» являлся «мумией, абстрактным существом, лишенным каких-либо социальных качеств». Во-первых, рапповские теоретики даже в своем «представлении» никогда не рассматривали «живого человека», как «абстрактное существо, лишенное каких-либо социальных качеств», а во-вторых — и это главное, —

нас должен интересовать вопрос не о том, чем являлся «живой человек» «в представлении рапповских теоретиков», а о том, чем является «живой человек» в действительности. А в действительности теория «живого человека» есть не мумия, а (как вы только-что сами признали) точка зрения мелкого буржуа, т.-е. реальная классовая идеология. Случайна ли такая непоследовательность у т. Розенталя? Нет, не случайна. Он и его сторонники на деле, всерьез понимают теорию «живого человека», как «мумию», с. не понимают ее истинной сущности. Отсюда их фактическое примиренчество и сползание к названной теории.

Это сползание ярче всего обнаруживается в вопросе о типичных характерах. В своей статье, направленной против меня, т. Розенталь цитирует мое определение типичных характеров: «типичные характеры в типичных обстоятельствах — это не характеры вообще, т.-е. не правдоподобные «живые личности» вообще, не механически обобщенные (или «синтезированные») «индивидуальности» вообще. Типичные характеры в типичных обстоятельствах — это такие характеры, в которых выражается в истинном виде сущность и конкретно-историческая роль тех классов, представляемых которыми являются данные характеры». Прочитав это мое определение типичных характеров, т. Розенталь сначала опять соглашается со мной («автор несомненно прав, когда он в противовес рапповской теории «живой личности» считает понятие типичных характеров конкретно-историческим понятием»), но затем т. Розенталь далее пишет:

«Правда, это определение не является для нашей критики откровением, как это думает сам автор, но несомненно верно, что каждый типичный характер является представителем того или иного класса и в сконцентрированном, сгущенном виде выражает

черты класса, или социальной прослойки»... (стр. 112. Курсив мой.—П. Р.).

Приведенное утверждение т. Розенталя доказывает, что цитированное им мое определение типичных характеров является «откровением» и, прежде всего, откровением для самого т. Розенталя. Рассуждение т. Розенталя доказывает, что он абсолютно не понимает, что такое типичные характеры в типичных обстоятельствах. По Розенталю, типичный характер — это просто «представитель того или иного класса» («в сгущенном виде» выражающий «черты класса»...) Именно такое представление о типичном характере как-раз и пропагандируется сейчас в нашей критике не только т. Розенталем, но всеми «здоровыми эмпириками». Но такое представление о типичном характере абсолютно неверно. Типичный характер потому и типичный, что он есть не просто «представитель того или иного класса» (в «сгущенном» или «несгущенном» виде — это все равно), а такой представитель класса, который истинно выражает сущность и конкретно-историческую роль данного класса на том или ином историческом этапе. Можно привести в пример десятки и сотни характеров, являющихся представителями тех или иных классов, но в то же время не являющихся типичными характерами. Ведь таких характеров, которые бы не являлись представителями тех или иных классов, в литературе пока что вообще не существует. Всякий характер есть представитель того или иного класса, но не всякий характер есть типичный характер. Характер Франца фон-Зикингена у Лассала — не мумия, не «абстрактное существо, лишенное каких-либо социальных качеств», а представитель определенного класса. Но этот характер не типичен. Характер Шорохова в «Рождении героя» Либединского — тоже представитель определенного класса, а не «абстрактное существо, лишенное каких-либо социальных качеств». Но этот характер не типичен для пролетариата. Быть представителем какого-либо класса — это еще совсем не значит быть типичным

представителем. Именно этого основного и главного не понимают т. Розенталь и его единомышленники. В этом как-раз и заключается, между прочим, методологическая причина их сползания на позицию «живого человека», — на линию защиты Ждаркиных и прочих «здоровых эмпириков», изображаемых в советской литературе. Так например, т. Розенталь и его сторонники никак не могут понять, почему это я, с одной стороны, считаю, что характеры в произведениях Фадеева, Панферова и др. являются представителями определенных классов, а с другой стороны, объявляю эти характеры не типичными или недостаточно типичными. Имея в виду такой случай, тов. Розенталь пишет обо мне:

«Логика автора несколько пострадала. Он ухитряется буквально рядом поместить два противоречащих друг другу положения. Положение № 1 гласит: «Действующие лица в произведениях этих писателей противопоставляются друг другу и выступают как представители различных классов и направлений»... Положение № 2 на той же странице гласит: «Основные недостатки произведений названных писателей идут по линии влияния кустарного рапповского реализма, по линии изображения действующих лиц в их правдоподобии, в виде «живых личностей» вообще...» (стр. 112).

Вокруг этого же самого мнимого противоречия в моей логике особенно усердно танцует т. Войтинская, обвиняя меня в «теоретической нечестности». Однако после сделанных выше разъяснений о сущности типичных характеров всякий поймет, что «логика пострадала» не у Рожкова, а у Розенталя и что «теоретическая нечестность» Рожкова — это мыльный пузырь, изобретенный т. Войтинской. Между моим положением № 1 и положением № 2 нет никакого противоречия. В положении № 1 я говорю о том, что характеры в произведениях Фадеева и Панферова выступают как представители определенных классов и направлений. Но выступать представителем определенного класса, это еще не значит быть типичным характере-

ром, ибо понятие «типичного характера» предполагает адекватное выражение сущности и конкретно-исторической роли пролетариата, как класса. А в этом отношении характеры в произведениях Фадеева и Панферова недостаточно типичны.

Именно потому, что правильное марксистское определение типичных характеров совершенно не понято т. Розенталем и др., именно поэтому они и отстаивают «здоровых эмпириков» в литературе в роде Кирилла Ждаркина из романа Панферова. Я утверждал и утверждаю, что, поскольку Ждаркин сомневается в линии партии, постольку Ждаркин не типичен в качестве представителя линии партии. Розенталь возражает мне следующим образом:

«Ждаркин (по Рожкову) не типичный представитель партии в деревне, он противоречив. Рожкову нет дела до того, что в реальной жизни у Ждаркиных в этих сомнениях прорываются их собственные прошлые предрассудки... Жизнь доказывает многочисленными фактами, что часть деревенских коммунистов, не поняв новой обстановки, новой тактики кулаков, «не только не разоблачают таких классовых врагов, а, наоборот, сами поддаются их жульнической демагогии и плетутся за ними в хвосте»... («Литературный критик», № 6 за 1933 г., стр. 115. Курсив мой. — П. Р.).

Последняя фраза, взятая в кавычки, извлечена т. Розенталем из доклада тов. Сталина («О работе в деревне»). Но ссылка т. Розенталя на тов. Сталина в данном случае ни к селу ни к городу. Нельзя свою собственную путаницу оправдывать незаконными ссылками на тов. Сталина. Ведь то, что мне доказывает т. Розенталь, я не отрицаю и отрицаю не собираюсь. Мне хорошо известно, что в реальной жизни имеются такие коммунисты, о которых говорит т. Розенталь. Но апелляция т. Розенталя к «реальной жизни» в данном случае есть апелляция к «здоровой эмпирии». В самом деле, сам же т. Розенталь пишет о том, что «часть деревенских коммунистов» не понимает но-

вых задач в деревне и фактически посягает кулаку. Но, во-первых, часть не есть целое, во-вторых, упомянутая часть не представляет собою коммунистического авангарда в деревне. А если это так, то нельзя людей из этой части изображать как типичных представителей линии партии в деревне.

Тт. Розенталь, Войтинская, Нович<sup>1)</sup>, Усиевич и целый ряд других апеллируют к «реальной жизни». Реальная жизнь, раз'ясняют они, «доказывает многочисленными фактами», что «Ждаркины и тысячи ему подобных не случайно противоречивы», Ждаркины существуют в реальной жизни, и потому их надо признать типичными. Отрицать типичность подобных характеров, раз'ясняют они, значит подходить к действительности с «абстрактно-механистической схемой», значит призывать «к лакировке и искажению действительности», значит подменять «принцип... реалистического познания действительности «принципами долженствования»... А «что может быть политически вреднее? Не случайно ведь среди вождей «Литфронта» были герои «право-левого» блока Сырцова и герои троцкизма, боровшиеся против линии партии»... (См. «Литературный критик», № 6, 1933 г., стр. 116.)

Так воинственно сражается т. Розенталь якобы за ортодоксальную партийную точку зрения в литературе. Покажем цену этой воинствующей ортодоксальности при помощи самого же т. Розенталя. В статье «О бедном страусе и знании действительности» («Литературный критик», № 3, 1934 г.) т. Розенталь (разбирая поэму Лаврова «Золотое сечение» и доводы названного поэта в защиту своих героев) пишет:

«Что касается того, что «личные переживания существуют в нашей дей-

<sup>1)</sup> См. его статью в 8-й книжке «Октября» за 1933 г., в которой он рассуждает точь-точь по методу «Розенталя» и, отстаивая «здорового эмпирика» Ждаркина (этот «замечательный образ романа и, пожалуй, всей нашей современной литературы...»), по сути дела ставит Панферова выше Бальзака, развязно провозглашает его писателем, поднявшимся выше художников всех времен и народов, когда-либо писавших о крестьянстве...

ствительности», то это еще ничего не доказывает, ибо в действительности существуют личные переживания и коммуниста, и мещанина, и материалиста, и идеалиста. От того, что личные переживания мещанина и идеалиста существуют в действительности, они от этого еще не становятся коммунистическими и материалистическими. Точно так же поверхностно звучит второе утверждение поэта в защиту своего материализма, что «в мире нет просто личных переживаний, а есть личные переживания только на основе взаимоотношений личности и действительности». Конечно это так, но это относится не только к коммунисту, но и к мещанину. Разве душевные переживания и личные чувства эт'ого последнего не имеют основания в самой действительности, в его бытии, и не являются порождением своеобразных экономических и идеологических отношений между личностью и действительностью? Стало быть, то обстоятельство, что герои поэта как-то соотносятся с действительностью, не утверждает еще их материалистичности и коммунистичности» (стр. 151. Курсив мой. — П. Р.).

Мы должны поблагодарить т. Розенталя за только-что приведенное рассуждение. Хорошо рассуждает т. Розенталь в № 3 «Литературного критика» за 1934 г. и из рук вон плохо рассуждает он в № 6 того же журнала за 1933 г... Ведь в № 6 «Литературного критика», как уже показано, т. Розенталь доказывает, что Ждаркин со своими переживаниями и противоречиями является типичным характером именно потому, что его переживания и противоречия реально «существуют в нашей действительности», что они, эти противоречия, «имеют основание в самой действительности», и что, стало быть, Ждаркин «как-то соотносится с действительностью»... Все это утверждает т. Розенталь в № 6 «Литературного критика» за 1933 г. А в № 3 того же журнала за 1934 г. он отказывается признать героев поэмы Леонида Лаврова материалистическими и комму-

нистическими на том простом основании, что эти герои существуют со своими переживаниями в реальной жизни и «как-то соотносятся с действительностью». Разве не ясно, что логика т. Розенталя действительно пострадала? Разве не ясно, что, соглашаясь с Рожковым в том, что понятие типичных характеров является конкретно-историческим, т. Розенталь, по существу, абсолютно не понимает содержания этого понятия, что это понятие было и остается для него «откровением»?

В своей статье о поэме Лаврова т. Розенталь рассуждает совершенно правильно: нельзя объявлять героев художественного произведения материалистическими и коммунистическими только потому, что эти герои со всеми своими переживаниями существуют «в реальной жизни» и «как-то соотносятся с действительностью». Ведь и переживания мещанина «имеют основание в самой действительности, в его бытии»... Совершенно верно, тов. Розенталь! Именно поэтому я и утверждаю, что нельзя противоречивого и сомневающегося в линии партии Ждаркина и прочих «здоровых эмпириков», изображаемых в нашей литературе, объявлять материалистическими и коммунистическими или, иначе говоря, типичными характеристиками на том основании, что Ждаркины существуют «в реальной жизни», что они «как-то соотносятся с действительностью»... Ведь и противоречивый мещанин тоже «имеет основание в самой действительности» и «как-то соотносится с действительностью».

Так-то, тов. Розенталь! А еще хвастаетесь тем, что для вас защищаемое мною конкретно-историческое определение типичных характеров «не является откровением!» А еще ссылаетесь на Гегеля и цитируете Сталина! Вот к чему приводят необоснованная похвальба «философической» эрудицией и неоправданные ссылки на учителя! Мы видим, что воинственный пыл т. Розенталя и претензия на защиту ортодоксальной партийной линии гроша ломаного не стоят. Недаром Ленин любил повторять: одно дело декламировать о партийности,

другое дело — осуществлять подлинную партийность на деле<sup>1)</sup>.

Читатель может сказать: «Ну, хорошо! Вы доказали, что т. Розенталь формально противоречит сам себе, а по существу защищает обывательское представление о типичных характерах. Но ведь Розенталь высказывает свою личную точку зрения, и его нельзя отождествлять с другими товарищами, претендующими на руководящую роль в критике». Такому читателю я предлагаю, во-первых, принять во внимание не одно какое-либо рассуждение т. Розенталя, а сумму его рассуждений, и поставить эту сумму в связь с суммой рассуждений других единомышленников Розенталя, подвизающихся в критике. Во-вторых, я предлагаю такому

<sup>1)</sup> Забавно следующее рассуждение т. Розенталя: «Совсем теряет чувство смешного Рожков, когда он обвиняет писателя в том, что тот stalkивает тов. Сталина и ЦК с такими людьми, как Ждаркин. «Писатель обязан и ЦК, и тов. Сталина (т. Розенталь цитирует мою статью. — П. Р.), поставить в отношения с такими типичными действующими лицами, за которых бы не пришлось краснеть прежде всего самому писателю». И далее: «неоправданно вводить «здорового эмпирика» Ждаркина на заседания секретариата ЦК», и stalkивать его с тов. Сталиным так же нелепо, как нелепо садиться на океанский пароход и раскладывать морскую карту, когда всего-навсего предстоит переехать лужу».

Приведя эти цитаты из моей статьи и отдав должное «образным способностям критика», т. Розенталь утверждает, что «придется краснеть прежде всего самому... критику» (т.е. мне). «Что же, по мнению Рожкова, — спрашивает т. Розенталь, — ЦК занимается исключительно вопросами «мировых масштабов» и не занимается вопросами отдельных районов, колхозов?» И т. д., и т. п.

Легко видеть, что т. Розенталь упражняется в софистике. Я не хуже т. Розенталя знаю, что ЦК занимается не только вопросами «мировых масштабов». Но ведь у меня речь идет не о «масштабах», а о том, насколько художественно оправдано в романе Панферова столкновение Ждаркина с тов. Сталиным. Ведь «по ходу пьесы» (т.е. по замыслу автора романа) Ждаркин stalkивается с тов. Сталиным как крепкий, инициативный человек, как вожак новой колхозной деревни, как типичный представитель линии партии в деревне. На самом же деле Ждаркин — карикатура на вожака — «здоровый эмпирик». Вот в чем суть. Вот от чего должен краснеть писатель и вместе с ним его защитник Розенталь.

«дотошному читателю» взять в руки третий номер «Литературного критика» за 1933 г. и познакомиться в передовой этого номера со следующей постановкой вопроса о «типичных характерах».

«Не всякое изображение действительности есть правдивое изображение (совершенно верно! Выше показано, что то «изображение действительности», за которое ратуют в «Литературном критике», — не есть «правдивое изображение действительности». — *П. Р.*). Изображение может быть поверхностным, затрагивающим лишь случайное, и такое изображение не только не помогает борьбе, но и вредит. Правдивое изображение берет существенное, основное, главное в явлениях, закон, тенденцию развития. Или, как говорит Энгельс, дает типичных людей в типичных обстоятельствах»...

Очень хорошо. Но что же такое «существенное», «закон», или «типичные люди в типичных обстоятельствах»?

«Типичные люди», — разъясняет передовая «Литературного критика», — это люди, рассматриваемые как представители определенных классов, определенных прослоек в рамках одного класса.

Типичные обстоятельства — это совокупность определенных исторически обусловленных социально-экономических условий, экономической, политической и идеологической (политическая не есть «идеологическая»?).. — *П. Р.*) классовой борьбы, это то, что окружает людей и составляет их определенным образом действовать...»

«Не нужно быть особо догадливым, чтобы понимать, что марксистско-ленинское требование от писателя правдивости изображения является принципом, вытекающим из глубоко партийных позиций и что оно ничего общего не имеет с мещанским, мелкобуржуазным пониманием «правды», «справедливости» и т. п.» (стр. 7—8).

После того, как выше мы уже разобрали совершенно такие же по существу рассуждения г. Розенталя, «не нужно быть особо догадливым, чтобы пони-

мать», что за звонкими фразами передовой «Литературного критика» о «марксистско-ленинском требовании» и «глубоко партийных позициях» скрывается, по существу, именно мещанское, мелкобуржуазное понимание «правды», ибо, как детально разъяснено выше, типичные люди — это отнюдь не просто люди, «рассматриваемые как представители определенных классов», а люди (вернее характеры), выражающие сущность и конкретно-историческую роль определенных классов на том или ином историческом этапе; типичные же обстоятельства — это не «совокупность определенных исторически обусловленных социально-экономических условий» вообще (такую плоскую постановку вопроса, сводящуюся к тавтологическому повторению тезиса: бытие определяет сознание, я как-раз и разоблачал в своей статье о социалистическом реализме), а обстоятельства, точно сформулированные как конкретно-исторические обстоятельства, как своеобразие того или иного исторического этапа (например в эпоху Сен-Симона типичные обстоятельства были таковы, что пассивность была типичной для пролетариата, а в нашу эпоху эта пассивность является не типичной. Далее: в эпоху Великой французской революции обстоятельства были таковы, что революционность была типичной для городской мелкой буржуазии, а в нашу эпоху революционность для городской мелкой буржуазии является не типичной). «Не надо быть особо догадливым, чтобы понимать», что утверждения передовой «Литературного критика», в сущности, целиком совпадают с рассуждениями Розенталя и представляют собой ставку на самое тем, скат к рапповской теории «живого человека».

Тов. Розенталь пытается изобразить мою точку зрения в извращенном виде: «характеры не типичны, ибо они противоречивы, — такова формула Рожкова». Неверно это. Формула Рожкова совсем не такова. Всякий, кто серьезно и вдумчиво прочтет мою статью о социалистическом реализме (кн. 9 «Нового мира» за

1933 г.) поймет, что я отнюдь не отстаиваю мнения, согласно которому противоречивость отождествляется с нетипичностью. В этой статье (строго следуя за Марксом и Энгельсом) я утверждаю, что например характер Геца фон-Берлихингена (у Гете) является типичным. Но ведь Гец фон-Берлихинген насквозь противоречив. Далее, в той же самой статье я утверждаю, что характеры, изображаемые Лениным, являются нетипичными не потому, что они противоречивы, а потому, что эти характеры не отражают адекватно сущность и политическую роль мелкой буржуазии в эпоху империализма вообще и в условиях диктатуры пролетариата в СССР в особенности. В этом суть, а не в чем-либо другом. К вопросу о противоречивости характеров нельзя подходить с точки зрения «плода вообще». Различным классам на различных ступенях их исторического существования свойственна различного рода противоречивость. И Ждаркин, так горячо отстаиваемый «Литературным критиком», не потому не типичен, что он, вообще говоря (т.-е. безотносительно к конкретному содержанию нашей эпохи), противоречив, а потому, что он противоречив в такой форме (внутреннее раздвоение, перманентные колебания, доходящие до сомнения в линии и партии и т. д.), которая не является типичной для пролетариата как класса, установившего свою диктатуру на одной шестой земного шара и победоносно строящего социализм.

Возьмем роман Панферова «Бруски». В этом романе имеются налицо противопоставленные характеры. Например, с одной стороны, такие характеры, как Плакушев, отец и сын Чухлявы, «член ЦКК» Лемм, Жарков и друг., а, с другой стороны, такие характеры, как Шленка, Шешка, Богданов и, в особенности, Кирилл Ждаркин. Первая группа характеров в той или иной форме выражает линию кулачества как класса, а вторая группа характеров предназначена выражать, в той или иной форме, линию колхозной, социалистической деревни. Та-

ким образом, Панферов стремится выразить идею своего произведения через противопоставление характеров. Однако все дело в том, что противопоставление характеров в романе Панферова является непоследовательным, не развитым до необходимой определенности. Этот факт весьма наглядно можно иллюстрировать на Ждаркине. Ведь Ждаркин — основной характер романа, противопоставленный кулацким характерам и призванный воплощать в себе линию партии. А что Ждаркин собой представляет?

«Он все делает своей физической силой, не головой. Голова у него работает потом... Хороший «здоровый эмпирик»<sup>1)</sup>. (Курсив мой. — П. Р.)

Так характеризует Ждаркина один из «положительных» героев романа — Богданов. Что касается автора, то он не только не опровергает этой характеристики Ждаркина, но, наоборот, всей логикой развития образа эту характеристику утверждает. Из чего явствует то, что Ждаркин — «здоровый эмпирик»? Прежде всего из того, что он теоретически совершенно беспомощен; он например сопротивление кулаков объясняет «силой привычки» и само кулацкое восстание склонен объяснять действием «тьмы», которая нагрянула на мужиков и коммунистов и всех «всполошила». Далее из того, что Ждаркин, по существу, не понимает линии партии в деревне: он например начинает реформу в коммуне, созданной его предшественником Огневым, но эту реформу не доводит до конца. Прямо и последовательно он не ставит ставку на артель как на основную колхозную форму. Сбиваясь на то, чтобы «всех двинуть в коммуны», Ждаркин, по существу, идет на поводу за кулаками, проводит фактически кулацкую тактику. Самое же главное и решающее заключается в том, что у Ждаркина нет уверенности в правоте своего дела, нет уверенности в правиль-

1) Читатель видит, что определение «здоровая эмпирия» не выдуманно нами, а взято из романа Панферова.

ности и в победе линии партии.

«А может быть, то, что проделывает героическая партия, — пустая брехня, фантазия, безумие людей, взявших власть в боях на баррикадах? Такие сомнения одолевали Кирилла... Он знал: его дела — дела героического класса... И все-таки сомнения терзали его: ему временами казалось, переделать крестьянина, привыкшего к своему клочку земли, — величайший бред» («Твердой поступью», звено 8. Курсив мой. — П. Р.).

Так выглядит Ждаркин, этот якобы «новый человек колхозной деревни», этот «замечательный человек... с ясной головой и стальной волей» (как в этом бездоказательно и хвастливо уверял публику Борис Резников). Разве не ясно, что Ждаркин не большевик, а карикатура на большевика? Поэтому смешно и грустно, когда «Литературная газета» (см. номер от 5 января 1933 г.) негодует на Рожкова за «яростное умаление» образа Ждаркина —

«как образа, не дающего якобы представления о текущих процессах нашей деревни, ибо противоречия Ждаркина, сомневающегося в линии партии — противоречия «дурные», а не диалектические»... (Курсив мой. — П. Р.)

Поставив запятую и подчинив придаточное предложение со словом «ибо», «Литературная газета» решает, что все доказано. Но ведь в этом «ибо» — вся суть. Ведь если «Литературная газета» считает, что коммунисты, руководящие переделкой крестьянства в колхозах и в то же время «сомневающиеся в линии партии», суть типичное явление в нашей действительности, если она считает, что такие коммунисты дают истинное представление «о типичных процессах в нашей деревне», то этот тезис «Литературная газета» должна обосновать и доказать. Я же утверждал и утверждаю, что, поскольку Ждаркин преподносится нам не

как отрицательный или второстепенный герой (который бы по смыслу романа сам нуждался в коренной переделке), а как незаурядный вожак, претендующий на руководство и осуществляющий руководство деревней, как человек, который в силу этих качеств поставлен в отношении с ЦК и с тов. Сталиным, и, наконец, поскольку противоречия Ждаркина не разрешаются с необходимой ясностью в определенную сторону, — постольку противоречия Ждаркина, сомневающегося в линии партии, являются противоречиями именно дурными, постольку Ждаркин есть не типичный характер большевика, а более или менее типичный носитель определенного вида ползучего эмпиризма и оппортунизма.

Не трудно видеть, что спор между Рожковым и апологетами Ждаркина имеет кардинальное значение. Спор идет о том, должны ли мы «хороших, здоровых эмпириков» типа Ждаркина выдавать за «новых людей колхозной деревни», за положительных героев советской литературы, за типичных представителей линии партии, или же мы должны открыто и прямо признать, что Ждаркина суть не что иное, как давно знакомые нам «живые личности», в течение многих лет культивировавшиеся рапповской критикой и не имеющие ничего общего с теми типичными характерами, за которые мы должны бороться в советской литературе? Вот о чем идет спор<sup>1)</sup>.

Совершенно не серьезными являются попытки «Литературной газеты» посрамить Рожкова и защитить Ждаркина

<sup>1)</sup> В своей статье в № 6 «Литературного критика» т. Розенталь утверждает: «Рожков своими теоретическими рецептами советует писателю не писать о партийных работниках, являющихся или становящихся оппортунистами, ибо, видите ли, это не есть изображение «типичных характеров в типичных обстоятельствах»... Приведенное утверждение т. Розенталя является абсолютно ложным. Рожков советует писателям писать о парторганизаторах, становящихся оппортунистами, но он требует того, чтобы писатель изображал их именно, как оппортунистов, а не выдавал за типичных представителей линии партии. Вот чего не понимает т. Розенталь, «Литературная газета» и другие «эмпирики».

при помощи «крестьянина Козловского», участвовавшего на диспуте.

«Какое же это «барахло», — спрашивает г. Козловский Рожкова, — а кто же в МТС директором, кто руководит машиной в деревне, совхозом, колхозом? Неужели вы их всех (курсив мой — П. Р.) называете «барахло»? А ведь это все Ждаркины, которые пришли туда и помогают строить социализм... (Курсив мой.—П. Р.)

«Литературная газета» явно зарпортовалась. В самом деле: на каком таком основании Ждаркин отождествляется со всеми руководителями МТС, совхозов и колхозов? Откуда это видно, что раз Ждаркин — «барахло», то и все руководители МТС — барахло? «Литературная газета» пытается спрятать «здорового эмпирика» Ждаркина за широкую и авторитетную спину всех руководителей МТС, уверить публику, что все руководители МТС — такие, как Ждаркин. Но эта демагогия не пройдет. Что в отдельных МТС у нас есть Ждаркины, — это бесспорно. Но это — не типичное явление. Утверждать вместе с «Литературной газетой», что все руководители МТС, посланные партией в деревню помогать строить социализм, — «это все Ждаркины», т.е. это все сомневающиеся в линии партии люди, — значит клеветать на руководителей МТС, совхозов и колхозов, клеветать на самую партию. Значит ли это, что в нашей действительности нет противоречивых Ждаркиных и что их не нужно показывать в литературе? Нет, не значит. Противоречивые Ждаркины в нашей действительности есть, и их надо показывать в литературе, но их нельзя изображать в качестве типичных характеров, представляющих линию партии.

«Литературная газета» очень недовольна тем, что Рожков, критикуя Панферова, употребляет определение: «здоровая эмпирия». «Литературной газете» кажется, что это определение является искусственным «ярлычком». Она не понимает того, что за этим «ярлычком» стоит объективное содержание. За-

щищая необходимость переделки общественных отношений и людей «через вскрытие противоречий в героях произведения» (а не через показ противоречий исторической действительности) и поднимая на щит Ждаркина, «Литературная газета», сама того не замечая, сползает на позицию рапповской теории «живого человека». А почему это происходит? Это происходит потому, что товарищи из «Литературной газеты» — «хорошие, здоровые эмпирики». Декламируя на словах о «практике», о «жизненной правде» и т. п., они на деле игнорируют и практику, и жизненную правду. Они не изучают документов советского литературного движения, они отмахиваются от того (практического!) опыта, который накопился в РАПП почти в течение 10 лет. Они легкомысленно полагают, что этот опыт не влияет на творчество многих наших писателей на данном этапе. Они думают, что раз тот или иной писатель на словах отгородился от Авербаха и Ермилова, раз он вышел из одной группки и вошел в другую группку, то он уже и на деле стопроцентный «социалистический реалист»... «Литературная газета» например видит заслугу Панферова в «прощупывании жизни своими руками». Она забывает о том, что писатель должен щупывать жизнь не руками, а прежде всего головой, что проповедь стихийного «прощупывания жизни своими руками» есть проповедь «узколобого практицизма», «безголового делячества» (Сталин)<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Критикуемая здесь позиция апологии «здоровой эмпирии» Панферова защищалась «Литературной газетой» во время дискуссии о Панферове (ГИХЛ — ИКП литературы) до выступления М. Горького. Как уже сказано выше, после выступления Горького «Литературная газета» начала «менять вехи». Но начала она менять вехи крайне непоследовательно и трусливо. Так, с одной стороны, «Литературная газета» признавала необходимым продолжить обсуждение «Брусков» Панферова «по существу их содержания, а не только языка» (см. передовую от 24 марта 1934 г.), а, с другой стороны, «Литературная газета» фактически палец о палец не ударила для того, чтобы добиться обсуждения романа Панферова именно по существу содержания (а не только со сто-

Рассуждения товарищей из «Литературного критика» и «Литературной газеты» о «жизненной правде» и их восстание против четких марксистско-ленинских принципов критики (под флагом борьбы со «схемой» и т. п.) безусловно облегчают проповедь открыто идеалистической взглядов на существование литературной критики. Приведем факты. Факт первый. Так, т. Мариэтта Шагинян в «Беседах с начинающим автором» (см. «Новый мир», кн. 1—3, за 1934 г.) ставит своей задачей предложить «опыт методологии новой эстетики». Что же представляет собой эта «новая эстетика»? Тов. Шагинян хочет решить вопрос о критерии и оценки в искусстве, выяснить, «где те основы, на которых она (критика) держится». Писатель, говорит т. Шагинян, не умеет —

«объяснить, почему это сильно и слабо (речь идет о художественных произведениях. — П. Р.), при этом объяснить не путем разбора мелочей, а исходя из каких-то основных принципов, которые неизбежно должны быть в искусстве, как они есть в науке».

Уяснить «основные принципы» критики т. Шагинян предлагает на опыте работы литературного кружка. Она подробно описывает, как один автор-кружковец зачитал неудачный рассказ, как

роны языка). Статьи, разбиравшие роман Панферова именно со стороны содержания, «Литературная газета» отказалась печатать (так было с моей статьей «По поводу изоляции»). Единственно, что сделала «Литературная газета» в смысле обсуждения «Брусков» по содержанию, это то, что она напечатала статью В. Ермилова (от 16 марта) и статью М. Серебрянского (от 28 марта с. г.). Но, после того, как в статье о сод. реализме и в настоящей статье мы фактически показали, что основные недостатки Панферова идут по линии рапповского «живого человека», разве не ясно, что помещение (без всяких оговорок) статей Ермилова и Серебрянского (т.-е. теоретиков «живого человека», нигде не отказавшихся от сущности своих взглядов), — было делом беспринципным? Передовсвятъ Ермилову и Серебрянскому критику романа Панферова, по существу содержания, это значит поручать опровергнуть теорию самотека, или «здоровой эмпирии», с точки зрения самотека, или «здоровой эмпирии»... Вот к чему ведет отсутствие принципиальной линии в литературной политике!

этот рассказ произвел плохое впечатление. Но указать, почему рассказ плох, никто из кружковцев не смог, так как не было «критерия». Как же найти критерий? Молчаливому впечатлению от рассказа, рассуждает т. Шагинян, предшествовали «два материальных момента»: а) самый рассказ, б) голос читцы. Этого мало. Тогда прочитали «для сравнения» лучший рассказ. Тем самым достигается увеличение «объема фактов» и, как изящно выражается т. Шагинян, — «количественное «нагнетание» материала превращается в облегчающий факт суждения».

«Итак, весь процесс образования критического суждения происходил у меня на глазах, отчетливо слагаясь из чтения, из впечатлений от чтения и из обогащения от более требовательного второго чтения, в сумме своей составляющих разбор вещи».

Поразмыслив таким образом, т. Шагинян формулирует «основной принцип» критики:

«Практическим критерием для каждого нашего художника служит следующее простое правило:

1) если новая, созданная тобою вещь обогащает тебя самого, когда ты посмотришь и прочитаешь ее глазами своего социального потребителя, значит хорошо, и тут есть для тебя творческое движение вперед;

2) но если вещь тебе самому ничего не дает и ты чувствуешь, что в тебе самом заложено большее, нежели то, что получилось на бумаге, значит плохо...

Иначе сказать, критерий возникает тогда, когда сам творец становится социальным потребителем своей вещи, выражая своим отношением к вещи то, чего требует от нее безошибочный инстинкт растущего массового потребителя» («Новый мир», кн. 3 за 1934 г., стр. 210. Курсив мой. — П. Р.).

Мы привели рассуждения т. Шагинян не для того, чтобы обнаружить только их абсолютное значение. В своем абсолютном значении рассуждения

Шагинян представляют собою наивное и некритическое повторение старой субъективно-идеалистической теории Бергсона, Воронского и налитпостовцев об интуиции и непосредственных впечатлениях как «основе искусства». Но ведь значение рассуждений т. Шагинян гораздо глубже. Идеалистическое философствование т. Шагинян на тему о «методологии новой эстетики» является, так сказать, «знаменем времени».

Обратимся к другому примеру — к статье Асмуса «О нормативной эстетике», напечатанной в «Литературном критике» (см. №№ 1—3 за 1934 г.) без всяких оговорок и примечаний. Схоластически вращаясь все время в рамках вопроса о границах между отдельными искусствами; забывая о том, что, с марксистской точки зрения, непозволительно вопрос об эстетике (!) сводить к чисто-формальному рассуждательству о границах между живописью и поэзией, между скульптурой и музыкой и т. д.; «забывая» или не понимая того, что для нас вопрос об эстетике шире и глубже вопроса, поставленного в «Лаокооне», т. е. шире и глубже вопроса о границах между отдельными видами искусства; игнорируя все эти обстоятельства, Асмус по существу развенчивает Лессинга и Белинского, как представителей ошибочной (метафизической, во веки веков существующей в одной и той же ипостаси) «нормативной эстетики». Асмус по сути дела игнорирует и замалчивает величайшее историческое значение Лессинга и Белинского, состоявшее в том, что они выдвинули именно новые «нормативные» принципы критики и тем самым двинули вперед развитие литературы и искусства своего времени.

Разделавшись таким образом (с точки зрения чисто-формалистического рассуждательства о границах между отдельными искусствами) с Лессингом и Белинским, Асмус начинает формулировать свои собственные «анормативные» (по сути дела, в конечном счете, тоже нормативные) принципы критики.

«Перед лицом каждого данного произведения искусства, — пишет Ас-

мус, — критик должен прежде всего усвоить ту художественную задачу, которую писатель в этом произведении перед собой ставит. К анализу и оценке произведения, каково бы оно ни было, критик не должен подходить с общим для всех произведений мерилом»...

Мы видим, что Асмус точь-в-точь рассуждает по Розенталю, в соответствии с передовой «Литературного критика». Но пойдем дальше от цветочков к ягодкам. Подекламировав малость о «партийной, классовой точке зрения» (Асмус тоже мастак на оговорочки), автор соглашается все-таки допустить кое-какое «общее мерило» и в полном согласии с М. Шагинян и с передовицами «Литературного критика» умозаключает:

«Главное в том, что последним критерием истинности в вопросах эстетического нормирования всегда останется живая, неиссякающая, вечно развивающаяся практика художественного творчества. Последней мерой художественной силы тех или иных, изобретенных художником приемов, выразительных средств всегда будет их возможная практическая действительность, способность захвата ими тех, кто к данному художнику обращается»...

Сославшись затем для ортодоксальности на Ленина (сославшись в с у е, ибо Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» дает общую, гносеологическую постановку вопроса о практике, как критерии истины, а Асмус речь ведет о другом, — о конкретном уяснении понятия практики в литературе, в художественном творчестве), Асмус, как «философ»<sup>1)</sup>, окончательно резюмирует:

«Только практика живого, в борьбе живых людей развивающегося искусства может разрешить все смущающие вашу мысль (мысль критика. — П. Р.) вопросы о нормах должного и допустимого в искусстве. Только нормы относительные (т. е.

<sup>1)</sup> Статья имеет форму диалога между писателем, критиком и философом (в образе которого выступает Асмус).

релятивистские. — П. Р.), диалектически гибкие, из объективного движения искусства почерпнутые, способны стать руководством к поэтическому действию».

«Не будем же повторять в эстетике ошибки, давно опровергнутые диалектическим материализмом (намеки на Лессинга и Белинского. — П. Р.). Будем стоять за нормы, но за нормы конкретные, живые, достойные трудного и почетного имени диалектики»... («Литературный критик», № 3, 1934 г., стр. 172—177).

Выражаясь языком передовиц «Литературного критика», «не нужно быть особо догадливым, чтобы понимать», что, ратуя за «живую, не иссякающую, вечно развивающуюся практику художественного творчества» (не давая в то же время точного, конкретного определения понятия практики и, следовательно, сводя это понятие практики к самому делу); отстаивая в критике и в искусстве вообще чистейший релятивизм, т.е. «только нормы относительные» (цитирование Ленина по вопросу о критерии практики, как видим, не мешает Асмусу ревидовать Ленина по вопросу об абсолютной и относительной истине); протаскивая (под флагом «трудного и почетного имени диалектики») все эти «анормативные» взгляды, Асмус совершенно определенно проповедует идеологию хвостизма и стихийности в критике. Но разве не ясно, что в этом деле он находится в самом трогательном согласии с Мариэттой Шагинян, с т. Розенталем, с «Литературным критиком» и с «Литературной газетой»? Весьма показательно то, что, защищая фактически линию «здоровой эмпирии», «Литературная газета» в своих выступлениях против Асмуса не только не разоблачила его идеалистических установок, но, наоборот, помогла Асмусу защитить эти установки. Об этом свидетельствует неудачная статья «Альфы» (давшая повод «Известиям» взять Асмуса под защиту) и передовая «Литературной газеты» от 26 мая с. г. Жалуясь в этой передовой на усилении «идеологической дея-

тельности Асмуса» и на то, что т. К. Т. в своей «игривой заметке» в «Известиях» взял Асмуса под защиту, передовая «Литературной газеты» наивно опровергает Асмуса тем же самым тезисом, который и является как-раз основным у самого Асмуса. «Литературная газета» указывает на то, что мол, Асмус не понимает того, что

«основное в социалистическом реализме... это то, что «социалистический реализм в литературе может явиться только как отражение данных трудовой практикой фактов социалистического творчества»...

Не трудно видеть, что подобным пониманием социалистического реализма «Литературная газета» не разбивает Асмуса, а изо всех сил ему помогает, ибо Асмус, как выше показано, тоже ведь за «отражение данных трудовой практикой фактов социалистического творчества»... «Литературная газета» забывает о том, что социалистический реализм не есть только «отражение данных трудовой практикой фактов социалистического творчества». Как и всякий другой метод, социалистический реализм, разумеется, есть отражение практики. Но повторять такие плоскости в данной связи — значит запутывать суть дела. В конкретных условиях советской литературы на данном этапе социалистический реализм есть прежде всего теория, которая должна освещать «данные трудовой практикой факты социалистического творчества» писателей. «Литературная газета» забывает о том, что критика должна вносить элемент сознательности в массовое литературное движение, а не принижать себя до уровня «данных трудовой практикой фактов социалистического творчества», т.е., в данном случае, до уровня стихии.

«Не нужно быть особо догадливым, чтобы понимать», что все это значит. Проповедь «здоровой эмпирии», или самотека, — таков объективный смысл всех рассуждений и разговорчиков «здоровых эмпириков» о «правде жизни» и т. п. «Здоровые эмпирики» не понимают того, что всякая декламация о «прав-

де жизни», о «практике» без ясного и точного разъяснения этих понятий объективно неминуемо превращается в оправдание самотека и стихийности<sup>1)</sup>. Дошло же ведь до того, что тт. Ермилов и Мазнин от лица «Красной нови» недавно выдвинули метод бригадного исследования жизни и быта рабочих (сходящийся к скрупулезному копанию в биографии) как единственно правильный метод раскрытия понятия «правды жизни», «практики», «социалистического реализма» (см. «Красную новь», кн. 6, 1933 г.). «Здоровые эмпирики» не замечают, что, сюсюкая о рабочих и болтая пустые фразы о «живой жизни», о «практике» и т. п., они, по существу, не поднимают рабочих до более высокого уровня сознательности, а принимают задачи критики до уровня стихийности. «Здоровые эмпирики» или кустарные реалисты не понимают или не знают о том, что еще экономисты и прочие герои самотека и «тактики процесса» пытались свою теоретическую беспомощность и оппортунизм оправдать ссылками на рабочие массы и разглагольствованием о «живой жизни», о «практике» и т. п. И, имея в виду именно такого рода «практику», Ленин писал:

«Кружку «кустарей», конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не сознали своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово «практический» непременно курсивом и воображают, что практичность требует принятия сво-

<sup>1)</sup> Характерно, что даже сами «здоровые эмпирики» на словах признают вред не критической болтовни о «правде жизни». Так, в статье «Новое и старое» («Октябрь», кн. 6 за 1933 г.) т. Войтинская пишет: «Необходимо отметить, что к правдивому изображению действительности призывало большинство литературных направлений. Даже символисты утверждали, что в их произведениях воплощена правда жизни. Весь вопрос в том, о какой правде идет речь. Есть идеалистическая и материалистическая трактовка правды» (стр. 201). Совершенно верно! Именно та трактовка правды, которую защищает т. Войтинская со своими единомышленниками, как-раз и есть идеалистическая трактовка правды. Такова «хрония судьбы»!

их задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы, то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны и им действительно вообще недоступны политические задачи» (т. IV, 3-е изд., стр. 442).

Думается, что к этой ленинской характеристике «здоровых эмпириков» или реалистических «кустарей» в советской литературе нам нечего прибавить.

Сформулируем краткие итоги.

Не умея или не желая установить точное отличие групповщины от идеального течения; половинчато (с оговорочками) и примиренчески оценивая объективное значение рапповского «диалектико-материалистического творческого метода», т.-е. теории «живой личности»; утверждая возможность и целесообразность противоречия между методом и мировоззрением писателя и некритически относясь к вопросу о критическом освоении литературного наследства прошлого; занимаясь «толчением воды в ступе» в общем определении понятия социалистического реализма и сводя фактически содержание понятия социалистического реализма — содержание понятия типичных характеров в типичных обстоятельствах — к хвостистскому пониманию «правды жизни», к изображению «живой личности» вообще; открыто проповедуя ставку на «здоровую эмпирию», на самотек; совершая все эти грубейшие извращения марксизма-ленинизма, — наши кустарные реалисты из «Литературного критика» и «Литературной газеты» фактически сползают на позицию «живого человека» и теснейшим образом смыкаются с идеалистическими рассуждениями т. Шагинян и проф. Асмуса о «методологии новой эстетики», об «основных принципах критики».

А что из всего этого следует? Из всего этого следует, что основные положения моей статьи о социалистическом реализме, напечатанной в кн. 9 «Нового мира» за 1933 г., были правильными, — эти положения подтверждены фактами «живой действительности». Свообразие положения в советской литературе попрежнему заключается в том, что у нас сейчас пышно расцветает

«здоровая эмпирия», открыто проповедуется самотек в критике. До тех пор, пока этой проповеди самотека не будет нанесен решительный удар, всякие разговоры о ликвидации групповщины и консолидации коммунистических сил в литературе, разговоры о воспитательных задачах критики останутся пустыми аллилуйскими фразами.

Недавно в «Литературном Ленинграде» (от 26 мая с. г.) была напечатана карикатура на тему «лицо критиков в печати и на диспутах». На этой карикатуре наши критики изображены не имеющими лица. Это конечно злая, хотя и не совсем точная, карикатура на нашу критику (поскольку «лицо» у этой критики все-таки есть — лицо «здоровой эмпирии»). Но если говорить о марксистском лице, то такого лица у нашей критики нет. Наша критика занимается сейчас (по словам т. Эгарт)

«толчением воды в ступе» и постепенным разбалтыванием социалистического реализма в злополучный рапповский метод «живого человека». Разве не ясно, что вопрос о партийном лице нашей критики — это прежде всего вопрос о принципах критики, о марксистско-ленинском понимании сущности социалистического реализма? Чтобы ликвидировать групповщину и консолидировать коммунистов и писателей не на словах, а на деле, чтобы наша критика окончательно не потеряла своего партийного лица, — для этого необходимо выдвигать ясные и четкие принципы критики. Но принципы не могут упасть с неба. За марксистско-ленинские принципы критики необходимо вести длительную и упорную борьбу, ибо, как говорит тов. Сталин, «принципы побеждают, а не примираются».

## 2. О ЖИВОПИСИ

### И. Гронский

Буржуазные искусствоведы и художественные критики конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий открыли целый поход против идейного, содержательного реалистического изобразительного искусства. Они упрекали старых художников в «тенденциозности», в «подражании литературе», в «переходе от настоящего искусства к проповедничеству», «к борьбе с общественным злом» и т. д., и т. п. Изобразительное искусство, по мнению этих критиков, является «надклассовым», «независимым», «чистым». Оно существует «само для себя». И важнейшей задачей, которую призваны решать художники, является борьба за форму и, в частности, борьба за «преодоление» формы, унаследованной от всего предшествующего развития реалистического изобразительного искусства.

Если вдуматься в эту «надклассовую» проповедь «независимых» апостолов «чистого» искусства, то не трудно заметить, что вся она является призывом к худ-

ожникам уйти от социальной действительности. Пишите все, что хотите: природу, людей, животных, но только не вдумывайтесь в смысл того, что пишете, не обобщайте наблюдаемых явлений, не вкладывайте в свои картины какой-либо идеи. Хорошо поют господа искусствоведы и критики, но песни их имеют весьма почтенный возраст. Эти песни распевал всякий ухивший с исторической сцены господствующий класс. И не случайно в конце XIX века их запели идеологи буржуазии, ее искусствоведы и художественные критики.

Концентрация промышленности, рост городов, пролетаризация мелкой буржуазии, подъем революционного рабочего движения — все это достаточно наглядно показывало, что развитие капитализма разлагает общество на буржуазию, владеющую средствами и орудиями производства, и пролетариат, вынужденный продавать единственный товар, который он имеет, — свою рабочую силу.

Буржуазия, выступавшая в эпоху своей борьбы с феодализмом во главе всего народа и опиравшаяся на поддержку народа, вынуждена теперь признать, что пропасть, лежащая между нею, буржуазией, и пролетариатом, значительно глубже той пропасти, которая существовала между нею и дворянством. Борьба буржуазии против дворянства была борьбой за победу капитализма над феодализмом, борьбой за смену одной формы рабства другой формой рабства. Борьба пролетариата против буржуазии является борьбой против всякого рабства, против всякой эксплуатации человека человеком.

Поэтому буржуазия, не успевшая еще забыть историю своей борьбы против феодализма, при первых же серьезных революционных выступлениях пролетариата теряет весь свой оптимизм, всю свою жизнерадостность, а после Парижской Коммуны — даже и вкус к обобщению явлений повседневной общественной жизни.

В области философии и политической экономии буржуазия, хотя и продолжает жонглировать именами великих философов и экономистов своей «юности», но делает это только для того, чтоб прикрыть туманом пышных деклараций свой отказ от развития общественных наук, свой отказ от стремления познать законы движения капиталистического общества. От Спинозы, Дидро, Гегеля и Фейербаха, то-есть от классической философии, буржуазия поворачивает к Анри Бергсону и прочим идеалистам и мистикам. От Кенэ, Смита, Рикардо и Родбертуса, то-есть от классической политической экономии, буржуазия поворачивает к Карлу Кнису и другим «ученым», заменившим науку собиранием и коллекционированием фактов.

В области искусства буржуазия выступает более откровенно, точнее — более цинично. Драму она заменяет европейским изданием американского ипподрома — мюзик-холлом и варьетэ; классическую литературу — футуристическим штукарством; реалистическую живопись — формализмом; симфонию — джаз-фокстротом.



Развитие изобразительного искусства, как известно, отражает развитие общества. В эпоху возникновения и развития капитализма буржуазия создает великое изобразительное искусство Возрождения. Художники буржуазии от «небесного» переходят к «земному», от церковной живописи к живописи светской, от призыва к подавлению земных устремлений и человеческих страстей к их восхвалению. Художники Возрождения были подлинными реалистами, правдиво отображавшими окружающую их действительность; они были художниками-бойцами, стремившимися изменить эту действительность. Они не поворачивались спиной к возникающему капиталистическому строю, а вели борьбу за утверждение этого строя в сознании людей.

В эпоху возникновения и развития промышленного капитализма буржуазия вновь выдвигает на передовые позиции реалистическое изобразительное искусство. Происходит переход от подражания старым мастерам, то-есть от классической реакции середины XVIII века, к подлинному реализму. Художники буржуазии подходят к окружающей действительности с точки зрения интересов своего класса, вооруженные идеологией этого класса. Они не болтают о «независимости» изобразительного искусства, а ставят свою кисть на службу буржуазии, причем одни, подобно Хогарту, пишут своей кистью целые драмы, в которых, как в зеркале, отражена жизнь буржуазного общества, другие, подобно Гро, создают своей кистью целые поэмы, воспевающие героев капитализма, борцов за дело буржуазного класса.

До первых революционных выступлений рабочего класса буржуазная живопись была глубоко реалистической, то-есть правдивой, идейной и содержательной. Буржуазные художники не уходили от действительности. Они были в гуще жизни, наблюдали и изучали ее, чтоб лучше отобразить в своих произведениях, которые являлись средством борьбы за утверждение капиталистического строя в сознании людей, средством борь-

бы за упрочение власти буржуазии. Революционные выступления рабочего класса показали буржуазии, что развитие капитализма породило новый общественный класс — пролетариат, который призван историей сыграть роль могильщика капитализма. Парижская Коммуна это прекрасно подтвердила, окончательно лишив буржуазию, ее идеологов и ее художников оптимизма. Буржуазные художники начинают уходить от общественной действительности. В буржуазной живописи начинает преобладать пейзаж и всякого рода безобидные сценки, списанные с натуры, или пошлые исторические картины, восхваляющие более или менее отдаленное прошлое. Если буржуазное изобразительное искусство эпохи зарождения, развития и укрепления капитализма было подлинно реалистическим, глубоко содержательным и идейным, то буржуазное изобразительное искусство эпохи империализма, развиваясь под флагом бессодержательности и безыдейности, неизбежно должно было притти и прийти к формализму, то-есть к отрицанию искусства. Первый удар буржуазному реалистическому изобразительному искусству был нанесен импрессионистами, последовавшими указаниям апостолов «чистого» искусства и оторвавшими форму от содержания.

Художников-импрессионистов интересует не окружающая их действительность, а проблема света, то-есть содержание, а форма изобразительного искусства. Поэтому в картинах импрессионистов мы напрасно стали бы искать содержания, идеи, — этого нет в них, ибс, сосредоточив свое внимание на ощущении света, импрессионисты неизбежно должны были уйти и ушли в область пейзажной живописи.

Если ранние импрессионисты стоят на почве реализма, то позднейшие представители этого направления, идущие от Сезанна и Клода Монэ, переходят на позиции формализма, и об их картинах едва ли можно говорить, как о произведениях искусства.

В этом отношении не безынтересно рассмотреть и упомянутых выше двух родоначальников формализма.

Несмотря на все различие этих двух художников, в их произведениях чрезвычайно много общего. Общим для них обоих является бессодержательность и безыдейность их картин и отсутствие в них рисунка, последнее, положим, больше чувствуется у Сезанна, чем у Монэ. Клод Монэ вообще выгодно отличается от Поля Сезанна. Он является безусловно неплохим живописцем, а некоторые его пейзажи прямо великолепны. Не то Сезан. Это — плохой художник. В его картинах нет рисунка, очень бедный колорит и в дополнение ко всему довольно плохая перспектива.

Первый из этих двух художников, Поль Сезанн, в своих исканиях объема пришел к кубизму, к замене искусства довольно странными геометрическими выкрутасами. Второй, то-есть Клод Монэ, все свои поиски сосредоточил на световых ощущениях. Он, правда, удержался на позициях реализма, но сделал все необходимое для перехода к формализму Кросса, Гогена, Матиса, Пикассо и экспрессионистов.

Поль Сезанн и Клод Монэ по сути дела являются последними крупными мастерами французской реалистической живописи, да, пожалуй, и всей мировой буржуазной реалистической живописи последней трети XIX века. Их с полным правом можно назвать основоположниками и зачинателями формализма. Они открывают своими произведениями новую страницу в развитии буржуазной живописи, страницу ее медленного, болезненного, но неуклонного падения.



В русской живописи процесс перехода от реализма к формализму начался значительно позже, чем на Западе, но русская живопись прошла примерно те же этапы развития, что и западная, особенно французская живопись. Вершины своего развития наша реалистическая живопись достигла в произведениях передвижников.

Предшественниками передвижников являются такие великие мастера, как Венецианов, Кипренский, Тропинин и Федотов. Без предварительной работы этих художников, особенно Федотова,

едва ли могли появиться великие произведения Перова, а затем и гениальные творения величайшего нашего реалиста—И. Е. Репина. Говоря о передвижниках, надо заметить, что «Товарищество передвижных выставок» никогда не было в идейном отношении единым, монолитным движением. В нем объединились различные художники, по-разному относившиеся к окружающей их социальной действительности. На передвижных выставках рядом висели картины, проникнутые революционным и реакционным содержанием. Но, несмотря на это, основной тон всему передвижничеству задавали радикально настроенные художники и художественные критики, сочувственно относившиеся к революционному движению 60—70—80-х годов. Это и понятно. Ведь идеологи передвижничества (как например В. В. Стасов), да и крупнейшие художники этого направления (как например Перов и Репин), развиваются под сильнейшим влиянием Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Представители так называемого «чистого» искусства видят в этом влиянии литературы на живопись слабость передвижников и чуть ли не основную причину распада этого движения. Это конечно неверно. Именно влияние литературы подняло нашу живопись на такую огромную высоту, на которой она не находилась ни до, ни после передвижников. Величие передвижников состоит в том, что они, освободившись от архаизма академии, правдиво отразили эпоху, двинули развитие нашей живописи вперед и поставили ее на один уровень с европейской живописью того времени. Картины лучших передвижников, это — целые поэмы о жизни современного им общества.

Такие произведения Перова, как «Крестный ход», «Чаепитие в Мытищах» и «Похороны в деревне», дают полную, яркую и правдивую картину России того времени. Или такие гениальные произведения И. Е. Репина, как «Бурлаки», «Обыск у пропагандиста», «Перед казнь», «Не ждали» и «Кружок террористов». Ведь это отдельные главы целой трагедии, написанной, правда, не пером, а кистью.

Расцвет передвижничества длился однако недолго. Уже в восьмидесятых годах намечается переход некоторых художников этого направления на позиции либерализма и даже реакции. В дальнейшем этот процесс усиливается, и уже в конце девяностых годов открыто обсуждаются причины упадка передвижничества, сиречь, содержательного реалистического изобразительного искусства. Выставки передвижников все еще хороши, но в выставляемых картинах нет уже того огня, той страсти, которыми насыщены были картины первых выставок.

В живописи, так же, как и в литературе, отражается поворот российской буржуазии и буржуазной интеллигенции в сторону реакции.

Увидев на исторической сцене своего антагониста, рабочий класс, российская буржуазия совершает поворот в сторону «ненавистного» самодержавия и сжигает все то, чему она поклонялась еще вчера.

В изобразительном искусстве этот поворот ознаменовался появлением нового направления, выразителем которого являлся журнал «Мир искусства». Это новое направление в живописи, не успев появиться на свет, об'явило о своем отрицательном отношении к передвижничеству. Идеологи «Мира искусства» (Дягилев, Александр Бенуа и др.) прежде всего выступили против «зависимости» живописи от литературы, против «литературного влияния на живопись» и против «содержательности» и «идейности» живописи. По мнению представителей «Мира искусства», художник не должен подходить к окружающей его действительности с точки зрения какой-либо идеи, а должен запечатлеть на полотне только то, что он видит. Так как «Мир искусства» проповедывал уход от социальной действительности и усиленно призывал художников заниматься всякого рода формальными исканиями, то, совершенно естественно, место большой реалистической живописи передвижников заняла пейзажная, вульгарно-историческая и пошло-романтическая живопись. На выставках «Мира искусства» мы напрасно стали бы искать

картин, правдиво отображающих развитие общества, борьбу классов, быт различных слоев населения. Художники «Мира искусства» об'являли себя «нейтральными» в происходящей на их глазах борьбе классовых сил. Они, видите ли, «служат искусству» и «занимаются вечными вопросами», а посему все «прежидшее», все то, что происходит на грешной земле сегодня и сегодня волнует миллионы, их не интересует. Их так же, как и их предшественников, французских импрессионистов, интересует ощущение света, колорит, но не мысль, не идея, не содержание искусства. Поэтому русская живопись так же, как и французская, не удерживается на «нейтральном» отображательстве того, что видит художник, и на стремлении передать световые эффекты, а падает дальше, к формализму, то-есть к отрицанию искусства. Этот переход к формализму был не только подготовлен, но и осуществлен «Миром искусства», и художники «Бубнового валета», футуристы и экспрессионисты лишь закончили ту разрушительную работу, которую начали рафинированные буржуазные эстеты из «Мира искусства».



Но как же обстоит дело с «нейтральностью» этих художников? — спросит читатель. Думаю, что из сказанного ясно, что так называемая «нейтральность» потребовалась буржуазии и ее представителям в искусстве для того, чтобы под прикрытием этого тумана легче было вести борьбу с идейным, подлинно реалистическим искусством, ибо оно в эпоху гниения и гибели капитализма становится слишком опасным оружием, подрывающим господство буржуазии. Буржуазный художник-реалист, оставаясь реалистом, должен говорить правду об окружающей его социальной действительности. А какова в настоящее время окружающая художника действительность, достаточно хорошо известно. Это:

в о-п е р ы х, величайший кризис всей капиталистической системы и отсутствие перспективы сколько-нибудь значительного развития;

в о-в т о р ы х, колоссальное физическое уничтожение производительных сил капитализма (разрушение фабрик, заводов, морских кораблей, домов, даже целых городов, сжигание продуктов питания и т. д., и т. п.);

в-т р е т ь и х, опромная безработица в городе и чудовищное разорение крестьянства в деревне;

в-ч е т в е р т ы х, закрытие школ, университетов, лабораторий, музеев, больниц, театров, — одним словом, чудовищное падение культуры;

в-п я т ы х, прямое одичание, расцвет мракобесия, возврат к средневековью: расовая теория и практика, сожжение книг, пытки в застенках и т. д., и все это происходит не где-нибудь, а в культурной Германии;

в-ш е с т ы х, голод миллионов, всеобщее разорение и наряду с этим бешеная подготовка новой империалистической войны, более ужасной, чем война 1914—18 гг.

Вот правда, которую должен отразить в своих произведениях и показать миллионам буржуазный художник-реалист, если он остается реалистом. Но разве он может это сделать, не порывая со своим классом, не переходя на позиции пролетариата? Нет и тысячу раз нет. «Мысли господствующего класса, — говорит Маркс, — являются в каждую эпоху господствующими мыслями, то-есть класс, являющийся господствующей материальной силой общества, является в то же время его господствующей духовной силой». Господствующей эстетической мыслью современной буржуазии является беспредметное, бессодержательное, безыдейное искусство. До войны эту роль играл импрессионизм. Но теперь опасен и импрессионизм. Увлечшись игрой света, какой-либо художник-импрессионист может ненароком запечатлеть на полотне «голодный поход» или уничтожение фабрик и заводов, кладбище морских торговых кораблей или «выливание молока в море», «сжигание пшеницы» или «пустой город», покинутый обитателями, разместившимися рядом с ним в палатках и просто на земле. Поэтому — долой импрессионизм! Поэтому — да здравствует фор-

мализм! Так совершается переход от одной формы беспредметного буржуазного изобразительного искусства к другой форме беспредметного буржуазного изобразительного искусства, к карикатуре на искусство, — к формализму.

\*\*\*

Буржуазные художественные критики, в том числе и являющиеся гражданами СССР, относят формалистскую мазию к художественным произведениям, то-есть к искусству. Мы не собираемся сейчас рассматривать «работы» этих «почтенных» людей, выполняющих социальный заказ своего класса об уничтожении реалистического искусства, ибо оно подрывает и без того непрочное положение буржуазии. Но мы никак не можем понять одного: как наши советские художественные критики, декларирующие свою преданность пролетариату, могут солидаризироваться с идеологами буржуазного искусства и, подпевая им, усиленно шуметь о талантливости и каких-то заслугах формалистов перед изобразительным искусством.

Насколько нам известно, талантливый художник отличается от художника бесталанного прежде всего тем, что он глубже понимает свою эпоху, видит направление развития современного ему общества, распознает силы,двигающие прогресс, воспринимает передовое, подлинно революционное мировоззрение своего времени, участвует в борьбе на стороне революционного класса, дает глубоко правдивые по своему содержанию и прекрасные по своей форме художественные произведения.

Возьмем для примера несколько картин, написанных художниками СССР за последние годы. Вот две картины, изображающие К. Е. Ворошилова на коне. Одна из них принадлежит кисти А. Герасимова, другая — Н. Денисовского.

Первая картина изображает Климента Ефремовича на фоне идущих в колонне танков. В этой картине художник совершенно правильно отразил то новое, что отличает современную Красную армию от Красной армии

1927—28 гг., а именно — огромное насыщение ее механизмами. Кроме того, картина и в формально-техническом отношении может выдержать любую, даже самую придирчивую, критику. А. Герасимов выступает в этой картине одинаково хорошим и портретистом, и пейзажистом. Он показывает в ней превосходное владение композицией и перспективой, рисунком и колоритом. Знание эпохи и направления развития общества в соединении с большим мастерством дали возможность художнику правильно и художественно-правдиво, то-есть талантливо, написать картину.

Вторая картина изображает Климента Ефремовича на фоне кавалерии в момент принятия рапорта от командующего парадом. Красная кавалерия играла огромную роль во время гражданской войны, она будет играть выдающуюся роль и в будущей войне с империалистами. Но в отличие от гражданской войны наша Красная армия, если придется, будет драться не только шашкой кавалериста, винтовкой пехотинца и трехдюймовой пушкой, но обрушится на врага самой современной и самой совершенной военной техникой, прежде всего такими механизмами, как например аэропланы, танки, бронемашины и т. д. Дан ли в картине Н. Денисовского хотя бы намек на эту прекрасную техническую оснащенность Красной армии? Ничуть не бывало. Художник, по-видимому, не понимает эпохи; он грогздел изменения, происшедшие в стране и в армии; он не заметил индустриализации СССР и не знает, видимо, что по технической оснащенности Красная армия оставила далеко позади армии империалистических государств. Но, может быть, в формально-техническом отношении картина Н. Денисовского представляет какой-либо интерес? Увы, здесь дело обстоит еще хуже. Не говоря уже о том, что художник заставляет лошадь командующего наскочить на лошадь наркома, а лошадь наркома делать подножку лошади командующего, картина как по композиции и перспективе, так по рисунку и колориту не выдерживает абсолютно никакой критики. Бестолковое нагромо-

дение всадников, расположенных на плоскости, совершенно не похожий на Ворошилова наркомвоенмор и безобразное лошадеобразное животное вместо прекрасного кавалерийского коня, — вот «качества» картины. Незнание эпохи и отсутствие мастерства, как видим, не дали возможности художнику написать картину. Вместо картины получилась бездарная мазня, со всей очевидностью выявившая полнейшую художественную безграмотность вчерашнего «знаменитого» формалиста. О чем это говорит? Это говорит о том, что всякий формалист, переходящий на позиции реализма, то есть желающий стать художником, должен пройти основательную школу под руководством опытных преподавателей-руководителей.

Но пойдем дальше в наших сравнениях. Возьмем две примерно однородных картины: Ф. Богородского — «Дочь рыбака» и К. Малевича — «Девушка».

«Дочь рыбака» Богородским была написана в Италии и изображает она дочь итальянского рыбака. С картины смотрит на зрителя типичная итальянская девушка. На коленях у нее — корзинка с рыбами, как бы говорящая о некотором достатке рыбацкой семьи. Но посмотрите внимательнее в грустное лицо девушки, и вы сразу увидите, что корзинка с рыбами говорит не о достатке, а скорее о невозможности сбыть эту рыбу, о кризисе, докатившемся до этой рыбацкой семьи и окончательно разрушившем шаткое ее благополучие. Отсюда — печаль девушки, отсюда тревога в ее глазах.

В этой сравнительно простой картине художник сумел дать правдивый образ итальянской рыбацки, привлекающий к себе внимание зрителя. Картину Богородского нельзя назвать блестящей, но нельзя назвать и плохой. Она грамотная, довольно хорошая картина развивающегося, растущего художника.

Картина К. Малевича изображает что-то вроде девушки, так по крайней мере гласит надпись под картиной, а раз так гласит надпись, значит, надо верить. Так вот, поверив этой надписи и кое-кому из критиков, обывавших Малевича «талантливым» и «культурным»

художником, прокладывающим новые пути в живописи, я и принялся разглядывать это произведение. Не знаю, не то ли у меня талантливости не хватает, не то ли культуры, необходимой для понимания картины, но я вынужден к стыду своему сознаться, что картины Малевича не понял и понять не могу. Представьте себе, читатель, лысое существо, у которого некоторое подобие волос покрывает только виски и повидимому затылок, какую-то черно-красную чертовщину позади головы, изображающую не то бант, не то шляпу, и в довершение всего существо это завернуто в какие-то согнутые цветные железные листы. Картиной этой Малевич повидимому стремится «внедрить» в сознание людей новое понятие о женской красоте и вообще о красоте. Но мы думаем, что миллионы рабочих и крестьян не разделяют эстетических взглядов г. Малевича и оставят за ним монопольное право на эту своеобразную красоту. На самом деле, пусть человек, если ему это нравится, объясняется в любви своему лысому существу и в приливе нежности гладит лысую его голову. Вкусы бывают разные, и о вкусах, как говорится, не спорят.

Следовало бы разобрать еще некоторое количество формалистских произведений, но мне, да и вам вероятно, читатель, надоело копаться в этой мусорной яме, куда свалены разнообразные произведения большого, извращенного воображения или враждебного, антисоветского, ультрабуржуазного изобразительного искусства.

После того, как мы разгромили врага на фронте в открытом бою; после того, как мы разгромили контрреволюционное вредительство врага в нашем народном хозяйстве, он отступил на последнюю позицию и пытается дать нам бой на фронте культуры и искусства. Методы борьбы классового врага здесь иные, чем в народном хозяйстве, но цель та же — подорвать развитие социализма: там — посредством порчи и разрушения предприятий, здесь — посредством уничтожения искусства и, под видом формалистских кривляний, прямой агитации против советской власти.

Формалисты стремятся свою безграмотность выдать за величайшую культуру. Не выйдет это, господа формалисты! Пролетариат отбросит в сторону вашу мазню, возьмет у прошлого все ценное и создаст свое великое искусство, искусство социалистического реализма.



Но в европейском искусстве параллельно процессу падения реализма и под'ема формализма развивается и другой процесс, — процесс формирования оппозиционной и революционной живописи, воспринявшей лучшие традиции идейной, содержательной реалистической буржуазной живописи. Часть художников этого течения в своих произведениях не поднимается выше отрицания тех или иных сторон капиталистической действительности, другая часть художников идет дальше, поднимаясь до отрицания капитализма как общественного строя. Первое течение отражает недовольство мелкой буржуазии, ее борьбу за улучшение своего положения. И далеко не случайно, что симпатии большинства художников этого направления (как например Милле) лежат на стороне крестьянства и городской мелкой буржуазии. Второе течение вскрывает основное противоречие капитализма, это — противоречие между трудом и капиталом, между пролетариатом и буржуазией. Художники этого направления (как например Менье и Касаткин) в своих произведениях, в своих картинах показывают непримиримость интересов пролетариата и буржуазии и неизбежность борьбы этих двух классов, борьбы не на жизнь, а на смерть. Вместе с тем художники этого направления наиболее ярко и правдиво показывают жизнь мелкой буржуазии, безысходность ее положения.

Это второе течение, несмотря на всю его идейную слабость, можно смело назвать пролетарским изобразительным искусством, открывающим новую эпоху в развитии изобразительного искусства, эпоху его служения интересам народа, то-есть рабочих и крестьян, эпоху его участия в борьбе за социализм, за уничтожение всякого рабства на земле.

Таким образом, еще до империалистической войны происходит падение буржуазного изобразительного искусства, его переход от идейного, содержательного реализма, то-есть от правдивого отображения действительности, к безыдейности и бессодержательности, а затем и к формализму, то-есть к отрицанию изобразительного искусства как искусства. И еще до империалистической войны в капиталистическом обществе зарождается пролетарское изобразительное искусство, являющееся наследником достижений и традиций великого реалистического изобразительного искусства буржуазии.

Примирить эти два направления современной живописи нельзя так же, как нельзя примирить интересы пролетариата и буржуазии. Борьба между этими двумя направлениями является не только борьбой за интересы различных классов, но и борьбой за искусство, за его сохранение и развитие. Буржуазные художники-формалисты обращены в прошлое, они не могут выдвинуть ни одной положительной идеи. Пролетарские художники вместе со своим классом, творя настоящее, устремлены в будущее. Основной руководящей идеей творчества этих художников является борьба за социализм.

Буржуазные художники, встав на путь беспредметности и формализма, совершенно неизбежно приходят к потере мастерства и перестают быть художниками. Это утверждение очень легко можно подтвердить картинами любого художника-формалиста, будет ли то Матисс или Штеренберг, Дерен или Малевич.

Картины художников-реалистов, в-о-п-е-р-в-ы-х, правдивы; в-о-в-т-о-р-ы-х, композиционны, то-есть являются картинами; в-т-р-е-т-ь-и-х, они имеют прекрасный рисунок; в-ч-е-т-в-е-р-т-ы-х, — богатый колорит; в-п-я-т-ы-х, — хорошую, правильную перспективу. Этого мы не можем сказать о картинах формалистов. В них нет ни одного из указанных пяти элементов, в сумме дающих

картину как целостное художественное произведение.

Поэтому мы имеем все основания утверждать, что картины формалистов (кубистов, футуристов, экспрессионистов) имеют такое же примерно отношение к изобразительному искусству, какое имеет курная изба к современной архитектуре. В Советском Союзе курная изба уже отошла в область истории. Будем надеяться, что вскоре туда же отправится и формалистская живопись. Во всяком случае, чем скорее это произойдет, тем лучше будет для советского изобразительного искусства.

У формализма пролетарское искусство не может взять ничего, ибо оно является искусством, а формализм — карикатурой на него.

Пролетарское искусство вырастает из реалистического буржуазного изобразительного искусства. Пролетарские художники выступают историческими наследниками всего того, что создали в искусстве предшествующие эпохи, и в частности всего того, что создали буржуазные художники-реалисты. Если меня спросят: у кого из художников прошлого можно и нужно учиться пролетарским художникам? — я на это отвечу: прежде всего у тех из старых мастеров, произведения которых являются вершиной, на которую поднялось реалистическое искусство той или иной страны, той или иной школы. Из голландцев надо взять Рембрандта, из фламандцев — Рубенса, из испанцев — Веласкеса, из итальянцев — да-Винчи.

Из художников эпохи промышленного капитализма я указал бы на Хоггарта, Давида Гро, Делакура, Коро, Милле, Курбе, Менье, Домье, Эдуарда Манэ и Клода Монэ. Из русских художников — на Венецианова, Кипренского, Тропинина, Щедрина, Федотова, Перова, Сурикова, Репина, Серова, Левитана, Архипова и Касаткина. Приведенные мною художники далеко не похожи один на другого, поэтому и ценность их далеко не одинакова. Если Хоггарт, Давид Гро, Милле, Менье, Курбе и Домье являются идейными реалистами, в картинах которых отражена их эпоха, то Коро, Манэ и Монэ могут научить наших художни-

ков колориту. Из всех русских художников XIX и начала XX столетий надо выделить Федотова, Перова и Репина. Последний из этих трех славных художников является великим и гениальным мастером, это — вершина русского изобразительного искусства. Мы приведем имена всех этих художников (от Рембрандта до Клода Монэ) для того, чтобы показать и старым нашим мастерам, и ученикам наших художественных школ, что пролетариат не отбрасывает ни одного сколько-нибудь ценного произведения изобразительного искусства. В моем списке есть немало имен художников-импрессионистов. Я привел имена этих художников потому, что они в одной области — колорит — сыграли прогрессивную роль, двинули живопись вперед. С этой, и только с этой, стороны надо подходить к импрессионистам и брать у них то, что действительно является ценным в их произведениях.



Но, обучаясь у старых художников, овладевая их поистине великим мастерством, пролетарские художники должны знать, что переход от одного общественного строя к другому общественному строю неизбежно вызывает в изобразительном искусстве переход от одного направления к другому направлению. Так например переход от феодализма к капитализму в области изобразительного искусства связан с переходом от церковной идеалистической живописи к светской реалистической живописи. Замена одного господствующего в изобразительном искусстве направления другим господствующим направлением может происходить и в рамках одного общественного строя, но на различных этапах его развития. В качестве примера мы можем сослаться на переход от реализма к формализму, переход, совершенный в рамках одного и того же капиталистического общественного строя. Оба эти направления появились в условиях капитализма, но на различных этапах его развития: один — у его колыбели, другой — у его могилы.

Переход от капитализма к коммунизму неизбежно повлечет за собой изменение направления изобразительного искусства. Собственно, это уже происходит на наших глазах. Формализм, господствующее направление буржуазного искусства эпохи империализма, уступает свое место реализму, а этот последний переходит в социалистический реализм, что связано не только со сменой тематики, но и с дальнейшим движением вперед изобразительного искусства.

Говоря о реализме, наши художники и наши критики часто забывают об указании Энгельса о том, что реализм — это типичные характеры в типичных обстоятельствах, или, выражаясь словами тов. Сталина, реализм — это правдивое изображение действительности. В этих двух замечаниях наших учителей достаточно ясно изложена позиция большевиков в искусстве.

Больше того, эти замечания указывают путь, по которому должно развиваться наше изобразительное искусство.

Как известно, столбовой дорогой развития нашего искусства является социалистический реализм. Не воображаемое идеальное изобразительное искусство, долженствующее сложиться на некоем этапе развития социалистического общества, а реальное, уже складывающееся, уже существующее и развивающееся изобразительное искусство, которое мы можем демонстрировать на конкретных произведениях светских художников.

В качестве примера, вскрывающего различие между буржуазным и социалистическим реализмом, мы можем взять два совершенно бесспорных произведения реалистического изобразительного искусства: «Бурлаков» — Репина и «Допрос коммунистов» — Иогансона.

«Бурлаки» — это портрет Российской империи. Это — жуткий по своей правдивости рассказ, это — трагедия великой страны. И. Е. Репин показывает в «Бурлаках» технико-экономическую отсталость Российской империи; вместо машины (пара и электричества) ручной труд рабов варварского российского капитализма; посмотрите в позы и особенно в лица напряженных в ямку бурла-

ков; это — забытые, закабаленные и в кабале потерявшие человеческий облик люди, вернее, не люди, а какое-то подобие людей. Но взгляните пристальнее в картину, и вы увидите в задних рядах группы богатыря с черной бородой, повернувшего голову в сторону. В его глазах ненависть, прстест. Он как бы собрался бежать на волю — в леса глухие, в степи широкие. Это — тип вождя крестьянской войны, водившего мужиков громить барские усадьбы, это — крестьянская революционная стихия; и не случайно, глядя на него, невольно переносишься мыслью к борьбе Степана Разина и Пугачева.

Или взгляните в молодого великана в центре группы. Вся его фигура, это — стремление вперед, к чему-то новому, еще недостаточно отчетливо понятому, но встревожившему мысль, заставившему глубоко задуматься над своим положением и положением многих и многих рабов капитала. В этой фигуре та же ненависть и протест, но вы не увидите отмеченной выше дикости, стихийности. В этом юноше дан тип рабочего, начинающего понимать причину рабства себе подобных и необходимости борьбы таких, как он, с общим врагом — с эксплуататорами — за свое освобождение. Это — первые шаги пролетарского революционного движения.

Черный гигант всей своей фигурой, всем выражением лица говорит только одно — бежать. Белокурый юноша-великан, наоборот, устремляется не в сторону, а вперед, то-есть он не хочет бежать один, вообще не хочет бежать, а упорно думает, как сбросить ярмо и как вместе со своими товарищами вырваться из рабства навстречу новой жизни, которая начинает вырисовываться в его сознании. Черный гигант — индивидуалист, он стремится освободить только себя, посредством бегства, как крестьянин стремится вырваться из нужды посредством обогащения. Белокурый великан — коллективист. Он не хочет отрываться от своих товарищей, он стремится сбросить ярмо и идти вперед, увлекая остальных, то-есть он стремится к освобождению всех себе подобных. На первом плане картины не чернора-

дый богатырь, а белокурый юноша; этим художник показал, что во главе нашего революционного движения идет пролетариат, способный повести за собой и крестьянство, поскольку оно бунтует и стремится вырваться из кабалы. Таково содержание картины. Художник-реалист создал произведение, в котором, как в зеркале, отражена эпоха.

Во всей дореволюционной истории русской живописи я не знаю другой картины, которую по глубине мысли, по правдивости изображения своего времени, по изумительным художественным качествам можно было бы поставить рядом с «Бурлаками».

«Допрос коммунистов», это — другая эпоха, эпоха ожесточенной борьбы восставшего пролетариата с помещичье-капиталистической контрреволюцией за учреждение советского строя. Художник показывает допрос двух коммунистов в штабе белых. В картине нет ни малейшей нарочитости. Все страшно просто, даже обыденно. Типичные белые офицеры, типичные коммунисты. Вот старый, тучный, с красноватым затылком жандармский офицер, повидимому, генерал, вот два других офицера: штабной, читающий какую-то бумажку, и другой — в форме дикой дивизии.

В них нет ничего особенного. Нет ничего особенного также и в коммунистах.

Ближе к зрителю, расставив ноги и заложив руки за спину, стоит крепкий, с открытым, энергичным лицом, рабочий, а рядом с ним, в солдатской папахе, полушубке и валеных сапогах, молодая, симпатичная женщина, видимо, его жена. Картина как будто бы страшно простая, но почему-то стоишь перед ней и не можешь оторваться. Откуда же, спрашивается, такое сильное действие картины на зрителя? Объяснить его можно только одним — величайшей правдивостью этого крупнейшего произведения советской живописи. Вглядываясь в картину, невольно спрашиваешь себя: какая из сторон чувствует себя более уверенной и спокойной — белые или коммунисты? И, как это ни странно, отвечаешь: коммунисты, часы которых сочтены, чувствуют себя увереннее и спокой-

нее, нежели их палачи — белые офицеры. Деталь: белые офицеры не смотрят друг другу в глаза, не смотрят в глаза допрашиваемых, вообще не смотрят на них, а прячут глаза, устремляют их в пол, боясь поднять их на свои жертвы, боясь прочитать в глазах коммунистов приговор себе, своему классу, всему грязному и подлому делу, которому они, белые, служат. Коммунисты, наоборот, стоят прямо, с поднятыми головами и с глазами, устремленными на своих палачей. Позы, выражение лица, все их фигуры как бы говорят белым: мы знаем, что вы нас повесите или расстреляете, но это не изменит положения. Дело наше побеждает и победит. Конечно, умирать тяжело, да еще в полном расцвете сил, но это необходимо, и поэтому мы спокойно стоим здесь и спокойно пойдем на эшафот. Смотришь на картину, на лица коммунистов, и веришь, что люди эти пойдут умирать без рисовки, без истерии, без «жертвенности», а буднично, спокойно, но гордо, с сознанием величия того дела, которому они служат и которое дает им силы преодолеть страх смерти и подняться до осознания великого счастья умереть за социалистическую революцию, за будущее человечества.

В штабе белых два лагеря: пленные коммунисты и их палачи — белые офицеры. Первые представляют новый, только еще рождающийся социалистический мир, в то время — уходящий с исторической арены мир рабства. Первые же, коммунисты, чувствуют себя хозяевами даже в плену, на краю могилы, в то время, белые, являясь хозяевами, чувствуют себя непрочны, обреченно, хозяевами на час. Иогансон, подобно Репину, дал в своей картине потрясающе правдивый рассказ о гражданской войне и роли нашей партии — организатора великих побед над контрреволюцией. Он показал рядовых представителей борющихся на исторической арене сил. Его картина, это — боевой гимн идущего к победе рабочего класса. Глядя на большевиков Иогансона, хочется сказать: вот они, гиганты, переворачивающие мир. И это потому, что художник дал не суровых, а самых настоящих большеви-

ков. Он подметил такие черты у большевиков, которых никто из художников до него не замечал и, естественно, не мог отразить в изобразительном искусстве. Одна из этих черт — иное отношение к смерти, которое можно легко заметить у большевиков и беспартийных рабочих и крестьян, у красноармейцев и командиров Красной армии, у инженеров и ученых нашей страны.

Наши художественные критики очень много говорят о социалистическом реализме, но во всех своих статьях усиленно подчеркивают, что произведений социалистического реализма в изобразительном искусстве еще нет, и не известно, когда такие произведения появятся. Это конечно несусветнейшая чепуха, которой трудно даже подыскать название. Наши художественные критики, видимо, думают, что социалистический реализм, в виде некоего количества картин, свалится в одно прекрасное утро с неба совершенно завершенным. Рассуждая так, наши критики забывают, что ни один новый стиль, а тем паче ни одно новое направление, не появляется сразу в готовом виде, а вырастает по мере развития нового общественного строя, в результате критической переработки всего того, что дано предшествующим развитием изобразительного искусства, и всего того, что создано художниками этого нового строя. Социалистический реализм — метод искусства социалистического общества. Элементы его появляются в пролетарском изобразительном искусстве еще задолго до социалистической революции. Но как элементы социализма, складывающиеся еще в капиталистическом обществе, не могут без установления диктатуры пролетариата развиваться в социалистическое общество, так же точно и элементы социалистического реализма, появляющиеся в пролетарском искусстве еще до революции, не могут развиваться в социалистический реализм без победы социализма, то-есть без установления социалистического строя с присущими этому строю отношениями людей в производстве.

Социалистический реализм в нашем изобразительном искусстве развивается и побеждает. Правда, он развивается не

так быстро, как нам хотелось бы, но всякий внимательный наблюдатель легко заметит неуклонный и все возрастающий подъем нашего реалистического изобразительного искусства. И это понятно. Развитие социалистического реализма обусловлено победами социализма, успешным развитием нового социалистического общественного строя. Картина Иогансона «Допрос коммунистов», являющаяся совершенно бесспорным произведением социалистического реализма, могла появиться только на определенном этапе развития социалистической революции, то-есть только тогда, когда социализм внутри страны победил окончательно и бесповоротно.

Перед художником уже достаточно ясно вырисовывается направление исторического развития и исход классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией.

В своей картине он дает правду о развитии общества. И именно потому, что художник понял эту правду, он сумел найти правдивых коммунистов и правдивых белых офицеров, сумел дать правдивую простую и обычную сцену допроса, в которой можно рассмотреть все напряжение борьбы того времени. Мог ли дать такую картину буржуазный художник или художник, еще не целиком перешедший на позиции пролетариата? Нет, не мог дать. Не мог дать хотя бы уже по одному тому, что он находится в некоем перманентном разладе с действительностью, да собственно и не стремится понять эту действительность. А как же может дать буржуазный художник величайшую правду о борьбе классов, если этого художника интересует либо его собственная персона, со всеми присущими оной персоне «ощущениями», либо так называемые «вечные вопросы», то-есть боженька со всеми его райскими домочадцами. В старое время, когда буржуазия была еще революционным классом, наиболее передовые буржуазные художники поднимались в своих произведениях до обобщения наблюдаемых явлений, и тогда они говорили всю правду, и тогда из-под их кисти выходили глубоко революционные творения. Таковы например «Бурлаки» Репина.

Художники русской буржуазии 60—70—80-х годов, подобно художникам английской буржуазии эпохи борьбы за парламентскую реформу 1832 года, не боялись правды, не боялись классовой борьбы. Они стремились не к классовому миру, а к классовой войне. И поэтому они всеми средствами поднимали революционное настроение рабочих и крестьян, всеми средствами разжигали ненависть к крепостникам и дворянско-помещичьей власти. Но, как английская буржуазия на другой день после реформы 1832 года повернулась к пролетариату всем своим аппаратом насилия, так русская буржуазия при первых же самостоятельных выступлениях пролетариата шархнулась в сторону самодержавия и восторженно приветствовала все мероприятия царизма, направленные против пролетариата.

«Бурлаки» и «Допрос коммунистов» — произведения глубоко реалистические, то-есть правдивые. В них, как в зеркале, отражены эпохи: в «Бурлаках» — под'ем русского капитализма и развитие революционного движения в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия; в «Допросе коммунистов» — борьба пролетариата с контрреволюцией, то-есть гражданская война 1918—1920 гг. В «Бурлаках» художник не сливается с героями своей картины. Он сочувственно относится и к молодому белокурому великану, и к чернобородому богатырю; он показывает готовность их бороться, но он не верит в возможность их победы: большинство еще не готово для борьбы, оно покорно тянет бечеву. Выступление этих двух людей не будет поддержано массой (она пассивна) и превратится в героический подвиг отважных революционеров-одиночек.

Кроме того, художник в своей картине как бы говорит, что эта темная, забитая толпа, лишенная самой элементарной культуры, едва ли может победить как самостоятельная сила, а тем паче закрепить одержанную победу. «Бурлаки», то-есть рабочие и крестьяне, не могут на данном этапе развития выдвинуть своей законченной программы, они мо-

гут действовать только под руководством другой силы, другого класса, более культурного и более подготовленного к революции, к захвату и удержанию власти. «Бурлаки», как видим, произведение буржуазного реалистического искусства, хотя оно и проникнуто революционными мотивами, хотя оно правдиво и отражает основные борющиеся классовые силы того времени, то-есть возникающее рабочее революционное движение и бунтующую крестьянскую революционную стихию.

В «Допросе коммунистов» художник показывает обреченность контрреволюции, проявляющуюся прежде всего в неуверенности и нервозности белых офицеров. Белые офицеры напоминают людей, находящихся в охваченном пламенем доме. Каждый из них, соблюдая видимость спокойствия, хочет скрыть от другого, да, пожалуй, и от самого себя, действительное положение, в котором они находятся. Поэтому они не смотрят друг другу в глаза, поэтому они не смотрят на допрашиваемых. Но правды не скроешь ни от других, ни от себя самого. И когда опасность приблизится вплотную, эта нервозность офицеров превратится в панику, в дикую погоню за личным спасением.

Рядом с этими людьми художник ставит коммунистов, людей другого борющегося лагеря, другого мира. Они стоят совершенно спокойно, хотя и знают, что их скоро повесят или расстреляют. Лицо женщины, правда, несколько более сосредоточенно, на нем яснее написано сознание опасности, но мы напрасно стали бы искать на этом милом лице выражение страха, боязнь смерти, готовность капитулировать. Наоборот, в сдвинутых бровях, в прямом, открытом взгляде, устремленном на палачей, в гордо поднятой голове, во всей позе коммунистки написано одно — готовность идти на какие угодно страдания, на какие угодно жертвы, на какую угодно мучительную смерть. Она в эти последние минуты как бы собирает силы для предстоящего испытания, которое она должна спокойно и с честью выдержать. Это — новая женщина; она глубоко человеческая, жен-

ственная и вместе с тем непреклонная духом, способная принять смерть за то дело, которому она служит. Таким же художник дает и коммуниста. Он стоит несокрушимо, с поднятой головой, с открытым, пронизывающим взглядом. Глаза, лицо, вся его фигура говорят о величайшей уверенности в своей правоте, в победе дела партии, дела пролетариата, которому он с честью служит. Он знает об ожидаемой его участи, но это мало его тревожит. Он не боится смерти. Больше того, он считает за честь погибнуть за революцию. В коммунисте художник с величайшей силой выразил то новое, что отличает большевика от революционеров предшествующих эпох, — его беззаветное служение своему классу, его готовность умереть за дело своего класса. На самом деле, скажите кому-либо из большевиков, сверх всякой меры нагружающих себя работой, что он сокращает этим продолжительность своей жизни на 10—15—20 лет и как бы встает на путь медленного самоуничтожения на работе. Он рассмеется и скажет: «Бросьте, батенька, чепуху-то городить». Подумает, и добавит: «И хочется вам, право, заниматься такими пустяками». И вы действительно почувствуете, что сказали глупость, что заинтересовались чепуховым вопросом. Так правдиво и так убедительно звучит ответ. А между тем, ведь это не чепуховый вопрос. Наши люди сгорают на работе, жертвуют жизнью буквально на каждом шагу. И это уже не свойство одиночек, а это характерная черта миллионов, партийных и беспартийных, рабочих и крестьян, техников и ученых. О чем это говорит? Это говорит о том, что величайший идеал, за который мы боремся, ежедневно и ежечасно, порождает новых, изумительных, героических людей.

И вот эту характерную черту новых людей художник выразил в своем коммунисте, точнее — в своих коммунистах.

Произведение Иогансона пронизано великой ненавистью к врагу и великой любовью к людям своего класса. Это — произведение социалистического изобразительного искусства. Это — реалисти-

ческое, то-есть правдивое, произведение, правдивое и в основном, и в деталях.

Художники не раз и не два просили меня показать им образцы произведений социалистического реализма в живописи. Охотно выполняю их просьбу и отсылаю их к картине Иогансона «Допрос коммунистов».

Эта картина на данном этапе развития социалистической реалистической живописи является лучшим произведением, хотя и далеко не единственным. Она показывает, что социалистическая живопись имеет уже картины, которые не уступают лучшим произведениям буржуазного реалистического искусства, а это значит, что завтра социалистическая живопись сделает следующий шаг и оставит позади живопись капитализма. Но мы должны предупредить художников, что этот следующий шаг потребует от них величайших усилий, величайшей работы над собой и совершенно исключительного мастерства.

Многие наши художники думают, что достаточно вложить в свои полотна революционное содержание, как они автоматически превратятся в произведения социалистического реализма. Это конечно неверно. Если бы переход от одного направления в искусстве к другому направлению требовал только простой смены тематики, то это было бы самым простым и легким делом, не требующим длительного времени. А ведь мы знаем, что переход этот занимает очень много времени и связан с целой революцией в искусстве. Но мы думаем, что становление социалистического реализма займет меньше времени, нежели становление буржуазного реализма, ибо становление социалистического общества происходит, как известно, значительно быстрее, нежели происходило становление капиталистического общества. Во всяком случае надо отметить одно, а именно: развитие социалистического реализма происходит настолько успешно, что мы уже сейчас можем говорить о новом направлении, опираясь на конкретные произведения изобразительного

искусства. И это, несмотря на то, что у нас исключительно слабо развита художественная критика, которая, как известно, всегда играла в развитии искусства исключительно важную роль, я бы сказал, ведущую роль.



Особо важную роль художественная критика призвана сыграть в развитии социалистического искусства. И надо прямо сказать, что роль нашей критики куда труднее той роли, которую призваны были в свое время играть буржуазные художественные критики. Буржуазное изобразительное искусство сложилось задолго до победы буржуазии. Поэтому пришедшая к власти буржуазия могла опереться на своих художников. Кроме того, буржуазия получила довольно неплохое художественное наследство, в виде произведений старых мастеров, реалистов пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого столетий. Правда, буржуазии пришлось добираться до этого наследства через целые пирамиды произведений ложного классицизма, или, выражаясь более точно, классической реакции, в плену у которой находился даже такой большой художник революционной буржуазии, как например Жак-Луи Давид.

Пролетарское изобразительное искусство в нашей стране начинает развиваться по сути дела только после Октябрьской революции.

А это означает, что победивший пролетариат, особенно в начале своего господства, должен был привлечь на свою сторону буржуазных художников и, используя их творчество, создавать свои собственные художественные кадры. Победивший пролетариат так же, как и победившая буржуазия, должен был добираться до реалистического художественного наследства через целые горы формалистского мусора.

Буржуазному искусству легче было преодолевать ложный классицизм, чем пролетарскому искусству формализм, ибо ложноклассицизм не уничтожал художественной культуры и мастерства, то-есть технических познаний художников, а

формализм ведет к уничтожению и того, и другого.

Пролетарскому искусству труднее пробиваться к художественному наследству и создавать свое направление в изобразительном искусстве. Поэтому в настоящее время роль художественной критики труднее и почетнее, чем при зарождении и развитии буржуазного реализма.

Пролетарская художественная критика должна:

в о - п е р в ы х, разобраться в художественном наследстве, отобрать все ценное, что в нем имеется, и отбросить все гнилое, задерживающее своим гниением рост нового искусства. Или, другими словами, пересмотреть всю историю живописи, выявить предшественников пролетарского изобразительного искусства, великих реалистов прошлого, и познакомить с их произведениями миллионы рабочих и крестьян;

в о - в т о р ы х, особо тщательно изучить историю живописи народов, входящих в Советский Союз, выявить наиболее значительных представителей реализма и познакомиться с ними художников и зрителей. Особое внимание при этом надо обратить на старую живопись (грузинская фреска, старая армянская живопись и т. д.);

в - т р е т ь и х, создать историю социалистического реализма, то-есть показать, как пролетарская революционно-социалистическая живопись, воспринявшая лучшие традиции буржуазной реалистической живописи, перерастает в социалистическую живопись, или, что то же самое, в живопись социалистического реализма;

в - ч е т в е р т ы х, раскрыть содержание социалистического реализма и дать, таким образом, ориентировку нашим художникам, указать путь развития социалистической живописи.

Обычно все свои требования мы адресуем только одним художникам, не касаясь или почти не касаясь нашей художественной критики, а между тем в становлении нового направления в искусстве художественная критика играет примерно такую же роль, что и художник. И если мы хотим иметь в живописи своих Перова и Репина, то мы долж-

ны для этого озаботиться воспитанием своего Стасова. Здесь так же, как и в живописи, мы должны критически отнестись к доставшемуся нам наследству и отобрать все наиболее ценное и действительно значительное. Говоря конкретно, как в живописи мы отдаем предпочтение Репину, а не вульгарно-историческому Сомову, так в критике мы отдаем предпочтение Стасову, а не религиозному мракобесу и крепостнику Александру Бенуа.

Художественная критика, если она является подлинно научной, то-есть большевистской, должна воспитывать художника, должна учить его социалистическому реализму на конкретных примерах, а не кричать истощенным голосом о вещах, в которых сама она, эта критика, еще не разобралась и не понимает их значения.



Как известно, первым и основным требованием реализма является правильное отображение действительности. Но действительность состоит из отдельных явлений, сплетающихся в некую цепь, которую мы называем тенденцией, или процессом развития. Для того, чтоб правильно понять отдельные явления и правильно их отобразить в произведении, художник должен выяснить, в каком направлении развиваются эти явления. Поясним нашу мысль несколькими взятыми наугад примерами.

1) В Советском Союзе идет колоссальное новое промышленное строительство. В строй действующих предприятий входят огромные новые заводы и фабрики, и все же, несмотря на это, в стране ощущается недостаток товаров, чувствуется еще так называемый «товарный голод». В капиталистических странах строительство новых промышленных предприятий прекращено почти совсем. Уничтожаются многие старые фабрики и заводы, а существующий промышленный аппарат загружен только процентов на тридцать-сорок, и, несмотря на это, в странах капитала царит кризис, капиталисты не могут реализовать произведенные товары.

Если изобразить в виде кривой средние размеры выпущенной за последние годы промышленной продукции, то кривая СССР покажет неуклонный подъем вверх, а кривая капитализма — неуклонное падение вниз. Это — показатель нарастания безграничности перспектив промышленного развития в СССР; это — показатель исчезновения перспектив сколько-нибудь значительного развития промышленности в странах капитала. Отсюда: бурная индустриализация СССР, нарастающая аграризация капиталистических стран; технико-экономический и культурный прогресс в СССР, технико-экономический и культурный упадок в капиталистических странах.

2) Сельское хозяйство СССР предъявляет огромные и все возрастающие требования на разнообразные сложнейшие сельскохозяйственные машины, удобрения и агрономическую науку. Сельское хозяйство капиталистических стран отказывается от применения машин и переходит к средневековым методам обработки земли. В СССР происходит прыжок от варварски-низкой производительности труда в сельском хозяйстве к максимально-возможной при современном состоянии техники и науки производительности труда. В странах капитала, наоборот, от сравнительно высокой производительности труда в сельском хозяйстве происходит переход к средневековым нормам производительности труда. Это — показатель роста потребления, или роста материального благосостояния трудящихся СССР; это — показатель резкого падения потребления, резкого падения благосостояния трудящихся капиталистических стран.

3) Нищие есть и в капиталистических странах, и в СССР (хотя и в ничтожных размерах).

Развитие капитализма размывает средние слои населения и отлагает на одном полюсе богатство, на другом — бедность, на одном — крупную буржуазию, на другом — пролетариат. Это развитие ежедневно и в широчайших масштабах производит нищету, особенно ужасную, ничем не прикрытую

современную нищету, ведущую бедняков к потере человеческого облика.

Развитие социализма, наоборот, устраняет не только нищету, но и условия, которые ее порождают. В СССР уже на данном этапе развития ликвидирована безработица в городе и аграрное перенаселение в деревне, чтобы ликвидирована нищета. Это развитие ежедневно и все в больших масштабах увеличивает зажиточность рабочих и крестьян. Те немногочисленные нищие, которые встречаются в наших городах и еще отчасти в деревнях, являются либо профессиональными нищими, не желающими работать, либо кулаками, специально одевшимися в домотканые кафтаны, чтобы своим видом и протянутой рукой агитировать против советской власти<sup>1)</sup>.

Мы привели три примера: развитие промышленности, применение машин в сельском хозяйстве и нищенство, чтобы показать художникам, как надо изучать отдельные явления и через часток фактов добираться до истины, до правды, до правдивого образа в искусстве. Художник-реалист в отличие от художника-натуралиста (который заносит на полотно данные конкретные вещи, встретившиеся ему в данной конкретной обстановке) добирается до правды, до создания правдивого художественного образа, который позволил бы увидеть в нем, как в зеркале, страну, эпоху, классы, их борьбу, быт различных слоев населения. Великие художники-реалисты и художественные критики прошлого не случайно были одновременно и наиболее передовыми людьми своего времени, своего класса, устремленными вместе со своим классом вперед. Они стремились рассмотреть пути развития общества, чтобы лучше понять настоящее, то-есть окружающую их действительность, и возможно правдивее его отразить в своих произведе-

ниях. Поэтому загнивание капитализма, потеря буржуазией перспективы развития повлекли за собой гибель буржуазного реалистического изобразительного искусства.

Художники социалистического реализма, будучи представителями пролетариата в искусстве, должны быть передовыми людьми своего времени, своего класса.

На данном этапе развития художники социалистического реализма,

во-первых, являются пролетарскими художниками, вооруженными мировоззрением пролетариата, учением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, активно участвующими в строительстве социалистического общества и своим правдивым реалистическим искусством борющиеся за утверждение нового, социалистического общественного строя;

во-вторых, они критически усваивают художественное наследство, доставшееся пролетариату от реалистической живописи прошлых эпох, и на основе этого усвоения, а также на основе достижений социалистического искусства и роста художественной культуры двигают живопись вперед, как в отношении более правдивого, высокохудожественного отражения действительности, так и в отношении техническом;

в-третьих, художники социалистического реализма ведут борьбу со всеми и всякими проявлениями буржуазного влияния в искусстве, как например формализм во всех его видах и формах (кубизм, футуризм, экспрессионизм и т. д.).

Среди художников распространено мнение, что социалистический реализм возникнет от слияния различных течений изобразительного искусства: и пролетарского, и буржуазного, и реалистического, и формалистического. Это — ошибочное мнение, пущенное в оборот врагами социалистического искусства. К социалистическому реализму ведет только один путь, это — путь перехода на позиции пролетариата, принятие его мировоззрения, активное участие в его борьбе за построение социалистического общества, путь перехода на позиции

<sup>1)</sup> Между прочим совершенно непонятно, почему при огромном недостатке рабочей силы и в городе, и в деревне мы до сих пор не издали закона, карающего за нищенство, то-есть почему мы до сих пор позволяем этим людям под видом нищих вести свою антисоветскую работу.

подлинного реализма и активная борьба с формализмом и с беспредметничеством за создание великого реалистического искусства социализма.



Наши художники должны знать, что изобразительное искусство всегда служило эксплуататорам средством для приведения в повиновение эксплуатируемых. В нашей социалистической стране искусство впервые служит господствующему классу, пролетариату, средством для мобилизации миллионов рабочих и крестьян на борьбу за создание социа-

листического общества, то-есть за уничтожение всякой эксплуатации человека человеком. Изобразительное искусство СССР является средством утверждения нового, социалистического общественного строя в сознании людей, в сознании миллионов рабочих и крестьян, то-есть оно играет огромную воспитательную роль, выступая за великие идеалы коммунизма, за претворение их в жизнь. Может ли быть более благородная задача для искусства, способная вдохновить наших художников на создание действительно великих произведений, достойных великой эпохи и великих людей, ее созидающих?

29/V — 34 г.

### 3. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЬ ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА

#### Из стенограммы вечера, посвященного творчеству П. Васильева <sup>1)</sup>

Председатель — Ф. В. Г л а д к о в.

К. ЗЕЛИНСКИЙ. — Товарищи, можно конечно сказать Васильеву, что он талантлив, что поэзия его интересна. Но этого мало. Нам не нужны комплименты. Я думаю, что нам сегодня нужно попытаться (и для него, и для себя) разобраться по существу, что же его поэзия в целом собой представляет. Поэзия Васильева очень органична, не только по своей тематике, но и в своих образах и по материалу. Если искать, что же стоит за этой поэзией, то чувствуешь, что за ней стоит богатая казачья деревня, богатый сибирский кулак.

Возьмите основную вещь, которую он читал, — «Соляной бунт». Эта вещь должна сегодня стоять в центре нашего обсуждения. С одной стороны, мы имеем как будто отчетливо выраженное желание самого Васильева изобразить какую-то борьбу беднейших слоев, борьбу бедняков-киргизов против казачьего кулачества. А с другой стороны, во всем оснащении этой вещи еще поет и говорит старая кулацкая деревня. В самом

последнем стихотворении, которое прочел Васильев, интересном стихотворении, совершенно недвусмысленно говорится: я по эту сторону баррикад. Это стихотворение есть по существу новая платформа Васильева. Но возьмите большую поэму «Соляной бунт». Разве вы не чувствуете, что Васильеву гораздо лучше удаются те места, где он изображает казаков. Это получается у него ярко, смачно, а киргизы бледны, киргизы не удаются. Они не заявляют о себе в поэме, а лопочут, они безлики. Казаки, в частности казак Меньшиков, — очень яркая казачья фигура. Она здорово вылеплена. А киргизы изображены действительно, как голь. Эта голь, которая растет из этой соли и среди выжженных степей, по существу не имеет настоящего психологического лица. Это основной изъяс «Соляного бунта». Далее. Все образное наполнение идет от идеалов богатого казачества. Говорят, Васильев крестьянский поэт, что он опирается корнями в сказку, в песню, в народные представления и т. д. Этого мало. Есенин тоже корнями уходил в «крестьянскую толщу», но Есенин был упадочным поэтом Васильев не упадочен. Это — поэт большого оптимистического напора, и с этой стороны он может

<sup>1)</sup> Вечер, посвященный творчеству П. Васильева, состоялся 3 апреля 1933 г. в редакции журнала «Новый мир».

подходить к нам. Васильев — поэт, который в каждой строчке любит жизнь, хочет жизни, чувствует ее вкус. Но все-таки? Что стоит за этим оптимизмом? Можно ли сказать, что это наш оптимизм — оптимизм пролетарской страны? Этого нельзя сказать. Я думаю, что это оптимизм образного порядка, который идет от восхищения перед «сытой деревней» с лебедиными подушками, грудастыми бабами и коваными сундуками. У Васильева есть элементы не только настоящей народной поэзии, но псевдонародной, в сусальном представлении великодержавной России: баба в расписном сарафане. Вот эти элементы псевдонародности есть у Васильева.

Для чего я все это говорю? Я, может быть, поставил вопрос грубовато, но я к этому выступлению не готовился и хочу нарочно резко сказать, чтобы нам легче было разговаривать. Я думаю, что нужно понять это и самому Васильеву, что в его поэзии есть органические элементы, которые связывают его со старой, уходящей деревней. Он готов это признать. Но этого мало. Нужно, чтобы признание у Васильева было доведено до метафоры, как мы доводим план до рабочего станка. А это делается не сразу. В самой поэзии Васильева есть элементы, которые несомненно приходят в противоречие с нашим советским строительством, и мы должны помочь резкой критикой Васильеву от них отделаться.

В заключение я скажу об ошибочном взгляде, что у нас будто не может существовать народной колхозной поэзии, потому что не может существовать крестьянское образное мышление. Такая поэзия может существовать и будет существовать долгие годы. Но поэзия, которая упирается всей своей системой на уходящие представления, не будет долго существовать. У нас может явиться вопрос: откуда явился Васильев? Почему на 16-м году пролетарской революции, после ликвидации кулачества как класса, появляется такой поэт? Значит, не вся еще молодежь наша? Я думаю, что это не случайно. Значит, пережитки капитализма еще налицо, еще сильны. Но, с другой стороны, в нашей стране для такой поэзии нет будущего. Что касается

самого Васильева, то в последней вещи, которую он сегодня прочитал, и отчасти в «Соляном бунте» все-таки есть здоровое начало, на которое он может сам же опереться и которое позволит в дальнейшем ему развиться в настоящего советского поэта.

Е. УСИЕВИЧ.—Когда критики говорят о творчестве Павла Васильева, то, по-моему, они совершенно неправильно называют его поэтом деревни, так как при этом они не учитывают своеобразную социальную основу, на которой выросло творчество Васильева. Основа эта — семиреченское казачество, база колониаторской политики русского царизма и фундамент, на котором во время гражданской войны выросла ашненковщина. Это казачество не похоже на крестьян, — скорее, это своего рода мелкая шляхта. Различие это важно для понимания того, насколько реакционны традиции, усвоенные Васильевым.

Не могу согласиться и с теми критиками, которые, споря, — осознаны или не осознаны Васильевым социальные корни его творчества. — думают, что это хорошо, если они не осознаны. Я думаю, что, если это так, если они не осознаны, то от этого не легче нам, а Васильеву, может быть, даже труднее, потому что, значит, чуждая нам идеология прет из него произвольно, значит, это то, что он впитал в себя с детства и не так-то легко ему самому осознать, что получается, когда он, как ему кажется, поет естественно, как птица.

Для того, чтобы Васильев мог сам перестроиться, для того, чтобы его творчество не давало права наиболее реакционным элементам в нашей литературе и уповать, что он поднимет их понижшее знамя, для этого, прежде всего, Васильев должен понять не только то, что наша критика, наша общественность считает его чужаком, он должен осознать, чью идеологию выражает он. До сих пор мы не имели у Васильева ни сознания этого, ни, тем более, попытки убрать мосты, которые его связывали с этими людьми. Но я думаю, что наглядность и неопровержимость успехов социалистического строительства, та рабо-

та, которая проводилась с Васильевым нашей критикой, а главным образом те чрезвычайно обнаженные формы, которые приняла классовая борьба, те формы, в которых выступает сейчас классовый враг, — все это кое-чему Васильева научило.

Прежде Васильев не различал кулака от мужика. Пожалуй, ему казалось, что и творчество некоторых поэтов, — которых мы признаем кулацкими и которых он считал крестьянскими, — что творчество их идет в защиту мужика. Факты ожесточенного, звериного вредительства кулаков в колхозах должны были заставить его задуматься о том, какого «добра» желают мужику эти его «защитники». Надо думать, Васильев поймет и то, кого поддерживают своим творчеством, хотя бы они этого или не хотят, мнимо-крестьянские поэты. И когда Васильев доведет все это до своего сознания, тогда, надо надеяться, у него произойдет серьезным образом перестройка.

Я не согласна с Зелинским, что «Соляной бунт» не дает возможности отметить некоторый сдвиг в этом направлении. Правда, в «Соляном бунте» изображены те же самые казаки, которыми Васильев любовался в своих предыдущих произведениях. Но здесь уже показано, что они являлись представителями торгового капитала, порабовавшего и нещадно эксплуатировавшего киргизов.

Последнее стихотворение — «Враги народа», — которое сегодня прочитал нам Васильев, не является еще доказательством перестройки Васильева. Но оно показывает, что он рубит канаты, которые прикрепляли его к правому берегу, что он может сдвинуться с мертвой точки и отправиться в плавание, которое должно его привести к нашему берегу, к которому он сам, по его словам, стремится.

**И. ГРОНСКИЙ.**—Товарищи, если в так называемые «нормальные» эпохи развития общества литературная критика задает художнику вопрос о том, кому, каким социальным силам служит его искусство, то этот вопрос нужно со всей решительностью задать художнику

в эпоху социальных потрясений, в эпоху революции. Искусства, оторванного от жизни, не бывает. Искусство всегда отражает жизнь, служит борющимся на исторической арене социальным силам. Или оно служит силам прогресса, и тогда оно является великим искусством; или оно служит силам реакции, и тогда оно редко переживает автора, тогда оно редко входит в историю и редко занимает в этой истории почетное место. «Искусство для искусства» всегда существовало. Но это искусство очень быстро забывалось потомками и очень мало волновало современников того или иного поэта. В наше время поэт, если он является настоящим поэтом, должен идти к народу, должен слушать то, что говорит народ, и должен воспевать дела и борьбу своего народа, т.е. рабочих и крестьян. Если народ не знает поэта, если народ не поет его песен, — грош цена такому поэту. Этот поэт пишет для себя, или, может быть, для небольшой группы окружающих его, но не для народа. Вот если с этой точки зрения мы подойдем к творчеству всей группы так называемых «крестьянских» поэтов, то мы должны сказать, что эта группа совершенно напрасно, без всяких на то оснований, приклеивает к себе крестьянскую вывеску. Это не крестьянская, а кулацкая поэзия. Крестьянство наше — огромное, многомиллионное трудящееся крестьянство — повернуло в сторону социализма. Оно в муках, в величайшем напряжении, в огромных срывах и в величайших победах создает новую экономику, изменяет, под руководством рабочего класса, отношения в деревне, выходит на новые пути, новые дороги, двигаясь по которым, оно уже пришло к уничтожению нищеты, к уничтожению невежества и темноты, всей этой мрази и рабства, в котором находилась деревня на протяжении сотен лет. Этому движению крестьянства на каждом шагу мешают темные, реакционные силы прошлого, прежде всего кулачество. Причем мешает оно не только агитацией против колхозов. Кулачество поджигает колхозы и совхозы, уничтожает образцово поставленные хозяйства, ломает машины, уничтожает скот и убивает лучших лю-

дей нашей деревни, стреляет в них из обрезов ночью из-за угла.

Куда кулачество тянет? Кулачество тянет к самой мрачной, к самой худшей реакции, какую можно себе представить. Кулачество тянет к крепостничеству, к порабощению миллионов крестьян, оно тянет к уряднику, к нагайке и кнуту. Оно хочет взнуздать восставшую деревню, рвущуюся вперед, к социализму. В своей звериной злобе кулачество ни перед чем не остановится. В такую эпоху люди, называющие себя «крестьянскими» поэтами, должны быть вместе со своим народом, они должны вместе с крестьянством сражаться с этими реакционными силами прошлого, которые тянут к крепостничеству, к нагайке, к кнуту. Видели ли мы этих поэтов в среде крестьянства, наблюдали ли мы, чтобы они помогали крестьянству в величайшей его борьбе за создание и утверждение нового колхозного строя? Нет, не видели. Так называемые «крестьянские» поэты не помогали крестьянству. Боролись ли так называемые «крестьянские» поэты вместе с рабочим классом и крестьянством за начатое большевиками великое дело построения социалистического общества? Нет, не боролись. Так какое же они имеют право называться крестьянскими поэтами, кто им дал это право? Им такого права никто не давал. Говоря откровенно, эти «крестьянские» поэты не друзья, а враги народа или отошедшие в сторону спокойные наблюдатели.

Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции. Объективно оно служило силам контрреволюции. Это резко, это грубо. Но это правда. Я эту правду говорю для того, чтобы определить позицию так называемых «крестьянских» поэтов и определить свое отношение к этим художникам. Позицию тут нужно определить уже хотя бы потому, что к этим художникам прислушивается известная часть

подрастающего писательского молодняка, к которому мы относимся не безразлично, в развитии которого мы очень основательно заинтересованы. Поэтому нужно прямо сказать в этой узкой писательской среде о том, что творчество так называемых «крестьянских» поэтов до сих пор служило не революции, не социализму, не народу, а реакции, крепостничеству, кулачеству. Можно ли переделать этих «крестьянских» поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать. Они слишком прочно срослись с капитализмом, с кулачеством, а потому и порвать с этой социальной средой им будет труднее. У них имеются сложившиеся убеждения, которые родились не сегодня. Все это тянет их назад, в прошлое. Если бы они хотели служить прогрессу, т.е. пролетарской революции, они давно бы это сделали. Если они этого не делают, то нам нет никаких оснований их агитировать. Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, жди того дня, когда твой народ забудет о тебе, как о художнике. И он забудет. Это единственное, что можно им сказать.

Но к молодым поэтам мы должны подходить несколько по-другому, к молодым поэтам мы должны подходить с несколько другой меркой. Тов. Васильев вырос во время революции. Творчество его развивалось во время революции; казалось бы, он имеет все данные и все возможности для того, чтобы развернуться в достаточно крупного художника революции. Однако мы этого не видим. В чем дело? Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции. Сейчас, поскольку мы все это вскрыли и вскрыли до дна, нужно взяться и поработать над Васильевым, еще молодым поэтом, и перетянуть его в лагерь революции. Это — задача нашей критики. И тут всякого

рода вежливые похлопывания по плечу ничему не помогут. В эпоху революции надо ставить вопросы по-революционному, резко и грубо. Васильев должен поврать с той группой, у которой он находится в плену, Васильев должен шагнуть в сторону революции. И только в этом случае он может подняться как художник. Художник развивается только тогда, когда он служит силам прогресса, только тогда, когда он представляет те социальные силы, которые ведут общество вперед. Если он будет служить силам, которые ведут общество назад, он неизбежно погибнет как художник, и о нем народ очень скоро забудет. Васильев как будто делает сейчас шаг в сторону революции, но делает этот шаг очень робко, очень осторожно, очень неуверенно. Так, Васильев, к революции ты никогда не придешь. К революции надо идти решительно, смело, по-мужицки. Надо стать в ряды большевиков, в ряды рабочих и крестьян и драться с врагом. Враг нападает — бей его крепче. Враг даст тебе сдачи — дай ему десять сдачи. Это вот и будет защита революции, это вот и будет движение в сторону революции. А робкий, осторожный шаг вперед, а потом два шага назад, — это не годится, особенно для поэта. Васильеву надо прямо сказать, что он сейчас пришел на некую грань: или он совершит прыжок в сторону революции, или он погибнет как художник. Вот как ставит перед ним жизнь этот вопрос. Выбирай: либо с революцией, либо — будешь болтаться и шататься между обывательщиной и контрреволюцией, и тогда ты как художник погиб окончательно и для себя, и для своего народа. Вот как стоит вопрос, и по-другому он сейчас стоять не может.

У меня имеется в руках отчет об одном заседании литераторов, артистов и вообще деятелей искусства в Париже, на котором выступал Андре Жид. Андре Жид — крупнейший писатель Франции, эстет, в прошлом представитель буржуазии, богатый человек, никогда ничего общего с революцией он не имел, мистик, с боженькой возился и т. п. Я прочту только один маленький отрывок

из его выступления. Он говорит о терроре в Германии и дальше переходит к террору в Советском Союзе.

«Мне могут возразить, — говорит Андре Жид, — что и в СССР имеются аналогичные явления. Безусловно. Но это делается совершенно в различных целях. Не подлежит сомнению, что необходимо насилие для того, чтобы создать наконец новое общество и дать впервые слово тем, которые до сих пор были угнетены и которые не имели даже права голоса.

Как и почему я пришел к тому, чтобы это оправдать? Это объясняется тем, что в немецком терроре я вижу реакцию, возврат к наиболее скверному и отвратительному прошлому. В организации же советского общества я вижу безграничные перспективы будущего.

Чудовищно требовать, чтобы те, которые не говорили до сих пор, — угнетенные индивидуумы или народы, расы или общественные классы, — должны быть теми, которым вообще нечего сказать. Они были до сих пор так поработаны, унижены и одурманены, что их жалобы не доходили до нас. Поработители лишили их слова и хотят сохранить и дальше такой порядок. В течение долгого времени они это практиковали, и теперь, когда им угрожает опасность, что у них отнимут захваченное, они заговорили еще громче, еще сильнее. История человечества — это история медленного и мучительного выхода в свет тех, которые находились под ярмом и в темноте. Нет никакой империалистической силы, которая могла бы задержать современное движение к свободе...»

Как видите, даже люди, находящиеся за пределами нашей страны, своими корнями уходящие в буржуазное общество, являющиеся представителями враждебных нам классов, даже эти люди на старости лет начинают понимать великую правду, которую мы несем человечеству, и переходят на нашу сторону. Поэтому кажется особенно странным и невероятным, что наши молодые поэты, живущие в великой стране, творящей исключительные дела, поворачиваются спиной к революции. Но думаю, что Васильев на путь контрреволюции больше:

не свернет. Парень он здоровый и бодрый. Думаю, что он выкарабкается из болота и сделается революционным поэтом. Его поэма «Соляной бунт», первую часть которой он здесь прочитал, написана еще под большим влиянием Клюева и Клычкова. Тот же квазо-национализм, то же любование прошлым. То же расписывание яркими красками этого прошлого. Какие богатыри, какие витязи — Микулы Селяниновичи и Ильи Муромцы! Не такие уж они, кулаки, красивые, не такие уж они, кулаки, сильные. На большие дела они не способны; способны они только на то, чтоб держать в руках обрез и стрелять из-за угла, да и то ночью; способны они поджигать колхозы и резать скот. Эти люди, т.е. кулаки, привлекать к себе внимание художника революции уже не могут. Это не богатыри, а озверелая, трусливая мразь, способная только на убийства и на поджоги, да и то только ночью. Думаю, что до тех пор, пока Васильев не научится ненавидеть и презирать этих людей и клеймить их позором, он не пойдет далеко. Любование прошлым, несмотря на все его благие намерения, будет тащить его к прошлому, к крепостничеству. Правда, в «Соляном бунте» прорываются и революционные нотки. Когда Васильев пишет о попах, он показывает их во всей их гнусности, во всем их лицемерии. Когда он пишет о купцах, он пытается показать их живодерство. Но эти революционные нотки заглушаются другими мотивами. Заметьте, когда Васильев говорит о киргизах, о том, что женщины бросают детей под ноги казачьих лошадей, у него не хватает голоса, не хватает дыхания, не хватает красок, чтоб заклеить палачей. Почему? Потому что он не любит массы угнетенных киргизов, которые в своей ненависти, в стремлении бороться с поработителями жертвуют самым дорогим для них, — жертвуют своими детьми.

**ВАСИЛЬЕВ.** — Это все будет во второй части.

**ГРОНСКИЙ.** — О второй части мы не можем сейчас говорить, мы предпочитаем разбирать то, что нам дано, а не то, что будет.

Мне нравится последнее стихотворение Васильева, которое он здесь прочитал: разговор с мужиками о вредителях. Это уже сдвиг. Но вы заметили, как Васильев колебался, прежде чем согласился его читать. Рвать надо с прошлым, а он колеблется. А представьте себе, что завтра драться придется. Колебаний у Васильева будет больше. Люди, которые с нами шли во время революции, колебаться не будут. Они драться пойдут. А Васильев колебался: прочитать или не прочитать стихотворение? Представляете себе, как он будет колебаться, когда наступит драка.

Так, вот, Васильев, если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки. Поставь свое искусство на службу этому будущему и дерись, как дьявол, дерись за это будущее, против всякого рабства, против невежества, против всей той мрази, которая борется с нами из-за угла. И когда ты научишься любить свой народ, т.е. рабочих и крестьян, и ненавидеть его врагов, тогда ты развернешься в настоящего поэта, и тогда ты войдешь в нашу социалистическую литературу.

**И. НУСИНОВ.**—Тов. Гладков предлагал говорить только о тов. Васильеве. Здесь нельзя все-таки обойти вопрос об отношении творчества Васильева к творчеству других родственных ему писателей. Клычков говорил, что он — поэт крестьянский, русский поэт. В 1918—1919 г. один инженер, который по-своему честно служил советской власти, социалистическому строительству, обратился с письмом к Ленину и спрашивал его, почему большевики пользуются презрительной кличкой «буржуазный спец». Владимир Ильич в ответ ему писал, что это есть не презрительная кличка, а просто констатация факта. То же самое, когда мы говорим сейчас о писателе, что он не пролетарский, что он выражает тенденции, чуждые социалистическому строительству, — это тоже раньше всего констатация факта. Когда Иван Михайлович говорит о крепостнических тенденциях в поэзии, он никак не думает, что кто-то агитирует за вос-

становление крепостничества и феодализма. Современная форма крепостничества — это восстановление кулачества и жестоких форм кулаческой эксплуатации.

Совершенно верно, что Клычков, как зрелый мастер, никому больше не подражает. Он — самостоятельный писатель. Но когда Васильев начал писать, он несомненно подражал Клычкову. Сейчас задача в том, чтобы освободиться от влияния Клычкова. Дело в том, что они во многом выражают один и тот же социальный быт. Тут тоже, при большой творческой самостоятельности, у Васильева может быть известное родство с Клычковым, а в смысле отражения действительности — родство материала. Но плохо, если это родство отношения к действительности — родство идейное. Действительно, когда сейчас приходит поэт, который в годы революции еще только начал грамоте учиться, и говорит языком Клюева, и повторяет этапы Есенина, — то это чистейший анахронизм.

Все это упоение «аржаным», «избяным», «бревенчатым» старо, скучно, запоздало и никого не трогает.

Вопрос заключается поэтому не только в том огромном опыте, которым обогатилась наша страна, в том числе наша деревня, за годы, лежащие между приходом Клычкова, Есенина и уходом Есенина.

И этот новый опыт не стоит в противоречии с органикой художественного слова.

Пастернак говорит: если писателю необходимо органически переделать себя, то горе нашей поэзии, горе нашей литературе. Мне представляется, что здесь неверное представление об органичности нашей поэзии и о тех требованиях, которые предъявляются Васильеву. Его образность может быть сохранена. Но необходимо совершенно другое отношение к этой образности, которая проистекает из совершенно иного отношения в действительности, раскрываемой этой образностью.

Об этой перестройке и идет речь. Но при этом надо сказать, что без такой идейной перестройки Павел Васильев

осужден на повторы старого. Художественная органика, оригинальность, свежесть слова, образа, ритма теперь должны сказаться в выражении своеобразия новой деревни, новой сущности формирующейся социалистической деревни. Поэтому только на базе органической перестройки возможен такой расцвет творчества Васильева, который действительно был бы новым словом творчества. Неверно поэтому утверждение Клычкова, что уход Васильева из-под его влияния на путь влияния Ивана Михайловича означает уход в пустоту. Если пойти по тому социальному пути, о котором говорил Иван Михайлович, значит, попасть в пустоту, — тогда, значит, невозможна у нас поэзия. Но тогда эта проблема — не только проблема Васильева, это — проблема любого нашего писателя. Если отношение к действительности, которое Иван Михайлович формулировал и которое есть активное участие в социалистическом строительстве, означает пустоту, тогда конечно скверно. Насколько я понял тов. Пастернака, он именно этого боится в отношении Васильева. Клычков говорил, что, пока он, мол, учил Васильева, все было хорошо, но вот он попадет под другое влияние, — и тогда будет плохо. Клычков, мол, заботился об образной системе Васильева, коммунисты же ее игнорируют. Пастернак испугался, кажется, что перестройка Васильева обрекает его на уничтожение его своеобразной системы образов, его своеобразной ритмики и т. д., и т. д. Я думаю, что это означает лишь иное использование и иное освещение материала, которое только обогатит Васильева.

Перед Васильевым дилемма: или, поняв и усвоив опыт страны, подняться художественно над Клюевым, или, оставаясь в идейном плену у Клюева, стать эпигоном в поэзии и анекдотически-запоздалым провинциальным десятым изданием Есенина в быту.

П. ВАСИЛЬЕВ.—Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска

много творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, — а таковые все-таки существовали и существуют, — то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут — советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода. Мне грустно признаться, но это советское строительство и на меня очень мало влияло. Я должен прямо сказать об этом. Пастернак здесь сказал, что самое главное у поэта — это его стержень, что крестьянский поэт будет сам перестраиваться самотеком. Это неправильно, у нас на глазах есть два примера. Первый — Н. А. Клюев. Вы, Пастернак, не будете отрицать, что он сам очень большой поэт. И другой поэт, талант которого едва ли будете отрицать, — это Маяковский. Разве Маяковский не пришел к революции и разве Клюев не остался до сих пор ярким врагом революции? Присмотримся к времени, которое мы переживаем. Сейчас в той же Германии фашисты устраивают еврейские погромы, в самой нашей стране тут и там орудует классовый враг. Теперь ни один поэт и вообще поэзия не может не быть связана с политикой. Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией — это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать — за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т. д.

Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избияния камнями. Клычков в любом месте развернет свою пространную, путаную философию, он поражается тому, что на него смотрят, как на чертополох. Но ты, Сергей, сам активно помогал этому. Я глубоко уверен, что у тебя было много примеров, где ты мог высказаться со всей определенностью за революцию. Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции.

**КЛЫЧКОВ.** — Это политиканство.

**ВАСИЛЬЕВ.** — Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чем никого не убедят.

**КЛЫЧКОВ.** — Нужны не слова, а дела.

**ВАСИЛЬЕВ.** — Я допускаю, что молча, под полой, ты пишешь колхозный роман. Нужно высказаться со всей резкостью. Если ты не выскажешься, если ты не скажешь, что с революцией, если ты не докажешь, что с революцией, тогда ты не называй меня своей надеждой, и мы с тобой не пойдем, нам с тобой не по дороге, тогда иди к Клюеву, к его лампадке. Я хочу сказать «О соляном бунте», потому что перед этим я написал «Песнь о гибели казацкого войска», там материал владеет мною, и я этот материал не преодолел. В «Соляном бунте» я хотел развернуть картину того, на чем жили казаки и на чем основано их сытое довольство. Я хотел изобразить казаков, которые действительно жили сытой жизнью, которые ходили в шелках, и им в противовес голых, голодных киргизов. Я считаю, кроме того, что это произведение на национальную тему. Я заверяю, что в дальнейшем я буду орудовать не словами, а своими произведениями.

## Книжное обозрение

1. Н. М. ЯЗЫКОВ Полное собрание стихотворений — и Бельчиков. 2. МАКС ЗИНГЕР „Тагам“. — Дм Гельман 3 Е. ГНЕДИН „Разоружение — узел международных противоречий“ — Дм Бухардев 4 „Новое известие о России времени Ивана Грозного“ — „Сказание“ Альберта Шлихтинга — „Замков.

**Н. М. Языков.**—Полное собрание стихотворений. Редакция, вступительная статья и комментарий **М. К. Азадовского.** «Академия». 1934 г. Стр. 926. Ц. 12 р., перепл. 2 р. 50 к. Тираж 5.300

Данное издание — первое полное собрание литературного наследия поэта Языкова, в свое время заслоненного фигурами Пушкина, Батюшкова, Рылсеева и др. Редактор проделал большую и плодотворную работу. Помимо опубликованных ранее текстов, в издание введен ряд стихотворений, остававшихся до сих пор незамеченными, а также ряд новых материалов из собраний Публичной библиотеки Академии наук, ИРЛИ, Литературного музея и др. Тексты сверены с автографами и рукописными источниками. Помимо бесспорно принадлежащего Языкову фонда его стихотворений даны еще *Dubia* («сомнительные»), в отношении которых авторство Языкова спорно. В приложении собраны стихотворения, посвященные Языкову и пародии на него.

Как для современников так и для позднейших литературных направлений Языков не был легко приемлемым поэтом. Кажется, нет в истории литературы другого, о ком бы так разноречиво отзывались и много спорили как о Языкове. Споры начавшиеся вокруг его поэзии еще во времена Белинского, не закончились и в наши дни. Недавно Языков расценивался как безобидный певец «домашности» как поэт интимной повседневной жизни. В толкования такой формально-эстетической критики поэт превращался в некое замкнутое внеклассовое явление.

Такая оценка решительно расходилась с тем, что Языков участвовал в борьбе двух лагерей — западников и славянофилов — на стороне последних. Его послания «К не нашим» и др., насыщенные политическими обличениями Чаадаева, Грановского, Герцена — «поэтические доносы» как охарактеризовали их Герцен, — оттолкнули от него представителей либеральных групп — западников — в 40-е годы. Даже не все единомышленники его — славянофилы — разделяли вполне выпады Языкова против недавних друзей Языков среди современников стал одинокой фигурой. Белинский, как известно, относился с осуждением к его поэзии, расценивая его как поэта реакционного славянофильства. Такая оценка верна по отношению к позднему периоду творчества Языкова.

Но в эпоху разгула николаевской реакции издатели Языкова создали ему славу «голосистого певца пиров хмеля, прелести суеда, певца вина, дружбы, прохлад и жалостей любви нескромной» (Перевлеский). На самом деле Языков глубже, серьезнее, содержательнее, эротика и вакхический «хмельный» элемент, присущие поэзии Языкова составляли распространенную общую черту дворянской культуры той эпохи. В последнее время, в итоге внимательного изучения занятий и научных интересов Языкова, разрушилась и легенда о нем как о недоучке — пьянице-студенте. Языков усиленно изучал эстетику, знал современную русскую литературу, русскую историю, следил за развитием западно-европейской литературы.

М. К. Азадовский в своей статье интересно и убедительно снимает с яркой и любопыт-

ной фигуры Языкова навешенные на нее историей лохмотья, разрушает по очереди все легенды о Языкове, рисуя подлинно-исторический облик поэта. Он справедливо показывает его как одного из блестящих представителей старой дворянской культуры и литературы, пережившего сложную эволюцию взглядов. Языков прошел путь от либерально-декабристских настроений до реакционно-помещичьей идеологии крепостников николаевской эпохи. М. Азадовский удачно анализирует мотивы раннего творчества Языкова, где органически пробилась вольнодумная и радикальная струя этой поэзии. Понятной становится близость Языкова как попутчика декабристов. Но «его революционная лирика, — справедливо указывает автор статьи, — это только струя на гребне революционной волны. Это кратковременный этап, даже не этап, а скорее момент его творчества, красноречивое свидетельство тех колебаний, которые переживал Языков и которые отражают собою колебания класса» (стр. 40). Социальная группа, к которой принадлежал Языков, решила искать опору в недрах своего класса, в организации сил феодально-крепостнического строя. Языков стал боевым певцом реакционно-консервативных слоев дворянства, политической идеологией которых было славянофильство. Встреча со славянофилами имела огромное значение для Языкова: он нашёл в славянофильстве завершение своих смутных исторических мечтаний и политических концепций.

Основные мотивы творчества этого периода (архаика, шовинизм патриотический пафос, религиозность) подтверждают выдвинутую автором статьи мысль о том, что Языков был боевым певцом, воинствующим борцом реакционного славянофильства. «Если Вольтерский в своей рефлексивной поэзии, в своих мрачных раздумьях отобразил тревогу класса, утратившего свою веру в прочность и неизменность связанного с ним бытия то Языков отобразил волю класса к борьбе, пафос веры в его жизнь и силу» Сравнение это, при всей своей общности, имеет все основания быть принятым. Такой особенностью позиции Языкова многое объясняется убедительно. То, что называли и называют абстрактно «домашностью» в поэзии Языкова, приобретает, в свете этой точки зрения иной, более глубокий классовый

смысл. М. Азадовский удачно интерпретировал эту сторону в творчестве Языкова: «Поэзия Языкова, — говорит он, — вела в самые глубины быта, отнюдь не разрушая его критически, но поднимая его в лирическом пафосе в какую-то идеальную сферу» (59). Эта сторона поэзии Языкова, как поэтическая зарядка, как поэтизация бодрости жизни, как «буйный восторг молодости» (М. Азадовский), были высоко ценны идеологами его класса (Ив. Киреевский и др.). В основном оценку творчества Языкова в статье М. К. Азадовского надо признать правильной. В статье М. Азадовского читатель найдет, кроме того, интересный анализ и сущности славянофильства, и народности в понимании вождей последнего, и новые факты об участии Языкова в собираньи памятников устной народной поэзии, и новое толкование увлечения Пушкина, Жуковского и Языкова подражанием русским народным сказкам, и т. п. В статье есть однако и досадные промахи. Почему-то «История русской литературы» П. Н. Сакулина объявлена трудом, подводящим итоги изучения русской литературы XIX века (стр. 28). Спорны и доводы о том, какими сторонами ценна сейчас поэзия Языкова. Автор, как бы забывая о реакционности этой поэзии, говорит о значении ее как психологического документа: «Реальное содержание, содержание исторической эпохи, обусловившей и создавшей пафос его лирики, для позднего читателя уже перестаёт быть реальностью, но самый лирический пафос, лирическое воодушевление поэзия восторга и жизнерадостности переходят в арсенал другого класса» (стр. 78). Но вопрос в том — каков этот пафос, какова жизнерадостность? М. Азадовский переценил эту слабую сторону поэзии Языкова. Он сам цитирует следующие слова Петра Киреевского из письма к Языкову о впечатлении от стихов последнего «Я читаю их всякое утро, и это чтение настраивает меня на целый день, как другого молитва или рюмка водки. И не мудрено: в стихах твоих и то, и другое: какой-то святой кабак, и церковь с трапезой во имя Аполлона и Вакха». Это очень важное показание должно настораживать ценителя эмоций, рождаемых от поэзии Языкова. Но бесспорно и то что Языкова никак нельзя обойти в деле критического изучения и освоения классической литературы. Книга издана хорошо; оформлена проду-

манно и удачно; иллюстрации подобраны со знанием дела и помогут читателю осознать эпоху Языкова.

*Н. Бельчиков.*

**Макс Зингер.** — «Тагам», повесть. «Советская литература». Москва, 1933 г. Стр. 153, п. 1 р. 75 к.

«... Географические точки на стенной карте Союза оживают передо мной с каждым годом, и я смотрю на огромную карту, на кружки городов, на синие изгибы рек и чувствую и вижу их. Я вижу суровый скалистый мурманский берег и болотный север архангельский и север ледоный карский и туманный Енисей — водный красавец-силач, и высокую радиомачту на острове Диксон, и привесистый свинцовый Вайгач, и шумливые водопады Курейки, и Игарку, пахнущую смолой высоких штабелей экспортного леса, Нижнюю Тунгуску, беременную углем, графитом и исландским шпатом, Камчатку, Чукотку, Колыму и весь Север, исхоженный мною... Я слышу шум и вижу улицы новых городов Севера, на чьих октябринах присутствовал». Эта способность воссоздавать не только внешние очертания виденного, но и его «внутренний» смысл, умение «чувствовать» и «слышать» музыку живой советской жизни, которая проникает в самые отдаленные уголки Союза, является положительной чертой Макса Зингера. Он принадлежит к немногочисленной плеяде энтузиастов Севера, неутомимых путешественников и пытливых исследователей, открывающих заново «материки», знакомые нашему читателю лишь понаслышке. Об исключительной познавательной ценности книг, раскрывающих «тайны» Севера, знакомящих нас с географией и экономикой его необозримых окраин, с бытом населяющих его народностей, говорить не приходится, особенное значение в этом смысле приобретает культурный газетный очерк и квалифицированное художественное произведение, построенное на местном материале, раскрывающее средствами искусства подлинную романтику пришедшего в движение Севера, отныне поставленного на службу социалистическому строительству.

Об этом движении, о взорванном безмолвии тайги, ее лесов и рек, о перемещении экономических и культурных центров о пробужденной творческой энергии людей, служив-

ших, еще недавно объектом беззащитной эксплуатации царских колонизаторов, взволнованно рассказал автор в «Тагаме». И то обстоятельство, что в повести уделено немало места описанию людей, населяющих места, бывшие недавно свидетелями величественной чукотской эпопеи (Чукотское побережье Ледовитого океана), что одним из героев книги является бесстрашный воздушный каюр (возница) Доронин, — в еще большей степени усиливает интерес к повести Макса Зингера. Ее интригующий заголовок, в переводе с чукотского на русский означающий «движение вперед», определяет собой идейную сущность и сюжетную линию книги. В ней нет героев в обычном понимании этого слова. «Тагам!.. Движение вперед! Вот мой герой! Это герой Октября, герой социалистической планеты!»

Об этом «герое», подвизающемся в труднейших условиях северо-восточной части страны, Зингер рассказывает с точным знанием его многосторонней биографии и с нескрываемым восторгом, не заглушевывая однако его «отрицательных» сторон.

Пять тысяч километров на собаках через тундру по ее нигде не обозначенным на картах горам и закованным в ледяную броню рекам, — сотни километров на оленях, лошадях и самолете до линии железной дороги — таков маршрут «движения» Зингера по направлению к долгожданной Москве. Непрерывное и целеустремленное, оно должно по замыслу автора символизировать путь, на который вступили народы Севера, отчалившие навсегда от старых берегов своей примитивной жизни и стремительно несущиеся к новым советским берегам, пользуясь фигурально всеми видами транспорта для того, чтобы скорее преодолеть расстояние, отделяющее их от Москвы, т.е. от источника и расадника культуры. Для береговых и тундровых чукчей «тагам» — не только «самое бодрое слово» в их лексиконе, не только лозунг, но и программа реконструкции многовекового социально-бытового уклада.

Чукчи-комсомольцы в роли рукопроводителей хозяйственной и культурной жизни своего края, заброшенная в непроходимой тайге якутская охотничье-промысловая артель «Рождается жизнь» (название артели), якутские ребяташки, выпрашивающие у проезжих карандаши и бумагу, — для обрисовки этих явлений, характеризующих поступательное

движение социализма, Зингер нашел скупые и вместе с тем теплые слова.

Взволнованность и пафосность, являющиеся результатом глубокого «вживания» в материал и бескорыстного пленения им, сообщают книге Зингера качественные особенности, выделяющие ее из литературы очеркового типа. Зингер-журналист, публицист пока довлеет над Зингером-художником. Вместе с тем необходимо отметить, что журналистски-скупая манера письма в ряде мест помогает Зингеру воспроизводить детали, создающие запоминающиеся образы (каюп Атык, секретарь рика — комсомолец Баум и др.), которым все же недостает силы художественного обобщения.

Перед автором, продолжающим разрабатывать близкую ему тематику Севера («Огни», «Герои Советского Союза»), стоит задача овладеть всем многообразием средств эмоционального воздействия на читателя.

*Дм. Гельман.*

**Е. Гнедин.** — «Разоружение — узел международных противоречий». Соцэкгиз. М.—Л. 1934 г. Стр. 134. Тираж 4.000 экз. Ц. 1 р. 85 к.

Книга т. Гнедина посвящена истории международной борьбы вокруг проблем разоружения и вооружений. Она дает богатый материал и для анализа послевоенной международной политики капиталистического мира.

Вся та комедия разоружения, которая в послевоенный период разыгрывалась руководителями капиталистической политики в тесном содружестве с вождями II Интернационала, имела, по существу, две задачи — «пацифистский сладенький обман масс» и расстановку сил внутри империалистического мира для новой войны, в первую очередь для войны против Советского Союза. Тов. Гнедин в своей книге главное внимание уделяет освещению второго вопроса. Он сравнительно мало говорит о тех пацифистских софизмах, при помощи которых буржуазия и в первую очередь II Интернационал готовили и готовят новую войну. Поэтому такой серьезный вопрос, как позиция II Интернационала в вопросах разоружения, отношение этого интернационала к планам всеобщего разоружения, выдвинутому советским правительством, не получил должного освещения в работе т. Гнедина.

Наибольший интерес в книге т. Гнедина представляет анализ предложений различных

империалистических держав по вопросам разоружения в отдельные периоды после войны.

Параллельно с характеристикой позиций империалистических держав на различных этапах борьбы вокруг проблемы разоружения т. Гнедин характеризует позицию СССР на отдельных конференциях и в комиссиях. Последние главы книги посвящены анализу международного положения в связи с выходом Германии из Лиги наций и ее вооружениями. Тов. Гнедин показывает, как на фоне небывалого хаоса в капиталистическом мире растут успехи внешней политики Советского Союза, успехи его мирной политики.

Тов. Гнедин сумел сконцентрировать в своей сравнительно небольшой книге ценный материал, но анализ этого материала не всегда удачен. Наряду с довольно глубоким анализом политических явлений т. Гнедин часто сбивается на тон популярно-агитационный.

*Дм. Бухарцев.*

**Новое известие о России времени Ивана Грозного — «Сназнание» Альберта Шлихтинга.** Перевод, редакция и примечания А. И. Мамина. Ленинград. Академия наук СССР. 1934. Стр. 62. 5175 экз. Ц. 1 р. 25 к.

«Человек военный и честный, Альберт Шлихтинг, померанский уроженец, взятый в плен московитами у крепости Озериче и задержанный там, при Московском дворе, на семь лет, отметил несколько деяний этого тирана с той целью, чтобы он стал известным всему миру как тиран, не столько по имени, но и по своим поступкам, превышающим всякую меру злодейства и жестокости. Узнать это Альберту было не трудно, так как его, в силу образованности и знания немецкого и русского языков, выпросил себе, в качестве слуги и переводчика, итальянский врач, бывший на службе у тирана. После семилетней службы у врача, Альберт увидел, что и его жизни грозит опасность и, с согласия своего господина, убежал в Польшу, где, улучив немного свободного времени, сделал следующую краткую запись о характере и владычестве тирана.» (Стр. 15. Из составленного неизвестным современником Шлихтинга предисловия к рукописи последнего)

Эта «краткая» запись, составленная для польского короля Сигизмунда-Августа, была переслана папским нунцием Партико папе Пию V в Рим, где и сохранилась до нашего

времени в архиве Ватикана. За исключением напечатанных в 1913 г. отдельных выдержек в латинском оригинале, этот представляющий большой интерес исторический документ до сих пор нигде не был опубликован. В рецензируемой книге он напечатан полностью — на основании полученных из Рима фотографических снимков всего доклада Шлихтинга. Кроме основного «Сказания», к книге приложен русский перевод напечатанного в 1872 г. в Кракове очень краткого сообщения того же Шлихтинга на немецком языке.

«Сказание» является ценным материалом для специалистов-исследователей, но в то же время имеет и общий интерес. Свидетельство современника, бывшего активным участником описываемых им событий, обладает особыми достоинствами. Надо думать, что Шлихтинг отнюдь не ограничивался ролью слуги у придворного врача, а был в какой-то степени лично замешан в происходившей ожесточенной борьбе, много драматических эпизодов которой он так подробно и с таким живым интересом описывает. Только такое свидетельство может помочь нам почувствовать колорит эпохи и атмосферу, в которой происходила общественная борьба. В этом смысле «Сказание» дает меньше, чем другой документ, относящийся к тому же времени и заслуженно привлеченный к себе большое внимание, — записки Генриха Штадена: («О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника». Москва, изд. Сабашниковых, 1925). Сообщая о том же периоде и, большей частью, о тех же фактах, которые описывает и Штаден, «Сказание» Шлихтинга,

следившего за событиями совсем из другого лагеря, — из лагеря друзей старого боярства, — является однако весьма интересным дополнением к запискам бывшего опричника.

Уже самое заглавие — «Краткое сказание о характере и жестоком праглении Московского тирана Васильевича» — дает понятие о тенденциях автора. Дыша негодованием против Грозного и сочувствием к обрекаемым гибели «великим и знаменитым древностью рода мужам» (стр. 16), Шлихтинг описывает введение опричнины, боярский заговор и следствие, «которое конечно производилось с утонченной жестокостью того времени и прежде всего с применением арсенала всевозможных пыток» (из «Введения», стр. 9 — 10), гибель одного за другим представителей знати, поход на Новгород и Псков. Он чрезвычайно подробно останавливается на описании различных «квалифицированных» видов казней, пыток и т. д. Вообще записка Шлихтинга — настоящий обвинительный акт против Грозного и его системы управления. Он утверждает, что все, им описанное, «видел сам, собственными глазами, содеянным в городе Москве. А то, что происходит в других больших и малых городах и крепостях, едва могло бы уместиться в целых томах» (стр. 51).

Для историка Шлихтинг больше всего дает своим описанием заговора 1567 г. и разгрома Новгорода и Пскова в 1570 г., когда террор принял особенно широкий, массовый характер, а также — рядом эпизодов, любопытных в бытовом отношении.

*Н. Замков.*

# Книги, поступившие на отзыв

## ОГИЗ—ГИХЛ:

**Смеляков, Ярослав.** — Стихи. 1934. Стр. 124. Ц. 2 р. 50 к.

**Васильев, Павел.** — Соляной бунт. Поэма. 1934 Стр 149. Ц. 1 р. 75 к.

**Штокмар, М.** — Библиография работ по стихосложению. 1934. Стр. 182. Ц. 2 р. 75 к.

**Жид, Андре.** — Возвращение из колонии Чад. 1934. Стр. 182. Ц. 3 р. 25 к.

**Гречишников, Вл.** — Творчество Панферова. 1934 Стр 109 Ц. 2 р. 50 к.

**Эпик, Григорий.** — Первая весна. Роман. 1934 Стр. 207. Ц. 2 р. 75 к

**Арконада, М. Сесар.** — Бедняки против богачей. Роман 1934 Стр. 230. Ц. 4 р.

**Копылова, Л.** — Богатый источник. Повести. 1934. Стр 156 Ц. 2 р. 75 к.

**Бальзак.** — Человеческая комедия. История тринадцати 1934. Стр. 351. Ц. 4 р. 25 к.

**Жюно, Жан.** — Большое стадо. Холм. 1934. Стр. 298. Ц. 4 р. 50 к.

## СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

**Пильняк, Б.** — Камни и корни 1934 Стр 196. Ц. 4 р. 25 к.

**Пастернак, Борис.** — Поэмы. 1933. Стр. 166. Ц. 3 р. 25 к.

**Левин, Кирилл.** — Русские солдаты. 1934. Стр 309 Ц. 4 р.

**Новиков-Прибой, А.** — Женщина в море. 1934 Стр. 200. Ц. 2 р. 50 к.

**Митрейкин, Константин.** — Штурм неба. 1934. Стр. 78 Ц. 1 р. 50 к.

**Кирсанов, С.** — Из книг. 1934. Стр. 170. Ц. 3 р. 50 к.

**Стонов, Дмитрий.** — Три новеллы. 1933. Стр 93. Ц. 1 р. 25 к.

**Серафимович, А.** — Город в степи. 1934. Стр. 224 Ц. 85 к.

**Зорич, А.** — Одна из многих. 1934. Стр. 237. Ц. 3 р. 25 к.

**Пасынков, Л.** — Огневей. 1934. Стр. 427. Ц. 6 р.

**Корнев, Н.** — От Носке до Гитлера. 1934. Стр. 391. Ц. 5 р. 75 к

**Гиляровский, В.** — Дружья и встречи. 1934. Стр. 231. Ц. 2 р. 60 к.

**Исбах, Ал.** — Радость. Роман. 1934. Стр. 343. Ц. 5 р. 50 к.

**Гольдберг, Ис.** — Повести и рассказы. 1934. Стр. 444. Ц. 5 р. 25 к.

**Сурков, А.** — Ровесники. 1934. Стр. 154. Ц. 2 р. 50 к.

**Дубровин, В.** — Конец Самодуровки. 1934. Стр. 297. Ц. 4 р.

**Серафимович, А.** — Железный поток. 1934. Стр. 192. Ц. 1 р.

**Панов, Виктор.** — Генеральная запань 1934 Стр. 218. Ц. 2 р. 25 к.

**Адалис.** — Вступление к эпохе. 1934. Стр. 163. Ц. 2 р. 25 к.

**Бельчиков, Н.** — Народничество в литературе и критике. 1934. Стр 237 Ц. 3 р. 25 к.

**Рожков, П.** — Нужна ли нам романтика? 1934. Стр. 118. Ц. 1 р. 25 к.

**Левидов, М.** — Аэроплан над городом. 1934. Стр. 108. Ц. 1 р. 50 к.

**Письмо начинающему автору.** 1934. Стр. 57. Ц. 50 к.

**Клычков, Сергей. Попов, Викторин.** — Зажиток. 1934. Стр 30. Ц. 20 к.

**Гаузер, Г.** — Девять лет в поисках необыкновенного. 1934. Стр 104. Ц. 1 р. 25 к.

**Дементьев, Николай.** — Мать. 1934. Стр. 16. Ц. 10 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ:

**Пришвин, М.** — Золотой Рог. 1934. Стр. 319. Ц. 5 р. 75 к.

**Соколов-Микитов, И.** — Ленкорань. 1934. Стр. 155. Ц. 2 р. 70 к.

**Аронсон, М.** — Победители. Повесть. 1934. Стр. 141. Ц. 2 р. 85 к.

**Зощенко, М.** — Рассказы. 1934. Стр. 232. Ц. 2 р.

**Розенфельд, С.** — Гибель. 1934. Стр. 222. Ц. 4 р.

**Каралина, Е.** — Отбор. 1934. Стр. 151. Ц. 2 р. 50 к.

**Вишневский, Б.** — Командиры воздушного океана. 1934. Стр. 146. Ц. 2 р. 50 к.

**Виноградов, П.** — Испытание героя. О творчестве Ю. Либединского. 1934. Стр. 107. Ц. 2 р. 10 к.

#### ПРОФИЗДАТ:

**Рассказы рабочих о Ленине.** 1934. Стр. 141. Ц. 2 р.

**Павленко, П.** — Мой творческий опыт — рабочему автору. 1934. Стр. 54. Ц. 25 к.

**Гладков, Ф.** — Мой творческий опыт — рабочему автору. 1934. Стр. 47. Ц. 20 к.

**Сейфуллина, Л.** — Мой творческий опыт — рабочему автору. 1934. Стр. 64. Ц. 30 к.

**Слонимский, Мих.** — Мой творческий опыт — рабочему автору. 1934. Стр. 39. Ц. 20 к.

**Леонидов, М., Макаров, Б.** — Крылья. 1934. Стр. 61. Ц. 75 к.

Редакция: {  
 А. И. Безыменский.  
 Ф. В. Гладков.  
 В. В. Григоренко.  
 И. М. Гронский.  
 Л. М. Леонов.  
 А. Г. Малышкин.  
 В. П. Ставский.

Отв редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»